

Международный
литературно-
художественный
журнал





Главный редактор
Борис Марковский

Зам. главного редактора
Евгений Степанов (Москва)

Редакционная коллегия:

Айдар Хусанов (Уфа)
Борис Херсонский (Одесса),
Игорь Савкин (Санкт-Петербург),
Владимир Цивунин (Сыктывкар),
Борис Констриктор (Санкт-Петербург),
Игорь Лощилов (Новосибирск),
Юрий Проскуряков (Москва),
Валерий Куклин (Берлин)

Художник
Сергей Пионтковский (Киев)

Ответственный секретарь
Елена Мордовина (Киев)
тел. (038) 067-83-007-11

Связи с общественностью
Александра Беренс (Берлин)

Год издания тринадцатый
Рукописи не рецензируются и не возвращаются
При перепечатке ссылка на «Крещатик» обязательна

Адрес редакции:
В. Markowskij, Tränke str. 16
34497 Korbach, Deutschland
тел. (+49) 5631-50-31-42
e-mail: borismark30@T-Online.de
www.kreschatik.nm.ru

Издательство «Вест-Консалтинг»
Москва, 109193,
ул. 5-я Кожуховская, д.13

Журнал выходит 4 раза в год
ISSN 1619-2966
Свидетельство о регистрации КВ № 10002 от 29.06.2005 г.

© Крещатик, 2010 г.
© Издательство «Вест-Консалтинг» (Москва), 2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Поэзия

Борис Херсонский / <i>Одесса</i> /	Над контурной картой	4
Виктор Каган / <i>Даллас</i> /	Студент факультета смерти	45
Валерий Скобло / <i>СПб</i> /	«Вот и подходит к концу...»	72
Ефим Ярошевский / <i>Одесса</i> /	Разговорчики с небожителем	82
Сергей Слепухин / <i>Екатеринбург</i> /	Сатурналии	115
Владимир Френкель / <i>Иерусалим</i> /	Между ночью и днем...	178
Борис Ванталов / <i>СПб</i> /	Соловей на Черной речке	263

Проза

Вл. Алейников / <i>Коктебель</i> /	Воитель. <i>Повесть</i>	10
Григорий Яблонский / <i>Сент-Луис</i> /	Два рассказа о памяти	50
Андрей Назаров / <i>Копенгаген</i> /	Голос души. <i>Рассказы</i>	57
Ирина Дубровская / <i>Берлин</i> /	Веник. <i>Рассказ</i>	74
Б.Л.Брайнин (<i>Зенн Эстеррайхер</i>)	Воспоминания вридола	90
Инна Иохвидович / <i>Штутгарт</i> /	Вокруг Марины. <i>Рассказы</i>	105
Гавриил Левинзон / <i>Нью-Йорк</i> /	Синица в небе. <i>Повесть</i>	121
Юрий Холодов / <i>Саванна</i> /	Тихая музыка. <i>Рассказ</i>	140
Наталья Слюсарева / <i>Москва</i> /	Прогулки короля Гало. <i>Повесть</i>	148
Вл. Порудоминский / <i>Кёльн</i> /	Короткая остановка на пути в Париж. <i>Комедия масок</i>	184

Переводы

Жан Мореас <i>Пер. с фр. Л. Бердичевского</i>	Из книги «Стансы». <i>Стихи</i>	250
Данило Киш <i>Пер. с серб. В. Бацунова</i>	Красные марки с портретом Ленина. <i>Рассказ</i>	254
Филип Рот <i>Пер. с англ. Л. Шорохова</i>	Эпштейн. <i>Рассказ</i>	268
Нико Гомелаури <i>Пер. с груз. Е. Исаевой</i>	С кем в аду окажусь?.. <i>Стихи</i>	286

Контексты:

эссеистика, критика, библиография

Сергей Ильин / <i>Мюнхен</i> /	Мнимая неизбежность	288
Николай Гуданец / <i>Рига</i> /	«Пропасть комплиментов»...	313
Юрий Архипов / <i>Москва</i> /	Двойное бытие Готфрида Бенна	329

Борис ХЕРСОНСКИЙ

/ Одесса /



Над контурной картой

ГОРОД

У меня ли в Москве купола горят...

М.Ц.

Два Рима пали. А вот, погляди, торчат
на земле и на карте. Туда прибывает народ неродной,
пришлый, кромешный. Привозят детей, внучат,
девочек-крашенок. Хватит всем по одной.

И курва Москва то падет, то встает опять.
И паки падет, бормочет искалеченным ртом под нос:
«Третьим будешь? Четвертому — не бывать.
Разливаем. Кого еще шут принес?»

Спас — ярое Око, златые власы, на болоте да на крови,
скости полсрока, глаза не шурь, рта не криви.
Бес, не кажи ни копыта, ни клыка под губой.
Не грозись, архангел, своей золотой трубой.

У меня ли, Руси, семь пятниц на неделю подряд?
У меня ли, Москвы, купола на солнце дотла горят?
У меня ль, Кремля, гроба, что под стеной, что в стене.
У меня ль, Мавзолея, выхода нет, а вход — в небольшой цене.

Трехсотлетний ворон, помнящий вкус стрельца,
таращит круглый глаз на векового мальчика.
Мол, ё-моё, понюхай гнильё, поживи-ка с моё, птенец,
пососи-ка красную звездочку-леденец.

У меня ль, Руси, то орел, то звезда, то золото, то рубин.
 У меня ль, Москвы, и яичница — Божий дар.
 Это мне до ядрени-фени, что остался совсем один.
 Ну-ка, врежь, что силы! Покуда — держим удар.

* * *

Власть крепнет и поднимается, народ
 глядит снизу вверх, но не видит лица ея,
 так оно высоко и возвышенно. Огромн, седоброд,
 Патриарх не достанет крестом до губ великанши. Житья
 нет от двуглавых птиц, конечно, в пределах границ.
 В историю вписано несколько славных страниц.

На небе все чаще замечаешь рубцы
 от полета бомбардировщиков. При входе в трамвай
 человека в форме, чувствуешь то, что когда-то отцы,
 если в дом приходили с обыском. Лучше не затевай
 смуты, чужак, одерни пиджак, галстук поправь,
 погадай, подбросив монетку: сон или явь?

Сон хорош пробуждением, явь — неизбежностью сна,
 желательно, непробудного. Тербит рукою страна
 край байкового одеяла, что-то шепчет себе под нос.
 Лакей, лавируя между коек, несет поднос,
 на подносе спасские башни с минеральной водой
 и красные площади, уставленные едой.

Это на завтрак грядущее, то, что грядет сюда
 неизбежно, торжественно, тождественно дню Суда,
 страшного, как на фреске, где связанный Лев Толстой,
 объятый пламенем Лермонтов, а также народ простой,
 давящийся горечью горькой сметных смертных грехов.
 Где недовольство низов, там неспособность верхов.

Важны колебания в стане нерешительных, блин, друзей,
 этих, в шляпах, с бородками, в пенсне или роговых
 очках, с портфелями, которым давно в музей
 вместе с владельцами-умниками. В полостях ротовых
 рушатся зубы, движутся губы, ворочаются едва
 языки, выговаривая дозволенные слова.

* * *

Смыслов и Ботвинник передвигают фигурки
 на квадратной доске.
 Охотник Петров две белчих шкурки
 добыл в окрестном леске.
 Урки поют — мелодия «Мурки» отдается в правом виске.

Выезжают шесть черных «чаек» из кремлевских ворот.
Урка на нарах скучает, «Мурка» за душу берет.
Страна космонавта встречает, молча, разинув рот.

Космонавт идет по ковровой дорожке, за собой волоча
шнурок развязавшийся. Хлебные крошки подбирает курча.
Водка дешевле трешки. Дрожит рука палача.

Конь скачет буквою «Г», пешка — только вперед.
Застыли на потолке мухи разных пород.
Каждая лапкою лапку под брюшком изумрудным трет.

Петуха на рынок свезем, Христа грехами распнем.
Распаханный чернозем плодороднее с каждым днем.
Смыслов ходит ферзем, Ботвинник — конем.

Время в часах стучит. У противника дело — швах.
Ботвинник сидит, молчит. Смыслов говорит: «Шах!»
Мурка громче звучит, отдается, сука, в ушах.

* * *

Никогда не хотел ни в тайгу, ни в тыл к врагу,
ни под пяту к железному сапогу,
раньше мог улыбаться, теперь уже не могу.

Латы рыцаря даже в мечтаниях не примерял,
так, умноженья таблицу, закрыв глаза повторял.
Раньше носил при себе, теперь уже потерял.

Перед сном не летал в пустоте, не считал овец,
смотрел, как склонившись над книгой сидит отец.
В начале было слово, но это слово — «конец».

Весь конец всему, мечтаниям и уму,
свету, удачно рассеивавшему тьму,
раньше мог понять, теперь уже не пойму.

Конец фильма — белая надпись, черный экран
телевизора, эпоха сдана в спецхран.
Все течет, особенно неисправный кран.

А где-то шар военный в синем небе летит,
о женишке гадает девка — ранен или убит,
раньше Бог прощал, теперь уже не простит.

Это было, а я не хотел ни туда, ни сюда,
как жизнь, по капле вытекает из крана вода,
засыпая, Бог пересчитывает города.

И сосчитанный город гаснет, как будто — воздушный налёт,
 объявлено затемнение, золотая труба поёт,
 история завершена и взята в кожаный переплёт.

* * *

Руины империи немногим мрачней
 чем сама империя. Трудно судить о ней
 по прошествии лучших-худших-великих дней.

Состарились горы. Обмелела река,
 затерялась в зарослях тростника,
 из травы торчит бронзовая рука,

сжимающая скипетр или меч,
 точно не скажешь, и не об этом речь.
 Лучше остатки славы на потом прибереечь.

Тогда откопают статую. Окажется, что она
 на коня безногого водружена.
 Под отсутствующими копытами отсутствующая страна.

И начинает казаться, что ты вспоминаешь то,
 чем люди жили-были, застегивали пальто,
 кутали горло в кашне, выигрывали в лото,

шашки, шахматы, нарды, в каком-то дворе гнилом,
 где дом едва стоял, обреченный на слом,
 а старики сидели за дощатым столом.

На вчерашней газете лежала дунайская сельдь.
 Над миром сияла свежевыкрашенная твердь.
 Все думали, что это было, как оказалось — смерть.

* * *

была бы площадь ратуша крепостная стена
 сама по себе вокруг обустроилась бы страна
 смертельно больна беспредельно заселена
 раз в столетие войско по ней прокатится как волна

разобьется о стену и потечет назад
 проснется народ выйдет в сгоревший сад
 на черных стволах золотые плоды висят
 и летят ангелочки похожие на розовых поросят

и перо гусиное в лапке обезьяньей ведет строку
 призраки исчезают при слове кукареку
 жарко-голодно юноше сыто-холодно старику

была бы страна площадь ратуша или собор
 крепостная стена на худой конец дощатый забор
 у ворот часовой стоящий вниз головой
 в трактире в красной рубахе скучающий половой
 самозванец гулял бы по границе с литвой

потому что в этой литве хорошо братве
 там на медном кресте железный петух стоит в синеве
 там голь-король хрен знает что у него в голове

была бы душа над ней обустроились бы небеса
 полдень бы били часы каждые полчаса
 под циферблатом ходил бы хоровод чертей и святых
 мир бы лежал во зле хрипел а потом затих

* * *

Предместье, окраина, пригород — все едино
 являет барину образ простолюдина:
 лицо в угрях, как в папанинцах полярная льдина.

Сидит у ворот на корточках, поперек ухмылка.
 Рядом стоит трехлитровая пластиковая бутылка
 (пиво «Янтарь»), наполовину пустая.
 В блеклом небе молча кружит голубиная стая.

Тает пахучее облачко конопляного дыма.
 Смотришь и понимаешь: революция необходима,
 в смысле, страшна, неизбежна, непобедима.

Манекен с расстегнутыми штанами стоит у забора.
 Смотришь и понимаешь неизбежность террора,
 в смысле, то, что может случиться, случится скоро.

Тикает бомба в авоське, завернутая во вчерашний
 номер местной газеты, словно завтрак домашний,
 яблоко, бутерброд. Полный, почти не страшный,
 весь конец всему виден на расстоянии мертвой
 вытянутой души. Помутился взор твой.

К голеностопу привязана синяя бирка.

Плачет гомункул: разбита родная пробирка.

Два минарета торчат из бывшего здания цирка.

* * *

Мальчик, штрихующий заточенным карандашом
контурные карты минувших эпох —
один из творцов Истории. Склонившись над малышом,
судьба человечества стоит, подавляя вздох

горести, муки, или просто зевок,
боль от скуки отличить мудрено.
Слово и чувство заперты на замок.
Есть только движение, как в немом кино.

Цветные стрелки — перемещение войск.
А вот и пунктир — изменение границ.
Страна растекается вширь, как расплавленный воск.
Князья восходят на троны. Остальные падают ниц.

Веками лежат в пыли, не открывая глаз,
пылью и славословием набивая рот.
Говорят глас народа — Господень глас.
Господь молчит, если молчит народ.

Но уж если скажет слово — тогда держись,
посылай войска, вешай на каждом суку
смерда-бунтовщика. Казнь это тоже жизнь.

Мальчик сидит, прижав кулачок к виску.

Карта раскрашена. Беда, что урок
так и не выучен. Придется опять повторить.
Нарезать страну, что пирог,
найти счастливый кусок
с запеченной монеткой. Потом — молчок.
Слышишь, мальчик? Молчок. Не о чем говорить.

Владимир АЛЕЙНИКОВ

/ Коктейль /



Воитель¹

Киношный народ как нахлынул, так, сам по себе, и схлынул.

Надо нам было чем-то заполнить образовавшуюся в общении с многочисленными киношниками, пожелавшими помочь Ворошилову, паузу.

Да и денег, хотя они, эти деньги, и мелкие были, оказалось, по нашим тогдашним меркам, довольно скромным, в наличии у Ворошилова, как ни крути, немало.

— Ты бы, Игорь, хоть по десятке работы свои продавал! — сказал я ему, заранее, твёрдо и грустно, зная, что втолковывать это ему бесполезно, — тебе действительно на что-то ведь надо жить. А ты такие отменные рисунки не только запросто раздаёшь за гроши, но ещё и, всем на радость, щедро раздаливаешь.

— Наплевать на деньги! Подумаешь! Тоже невидаль экая, деньги! — взглянув на рубли, отмахнулся от них, как от мух, Ворошилов. — Посмотри, вон их сколько уже есть у нас. Что, мало? Нам хватит сейчас. А потом — потом видно будет, как быть. А рисунки — да пускай они у людей лучше будут, эти рисунки, раз уж они им так нравятся

— Поступай, как знаешь, — сказал я. — Пожалуй, ты всё-таки прав.

— Надо выпить! — в папку сложив оставшиеся рисунки, сформулировал мысль, давно сидевшую в нём, Ворошилов. — Надо выпить, и поскорее. Ты как? Со мною согласен?

— Можно, пожалуй, и выпить, — согласился с Игорем я.

Мы сходили вдвоём на станцию, купили в пристанционном магазинчике, закутке, для сограждан спасительном, выпивку.

Чтобы выпивки этой побольше получилось, да вышло покрепче, накупил Ворошилов тогда всё того же, всеми в стране

¹ Окончание. Начало Крещатик № 46.

потребляемого поголовно, широко, повсеместно, дешёвого, даже самого что ни на есть дешёвого, дальше уж некуда, забористого, потому что — креплёного, на спирту, то есть с приличными градусами, белого, посветлее, и красного, мутноватого, с осадком на дне бутылок, с перебором явным, по части в напиток имевшейся краски, да представьте, обычной краски, с откровенным, большим перебором, но зато достаточно быстро на мозги выпивающих действующего, как нельзя, нам верилось, лучше годящегося для выпивки, и особенно для мужской, кочевой, боевой, суровой, без излишеств, козацкой выпивки, отечественного, советского, неизвестно какого разлива, да не всё ли равно нам, портвейна.

Взяли мы и закуску — плавленые, по привычке тогдашней, сырки, мятые, скользкие, пахнувшие чем-то молочно-затхлым, на ощупь ну прямо резиновые, а то и не просто плавленые, а какие-то вроде расплавленные, но зато по цене для всех доступные, просто дешёвые, с натяжкой большой съедобные, согражданам нашим знакомые широко и давно, сырки, двести граммов грудинки — роскошь, а посему продавщице было сказано, в мягкой форме, со всею возможной вежливостью, порезать её потоньше, на что она, кисло поморщившись, просто грубо её разрежала на четыре неровных куска, — ну и, конечно же, хлеб, две буханки, на всякий случай, одну — бородинского, чёрного, посвежее, другую — белого, почерствее, но тоже мягкого, не पोхожего на сухари, — после чего Ворошилов, подумав буквально секунду, решительно прикупил ещё и колбаски, так, для баловства, полкило, всего-то навсего, чайной колбасы, розоватой, мягкой, как желе, с запашком, на рубль, — а после, не удержавшись, приобрёл, завидев её остатки в дальнем углу прилавка, и полкило солёной слежавшейся кильки, — с такими, по тем временам, внушительными запасами съестного, разнообразного, с выбором, нам с Ворошиловым не только в своё удовольствие выпивать на родной природе, но и кое-какое время существовать, питаюсь умеренно, с экономией продуктов, купленных нынче, можно было вполне.

Обременённые всем закупленным в магазине, вернулись мы на территорию киношного дома творчества.

Где нам выпить? — вновь назревал простой всегдашний вопрос. Размышлять над этим всерьёз, разумеется, мы не стали.

Приглянулась нам как-то сразу и симпатию вызвала нашу стоявшая чуть в стороне от корпусов домотворческих, в окружении буйной зелени, даже на первый взгляд, это видно было, уютная, со-вершенно пустая беседка.

Вот и отлично. Лучше, наверное, и не придумаешь.

Тишина. Это важно. Спокойствие.

Никто нам не помешает.

Значит — идём туда.

Устроились мы — в беседке.

Сидели вдвоём, в тиши подмосковной, неторопливо попивая вино, степенно, чин-чинарём, закусывая, чем Бог послал, что купили, недавно совсем, в магазине, разговаривали — о чём-то своём, как всегда — о своём.

Громадные, кровожадные комары донимали нас непрерывно — и приходилось, ничего не попишешь, терпеть.

Но не так-то просто, поверьте, давалось нам это терпение.

И откуда здесь, в Подмоскowie, комары такие ужасные?

Всю гармонию, можно сказать, нарушают. Ни на секунду покоя нам не дают.

Они не просто зудели в прогретом слоистом воздухе и не просто повсюду пели, тонко, настырно, пронзительно, зыбко, тревожно, густо, и не просто держали высокую, долгую ноту, стонали, уходя в этом стоне куда-то совсем далеко, в ультразвук, на такие частоты, где пение их прямым уходом в подкорку, в подсознание, и там оставалось, глубоко, в мозгу, а не в свете неспешного, тёплого дня, — нет, они гудели, как будто штурмовики, ревели, взывали, как боевые прониர்ливые машины летучие, эти злющие созданы природы, и спасу от них, к сожалению, не было.

Поневоле, так получалось не по нашей вине, обстановка начинала напоминать, вот уж бред и кошмар, фронтую.

Отмахиваясь машинально, с каждой минутой всё чаще, от хищников-комаров, а то и метко прищёпывая их с размаху широкой ладонью, Ворошилов сердито ворчал:

— Упыри! Кровососы! Вампиры!

И расправлялся тут же с очередным насекомым, отчего то на лбу, то на шее, то на узкой, небритой щеке, то на руке у него возникали потёки кровавые, брызги мелкие, крупные пятна, им стираемые, без особого усердия, то платком замусоленным, то музыкальными, гибкими, длинными пальцами, а то и прямо, — чего, мол, там сейчас мудрить, если надо постоять за себя, — кулаком.

Доставалось и мне от этих летучих чудовищ, жаждущих человеческой свежей крови.

Комары, досаждавшие нам с изуверством, не унимались. Наоборот, их полку, замечали мы, всё прибавлялось.

Может быть, только здесь, в одной из немногих, считанных, недоступных для чужаков, для вторжений извне, цитаделей советского киноискусства, в непрерывном, густом роении сплошь творческих, занятых, деловых, да ещё и с амбициями, чётко знающих цену себе — и другим, кто помельче, личностей, незаменимых работников, творцов, а то и, подумать ведь, натуральных светил, развелись такие вот комариные, злющие, хищные особи, вампиры, мутанты, гибриды, насосавшись киношной крови, раздобрев на харчах дармовых, расплодившись, заматерев, регулярно, исправно питаюсь и давно уж войдя во вкус, но, поскольку киношная кровь им, возможно, приелась уже, тут же, скопом, ордой всей, возжаждавшие вкуса нового, неизведанного, соблазнительного, притягательного, — вкуса крови, божественной, нашей, нищей крови, а всё же — здоровой?

Да кто его знает! Может быть, так оно всё и было.

Их, комаров окрестных, отовсюду, со всех сторон, к нам, ски-тальцам усталым двум, не куда-нибудь, а сюда, лишь сюда почему-то, к нам, двум друзьям хорошим, в беседку, словно что-то неумолимо притягивало, как магнитом.

Наверное, наше нынешнее присутствие именно здесь вдохновляло их на непрерывные, с жадной кровью нашей, атаки.

А в остальном — всё было, смело можно сказать, нормально.

И вполне уютно, замечу, мы чувствовали себя здесь, вдвоём, в беседке, среди парковой, не совсем ведь киношной, зелени.

Может быть, — кто скажет сейчас, кто подскажет, кто прояснит мысли, чувства, мечты и чаянья? — в задушевном общении нашем было всё-таки нечто особое, полагаю — традиционное, даже, думаю, ритуальное, корнями вглубь уходящее, в древность, где дадь и высь в ясном сиянье слились, нечто схожее, хочется верить, с общением удивительным старых китайских поэтов, например, с той только поправкой, что те, неизменно чувствуя среди природы себя как дома, в процессе своей беседы неспешной периодически наливали в чашки свои подогретое, так полагалось когда-то, вино из чайника, — ну а мы наливали себе своё покупное, дешёвое вино в стаканы гранёные из бутылок, так уж привыкли мы, — а вот ритм, и тон, и настроенность, и хорошая простота наших слов, а с нею и подлинная глубина их порой, и взаимное доверие, и само, Игорево, и моё, и общее наше, теперешнее, ощущение, вот его свет первоначальный, себя во времени, которого, так нам казалось, впереди ещё ох как много, и, призывком неминуемым, ощущение себя в пространстве, которого тоже было вдосталь, и позади, и впереди, повсюду, куда ни шагни, везде, и понимание нами друг друга всего с полуслова, и надежды наши на то, что всё ещё образуется, всё наладится там, в далёком, или близком уже, грядущем, и вера наша в своё звёздное предназначение, и особая музыка нашей с Ворошиловым дружбы — я именно о ней говорю сейчас, — и весь этот лад, присутствующий в каждой нашей с ним встрече, в речах, в поступках, помыслах, жестах, в различных житейских историях, и весь этот свет нашей творческой, неповторимой дружбы, — всё, совершенно всё, что связано было прочно с пребыванием нашим в мире юдольном, и с воспарением нашим над ним, и с нашей созидательной, сложной работой, во имя добра на земле, для торжества добра над оголтелым злом, — всё было для нас так дорого, и даже, скорее, свято, — и сознаюсь, что выразить это мне, посевшему, трудно, потому что подобная дружба даётся, конечно же, свыше, даётся, как дар великий, единожды и навсегда.

Симпатичная — век бы ей любовался, такой хорошенькой, век бы помнил её, — синичка прилетела из глубины крон древесных лиственных к нам и уселась — вот, мол, и я — на перилах нашей беседки, вопросительно и лукаво всё поглядывая на нас, не смущаясь присутствием нашим здесь, в её подмосковной вотчине, быстрым, кругленьким, точно бисерным, с огоньком смеялки и смелости, быстройкрылой, летучей, птичьей, развесёлым, но и с грустинкой потаённой, своим глазком.

Я насыпал ей хлебных крошек.

Наша гостья, нас не пугаясь, доброту ощущая нашу, совершенно спокойно, прыгая то туда, то сюда, в беседке, то ко мне поближе, то к Игорю, влево, вправо, кругами плавными, вслед за крошками хлебными, вкусными, для неё, принялась их клевать.

К ней откуда-то прилетела, по сигналу, видать, особому, или просто свою подругу вдруг завидев издалека и решив пообщаться с нею, да ещё и отведать нашего, для пичуг, угощенья нежданного, здесь, у нас, и другая синичка.

Игорь тут же, да пощедрее, наделил наших гостей пернатых, залетевших в наш временный стан, кочевой, походный, козацкий, стан в беседке, на территории дома творчества всех советских, или, может, не всех, но избранных, только всё ведь равно киношников, пусть приятелей и знакомых среди них у него немало было, слишком большая разница между ним и этим вот племенем, между мною и ними, была, вот и все, на поверку, дела, пусть судьба нас к ним привела, — наделил, от души, едой.

Птички клевали старательно крошки, а мы с Ворошиловым умиленно смотрели на них.

Такая вот получилась, как-то просто, сама собою, домотворческая идиллия.

Синей тенью из лиственной зелени вдруг шатнулся навстречу Галич.

Был человек — это чувствовалось по лицу его, мертвенно-бледному, по выражению глаз, отчаянному, смятенному, по его дышанию, частому, прерывистому, нездоровому, — с глубокого, глубже некуда, занырнуть-то туда несложно, а вот вынырнуть посложнее, это знали мы все, похмелья.

С откровенной надеждой он, очевидно, ещё не решаясь попросить нас о срочной помощи, а тем паче, сходу, с налёту, этак запросто, вроде по-свойски, по нахалке, присоединиться к нашей тесной компании, где, много выпивки было стандартной, с расстояния в три-четыре, да, всего-то, коротких шага, страшноватых, и всё же возможных, если чудо произойдёт, если здесь-то его поймут, и помогут ему немедленно, и поддержат его непременно, потому что нельзя иначе, потому что иначе кранты, но будто бы из другого, неведомого измерения, посмотрел, набычась, на нас.

И страшная, безысходная, отчаянная тоска, откуда-то из-под кожи, из нутра, из-под мутных, расширенных, выкаченных наружу, малоподвижных зрачков, нежданно, обезоружено, доверительно, откровенно проявилась в его тяжёлом, обвисающем вниз лице.

Такая тоска — ну словно невысказанный, немой, крюками записанный древними для неслышных ещё песнопений, в укор настоящему смутному, в поддержку грядущему светлому, где всё ещё, может, поправится, наладится, слюбится, сдвинется, вполне вероятно, к лучшему, а может быть, и к трагическому, кто знает, кто скажет, гадать бессмысленно, видимо, — крик.

Нет, сильнее, ужаснее, — видимый, но, пока что, без голоса, — вопль.

На столике перед нами, кочевыми друзьями, рядышком с разложенной на газете скромною нашей закуской, стояли бутылки с портвейном.

И в сумке походной, там, на дощатом полу беседки, под столиком с нашим питьём, какое уж было куплено, другого в наличии не было, и едой магазинной советской, лежало несколько полных, запечатанных крепко бутылок.

Питья, почему-то названного торговлей союзной портвейном, хотя богемные люди называли его жопомоем, и право имели на это, было у нас предостаточно.

Не просто, как говорится, в самый раз и не только вдосталь, но даже, можно, пожалуй, похвастаться этим, с избытком.

Так что, ежели что, вполне можно было и налить хорошему человеку.

С нас не убыло бы, уж точно.

Да это ведь и когда-то, — ну, вспомните, ветераны, могикиане, герои прошлых героических лет, уцелевшие в неравной борьбе с алкоголем и ненавидимым строем, сулившим сплошные беды и бесчисленные невзгоды богемной отчаянной братии столичной, — подразумевалось, всегда и везде, у нас — не только самим, да и только, с эгоизмом противным, с жадностью, неприемлемой, скучной, выпить, но и людей угостить, а особо страждущих — выручить.

В те годы, с кошмарами их похмельными, с магазинными очередями длинными, нервичными, за бутылкой желанной, чтобы поправить пошатнувшееся здоровье, чтобы стать человеком снова, понимать, где находишься ты, где стоишь, или, может, сидишь, или, может, шагаешь куда-то, а куда — поди догадайся, не гадай, не надо, и так всё, похоже, ясно для всех, да, конечно, яснее некуда, всё во мраке и всё во мгле, всё в бреду на этой земле, только звёзды есть в небесах, только стрелки на всех часах то стоят, то снова идут, и кого-то, вроде бы, ждут, ну а где, и когда, и зачем, это стёрлось у всех, насовсем, стёрлось в памяти, нет, живёт, чем-то странным теперь слывёт, — была в выпивонном деле у всех мужиков советских, на всех возможных широтах, по всему пространству громадному Союза, державы прежней, Империи, — круговая, — коло древнее вспомним — порука.

Спасали тогда человека — не сочувствием, не участием вялым, так, может зачтётся, а может, и обойдётся, и лучше уж проявить, хотя бы разок, участие, но — деятельно, совершая, от души, бескорыстно, поступки.

Себя обделяли, бывало, но других всегда — выручали.

Чудеса настоящие храбрости совершали, случалось, и часто, чтобы срочно где-то добыть, где угодно, добыть, и всё тут, принести, как можно скорее, погибающемуся от муки человеку необходимое для скорейшего поправления драгоценнейшего, в условиях нелюдских, жестоких, здоровья, а то и для продолжения жизни земной, питьё.

Вообще, читатель мой, выпивка в родном, для меня, для моих друзей давнишних, отечестве, при советской, канувшей в прошлое,

как считают в газетах, власти, — это, твёрдо я знаю, единственный в своём роде, неповторимый, грандиозный, — и по масштабам, и по мощной полифонии судеб, жизней, историй, свершений, расставаний, надежд, утрат, обретений возможных, — эпос.

И когда-нибудь, верю, даст Бог, кто-нибудь из наших сограждан, испытавших всё это на собственной, только так, разумеется, шкуре, воплотит его, зов ощутив, горний, или юдольный, в слове.

— Надо нам похмелить человека! — предложил я немедленно Игорю.

Он взглянул, сощурился, на Галича — и мгновенно понял его плачевное и печальнейшее, дальше некуда, состояние.

— Саша! — позвал Ворошилов, — иди поскорее к нам. Сейчас мы тебе нальём портвейна. Это поможет.

Галич, помедив секунду, качнулся вперёд, тяжело вздохнул, шагнул, из тоски своей, из отчаянья, — к нам, ждущим его с питьём, предлагающим помощь свою, просто так, чтоб спасти человека, поддержать его, жизнь ему, в этот день, и час, и минуту, продлить, — с превеликим трудом, шаг за шагом, передвигаясь, шатаясь, зашёл, наконец, в беседку.

Он с натугой, с хрипом дышал.

Он молчал — и смотрел, из прорвы, из пустыни своей тоски, из другого, полуреального, неизвестного измерения, — на вполне реальное, зримое, похоже — материальное, в немалом, вроде, количестве имеющееся у нас и вполне доступное, кажется, для него, страдальца, вино.

Ворошилов налил ему полный до самых краёв крепким красным портвейном щербатый гранёный стакан:

— Пей! Прямо залпом. Быстрее!

Галич трясущейся, слабой, от мучений своих, рукой взял стакан, сжал влажными пальцами, очень медленно, с явным усилием, поднёс его всё же ко рту — и так же медленно выпил.

Сжал сухие, в трещинах, губы.

Сел напротив. Скорбно молчал.

Ждал — когда же вино подействует.

— Ну как? — спросил Ворошилов.

Галич пожал плечами: ничего, мол, ещё не чувствую.

Надо было ускорить его — здесь, у нас, — возвращение к жизни. Я налил ему второй — с портвейном белым — стакан.

Галич, уже быстрее, выпил покорно вино.

Посидел, надувшись, набычившись, сжав кулаки, крепясь, безмолвно, словно во сне, шевеля сухими губами.

Лицо его, мертвенно-бледное вначале, стало уже серым, землистым, потом — немного порозовело.

Движение к лучшему, что ли?

Он, кажется, оживился.

— Ну что, отошёл? — сочувственно, проявляя заботу о ближнем, спросил его Ворошилов.

— Да вроде бы помогает! — стараясь поверить в эту винную скорую помощь, а больше веря, конечно, в нашу, людскую, помощь, в наше с Игорем, в этом деле, сложном деле его спасения, восставания из мук, участие, печально и глухо не вымолил, а нутром всем выдохнул Галич.

— Поможет, поможет! Я знаю! — заверил его Ворошилов. И налил ему решительно полный третий стакан. — Бог Троицу любит. Давай, пей, и всё тут. Сейчас полечает.

Галич как-то послушно, покорно, механически, но и осмысленно, заверениям Игоря веря, сразу выпил третий стакан.

Тогда ведь мы с Ворошиловым понятия не имели, что у Галича было это не просто похмелье, привычное, для многих, почти для всех, вовсе не традиционное, не рядовое похмелье, которое все лечили спиртным, а, скорее всего, ломка так называемая, потому что уже давно, по причинам достаточно сложным, в коих трудно теперь разобраться, и не надо в ней разбираться, в этой гуще страстей, и сомнений, и страданий, кололся он морфием.

Как тогда выражались, и нынче говорят, — сидел на игле.

Но спиртное-то — как без этого? — Галич тоже употреблял.

И мы, и знакомые наши это воочию видели.

В те годы пел Галич, бывало, в компаниях авангардных, богемных московских художников.

Пел, струны терзая гитарные, вдохновенно глазами сверкая, повышая и понижая, артистично, свободно, голос, в мастерской у Ильи Кабакова, на чердаке громадного, многокорпусного, странно-ватого, дореволюционной постройки, всем знакомого дома, на Средненском, в самом центре столицы, бульваре, пел, в ореоле своей тогдашней, неофициальной, подпольной, но прочной, славы, находясь в кругу благодарных, внимательных, чутких слушателей, своих, надёжных вполне, единомышленников, пел — и всегда перед ним стоял стакан со спиртным.

Наивные люди, мы с Игорем твёрдо верили в силу привычного для всех нас вина, всегда улущающего любые, даже тяжёлые самые, похмельные состояния.

А Галич не то чтобы как-то, выпив, повеселел, но стало в нём больше жизни.

По крайней мере, мы видели, задышал он теперь поспокойнее.

А лицо — лицо его всё же оставалось малоподвижным, отяжелевшим, набрякшим, нависающим отрешённо над столиком с нашей выпивкой и закусью слишком скромной, такой уж, какая была у нас, — посреди беседки.

И только глаза его — словно выглянули наружу откуда-то изнутри, из глубины тоски, тягостное присутствие которой здесь, рядом с нами, ощущал я болезненно-остро.

— Тяжело! — почти шёпотом, тихо, произнёс неожиданно Галич, — тяжело мне совсем, ребята!

Потом на минуту задумался.

Тень смущения, резкая тень, прошла по его лицу.

Но всё же решился он сказать нам то, что хотел.

— А что, если... — начал он и умолкнул вдруг. Но потом пересидел себя и продолжил: — А что, если мне махануть всю бутылку, разом? Клин клином вышибают — ведь так говорят. А что, если это, хотя бы, пускай ненадолго, поможет?

Он уже не вопросительно, а моляще взглянул на нас.

— Да ради Бога! — сказал я. — Ежели надо — пейте.

— О чём тут речь! — Ворошилов поддержал меня. — Пей на здоровье.

Он открыл зубами пластмассовую крышечку новой бутылки — и протянул её, эту бутылку, полную почему-то до самых краёв зелёного узкого горлышка, семисотграммовую, пыльную, с этикеткой полуотклеенной, — протянул, нет, заботливо, бережно, вложил прямо в руки Галичу.

Галич вначале растерянно повертел бутылку, и так, и этак, ну а потом тряхнул головой, взболтнул булькнувшее вино, вскинул бутылку наискось, над губами полуоткрытыми, — и осушил её, до самого дна, буквально в три молодецких глотка.

Перевёл, как водится, дух.

Занюхал вино горбушкой бородинского вкусного хлеба.

И, что уж точно мы видели, может быть и на время, но — возвратился к жизни.

Хотя и срывались ещё иногда с его губ невнятные слова — о тоске, его гложущей, об отсутствии минимального, много ведь и не надо, покоя, но было нам ясно уже, что ему лучше сейчас, что ему, в таком состоянии, куда спокойнее с нами, нежели где-то там, у себя, в домотворческой комнате, как в застенке глухом, одному, — и если это, пока ещё, был вовсе не тот знаменитый Галич, не светский лев, не душа столичных компаний, не гуляка, натура широкая, хотя, безусловно, и труженик, в недавнем прошлом — советский, модный, преуспевающий, драматург, а в нынешней яви — прославленный в тесных кругах нашей интеллигенции и среди богемы поэт, бард, исполнитель своих, полных печали, надежды, драматургии трагической и любви неразменной к людям, в своём, так всё сходится, роде единственных, неповторимых, смелых, рискованных песен, то, во всяком случае, некое обаяние, шарм особьей, да ещё и такой притягательный, колдовской почти, магнетизм, которые у него были для всех несомненными, просто-напросто общепризнанными, — с усилием как-то, но всё же проявились в нём, наконец, — и он, человек благодарный, был уже способен к общению.

Он внимательно посмотрел ворошиловские рисунки.

— Замечательные работы! — сказал он. — Да, настоящие. Надо помочь. Обязательно надо, Игорь, тебе помочь. Вот ведь только: обещаешь, обнадёжишь, с похмелья, — и вдруг...

Он загнулся, смутился, сгорбился.

И совсем уже тихо, глухим полушёпотом, грустно продолжил:

— А ведь надо, надо помочь!..

— Ну, себя-то неволишь нечего, — так сказал ему Ворошилов. — Пусть идёт всё само собой. Как уж выйдет. А там — разберёмся. Приходи в себя лучше. Держись. Отдыхай. Набирайся сил. Просто — дыши. Смотри — да попристальнее — на мир.

Так вот мы и сидели втроём, за вином, в беседке дощатой, — и негромко, так, что никто не слышал нас тогда, — говорили.

О чём? Да о разном. О том, что развеялось в лиственном шелесте, в птичьём щебете, в свете волшебном подмосковного летнего дня.

Вспоминать об этом — непросто, да и душу ранят теперь, в дни иные, в иное время, отголоски былых речей.

Потом, поправив здоровье и наговорившись с нами, Галич встал, с церемонной вежливостью поблагодарил нас за помощь.

Получилось это, мне помнится, у него неловко и трогательно.

Попытался он улыбнуться — и вышло это не просто грустновато, и только, нет, вышло у него это слишком уж грустно.

— Игорь, Володя! Скажите мне — вы ведь ещё побудете здесь до вечера, правда? — спросил он как-то совсем по-детски, но странным образом это сразу соединилось со всем его обликом — крупного, вальяжного, грузного, тёртого, выдавшего всякие виды, немолодого уже, но ещё и не старого, зрелого, солидного мужика, с его, таким очевидным, ещё играющим в нём, сквозь боль, сквозь тоску, сквозь смятение, притяжением, блеском, шармом, с артистичностью несомненной, со всеми теми чертами, которые, в совокупности своей, всё время и делали его, человека отважного, в глазах современников — Галичем, запретным и легендарным, выразителем, так получилось, своей, непростой эпохи, чей голос звучал годами с магнитофонных лент по всей огромной стране, чья жизненная позиция вызывала, и это важно, всеобщее уважение, чья трагедия, воплощённая в нём самом, таком, каким был он, приоткрылась тогда перед нами.

— Я вернусь! — заверил он нас и тяжело отодвинулся — в некую странную даль, в сторону, в светлую зелень.

Жить ему оставалось — восемь с половиной, всего-то, лет.

Но никто абсолютно этого — что за доля? — ещё не знал.

(...Давней зимой, в феврале восьмидесятого года, познакомился я, — случайно, или, может быть, не случайно, и, скорее всего, судьба так устроила всё, чтоб встреча наша всё же произошла, — с Алёной, дочерью Галича.

Я читал стихи свои людям, собравшимся зимним вечером, чтобы слушать меня, в квартире близких родственников замечательного художника Роберта Фалька, в одном из кирпичных, невзрачных корпусов, образующих нечто вроде крохотного квартала, находящихся во дворе, за приземистым светлым зданием бывшего ВХУТЕМАСа, на Мясницкой, почти напротив столичного главпочтамта.

В начале двадцатых годов где-то здесь, в корпусах этих, временно, после долгих своих скитаний наконец возвратившись в Мо-

скую, обитал председатель Земного, вихрем войн, революций, событий небывалых, объятого шара, человек, сочинявший стихи и поэмы, драмы и прозу, изучавший историю мира, прозревавший грядущее, чувявший там, вдали, вселенский язык, математик великий, мечтатель и создатель «Досок судьбы», одинокий, несчастный, бездомный, вечный странник по землям южным и восточным, звёздный скиталец, птиц знаток, собеседник зорь и растений, тихий, усталый и больной Велимир Хлебников. ВХУТЕМАСовские студенты, художники-авангардисты, приносили порою в дар молчаливому русскому гению скудную пищу тогдашнюю, понемногу, что Бог послал. Некоторые из них иногда его рисовали. От общения с молодёжью Хлебников оживал. Потом он исчез — навсегда. Остались — его творения. Ещё раз он — для всех — звезда. Миру всему — в дарение.

В обжитой московской квартире, сплошь, вплотную, одна к другой, но зато и с любовью, завешенной работами Фалька, с которым общался в пятидесятых мой друг Толя Зверев, художник, о котором Фальк говорил, что подобные рисовальщики рождаются раз в столетие, читал я людям, пришедшим послушать меня, стихи.

Помогла здесь устроить мой вечер замечательная подруга, и моя, и друзей моих, по богемной нашей среде, в годы прежние, сложные, Лорик, так её называли все мы, по привычке, Лариса Пятницкая, чья отзывчивость — беспримерна, доброта — всегда велика, понимание жизни, искусства и поэзии — уникально, человечность — светла и чиста.

Я читал — в кругу современников образованных, умных, серьёзных, тех, кому слово дорого русское и поэзия дорога.

Вечер днался — и снег за окнами шёл всё гуще — и с белыми хлопьями совладать не могла темнота, — и невидимая черта пролегла меж семидесятыми и началом восьмидесятых, там, вдали, — и в душах крылатых зазвенела чуткой струной, чтоб остаться навек со мной.

Вечер зимний — из давних лет.
Что за музыка в нём звучала?
В нём — грядущих речей начало.
Ну а с ним — и звучащий свет.

Алёна Галич сама подошла ко мне — познакомиться.

Мы с нею разговорились.

И вдруг я увидел в ней такую же светлую внутреннюю силу, какая была и в отце её, и жила в нём всегда, пробиваясь упрямо ввысь, к небу и звёздам, сквозь боль.

Приезжала позже Алёна в нашу с Людмилой, прежнюю, скромную, однокомнатную квартиру в Новогирееве.

Алёна многое сделала для того, чтобы тексты Галича, разбросанные по разным собраниям, здесь, на родине, были опубликованы, как о том и мечтал — сам поэт.

Вечер зимний. Снега повсюду.
Свеч мерцанье. Преданий гряда.
И, сквозь вьюгу, — живое чудо.
Свет звучащий. И — голос вслед...

...Зимой, в декабре, морозном, с ледяными ветрами, семьдесят седьмого, Змеинового, года, измученный предыдущими скитаниями своими и новых скитаний ждущий в грядущем году, я, стараясь держаться, ещё бездомничал.

Приютил меня, только временно, разумеется, ненадолго, мой знакомый, из новых, более молодых, не из нашей компании, но зато для меня интересный, славный парень, Серёжа Берков, остролов, развесёлый гуляка, выпивоха, рассказчик всяческих удивительных, с парадоксами современными, фантастических, для меня, например, историй, с которым я познакомился прошлым летом, в Крыму, в Коктебеле, где он, в окружении пёстрой, хиппующей, загорелой толпы восторженный слушателей, хриловатым голосом пел под гитару то песни бардов, то цыганщину, то романсы, то рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда», в зависимости от вышитого перед этим, порой в изобилии, да таком, что запоем попахивало или долгою пьянкой, местного, в основном, сухого вина или напитков покрепче, а также от настроения и состояния духа, но всегда с неизменным успехом. Был я ему благодарен за участие, за ночлег.

Средств столь нужных к существованию у меня и в помине не было.

Своего жилья — да угла, и тому был бы рад я, — не было.

Рукописи, оставленные на хранение в доме случайном, далеко не сразу, с трудом, но вернулись всё же ко мне.

На полу стояла тяжёлая сумка, плотно набитая ими.

За окном стояла холодная, для меня чужая, столичная, с одиночеством, с грустью, привычная, хоть страшущая всё же, зима.

На широком пустом подоконнике лежал, словно знак или символ тревожный, неведомо кем оставленный для кого-то, огромный, с детский кулак величиною, жаркий, как пламя, густо-оранжевый, отливающий вроде бы алым, отсвечивающий багряным, нет, скорее — багрово-красным, коктельский, из бухт кара-дагских, вулканической прорвою пышущий меж снегов декабря, сердолик — и сам собою светился на фоне вначале серого, потом синевато-белёсого, а потом, ближе к вечеру, въедливого, чернильного, сине-лилового, ну а к полночи — тёмного, чёрного, замерзающего, оконного, в ледяных наростах, стекла, почему-то напоминая о какой-то невероятной, неизбежной грядущей гертве.

Я включал иногда приёмник — и в бездонном ночном эфире находил сквозь глушилки пробившиеся к нам, в Империю нашу режимную, с новостями последними, западные, всем известные, «голоса».

И в моё обиталище временное, словно жгучий разряд электрический, ворвалась ужасная весть из Парижа — и гибли Галича.

И — голос его, вопрошающий всех нас:

— А когда я вернусь?..)

Мы опять остались, в беседке домотворческой, с Ворошиловым, в окруженье листвы зелёной с комариным гулом, вдвоём.

Но вскоре, видимо, выпавшись, отдохнув, помаленьку, стали к нам, в беседку, один за другим, навеваться и киношники.

Причём, интересы их распространялись, как сразу же, в считанные секунды, здесь же, на месте, выяснилось, не только на ворошиловские оставшиеся работы.

Они — удержаться от этого трудно им было, наверное, — посягали ещё и на наше оставшееся вино.

— Где Галич? — спросил Ворошилов очередного приятеля, забежавшего к нам, чтобы тоже приложиться скорее к стакану. — Он обещал вернуться, обещал помочь мне с картинками!

Приятель махнул рукой:

— Отлёживается, закрывшись у себя. Томится. Страдает. Тяжело ему. Пусть отдыхает.

— Ну, коли так, то ладно, — пробормотал Ворошилов.

А киношники всяких рангов, те, с которыми не успели мы повидаться после обеда, отдохнувшие, — любопытствуя, уже звали к себе нас, желая поглядеть, в обстановке спокойной, санаторной, отчасти творческой, ворошиловские работы,

Режиссёр Юткевич, прозрачный, как пергамент, призрачно-бледный, элегантный, с манерами барина, удобно сидящий в кресле, в окружении интеллигентных дам различного возраста, преданно, раболепно даже, глядящих на своего повелителя и кумира, каждому слову короля своего внимающих, человек, по всему видать, избалованный, и давно, таким вот, повышенным, пристальным, страстным вниманием к мэтру, перебирая холёными, длинными, узкими пальцами ворошиловские рисунки, то поближе к ним наклонялся, чтобы цепко взглянуть в каждый на листе светящийся образ, то, пожав плечами, прикрытыми заграничным фирменным джемпером, словно флагом страны таинственной, той, в которой был он властителем, — от простуды, на всякий случай, — вдруг откидывался назад — и тогда, со значением, так, чтобы все вокруг его слышали, но негромко, спокойно, томно, с бархатистой ноткой, тоном знатока записного, матёрого, всех на свете искусств, говорил:

— Да, работы хорошие. Нечто в этом роде я видел в Париже. Только эти — вот он, талант настоящий, — оригинальнее!

И, раскинув узкие кисти утомлённого слабой артиста, словно крылья, в знак одобрения своего, — ничего не купил.

Покупали — киношники рангом поскромнее, люди попроще.

Ворошилову надоела затянувшаяся торговля.

И он, взяв папку с рисунками, как сеятель во поле русском широком — лукошко с зерном, принялся раздаривать их всем, кто под руку подвернулся, и налево — берите, дарю, мол, и направо — держите, мол, вам, все берите, всё забирайте, разбирайте всё по частям, вот вам всем — работы, на память.

За бесплатно — все брали охотно.

По всей территории большевского подмосковного дома творчества, сквозь листву зелёную, свежую, сквозь людское густое роение,

прорываясь к летним, просторным, как шатёр для всех пожелавших приобщиться к искусству сегодня настоящему небесам, белели в руках киношников Игоревы работы.

Получилась, как и всегда, по наитью, сама собою, — да и к лучшему ведь, наверное, что сейчас она получилась, — персональная выставка Игорева, — и не где-нибудь в галерее городской, а здесь, на природе.

На пленэре, так ведь сказали бы о подобном явлении французы, — там сказали, в том же Париже, где бывал режиссёр Юткевич, ну а мы-то с Игорем сроду не бывали, и даже об этом здесь, в Империи проживая, как уж выйдет, не помышляли.

Посему — пусть лучше по-русски, по-простому, по-нашему: выставка — на природе, явление чуда, просто так, от щедрот его.

Комары, нежданно утроившие активность свою зловредную, вконец, обнаглев окончательно, просто заели нас.

Вечерело. Солнце давно ушло на запад — и, видимо, собиралось и вовсе скрыться с глаз людских, — на время, конечно.

Киношники, ошастливленные, все разом, сжимая в руках дарёные, всем доставшиеся, ворошиловские рисунки, постепенно, не удержимо, разбредались уже, кто куда.

Пустую папку, в которой ещё недавно лежала целая россыпь сокровищ, Игорь, внезапно почувствовав непривычную лёгкость её, прижимал к себе острым локтем.

Нос его запорожский выдался — сквозь пространство и время — вперёд.

Глаза его — тихо, задумчиво, — светились подспудным огнём.

Он сутулился — больше обычного.

Он молчал — и смотрел на закат.

Мы стояли вдвоём — посреди совершенно пустого двора.

Никого вокруг нас больше не было.

Пора было нам, пожалуй, уходить отсюда, пора.

Уже у самых ворот услышали мы исходящий откуда-то сзади, слабый, едва различимый оклик.

Оглянулись мы оба — на голос.

Голос — рвался издали к нам.

Или — к выси, что с тьмью боролась.

Или — к новым песням и снам.

Просветлевший слегка, но всё же, пуще прежнего, грустный, Галич к нам тянул огорчённо ладони — мол, куда же вы, братцы, куда?

Ворошилов знак ему подал крепко сцепленными руками: всё, мол, будет в порядке с тобою, не сдавайся, воспрянь, старина!..

И мы, покинув киношный дом творчества, потащились к электричке, навстречу новым — сколько будет их? — приключениям.

Некоторая их часть началась, для нас, ещё в Болшеве.

Мы с ужасом вдруг обнаружили, что вина у нас больше нет.

Деньги — есть. А выпивки — нет.

Но кошмар настоящий — тот факт непреложный, что до закрытия магазина пристанционного остаётся, всего-то навсего, ровно четыре минуты.

Эти вечные, ворошиловские, непростые, четыре минуты, — как с его недавним нырянием в Сокольническом пруду.

Опять — четыре минуты. Ну, разве что с крохотным хвостиком.

И мы с Ворошиловым ринулись — вперёд, скорей! — к магазину.

Напрямик, наугад, напролом.

Только бы нам успеть!

Только бы не остаться в незнакомых краях ни с чем!

И мы неистово мчались, наобум, по чутью, вперёд, не разбирая дороги.

Мы по-птичьи легко перемахивали через все, порой возникающие на пути нашем верном, заборы.

Мы срезали все, вероятные и реальные, оптом, углы.

Мы развили такую скорость, что побили наверняка все рекорды — трудно сказать, на какую конкретно дистанцию, — но был это дивный Бег, с большой, а не с маленькой буквы.

И мы в магазин — успели.

За четыре секунды ровно — вот ведь как! — до его закрытия.

Уже продавщица усталая, с ключом и замком в руках, направлялась к двери входной, собираясь её закрывать, уже хотела она гасить, как положено, свет, когда ворвались мы с разгону в тесное помещение продмага пристанционного — и потрясли её до глубины души взмыленным видом своим, да и тем ещё, что Ворошилов на бегу протягивал ей стопку рублей измятых, и была во всём его облике такая просьба глубокая — подожди, родимая, миленькая, дорогая, не закрывай! — и такое было в глаза его исступлённое, не иначе, и отчаянное желание — эх, успеть бы купить вина! — что усталая продавщица за прилавок вернулась безропотно — и безмолвно, с явным чувством к нам, свалившимся словно с луны, к ней, сюда, успешшим явиться до закрытия магазина, с нескрываемым изумлением, только молча, слегка, покачивая то и дело, то влево, то вправо, закутанной пёстрой косынкой седеющей головой, улыбаясь задумчиво, нам, незнакомцам таинственным, выдала вожделенные эти бутылки отвратительного портвейна, ровно столько, такое количество, на которое денег хватало, и до двери нас проводила, и потом уже только, дверь на замок закрывая привычно, с одобрением, с укоризною и с приятною искренней, вымолвила:

— Ну и герои! Надо же! Глазам своим нынче не верю. Бывают орлы такие — в наши-то времена!..

И мы, со своей добычей, дождались на тёмном, безлюдном перроне своей электрички, и долго, но всё-таки ехали в Москву, и пили вино, и смотрели, к походам привычные, в отражавшие наши лица ночные вагонные стёкла, и говорили — о чём?

Господи, да о чём говорить в дороге могли два друга, живущих искусством!

Всё о том же — о том, святом, изумительном, непростом, долгожданном, желанном, возможном, упоительном и тревожном, покоряющем все стихии, исцеляющем души людские.

(Потом, через годы, сквозь время пройдя, вспоминали мы с Игорем Галича.

...Он вышел, сутулясь, глаза опустив, прошёл меж берёзой и елью, усталые, жёсткие руки скрестив, и выдохнул горько: «Похмелье!» Над Болшевым сизая дыбила вьсь, киношники жались поодаль. И друг мой привычно сказал: «Похмелись, стряхни с себя тяжесть и одурь». Он выпил бутылку, один, в три глотка, заняухал горбушкой сухою, — и глянул вокруг, и промолвил: «Госка! Не жду его больше, покоя. Что ж дальше?..» А дальше — изгнание, и боль, и песен рыданье глухое, и всё, что означено словом — юдоль, и гибель, и время лихое. И голос, о стольком для нас говоря, сквозь небыль Парижа плеснулся: «На родину, братцы! Пусть хоть в лагерь, но только б домой!..» Он вернулся. И друг мой, когда вспоминали мы дни, сулившие бед возрастание, сказал: «А лицо его было — в тени, но было над тенью — сиянье».

Или, может быть, так.
Облака.

День ли прожит и осень близка или гаснут небесные дали, но тревожат меня облака — вы таких облаков не видали. Ветер с юга едва ощутим — и, отпущены кем-то бродяжить, ждут и смотрят: не мы ль защитим, приютить их сумев и уважить. Нет ни сил, чтобы их удержать, ни надежды, что снова увидишь, потому и легко провожать — отрешенья ничем не обидишь. Вот, испарины легче на лбу, проплывают они чередою — не лежать им, воздушным, в гробу, не склоняться, как нам, над водою. Не вместить в похоронном челне всё роскошество их очертаний — наддышаться бы ими вполне, а потом не искать испытаний. Но трагичней, чем призрачный вес облаков, не затмивших сознанья, эта мнимая бедность небес, поразивших красотой мирозданья.)

И вот Ворошилов, мыкавшийся по знакомым, вдруг снял себе комнату.

Снял — за гроши буквально. Можно сказать, что — даром. Или же поточнее скажем — почти что даром.

Он вселился туда со всеми причиндалами — торбой с красками и кистями, бумагой, картонками, перевязанными шпагатом, одежкой кое-какой небогатой и стопкой книг.

И решил зажить независимой, по возможности вольной, жизнью.

Удалось ему, чудом, возможно, после долгих мытарств, продать иностранцам каким-то, которых притащили к нему, с трудом отыскав его где-то, знакомые, некоторые работы, живопись, давние темперы, и графику, свежие серии.

Покупатели — были довольны:

— Превосходные вещи!

— Недорого!

— Замечательно!

— Великолепно!

И — покупки скорей упаковывать.

И — бутылку виски на стол:

— Это — вам. Угощайтесь! Презент.

Ворошилов — отдал виски.

— Градус есть. Приличный напиток!

И — добавил. И вновь — добавил.

И — расчувствовался. Размяк.

Пробудилась в нём — доброта.

Захотелось ему — приятное иностранным сделать гостям.

Грудю новых темпер достал он — и широким жестом творца показал на них:

— Выбирайте! Что понравится — то подарю.

— О! — воскликнули иностранцы.

И давай поскорей — выбирать.

— Это.

— Это.

— Вот это.

— И это.

— И вот это ещё.

— И ещё... О, какая работа!.. Это.

Ворошилов сказал:

— Всё — дарю!

Изумились тогда иностранцы широте благородной души ворошиловской. Пошушукались. И — вторую бутылку виски из портфеля на стол:

— Презент!

Ворошилов открыл бутылку.

Приложился к ней. Раз, другой.

А потом, после паузы, третий.

Полбутылки — как не бывало.

Закурил свой «Север» привычный.

Бухнул грудю рисунков на стол.

Показал на них:

— Выбирайте! Что понравится — подарю.

— О! — воскликнули иностранцы.

Принялись выбирать — рисунки.

— Это.

— Это.

— Вот это.

— И это.

— И вот это ещё.

— И ещё... О, какая сангина!.. Это.

Ворошилов сказал:

— Дарю!

Иностранцы — переглянулись. И — бутылку виски на стол. Третью. Бог ведь Троицу любит.

И сказали они Ворошилову:

— Извините, но больше — нет!

Посмотрел на них Ворошилов. Пить — не стал. Взял пачку рисунков. Протянул иностранцам:

— Дарю!

Иностранцы были растеряны. Даже больше — потрясены.

Уж чего-чего, но такого видеть сроду им не приходилось.

Головами все качачали. Загудели, залепетали:

— О, спасибо!

— Спасибо!

— Спасибо!

Ворошилов сказал:

— Да бросьте! Всё о'кей, как у вас говорят.

Принялись иностранцы покупки и дары упаковывать Игоревы.

Ворошилов помог им. Сказал:

— Там, в своих зарубежных странах, окантуйте работы. Все. Пусть висят у вас. Есть не просят. Вспоминайте меня иногда.

Иностранцы сказали:

— Конечно!

Иностранцы сказали:

— Повесим!

Иностранцы сказали:

— Вспомним!

Ворошилов сказал:

— Надеюсь!

И — опять приложился к бутылке.

Иностранцы сказали:

— О!

Ворошилов сказал:

— Годится!

Иностранцы сказали:

— Много!

Ворошилов ответил:

— Нормально.

Иностранцы сказали:

— Крепкое!

Ворошилов ответил:

— Сойдёт.

Собрались уходить иностранцы.

— До свидания!

— До свидания!

— До свидания, добрый русский богатырь! Спасибо! Гуд бай!

Ворошилов — их проводил.

— Приходите ещё. Буду рад.

Ворошиловские знакомые, наблюдавшие процедуру иностранных приобретений и даров ответных, сказали напоследок художнику щедрому, провожать уходя привезённых покупателей:

— Ты чего?

Выразительно покрутили у висков своих пальцами:

— Спятил?

И добавили:

— Ну, ты даёшь!..

Ворошилов от них отмахнулся, как от мух:

— Ничего! Прорастет!..

Все ушли. Захлопнулась дверь.

Ворошилов — на деньги взглянул заработанные:

— Жить можно!

И — опять приоделся к бутылке, сделав только один глоток.

Остальное — оставил на утро.

Заварил себе чаю покрепче. Подождал, пока настоится. Всласть напился. Вот это вещь! Не чета какому-то виски.

Взял бумагу, мелки цветные. Помаленьку стал рисовать.

Впереди были — вечер и ночь.

До утра — было времени много.

Все сомненья и страхи — прочь.

Мир — велик. Жизнь прекрасна, ей-Богу!

Надоело уже — кочевать.

Надо — комнату где-нибудь снять.

Надо — снова работать. Надо.

Труд — спасенье. Выход из ада.

И — нашлась наконец-то комната. В коммуналке. И то хорошо. И на том спасибо судьбе. Да и сдавшим её хозяевам.

Было это — везением. Явным. Несомненным. Но и заслуженным. Вот и с комнатой — повезло, безусловно. Хвала везению!

Вообще, коль на то пошло, если вдуматься, было похоже, что пора испытаний всяческих и весьма тяжёлых периодов остаётся уже позади, там, в прошлом, а теперь начинается в невесёлой его, сумбурной и действительно сложной жизни, наконец, полоса везения.

В принципе, это, как водится, следовало бы отметить.

Всё тогда отмечать полагалось.

И тем более — очевидное, вот, смотрите, судите сами, каково оно нынче, — наличие, для художника, для творца, для скитальца, в недавнем прошлом, а теперь — человека с комнатой, пусть и снятой, на время, пусть, но зато ведь в Москве, не где-нибудь, это важно всегда, — везения.

И Ворошилов надумал устроить в снятой им комнате и хорошенько отпраздновать желанное новоселье.

К делу он подошёл обстоятельно, со всей возможной серьёзностью, с той, врождённой, видать, добросовестностью, которая в нём проявлялась, не всегда, иногда, но всё-таки проявлялась — и отдава-

ла всегда, обычно, имеющей нежданное продолжение, последствия, да такие, какие вообразить невозможно было заранее, и очень уж бурное, прямо-таки стремительное развитие, этакое сплошное, непрерывное ускорение, движение по нарастающей, — хозяйственностью, такой, как он её понимал.

Дело было действительно важным.

Закупал Ворошилов — провизию.

Закупал художник — питьё.

Он, имеющий опыт немалый, опыт жизненный, кочевой, многолетний, суровый, богемный, не поскупился на выпивку.

И если уж приобретал водку, то набирал и целую батарею «Жигулёвского», в основном, но отчасти и «Рижского» пива, и некоторое количество минеральной воды, «Боржоми», «Нарзан» и «Ессентуки», и даже, на всякий случай, пригодится, небось, лимонад.

Купил он портвейна, много, белого, красного, розового, купил сухого, дешёвого, по девяносто семь копеек бутылка, белого, на вкус довольно приятного, лёгонького вина.

И всё это сам он тащил, кряхтя, в жильё своё новое, в нескольких, разумеется, авоськах, в один приём, чтоб не метаться с покупками по новой. И — доташил.

Потом — покупал он еду.

Начал с того, что купил сразу десять, — впрок, чтоб запас был еды, — килограммов картошки.

Взял, подкинув их на ладони, чтобы вес ощутить и плотность овощную, два кочана, свежей, светло-зелёной капусты.

Взял вдобавок два килограмма — пригодится — капусты квашеной.

Купил огурцов солёных.

Купил один килограмм лука репчатого, в шелуха сизовато-коричневатой.

Купил килограмм оранжевой, в кудряшках зелёных, моркови.

Купил макароны, крупные, как патроны, купил вермишель, меленькую, рассыпчатую.

Купил чёрный перец и лист лавровый — для приготовления сытных и вкусных супов.

Поразмыслив, купил в мясном отделе свиные ножки с копытцами — для холодца, им любимого с детства, для студня, как он его называл.

Купил две банки студенческой еды — баклажанной икры.

Купил майонеза баночку.

Потом — измятый, слежавшийся пучок зелёного лука.

Вслед за луком — пучок петрушки.

Потом — две банки зелёного, крепкого с виду, горошка.

За горошком — две банки хрена.

И потом — две банки горчицы.

Купил килограмм колбасы чайной и килограмм ливерной колбасы.

Купил сразу три килограмма дешёвой мороженой рыбы — и, когда эта рыба оттаяла, засолил её тут же, причём делал он это умеючи.

Купил он грудку селёдки — её он любил, и ел помногу, и называл уважительно — лабарданом.

Хлеба купил побольше — чёрного бородинского, чёрного круглого, чёрного кирпичиком, несколько белых, по двадцать копеек, батончиков.

Купил он четыре пачки индийского, со слонем на жёлтеньком фоне, чаю, — подвезло, случайно увидел и немедленно приобрёл, правда, с нагрузкой, в виде четырёх подозрительных банок маринованной свёклы, но, впрочем, и она для еды сойдёт.

Купил килограмм соли.

Купил килограмм сахара.

Столько всего накупил, что запросто можно было пир для друзей закатить.

И всю эту гору провизии следовало на пиру всенепременно съесть — так задумывалось изначально, так планировалось, ну а замыслы вместе с планами, столь масштабными, надо было в жизнь воплощать.

Ворошилов убрался в комнате.

Он вымыть не поленился затоптанный, грязный пол.

Он влажной тряпкой протёр стол, стулья и подоконник, все в комнате находящиеся предметы хозяйской, скудной, обстановки — благо таких здесь было наперечёт.

Он даже оконные стёкла протёр — так светлее, праздничнее.

Он варил картошку, разделявал селёдку, лук нарезал, готовил на кухне суп.

Он расставлял на столе, по возможности — покрасивее, тарелки, чайные блюда, раскладывал аккуратно ложки, вилки, ножи.

Он украсил стол пирамидами разнообразных бутылок.

Для каждого им ожидаемого на новоселье гостя он поставил отдельный, вымытый добросовестно, чистый стакан.

Гостей назвал он немало. Даже, может быть, многовато. Пригласил он всех, до кого удалось ему дозвониться.

Он волновался — так хотелось ему перед ними выглядеть хлебо-сольным, щедрым, добрейшим хозяином.

Он побрился. Надел заранее выстиранную и выглаженную, чистую, тесноватую, светленькую рубашку.

Поглядывая на себя, изредка, бегло, в зеркало, висящее на стене, он одобрительно кричал: ишь ты, а всё-таки он парень ещё хоть куда!

Близилось время визита целой орды гостей.

Игорь успел приготовить.

Оставалось ещё немножко потерпеть, чуть-чуть подождать.

Он сидел в тишине за столом, не притрагиваясь к спиртному, — успеется, наверстаем, всё ведь ещё впереди.

Он просто курил — и ждал.

В назначенный час раздался с площадки лестничной громкий, долгожданный, долгий звонок.

Ну, вот оно, вот! Начинается!

Идут. Что ж, вперёд! Пора!

Ворошилов ринулся к двери входной, широко распахнул её — и, сделав широкий, плавный, торжественный жест рукою, с подобающим случаем пафосом в голосе, возвестил:

— Дорогие гости, входите!

В коридор коммунальный, громко, так, что пол прогибался, топая сапогами казёнными крепкими, деловито, целенаправленно, с быстротою, непостижимой для советских граждан простых, не вошёл, а вихрем ворвался жутковатым — наряд милиции.

— Стой!

— Ты кто?

— Документы!

— Взять его!

— Разберёмся! У нас — разберёмся!

Ворошилова, потрясённого милицейским диким вторжением в мир, которого жаждал он, в эту комнату, где мечтал он, погуляв с друзьями вначале, новоселье отметив с ними, здесь, в покое, сосредоточиться и работать всё время, — схватили, как преступника, — и увезли, в неизвестность куда-то, в чём был, в тесноватой чистой рубашке и в домашних разношенных тапочках.

Оказалось, что комната, снятая незадолго и надолго, у ментов была на учёте, что хозяева, люди тёмные, что-то вроде бы натворили и куда-то быстро исчезли.

Чем запретным они занимались, в чём конкретно они провинились, что за люди были такие, — совершенно сейчас не помню.

Был куда страшней и существенней тот нелепейший факт, что именно из-за них, ни за что ни про что, пострадал мой хороший друг.

В милиции на Ворошилова — навешали чьё-то дело.

Так случалось в прежние годы.

Легче лёгкого для милицейских, при чинах, при погонах, властей было в чем-нибудь очень серьёзном обвинить ни в чём не повинного, да ещё и, к тому же, творческого, незащитного человека.

Опять-таки и разыскивать действительного преступника, поскольку был заместитель найден ему, не требовалось.

Галочку там, у себя, в канцелярских своих бумагах, поставили — вот и всё.

Видимость проведённой с успехом, большой работы.

Привычка типично советская — в типично советской, с подменной одного другим, ситуации.

Имитация. Подтасовка.

В случае с Ворошиловым это произошло потому ещё, что художник, не удержавшись, высказал провязавшим его ментам всё, что о них он думал, всё, что считал для себя необходимым сказать.

Их реакция на слова, прозвучавшие, как набат или гром среди ясного неба, оказалась незамедлительной.

В русле мраком покрытой, подлинной, — а не липовой, показной, для отчётов, для планов, — жизни учреждения, в нашем народе, понимавшем всё, нелюбимого, учреждения — порождения всей советской тогдашней системы.

И менты — случай выдался — просто отыгрались на Ворошилове.

Ага, мол, художник? Ишь ты, поди ж ты! Абстракционист? Или кто там? Нигде не работаешь. Тунеядец, значит? Бродяга?

Так ты ещё и возникаешь?

Ну, тогда получай сполна!

Его из ментовки отправили прямо в тюрьму. В Бутырки.

Распрекрасное выбрали место для воздействия — в лоб — на психику — что там чикаться с ним, церемониться? — задавить! — и на душу художника.

Традиции — были. И — навыки. И — методы. Вон их сколько!

Такое местечко, где, хочешь не хочешь, а призадуматься о справедливости в жизни.

Особенно в той, что во мгле затянувшегося бесчасья проходила в нашем отечестве.

За что? — вопрос этот гложил в пространстве тюремной камеры.

Вины отсутствие полное — доказывать было некому.

Ворошилов, однако, упорствовал.

Его Козерожье упрямство възградо с невиданной силой и сказало по-новому в этой трагической ситуации.

Пробудилась в нём воля — и крепость необычную обрела.

Ни за что не сдаваться! Держаться!

Справедливости добиваться!

Должна ведь быть в мире, сложном, жестоком порой, справедливость!

Он твёрдо стоял на своём.

Неужели его мучителям непонятно, что он ни в чём совершенно не виноват?

Пребыванье в тюрьме — его, ворошиловское, — ошибка.

Неразумное что-то. Бессмысленное.

Бред, и только. Нонсенс. Абсурд.

Уж чего только не довелось навидаться ему, человеку горемычному, но тюрьма — это ясно, как Божий день, всем на свете должно быть, — не место для художника. Неужели не желает никто понять, что художнику здесь нельзя находиться категорически?

Почему он должен сейчас отвечать — неизвестно за что, за кого? Почему он вынужден — за кого-то, вместо кого-то, виноватого в чём-то, — страдать?

Наваждение, да и только.

Всё, что нынче с ним происходит, иначе и не назовёшь.

Прирождённый воитель, он не хотел быть безвинной жертвой, не желал становиться безвольной, бессловесной, покорной игрушкой в чьих-то грязных руках, восставал против лжи, противился всячески тому, чтобы так вот, по чьим-то указаниям, или приказам, или прихоти, или блажи, или мести, или зловредности, по случайности, по нелепости, по причине идиотического, в корне, прежде всего, по сути, вот куда посмотрите, стечения разных жизненных обстоятельств быть разменной картой в каких-то изошрённых, иезуитских, политических, может быть, играх милицейских московских властей.

Тогда его из тюрьмы отправили на принудительное лечение — в нехорошую, как Булгаков сказал бы, психушку, похуже тюрьмы, в Столбовую.

Кошмарное было — в годы минувшие — заведение.

Известность была у него широкая и дурная — такая, что, при одном только упоминании о нём, бывалые люди, кое в чём хорошо разбиравшиеся, кое-что получше других понимавшие, тут же вздрагивали, замолкали и напрягались.

Там попытался Игорь по-хорошему, по-человечески, по-честному объясниться, с глазу на глаз, с главным врачом.

Ведь это вполне нормально и даже очень ведь правильно — взять да и поговорить с человеком, дававшим клятву Гиппократу, серьёзным, толковым, напрямую, начистоту, откровенно, как на духу, ничего от него не скрывая, искренне, доверительно, в надежде на человеческое и врачебное понимание.

Тот, как это ни странно, вдруг снизошёл до художника.

Почему? Да кто его знает!

Может быть, проявилось в нём обычное любопытство.

А может, имели место интересы профессиональные.

После того, как Игорь рассказал ему о нелепой истории, произошедшей с ним и приведшей его, по чьему-то распоряжению, таинственному, покрытому пеленою туманных домыслов и догадок, сюда, в психушку, а потом откровенно поведал, вкратце, о жизни своей и непростой судьбе, ну а потом, незаметно увлечьшись, подробно, доходчиво, хотя, как всегда, с основой философской и метафизической, с привлечением, для наглядности, цитат из Святого Писания, из Корана, из мифологии, из Гёте, из Бёме, из Экхарда, из Хлебникова, рассказал о своём понимании живописи и тут же ему прочитал интересную и поучительную лекцию о Ван Гоге, — «лечение» принудительное сразу же, в тот же день, после беседы, усилили.

После второй, вдохновенной, разумеется, и обстоятельной, лекции о Сезанне, прочитанной, неожиданно для самого себя, Ворошиловым, почему-то, — в полном составе появившемся перед ним, навестившему вдруг его как-то утром, — по чьей команде и с какой целью — неясно, заинтересовавшемся его, ворошиловской, творческой, художнической, не такой, как у членов МОСХа, не очень-то доступной для понимания, вовсе не реалистической, формалистской какой-то, сложной, деятельностью, с которой разобраться бы надо как следует, и его сокровенными, личными пристрастиями в искусстве, — коварному, как оказалось, но всё-таки поражённому эрудицией небывалой и редкостным красноречием пациента, выдавшему виды, но с подобным случаем сроду не встречавшемся, озадаченному, — тем не менее, выполнявшему исправно свою работу, разрушительную, жестокою, медицинскому персоналу, — после некоторой заминки, после кратких переговоров меж собою, за дверью, надёжно закрытой для посторонних, словно поспешно слишком навёрстывая упущенное, да и так, для порядка больничного, а вернее, чтобы скорее проучить и вконец загнать вот этого, странноватого, если мягко сказать, художника, ему назначили, кажется, тридцать, пусть, мол, помучится, может и станет попроще потом, инсулиновых шоков.

Словом, чем дальше, тем хлеще.

«Лечение» шло — исправно, регулярно, по нарастающей.

С компонентами всеми возможными процесса этого долгого — жестокостью, издевательством, откровенным садизмом, — и прочими, помельче и покрупнее, — и не было им числа.

Испытывали на нём непонятные препараты, от которых, раньше ли, позже ли, ежели не загнуться, то свихнуться уж точно можно было всем подопытным людям.

У советской психиатрии средств подобных было с избытком.

Почему же их лишний раз не опробовать на отдельном, да таком ещё, как Ворошилов, то есть мыслящем, человеке?

Вот и пользовались удобным, подходящим для этого, случаем.

Вот, войдя, вероятно, в роль, или в раж войдя, и старались.

Человек-то был — беззащитным.

Был — беспомощным. В их руках.

Выбивали здесь из него — всеми способами, какие подходили более-менее и какие годились, так, на авось, на глазок, «художническую дурь». Но что скрывалось тогда под этим определением, что конкретно имелось в виду, спрашивать было не у кого.

Непохожесть, всегдашняя, давняя, ворошиловская, на других, сама по себе уже должна была раздражать и ставить в тупик врачей.

А тут ещё и спихнули-то его, им в руки, — мол, вот вам экземпляр, поработайте с ним хорошенько, вы это умеете, — не какие-нибудь московские, при погонах, шестёрки, пешки, а милицейские власти.

Значит, был у них, у властей милицейских, для этого повод.

Значит, были причины для этого.

Так зачем же тогда теряться?

Вот он, подопытный кролик.

Ну и, следует помнить, конечно, что сказано было сверху: помучить его как следует здесь, да так, чтоб со временем он и родных своих не узнал.

Посему — за работу, товарищи!

Что с ним только ни вытворяли, как над ним только ни издевались!

Доселе понять невозможно, как Игорь всё это выдержал.

Продержали его в психушке — полтора долгих, горьких года.

Вы вдумайтесь в эту цифру.

Полтора бесконечных года настоящих пыток, жестоких издевательств, сплошных истязаний.

Полтора беспредельных года ни на час, ни на миг, хотя бы, днём ли, ночью ли, не прекращающегося, нескончаемого кошмара.

Полтора безнадежных года постоянного, на измор человека берущего, ада.

И если бы не богатырский ворошиловский организм, то вышла бы из психушки великий русский художник законченным инвалидом.

Если бы вообще в таких условиях — выжил.

Из писем. На смятых листках, в основном — из тетрадок школьных, или вырванных из блокнотов, торопливо и густо исписанных ворошиловским крупным почерком, разрозненных, сложенных вчетверо, чтобы спрятать их и потом передать украдкой, при случае, навестившим его друзьям, — чтобы те поскорей их отправили, из Москвы, далеко, на Урал, драгоценной, любимой Мире.

Из неволи. Из заточения в аду подмосковном. Игорь Ворошилов — Мире Папковой.

— Милая! Что с тобой случилось? Я написал уже три письма, от тебя же никаких вестей. Отзовись. Я на инсулине. Неволя доконала меня. Теперь я понимаю зверей, которые в неволе не размножаются. Я — из их породы. Жизнь здесь проходит скучно и безобразно — но ничего не поделаешь — хотя временами и не могу сдержать своего бешенства. А это мне вредит.

— С утра просмотрел я пустые сны и коловращенье миров в калейдоскопе Вселенной, о движении Духа в самом центре ядра атома; о распаде Бога, который неожиданно перестал быть единственным, о сумасшедших домах, в которых я ещё не бывал, но обязательно побываю — не в этом времени, так в другом; о предательстве любимых, желания которых менялись молниеносно — и горько мне было и страшно в этом инсулиновом бреде: пустые сны, пустое сердце, пустая жизнь — и никакой надежды.

72 — 26-1.

— Голубушка моя, от тебя ни слова, ни проклятий. Боюсь говорить — неужели в болезнь ввергнутая? Столько врагов, столько сук! О, не дай тебе Боже заболеть. Милая, я умру. Я всегда притворялся. Я люблю тебя безумно. И больше чем ты — меня. Я это знаю, но я скрывал, потому что ты глупа, а я боюсь твоей глупости. Ты баба, тебе позволено мучить. Как ты меня мучила. Я всё прощаю. Я говорю — люблю. Я говорю — Мирочка, милая моя деточка, выздоравливай, похорони меня — тогда всё будет в порядке. Не затоскуй, когда это будет. Всё — можно найти. Только — не меня.

— Как отдалённый гул весенней ночи, когда рассвет чуть брезжит, а свиданье ещё в зените страстного моленья, горячих поцелуев и упрёков, и горьких слёз и жалобного счастья, — я, воспалённый, в гневе ожиданья прозрачий неожиданных, пророчеств, брожу по тёмной комнате, как леший, и грежу наяву — и вижу небо других, неведомых и страшных сказок, где только нарождается мгновение — и всё в чаду тропического жара, в котором млеют души и туманы, и мы в любви смертельной жаждем боли, чтоб через путь и мету слёз кровавых познать другое, скрытое, благое, — неуловимое, как суть миров высоких, которым мы в болезни отвечаем горячим словом, воспареньем, светом, не зная ни покоя, ни отрады, ни лёгких снов, ни призрачного счастья, всегда в пути, в ревнивом напряженье, всегда в пути — до самой, самой смерти.

— Приглашая вас на танец, что мне делать, Маргарита? Поцелуем ли отметить вашей смуглой шеи выгиб иль ревниво упадая до колен — колонн высоких, овном радостно заблеть или горестно заплакать. Нет в душе моей решенья, разум страстно помутился, и уходят в синий вечер грёзы странные мои. Может, завтра, может, в полночь встречу вас с весёлым мужем, содрогнусь и бедным сердцем запылаю и умру. Но сегодня я не в силах оторвать шального взгляда от лукавейших вопросов ваших влажных быстрых глаз. Страхи — прочь, не зацелую, я ведь рыцарь чистой веры, только плачу и вздыхаю, только мучаюсь во сне.

Почему не пишешь? Здесь ужасная скука. Инсулин ничего не даёт, кроме того, что в шоках открываются довольно путающие потусторонние вещи. Целую тебя нежно, — всю, много-много раз. Игорь.

6/П — 72.

— Милая! От тебя никаких вестей. Я уж отчаялся дожидаться. Что-нибудь опять случилось? Пиши мне почаще. Я здесь задыхаюсь от скуки и тоски. А ещё сидеть и сидеть. Всё опротивело, видеть никого не могу, угнетённое состояние, депрессия. Очень тяжело. Представь себе вокзал — с его шумом, гамом, переполненностью — вот в таком отделении я живу. Нет минуты, чтобы побыть одному. Оттого-то я смертельно устал. Единственное спасенье — сон. Я буквально спасаюсь сновиденьями. По крайней мере, хоть во сне побудешь сам

с собой. И за какие только грехи выпал мне этот ад? Соскучился по живописи. О тебе и не говорю. Пиши. Игорь.

— Мира! Теряюсь в догадках, пытаюсь понять, почему ты молчишь. Как-то не верится, что тому причиной какое-нибудь глупое или горькое событие. Во всяком случае, от тебя нет писем уже 1,5 месяца (!). За это время можно было бы написать и о несчастье, если оно случилось, и о ещё какой-нибудь задержке. Ты не представляешь, как мне здесь тяжело приходится. С прошлогоднего мая я не могу найти ни места, ни времени, чтобы порисовать. А желание было так велико. Сейчас нет ни желания, ни мыслей. Во мне тупо ворочается тоска и какая-то особенная глухая боль. Жаль золотого времени, что уходит безвозвратно, жаль себя за неустройство и призрачность будущего, жаль, что всё, что наработал, расплылось, разошлось по рукам — и теперь я как сирота или как отец, потерявший в старости опору — своих сыновей, и задыхающийся в одиночестве, да чего только ещё не жаль. Того и изобразить невозможно. Времени здесь много, жизнь трезвая — и вот всё думаешь и думаешь — и потихоньку седеешь. В таком состоянии каждое слово друга и любимой на вес золота — неужели ты этого не поймёшь. Не пиши только лишнего, потому что письма читают — и все. Уж как мне совершенно нечего писать родителям, я, зная, как там тоскует мать — пишу же и нахожу, о чём. Хотя два слова, но уже письмо, уже весть. Обязательно напиши. Я прошу тебя перенести отпуск на август — раньше я вряд ли выйду. Это тебе ничего не стоит, а я в неволе и от меня ничего не зависит. Пиши. Целую крепко. Игорь.

4/V — 72.

— Милая! Я получил от тебя письмо. Был очень обрадован, но должен снова тебе заметить, что здесь письма читают внимательно. Ради Бога, о моих делах в больнице — ни слова. Все или почти все письма, которые ты от меня получаешь, переданы тайно, минуя врача. Так что не обо всём, что я тебе пишу, можно говорить открыто. Я могу ещё раз сказать тебе — хватит мучаться, хватит жить врозь. Это до хорошего не довели. А если будет так продолжаться, то может быть ещё хуже. Я не скрою от тебя, что мой срыв — следствие болезненного состояния. Нельзя жить человеку в таком напряжении. Я тебе говорил, когда мы шли в «Большой Урал», что я нахожусь под страшной силы прессом. Ты, однако, не обратила на это внимания — или обратила в том смысле, что такой уж у меня тяжёлый характер. Характер характером, а он у меня, как не совсем неправильно заметил Лёва Пасеков, отличен тем, что большей своей частью объясним и зависит от моей внутренней работы, которую я ревниво оберегаю, что дало повод Стесину назвать меня хитрым и скрытным другом, который редко говорит то, о чём думает (не знаю, насколько он прав) — характер, говорю я, характером — но обстоятельства, которыми я был окружён последнее время, были столь зловещими и ненормальными и всё это, к несчастью, было так глубоко внутри меня запрятано, что рано или поздно нарыв должен был прорваться. Че-

стно говоря, я за 1,5 месяца предчувствовал надвигающуюся беду, но ничего не мог с собой поделать. Милиционеров я не мог видеть без злобы и содрогания. И постепенно заболел элементарной манией преследования. Когда же пришлось с ними столкнуться — меня провало, и я им кое-чего сказал, за что и сижу сейчас в больнице. Живи я другой жизнью, я уверен, что этого не произошло бы. Целую тебя нежно. Игорь.

— Милая! Я получил два твоих письма. Слава Богу, что у тебя всё в порядке. Конечно, молчание твоё в это время — преступление, но я помолчу... У меня 24 мая была комиссия, и принудку врачи мне сняли. Сейчас дело уже направлено в суд, который тоже должен снять с меня принудку. К августу я выйду. Я не совсем тебя понял в последнем письме. Ты пишешь, что я должен предупредить тебя письмом о своём приезде в Свердловск. Это, по меньшей мере, странно. Ты же собиралась в отпуск в Москву — и это было бы удобнее. Я жду разъяснений. Отпуск бери в августе. Я по выходе снял бы в Москве комнату. У меня здесь скопилось много дел — и честно говоря, я так истосковался по живописи, что мне не терпится скорее приняться за неё. В Свердловске я не смогу заниматься ею. Вдобавок же — с места в карьер бродяжить, обивать пороги Аркаши или Валеры для меня сейчас было бы очень тяжело. Я утратил интерес к людям и мечтаю о затворничестве и покое. Нелепые претензии людей меня крепко раздражают. Никто на меня не имеет права, никому я ничего не должен, а между тем меня содержат как скотину совершенно мне посторонние люди, да ещё вдобавок всячески ущемляют в правах. Это безнравственно — и в высшей степени абсурдно. Человеческое общество с его порядками мне активно враждебно. Когда начинаешь смотреть на человека со стороны социальной, трудно, как говорил Ницше, скрыть «вздых презрения». В общем, я за Москву. Деньги мне нужны, да потом не исключена возможность, что к половине июля я выйду. Крепко целую. Игорь.

1/ VI — 72.

— Милая! Я очень сочувствую тебе за маму. Утешать я не умею, да и сама смерть, размышление о ней — постоянно производят в моей душе опустошение — я бываю временами совершенно раздавлен очевидным абсурдом — тем не менее, скажу, что плач о покойной никак не успокаивает её душу, которая покат носится над землёй; наоборот огорчает её, предаёт её мучению. Как бы велика ни была скорбь, надо всегда помнить, что самое худшее у почившей — позади. Я исхожу в этом из своей твёрдой, детской веры в бессмертие души — и тебе желаю этой же самой веры. Я также твёрдо уверовал в то, что этот мир — юдоль страданий, что противоречит конечной цели человеческого существования, что в свою очередь говорит в пользу других миров и другого бытия, где нет похищения, нет дисгармонии, нет абсурда. Впрочем, я только рассуждаю — и поэтому прошу простить меня, если что-нибудь не так выразил. Добавляю только, что ты напрасно считаешь себя сволочью за то, что два года

ей не писала. Конечно, это не очень хорошо. Но, в конечном счёте, важна твоя любовь к ней, а не что-нибудь другое. В этом смысле, — у тебя нет причин для терзаний. Я не получил пока от тебя письма с разъяснениями. Почему ты ждёшь меня в Свердловске? Ты знаешь, как там трудно, почти невозможно устроиться с жильём — не говоря уж о том, что там будет совершенно невозможно заниматься живописью. Пощади меня. Конечно, вам трудно представить, какое мучение и какая пытка для художника невозможность работать в то время, когда он полон замыслов и желаний. 10 месяцев я нахожусь в условиях, которые могут порождать только истерию и скрежет зубовой. Я не чаю дожидаться того часа, когда освобожусь и измажусь в свои любимые краски. У меня тут есть кое-какие деньги. В июле я, по всей вероятности, выйду. Бумаги уже в суде. Сниму комнату. Бери на август отпуск и приезжай сюда. Это будет по-человечески. А в Свердловске опять будет чёрт знает как. Напиши мне быстрее. Неужели не наберёшь денег на поездку? Целую тебя крепко. Игорь.

14/VI — 72.

— Мира! Я знал, что беда обрушится — и сочувствую тебе в мере всех своих возможных и даже невозможных сил. Я разделяю твою скорбь и твоё горе — поверь, мне это всё так понятно, что слова, пожалуй, и излишни. Я очень любил твою маму. Она была прекрасной и, к сожалению, редкой женщиной. Я думаю — ей было нелегко с её мягкосердечием и врождённой деликатностью. Возможно, раньше было иначе — но сейчас, когда вампиризм стал повальным явлением, таким людям жить просто невыносимо. Не думаю, что раньше было намного меньше кровососов. Отсюда и заключаю, как ей было нелегко, поражаясь её выдержке, умению держать себя в руках. Для этого нужны душевные силы — и немалые. Милая, я не знаю, как тебя утешить. Могу сказать, что есть только один выход — смириться с неумолимостью хода событий. Другого выхода — нет.

— Милая! Будет хорошо, если ты возьмёшь отпуск в августе и приедешь с Верой к Яше. Я должен выйти к августу. Домой я хочу уехать в октябре — и буду там долго. По выходе же у меня будут здесь дела, и я всё равно сразу не смогу приехать. Потом — мне хочется немного отдохнуть. А дома отдых вряд ли возможен (я имею в виду отдых психический). Дома меня начнут ежедневно пилить за то, что не женюсь — и они правы. Что им возразить? Уроды и те имеют семьи и детей, стараются их иметь. Как-то я тебя спросил в сердцах (вопрос глупый) — почему ты так рано вышла замуж? Ты ответила, что боялась слышать от людей насмешки и пересуды относительно девичества. Это тебе сколько было! А у меня уже вышли все сроки. Можешь представить, как изводит меня отец и особенно мать по этому делу, не говоря уж о всяких встречных-поперечных. Из-за этого мне домой хоть не езди. Поэтому-то я и хочу месяц-полтора побыть здесь в тишине и уединении. Я не могу поверить, что ты не можешь сюда приехать. Много ли надо? В общем, я на-

деюсь, что ты откликнешься на мою просьбу и приедешь. У нас жара, в палате невыносимо душно, я изнемогаю. Отвечай сразу же. Целую крепко. Игорь.

Мира Папкова, тихая, задумчивая, печальная, прошлое вспоминавшая, когда её навестила я несколько лет назад зимнею снежной порой, ворошиловская Лаура, или, может быть, Беатриче, любовь его встарь великая, вручила мне эти письма.

И они говорят о минувшем времени, о тяжёлом Игоревом периоде, о начале, ещё только самом начале его психушек, страданий, мытарств и бед в семидесятых годах — его, Ворошиловским, голосом.

Боролся Игорь с постигшей его бедою, как мог.

Сумел он собрать воедино для этого — всю свою волю.

В который уж раз Ворошилов собирал её, вновь собирал, — и не просто в комок, а в светящийся энергетический сгусток.

Так было надо. И он, как никогда, отчётливо, это здесь понимал.

Воля — это ведь жизнь, для него.

Воля — это победа грядущая.

Надо было и здесь, в аду, выжить, надо было — держаться.

Он писал стихи здесь — пронзительные, полные философских обобщений, и взлётов мистических, и неизбывной горечи.

Если когда-нибудь их удастся опубликовать, то окажутся перед читателем свидетельства духа, который пытались когда-то сгубить, но который, среди испытаний, оказался не просто живучим, и не просто высоким, нет, проявился он в этих стихах во всей своей редкостной мощи.

Дух — сквозь мрак. Да, именно так.

Дух — сквозь боль. Что было, то было.

Он пытался здесь — рисовать. Иногда. Хотя бы — урывками.

Но какое могло рисование быть в больничном его заточении?

Разумеется, это его огорчало и угнетало.

Но куда же было деваться?

Оставалось только мечтать, что когда-нибудь всё равно он дорвётся до карандашей и до красок, — и уж тогда отведёт наконец-то душу, с упоением, власть поработает.

А пока что, в стенах психушки, — сам себе задавал он уроки, ежедневные, неустанные, сплошные уроки терпения.

Бесконечные дни и месяцы всё тянулись, всё шли, в ожидании просвета, хотя бы крохотного, — всё равно ведь за ними придёт настоящий свет, — впереди.

Дал он знать «на волю», где именно и в каком, увы, положении, — и отчаянном, и опасном, и критическом, — нынче находится.

И друзья, божественные люди, потрясённые этим известием, далеко не все ведь их тех, кого, по своей наивности, по привычке дав-

нишней, искренней, видеть в них всегда только лучшее, Ворошилов считал друзьями, а считанные, но зато проверенные в беде, иногда его навещали.

Приезжал я к нему в Столбовую, привозил ему курево, чай, фрукты, кое-какую еду.

Покупал я то, что, в ту пору, на свои крайне скудные средства, мог, для друга, приобрести.

Но гостинцы скромные эти привезти — считал своим долгом.

Ведь всё-таки витамины, для поддержания сил.

Их получить их там, в условиях тяжелейших психушки, бывшей, во многом, ещё и похуже тюрьмы, Игорю было приятно.

Какая там никакая, пусть и маленькая, да радость.

Кто и сам побывал в подобных, лучше, хуже ли, всё равно ведь непростых всегда, ситуациях, тот меня прекрасно поймёт.

А немало перебивало ведь — в психбольницах — знакомых, здравых и талантами разнообразными наделённых щедро, людей.

Важно было — увидеться с другом.

Поддержать его. Подбодрить, по возможности, как уж выйдет.

Сказать ему — важные, нужные, сегодня, теперь, — слова.

Помочь ему непременно надежду свою укрепить.

По-дружески, по-человечески, пусть и недолго, столько, сколько нынче врачами дозволено, здесь, в психушке, с ним рядом побыть.

Ворошилов ко мне выходил — исхудавший, жёлтый, небритый, но зато с волевым, сечевым, гордым блеском в усталых глазах.

Был он, друг мой, потомок славных запорожцев, казак лихой и орёл, — измождённым, измотанным, был — закормленным всякими странными для него, совсем непонятными, и похоже, что просто убийными современными препаратами.

Но он — противился гибели.

Он, созидатель, творец, — противостоял разрушению.

И это видел я сразу — по взглядам его, в которых читалась решимость внутренняя — все препятствия на пути к желанной грядущей победе обязательно преодолеть.

Мы с Игорем потихоньку, так, чтобы нас не слышали шныряющие вокруг санитары, а то и врачи, уединившись где-нибудь подальше от этих монстров, беседовали, — и я с ужасом осознавал, что это за развесёлое заведение, эта психушка, где находится, ни за что, ни про что, мой хороший друг.

Все голливудские, без исключения, фильмы ужасов, увиденные в дальнейшем, после развала Союза, когда хлынул к нам бурный поток западной кинопродукции, все книги подобного рода, прочитанные потом, просто меркнут, сходят на нет, при сравнении с нашей, советской, отечественной психушкой.

Всё в ней, рядом, на каждом шагу, с каждым взглядом, с каждой минутой, проведённой здесь, обнаруживалось — Босх и Гойя,

Данте и Гёте, и Дали, и наш дорогой Николай Васильевич Гоголь, и Булгаков, — да и чего там только не было, что там только в дни приездов моих к Ворошилову то и дело не узнавалось!

Лучше, мой вероятный читатель, мне сейчас помолчать да вздохнуть.

Вытащить Ворошилова из психушки было, в те годы, нам, друзьям его, невозможно.

Что мы сделать могли тогда, как могли мы тогда это сделать — при полном отсутствии должного, с непренной закалкой, опыта, и не только его, но ещё и нужных, крепких, надёжных связей, без которых в былые, мглою днесь покрытые, времена, да и нынче, в период нашего затянувшегося междувременья, коль на то уж пошло, и шагу было всем нам не сделать, чтобы не наткнуться вдруг на преграды, а спокойно весь путь пройти?

Оставалось только поддерживать Ворошилова, хоть по-дружески.

Оставалось лишь верить — в его избавление — в грядущем — от бед.

Он сам себе цель поставил: всенепренно выбраться отсюда, пусть и не сразу, тут уж всё и ежу понятно, и придётся ещё потерпеть, и помучиться здесь немало, но потом, через время какое-то, когда все эти адовы муки, круг за кругом, будут им пройдены, и победа будет за ним.

И — сумел из психушки выбраться.

Через полные всяческих ужасов полтора — жизнь убавивших — года.

Дали, на всякий случай, «группу» ему, как психически больному, долго лечившемуся в соответствующей больнице, нуждающемуся в помощи медицинской, необходимой наперёд, на долгие годы, если выживет, человеку.

От пресловутой «группы» этой, читай — от надзора властей и врачей незримого, некуда было деваться.

Этакое специальное клеймо, для вольнолюбивых, независимых от заведённых в Империи, столь давно, что казалось уже — навсегда, порядков тоталитарных, от рабского повиновения кремлёвским властям, трагических в своей фантастической стойкости, людей, современников наших, соратников, собеседников, мучеников, героев.

Клеймо, дающее право людям — на жалкую пенсию.

Дело с милицией — как-то само по себе затихло, забылось. Никто о нём почему-то и не вспоминал.

Ворошилов вернулся к нам из психушки слегка постаревшим, но с каким-то особенным, новым, ему открывшимся знанием тайным — о мире и людях.

И — с подорванным основательно — медициной советской — здоровьем.

Всем понятно было тогда, почему оно оказалось подорванным основательно — и кто именно так расстарался, чтобы его подорвать.

О болячках думать всерьёз не желал он сейчас, и всё тут.

Не желал. Не хотел и слышать. Принципиально. Сознательно.

У него-то — какие годы? Вполне ещё молодые.

Некогда, просто некогда чувствовать всюду себя угнетённым, разбитым, больным.

Да мало ли что там болит?

Лучше — этого не замечать.

Стараться — не замечать.

Приучить себя — не замечать.

Здоровье — дело, похоже, поправимое. Так он считал.

Панацея от бед — работа.

Вот что сейчас для него в жизни самое важное.

Вот в чём сейчас для него — спасение настоящее.

И он принялся — работать.

Так мечтал он в психушке проклятой о возможности заниматься искусством — и наконец-то получил, — нет, радостней надо сказать об этом, пожалуй, — обрёл он эту возможность.

Наконец-то дорвался он до живописи своей.

Наконец он сможет «измазаться в свои любимые краски»!

Ворошилов ринулся к творчеству — в свой мир, в свой лад, в свои ритмы, в животворный свой, рукотворный свет, — словно ринулся в бой.

Только это сражение нынешнее — было радостным для него.

На подъёме сплошном, на одном невероятно долгом, свободном, широком дыхании, на взлёте, великолепный в своей одержимости новой работой, в своей вдохновенности, в своей неистовой страсти к художническому труду, создавал он за серией серию, одну сильнее другой, свои дивные темпера, с магией обобщений и всех деталей, и цветные, с празднеством линий, рисунки в смешанной технике, и сангины очаровательные, и рисунки углём стремительные, и рисунки тонкие тушью, и ещё, и ещё работы, в самой разной технике, сызнова, так и надо всегда, на любом подвернувшемся материале, на картоне, и на холсте, на бумаге, и оргалите, на каких-нибудь там деревяшках, всё равно, и работа кипела, непрерывно, в его руках, — и это, следует знать потомкам нашим в грядущем, не фантазия и не сказка, но свидетельство достоверное, и моё, и не только моё, но и многих других очевидцев, — и, скажу вам сейчас нечто важное, из всего вот этого, сказочного, да и только, потока работ, возникающих, чудом, казалось бы, ниоткуда, как по мановению, взмах — и чудо, волшебной палочки, в наикратчайшие сроки, из всего вот этого света, изумительного сияния, из этих образов светлых души, из образов мира, из добытой кровью гармонии —

звучала тогда для меня новая, мощная, близкая к музыке, полифония ворошиловская, звучали сразу несколько тем, которые переплетались, аukaлись, приглушались и возникали сызнова, — и образовывали единое целое, синтез, уникальный, сложный, не всеми постижимый, но и прекрасный в душевной своей чистоте, в сердечном порыве, в движении к сути, — и это был совершенно особенный, редкостный, ворошиловский контрапункт, в этом было нечто вселенское, по структуре своей, по размаху, по развитию связей духовных, по срастанию нитей незримых на путях земных и небесных, нечто Баховское, грандиозное, — то, что им сейчас разрабатывалось, на глазах у нас, то, что потом получило, в восьмидесятых, не в Москве уже, а на Урале, в долгий, зрелый его период, озарённый любовью, такое — поражающее людское, на столетья, воображение, — удивительное развитие, то, чего словами не высказать никакому искусствоведу, и поэту даже не высказать, то, что, братцы, и называется искони на земле — Искусством, — и вот этим-то словом, кратким и довольно простым, всё и сказано.

Семидесятые, трудные и уже легендарные, годы — сердцевиный большой период в небывалом, и по масштабу, и по силе духовной, разбросанном, в наши дни, по странам различным и по многим собраниям, выжившем, состоявшемся и оставшимся навсегда, ворошиловском творчестве, — и на светлой палитре его появились новые, скорбные, иногда и суровые краски.

Но природное жизнелюбие, ворошиловское извечное, вопреки скорбям, изумление перед радостью бытия, — не позволили им затемнить остальные, на редкость чистые, для души крылатой целительные и для сердца людского, тона.

И кто нам скажет, что за век нас ожидает, неуклюжих, вот здесь, где тополиный снег, слетев с висков, зовёт в ковчег, бегущий праздных и досужих? Целованные каждым днём, испытанные каждой ночью, играем, гордые, с огнём, доверчивые, гибнем в нём, чтоб с Богом встретиться воочию. Я пью за то, чтоб вся листва, в глазах усталых отразившись, услышав скорбные слова, нашла высокие права, юдоли нашей поразившись. Вот так в зрачке сопряжены и вдохновенье и виденье с движеньем странички-весны, где притяжение луны подобно древнему раденью. Так открывается тетрадь, поверив только посвящённым, чтоб ран извечных не считать, но, только Ангелам под стать, хотя б грядущим быть прощённым. А в небе плачет и поёт душа, расправившая крылья, затем, что радость сознаёт меж озарений и невзгод, хранящих Света изобилье.

2000, 2008



Виктор КАГАН

/ Даллас, США /

Студент факультета смерти

*«Я просто профессор жизни,
студент факультета смерти»*

Пабло Неруда

* * *

Любовь болеет мной... обмётанные губы,
изодранный наждак сухого языка,
колокола в башке, в груди прорвало трубы,
бессонных роговиц кровавая тоска.

Любовь болеет мной... случайно подхватила
нелепого меня, непрошеную хворь.
Я — свет в её окне. Всё без меня немило.
Но я потом пройду, как свинка или корь.

Она посмотрит вслед и позабудет скоро,
прикусит стебелёк, потряхнёт волос копной,
откликнется на зов другого разговора
и больше никогда не заболит мной.

* * *

Стынет точка, что сказке и книжке конец,
в белизне без конца и без края,
и обложка, и крышка, и делу венец,
и на веки ложится, не тая,
эта боль, эта блажь, этот жизни каприз,
эта соль на губах — привкус слова,
эта оторопь неба, глядящего вниз,
где слепой — поводь у слепого.

* * *

А если я тебе и подпою,
то разве что по дружеской по пьянке.
Играй, музыка, музыку свою
на старенькой раздолбанной шарманке.

Играй, музыка, в питерском дворе
на дне колодца меж немых окон
в забытом Богом рыжем сентябре,
где жизнь укрылась в подзамочный кокон.

Играй «Разлуку» и под звон монет
пускай твоя тоска навзрыд ликует,
как будто счастьем окончанья нет,
когда уже кукушка не кукует.

Играй с похмелья словно во хмелю,
входи в окно, коль не пускают в двери,
подранком, выдыхающим: «Люблю,
надеюсь и люблю, люблю и верю».

В квадрате неба стыннут облака.
Закат в стекле краснеет виновато.
И музыка твоя, как жизнь — горька,
как смерть — сладка, как нищета — богата.

* * *

Чёрная кошка перебежит воровато дорогу.
Белая цапля склонится над серебристой рекой.
Всё — как всегда, как водится. Маемся понемногу
дурью, любовью... И время вздрагивает под рукой.
Всё будет так, как должно, даже если — иначе.
Будем хотеть как лучше — получится как всегда.
Сами себя похороним и сами себя оплачем,
а ворох счетов не оплаченных — уже не наша беда.
На жёрдочке между датами птица Сирий залёгнется,
и ей вместо Синей ответит синица, что билась в руке.
Взовьётся воронья стая. И в глубине колодца
будет метаться эхо, как мир в опустевшем зрачке.
Лето уходит в осень. Пора подводить итоги.
Сальдо и бульдо не сходятся, как не сходились всегда.
Рябина краснеет. Жёлтые звёзды на мокрой дороге.
Заброшенным нотным станом — голые провода.
Влёт подстреленный вечер летит, на ветру дрожа, и
ложится в ладони времени и прикикает к земле.
Год начинается с осени — с праздника урожая.
Паданцы дней под ногами. Хлеб и вино на столе.

* * *

если честно
 он не любил эту игрушку
 какой-то дурацкий тюльпан
 нужно было давить на поршень
 рука быстро уставала
 тюльпан раскрывался
 и в центре с тупым скрежетом
 крутилась на месте механическая дюймовочка
 жалкая копия той из книжки
 но родители подарили и он крутил
 а они как павловская собачка
 заходились восторгом
 и он крутил
 ему нравилось когда они улыбались
 теперь их давно уже нет

потом
 когда из многих дюймовочек он выбрал одну
 весёлую плотно сбитую хохотушку
 из тех что коня на скаку и в горящую избу
 и у них подрастал замечательный мелкий
 он иногда доставал эту игрушку
 рассказывая сыну о бабке с дедом
 или объясняя наглядно
 центростремительность
 раскрывающую лепестки
 и центробежность
 которая удерживала бы Дюймовочку
 в центре вращающегося тюльпана
 если бы она не была приклёпана намертво
 сын снисходительно слушал
 жена улыбалась
 он любил когда она улыбалась
 теперь её тоже давно уже нет

сын вырос красивым парнем
 похожим на мать и таким же весёлым
 он любил когда отец улыбался
 что с отцом случалось не часто
 последний раз
 у военкомата где он провожал сына
 отдавать долг родине
 а газеты кричали что салажат срочников
 не посылают в горячие точки
 они обнялись
 сын по дороге к машине оглянулся
 ну улыбнись батя на счастье солдату

и он улыбнулся
через полгода сын вернулся домой
грузом двести в чёрном тюльпане

сегодня
что-то его потянуло на дачный чердак
среди зарослей паутины
поверх слежавшейся пыли
в груди ненужного хлама
он нашёл этот тюльпан
игрушка в хлам проржавела
пружина поршня сломалась
под облупившейся краской тюльпан оказался чёрным
время и влага
сплавили лепестки в монолит
он давит на неподдающийся поршень
руке больно
но чёртов тюльпан раскрываться не хочет
и дюймовочка не появляется
не появляется
не...

* * *

Дмитрию Леонтьеву

1

Когда смерть приходит в мою жизнь —
пока не за мной,
не говорите: «Не плачь!»,
не утешайте меня
сказками о жизни после жизни
и времени, которое лечит.
Не заставляйте меня говорить: «Я любил» —
я люблю.
Не лечите меня от любви.
Радость моей любви сменилась болью,
но счастье любви со мной.
Не входите без стука,
не колотите в бубны пустых слов,
разгоняя свои страхи.
Не мешайте мне —
я учусь ходить по этой земле,
по этому городу,
по этой улице,
зная, что дверь уже не откроется,
навстречу мне не распахнутся глаза

и не протянутся руки.
 Не мешайте, прошу вас, не мешайте —
 я учусь говорить заново,
 без отражения слов в глазах напротив,
 слыша только их копошение в осипшем горле,
 откуда они выходят беспомощные и слепые.
 Пока беспомощные и слепые.
 Они тычутся в жизнь растерянно и неловко,
 словно котят, которым не в кого ткнуться носом.
 Я научусь говорить.
 Но сейчас я начинаюсь с нуля,
 ещё не позволяя себе знать,
 что буду ходить, говорить, смеяться,
 как было вчера и позавчера, и всегда,
 а зная лишь, что завтра будет иным.
 Оставьте меня...
 Но, если вы можете просто посидеть рядом
 и послушать, как скользит по щеке слеза,
 как моя тень отмеряет время,
 как я прорастаю сам из себя, —
 просто помолчать и послушать, —
 пожалуйста, не уходите.

2

время
 из череды рождений
 становится чередой смертей
 никто не становится в эту очередь
 но она непрерывно движется
 на твоей ладони записан номерок
 который ты прочитать не можешь
 и это что ни говори хорошо
 хотя дело вовсе не в этом
 прежде чем придти за тобой
 смерть снова и снова
 возводит тебя в степень одиночества
 из которого ты вышел
 и в которое снова уйдёшь
 под колоколом небес с каждым ударом
 воздуха меньше и меньше
 ты сам и колокол и звонарь
 колокол звонит по тебе
 и под последним ударом
 он с рассыпчатым звоном
 разлетится
 на множество колокольчиков

Григорий ЯБЛОНСКИЙ

/ Сент-Луис /



Два рассказа о памяти

(из цикла «Избранная жизнь»)

I. НЕ ПОМНЮ...

Абраму Яковлевичу Явлинскому

Не секрет, что люди, дожив до определённого возраста, начинают многое забывать. Я сам тоже начинаю доживать до такого возраста. В этом нет ничего страшного. Просто надо привыкнуть и жить дальше. Об этом и расскажу.

У нас, в нашем Сент-Луисе, есть Центр здоровья для пожилых людей, приехавших из России. Называется он «Aging Well». Как это перевести поточнее — «Старение без хлопот» или «Приятное старение», так что ли... В народе его называют просто «Детский садик». Пожилые люди там собираются, завтракают, делают простые упражнения, поют, читают, играют — кто в карты, кто в домино, — в общем, проводят время вместе. Меня пригласил выступить перед ними Абрам Яковлевич, а ему отказать я не смог. Я ещё расскажу об Абраме Яковлевиче.

За минут 10 до начала выступления мы подъехали к скромному одноэтажному домику «Aging Well», я разделся и стал прохаживаться в одной из небольших комнат Центра. Ко мне подошёл пожилой человек с тонкой папкой в руках.

— Меня зовут Борис, — сказал он.

Я тоже назвал своё имя.

— Скажите, вы — профессиональный поэт? — спросил Борис.

— Профессиональный? — удивился я. — Нет. Денег за публикации, как правило, я не получаю. Да и вообще я не поэт. Да и не писатель. Скорее литератор (иногда я себя так называю).

— Ну, пусть литератор, — согласился мой собеседник. — А вы бы не могли оценить мои стихи?

Я согласился. Судя по папке, риск был не слишком велик.

Я стал читать большой стих, обращённый к женщине, по-видимому, к жене Бориса. В нём упоминались различные знаменательные даты и трогательные моменты их совместной биографии, их знакомство, рождение детей, трудовая деятельность. Стих был написан на двух страницах, я прочитал сначала первую, потом вторую.

— Ну и что вы скажете? — спросил меня Борис. Он был деликатен. В его голосе не было требовательности.

— Ну что сказать? — Я не уклонился от ответа. — Насколько я понял, вы отразили то, что происходило с вами и с вашей спутницей в течение вашей жизни.

— Да, — тут он не сдержал гордости. — Тут все факты — правда. А вот вы обратили внимание на первый факт, как я познакомился с женой. Я пришёл на вечеринку с подружкой, а ушёл с будущей женой.

Я не удержался. В таких ситуациях для меня нет никакой возможности удержаться.

— А с подружкой кто ушёл?

— В каком смысле? — не понял он.

— В самом прямом. Вы пришли с подружкой, познакомились с будущей женой...

— Тут вы что-то напутали, — перебил он. — У меня всё ясно написано.

Я пришёл с подружкой, а ушёл с будущей женой.

— Очень хорошо, — сказал я. — А что, это была одна и та же женщина?

— Кто?

— Подруга и будущая жена.

— Да нет же! — вскричал он. — Это были разные женщины!

— Вот об этом-то я вас и спрашиваю, — заключил я. — Вы пришли с подружкой.

— Так?

— Так! — сказал он.

— Познакомились на вечере с другой девушкой. Так?

— Так! — сказал он.

— И ушли с этой другой девушкой, которая впоследствии стала вашей женой. Так?

— Да, — сказал он.

— И вот я вас спрашиваю, кто ушёл с первой девушкой? Кто ушел с подружкой?

Он крепко задумался. Видения прошлого встали перед ним, окутав внутренний взор непроницаемой плотной пеленой. Борис покачал головой и тяжело вздохнул: «Не помню!..»

Времени у меня оставалось мало. Мы попрощались и я стал выступать.

Выступление моё состояло в том, что я прочитал свой рассказ, который назывался «О бабушке, дедушке и литовских партизанах». Читал я его почти наизусть. Этот автобиографический рассказ, напечатанный в двух толстых журналах и двух газетах, был вершиной

моего творчества, а никаких других вершин у меня не было. Честно говоря, рассказ этот, пользовавшийся у аудитории неизменным успехом, мне чрезвычайно надоел, включая всех его персонажей — дедушку, бабушку, литовских партизан и меня самого. И ещё я заметил, что в зале довольно большое число людей сидело с закрытыми глазами, то ли они не открывали глаз вообще, то ли закрыли их при первых звуках моего голоса.

Как бы то ни было, я закончил выступление и стал пить чай, которым меня любезно угостила фирма «Aging Well». Ко мне подсел большой человек, лицо которого источало доброжелательное разочарование. Он был строитель из Ташкента и звали его то ли Семён, то ли Соломон. По виду он был не слишком стар, но оказалось, что он хорошо помнит землетрясения — не только Ташкентское 1966 года, но и Ашхабадское 1948 года. Он хотел мне об этом рассказать более подробно. Но тут за столом появился Абрам Яковлевич, тот самый, который пригласил меня в «Детский садик» и которому я не смог отказать.

Теперь об Абрам Яковлевиче. Его тут все знали, любили и не могли без него обойтись. За плечами у него было 90 лет и куча болезней, но это был живой мотор, производивший добрую энергию. Офицер Красной Армии и джентльмен, политрук и рыцарь, Карл Маркс и Альберт Швейцер — вот в каком диапазоне работал мотор Абрама Яковлевича.

Глядя на него, меня осенило: «Вот что, Абрам Яковлевич, я узнал в вашем “садике”» — И пересказал ему историю с подружкой и женой, которую я узнал от Бориса.

— Так это же моя история! — воскликнул поражённый Абрам Яковлевич.

— Перед войной мы поссорились с Броней, и я пошёл на вечеринку с другой девушкой, но вдруг я увидел Бронию, и мы с ней помирились — на этой же вечеринке. И ушёл я с Броней.

— Абрам Яковлевич, — спросил я (и поверьте, я не мог это не спросить).

— А кто же ушёл с этой другой девушкой?

Абрам Яковлевич не медлил ни секунды.

— Не помню! — сказал он решительно, как бы ни о чём не жалея.

И тогда — по всем законам жанра — я обратился к сидящему за столом строителю Семёну-Соломону, пережившему Ашхабадское и Ташкентское землетрясения и прекрасно помнящему их детали.

— Скажите, Соломон, а не приходилось ли вам...

Он не дал мне закончить.

— Конечно! Конечно! И не раз!.. Был даже случай, когда я пришёл с женой, бывшей... стала бывшей, а ушёл с другой, будущей...

— И что же? И что же? — вне себя прокричал я, на грани срыва.

— А кто же ушёл с первой женой?

На лице Соломона появилось выражение невыносимого отчаяния.

— Не помню, — вымолвил он еле слышно.

И вот что я подумал в этот момент. А у меня в моей, уже короткой, жизни, были ли случаи, чтобы я пришёл на вечер, встречу, танцы и т.д. с одной девушкой-подругой, а ушёл с другой — женой?

Было ли такое в моей жизни? Хоть когда-нибудь?

И знаете что? Не помню...

St. Louis, 4 ноября 2008 г.

II. ИСТОРИЧЕСКАЯ ДАТА — 23 МАЯ 1952 ГОДА

Сестре Тане

Я живу в американском городе Сент-Луисе на Среднем Западе, штат Миссури.

Жизнь в целом протекает неплохо, но иногда засоряются санитарно-технические системы. И тогда мы с женой приглашаем очень квалифицированного человека — Сашу Пушкевича. Раньше он жил в Гомеле и работал старшим инженером. Здесь, в Миссури, он занимается другим.

После того как Саша вычистит системы, мы приглашаем его пить чай. Так было и в этот раз. Почему-то заговорили о Соне Ладис.

Соня — женщина, очень известная в нашей «community». Она — любительница истории.

У нее колоссальная, с большим вкусом подобранная библиотека исторической литературы. На полках в замечательном порядке стоят английские и русские книги. Гиббон, Моммзен, Тойнби, Шпенглер, Хантингтон, Фуко... А из русских — Тарле, Утченко, Артамонов, Гумилёв, Гуревич, Гаспаров... Голова кружится... Иногда она даёт их читать.

— Не люблю работать у Сони, — сказал Саша Пушкевич. — Вот всё сделаешь, почищишь по-человечески, а она вопрос задаёт. Один и тот же вопрос. Надоело...

— Какой же это вопрос? — заинтересовался я.

— Ну и что там было?..

Я тоже люблю историю. В детстве я очень любил историю. Мой папа был философ и историк древнего мира, археолог. Он был один из тех, кто перед самой войной, работая в экспедиции Славина, раскопал Ольвию, греческую колонию на юге Украины. Моя мама была тоже историк, партийный историк. Она описывала историю Всесоюзной коммунистической партии большевиков, впоследствии переименованной в Коммунистическую партию Советского Союза.

В нашем доме тоже было много исторических книг. Был журнал «Вестник древнего мира». В шкафу стояли коричневые тома «Архива К. Маркса и Ф. Энгельса», которые издавались Институтом Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина при ЦК ВКП(б).

На столе лежали протоколы нескольких последних партийных съездов. Я любил читать и то, и другое, и третье. Особенно мне нравился толстый протокол XVIII-го съезда, а в нём — доклад Андрея Андреевича Жданова. Критикуя «перекосы на местах», Андрей Андреевич приводил разные интересные примеры, например, как один человек, боясь исключения из партии, принёс из киевской поликлиники справку: «Дана товарищу такому-то, что, по состоянию здоровья, классовым врагом он использован быть не может».

Мою маму тоже чуть не исключили из партии за связь с врагом народа, зубным врачом. Но ей повезло, ограничились только строгим выговором.

Дело в том, что мой отец, археолог, погиб на войне в самом её начале, в Киевском окружении, а мама Софья Львовна — через три года после конца войны вышла замуж снова. А в 50-м году её мужа посадили по 58-й статье, часть 1 за экономическую контрреволюцию: он был стоматологом. В 51-м году мама родила мою сестру, Таню.

После войны мы жили в чудесном курортном городке Ессентуки, и мама одно время работала третьим секретарём горкома партии. Но, будучи связанной с врагом народа, она навсегда лишилась возможности работать по партийной линии и, более того, заниматься своим любимым делом — партийной историей. В итоге мы уехали из Ессентуков и вернулись в наш родной Киев, который оставили в эвакуацию.

Я страшно ревновал мою красивую маму Софью Львовну к сестре Тане. Мама пыталась успокоить меня и говорила: «Смотри, Гриша, вот у меня два пальца, и если отрежут любой из них, мне будет больно!»

Бабушка Мария Евсеевна тоже показывала мне другие два пальца.

Но меня не удовлетворяли эти сравнения на пальцах.

«Мама, — говорил я. — У тебя была любовь. Одна любовь. И раньше ты не делила эту любовь на две части. Был один я. А сейчас ты должна разделить свою любовь. Таким образом, твоя нынешняя любовь ко мне равна половине прежней».

Я и сейчас думаю, что моя логика была сильной.

Итак, шёл май 1952 г. Было 23-е мая. Государство Израиль уже существовало и уже в первый раз победило. Иосиф Виссарионович, Ив Фарж и композитор Прокофьев были ещё живы. Корейская война была в полном разгаре. В кинотеатрах шли два хороших фильма, «Седая девушка» и «Тарзан в западне». Кремлёвские врачи ещё ходили спокойно в своих белых халатах. Внезапно моя сестра Таня, сидевшая на руках у мамы, обкакала её. На прекрасном мамином кремовом платье появились отвратительные разводы. Бабушка и я бросились устранять следы происшествия. Сестра Таня смотрела на нас маленькими довольными глазками.

— Мама, — сказал я. — Я запомню эту дату навсегда. 23-го мая 1952 года Таня обкакала маму.

Мама была, хотя и историк партии, но всё же историк. Она не спросила: «Зачем? Зачем помнить эту дату?» А если бы и спросила, я бы не ответил.

Не отвечу и сейчас.

Но примерно понимаю свои мотивы. Из потока времён выскакивают события, даты, мгновения... Некоторые и запоминать не надо. Они врезаются в память намертво, не вышибить — начала войн, крах государств, страшные катастрофы... Но таких событий — меньшинство. Нас окружает толпа событий непритязательных, затрапезно-скромных, но неповторимых. Они как бы просят: «Запомни! Запомни!»

А неповторимость очищает и возвышает.

Так вот я и запомнил эту дату: 23 мая 1952 года моя сестра Таня обкакала маму. Я запомнил эту дату навсегда и, возвращаясь в Киев в 60-х и 70-х годах, всегда напоминаю о ней маме. И мы смеялись и радовались вместе. Эта неповторимая историческая дата нас сближала.

А вот в 80-х годах я стал бывать в Киеве очень редко. В конце концов я забыл эту дату.

Мама умерла в 1991-м году, в год, когда СССР развалился и Украина решила стать независимым государством. На фоне таких событий моя историческая дата совершенно поблекла. Она испарилась из моей головы. Я даже забыл, что я её помнил.

И вот совсем недавно она вернулась ко мне. Это произошло совершенно неожиданно.

Я приехал в Киев в середине июля и шёл по бульвару Шевченко по направлению к Крещатику. Я прошёл пересечение бульвара с Пушкинской улицей и стал спускаться с Крещатику.

Справа у меня должен был стоять гранитный памятник Владимиру Ильичу Ленину с надписью о необходимости единых действий пролетариев великорусских и украинских, которую я хорошо помнил с детства.

«При едином действии пролетариев великорусских и украинских, — писал Ленин, — свободная Украина возможна. Без такого единения о ней не может быть и речи»

Я посмотрел направо, но никакой надписи я не увидел. Более того, не было и Ленина. Вместо него на постаменте стояла какая-то задрапированная фигура, к которой была прикреплена большая лента с надписью: «Памятник В. И. Ленину»

Около памятника была развёрнута выставка плакатов. В глаза мне бросилось изречение на украинском языке: «Хто хоче жити, тот повинен боротися, а хто не захоче чинити опір в цьому світі вічної боротьби, той не заслугоує права на життя». Был указан и автор этого изречения — Адольф Гитлер. На одном из плакатов с датой — 1941 год немецкий солдат с добрым, но вынужденно-нахмуренным лицом — с автоматом наперевес — шагал по широкой украинской степи. От него улепётывали растерянные карлики-уродцы во главе с горбоносим Сталиным. Внизу было написано: «Вояки Гітлера — то приятелі народу».

И ещё:

«Що це за пилюка вдалі?
Що воно за дійство?
То втіка хоробрий Сталін
Та його жидівство».

Сталин был почему-то похож на грека, и его было жалко.

На другом плакате улыбчивый украинский парубок махал с подножки вагона немцу, стоявшему на платформе: «Друже, я тобі допоможу. Я іду в Німеччину!»

Всё это, взятое вместе, меня удивило. Но я всё же разобрался, в чём дело. Оказалось, что эта выставка плакатов называлась: «З ким и проти кого воювали українські націоналісти?», и, подойдя ближе к памятнику, я прочитал: «Памятник В.И. Ленину. Поврежден украинскими буржуазными националистами 30 июня 2009 года. Будет восстановлен при содействии Компартии Украины». Всё стало понятно. За месяц до этого я уже видел повреждённый памятник В.И. Ленину — у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге, бывшем Ленинграде. Он стоял в большой коробке. Памятник был тоже повреждён, кажется, даже взорван, и, кажется, тоже националистами. Русские буржуазные националисты, как и украинские буржуазные националисты, не любили Владимира Ильича Ленина. Друг друга они тоже не любили.

Глянув ещё раз на дату 30 июня 2009 г., я посмотрел напротив и направо, на другую сторону Крещатика, на Бессарабский рынок. А прямо напротив меня был бывший кинотеатр стереоскопического фильма, в котором я смотрел фильм «Робинзон Крузо».

Внезапно я вспомнил... Я вспомнил весенний шум киевских каштанов мая 1952 года... И то, что мне скоро надо сдавать экзамен по украинскому языку, а ведь мы вернулись в Киев совсем недавно, и я украинский не знаю... И газированную воду с сиропом за 4 копейки на углу Ленина и Пушкинской... И соседей — Марью Львовну с сыном Лёликом и Фаню Климентьевну с внуком Адиком, который не ел плавленые сырки, а питался исключительно голландским сыром... И серую книгу, которую я тогда читал — К. Маркс «Выписки по хронологической истории Индии»...

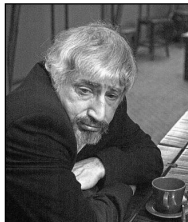
И мамино кремовое платье с разводами...

Я вспомнил 23-го мая 1952 года и то, что тогда случилось.

Ко мне вернулась моя историческая дата.

И чем моя дата хуже других дат — скажем, 19 августа или 4 ноября? А по неповторимости — ей вообще нет равных.

Сент-Луис, октябрь 2009 г.



Андрей НАЗАРОВ

/ Копенгаген /

ГОЛОС ДУШИ

(рассказы из последних книг)

В САМОВОЛКЕ

Мы с Лапой в самоволке были, в штатском, по Садовой шли. Солнечный день стоял, весёлый. Тут девушка появилась, радостная, светлая. Лапа клеится к ней начал, а я в сторонку, что мне. Тут она ловко так его отодвигает и ко мне.

— Чего тебе? — спрашиваю. — Солдаты мы беглые.

— А я, — отвечает, — знаю, дочь я офицерская.

Как-то обрадовались мы друг другу, поскакали, за руки взявшись. Лапа понял, не вязался.

Редко мы виделись, когда из части сбежать удавалось. Маму попросил в институт её принять. На Новый год ёлку наряжали. Но вместе не были, для мужа она себя берегла. Потом к ней поехали, это далеко, за водохранилищем Тушинским. Там, в доме, мать с отцом сидели и такую ненависть к себе я почувствовал, что горло перехватило.

— Пойду, — говорю, — проводи.

Вышли мы, припала она ко мне и зарыдала. За генерала её выдали, дочь она ему родила. Потом ко мне приехала — счастливая, светящаяся.

— Сумасшедший ты, — шепчет, — сумасшедший.

Приезжала она ко мне часто, радовалась. А потом по России меня побрело, по экспедициям, шабашкам, раскопкам, по лесам. Годы через четыре встретил её, она диплом сдавала, и не узнал, чёрной она стала, сгоревшей. Кинулась, припала, рыдает, как тогда.

— Не любит меня никто. И ты, и ты тоже!

ПАЯЦ

Гением представления он родился, но не дождался его великие театры. В первой увольнительной, куда взводом шли, он на

разломанной сцене провинциального парка изобразил нашего ротного, до слёз хохотали, пока он не рухнул, потому что пьян был в стельку. Его с подмосток патруль стаскивал, едва отбили. Я ненароком лейтенанта задел, на губе потом парился.

Пили тогда все, но только с ним столько мороки натерпелась. Меня этот гений сдал после первой самоволки, я бил его в туалете, он кричал, все слышали, — и никто не пришёл спасать.

Потом прижились, по обычаю. Сапоги он мне чистил, а я всё ждал, когда другой раз заложит. Уходил я как-то ночью на третьем уже году. Время тогда тёмное было, убийства у нас чередой пошли, и комендатура часть арестовала — не войти, не выйти. А мне — позарез. Одевался тихо, чтобы свои в казарме не встрепенулись. Дело стрёмное, случись что со мной, ребята допросами замучают, «знал — не сказал» вешать станут.

Вдруг, как привидение, белая фигура в проёме возникла, в полутьме. Пас он меня, пугал, на грань выталкивал. Но рта раскрыть не решился, знал, что вырублю, пантомиму исполнил. Изображал — каким-то чудом мгновенно преобразившись в меня — как я скольжу вдоль забора, цепенею, пока чужие испуганные саляги, вплотную проходят с автоматами наперевес, потом сигаю через забор, бегу до шоссе, машину ловлю.

И девушку, к которой бежал, я увидел, и то, как она трудно сдавалась моим ласкам. И как сдалась, увидел. Он впал в помешательство, этот злобный паяц, его больше не было, он превратился из отдающей девушки в немо орущего младенца, потом опять стал мною, встревоженным отцом, потом начал заполнять пространство неизвестными персонажами, и я вдруг понял, что они и составят мою жизнь, что всё в ней так и исполнится. В ужасе закрыл я лицо, заставил себя уйти, чтобы не расхохотаться и над собственной смертью.

Позже, о, сколь много позже, когда минуло всё, столь карикатурно представленное мне белой фигурой в полутьме казармы, я подумал — чего и бежал я тогда к любимой своей, чего я, вообще, живу, если в пантомиме его уже осуществилось всё, что моей жизнью и было.

А в ту ночь с девушкой так и складывалось, как он показал. Но не сложилось — прохохотал я встречу, ради которой жизнью рисковал. Только обнимал её, как на наваждением выныривал из темноты и вместо любимой сдавался на мои ласки паяц в солдатском белье. Магически изъяснялся гений, хохотом моим сдёргивал реальность, измывался, мстил.

В ночь дембеля напилась казарма, а на поверке он из второй шеренги выпал, перед дежурным старшем на пол рухнул, не удержали. Попался один, а сдал всех. Под занавес. Придержали нас в части на пару недель, а его били уже командой, плохим он вышел.

Не отпуская он меня, заставлял высмеивать собственную жизнь, которую и предсказал, а я всё жалел, что не убил его тогда. Года два терпел, потом поехал, чтобы покончить. Он за это время уже в Щепку успел поступить, и вылететь оттуда за пьянство. Приехал, деваха его мне открыла — распущенная, патлатая. Посмотрела — и, похоже, поняла всё.

— Опоздал ты, — сказала, — убили его уже.
 — Как?!
 — Да так. Бандюка одного передразнил, спектакль целый во дворе устроил, месяц хохотали. А тот не простил.

ОН В УВОЛЬНИТЕЛЬНОЙ БЫЛ

Солдатом он в увольнительной был, точнее — в бегах, выпил, уснул в чужом доме. Очнулся от странного прикосновения, каких не бывает. Женщина сидела над ним, вода по лицу его пушистой былинкой. Он обнял её и сказал: «Мне уходить надо». Так тепло и доверчиво, как она обнимала его, никто уже не обнял, никогда.

Он опасался называть её по имени, чтобы не обозначить в душе. Любовь не совершившаяся составляет жизнь, а только из неё она и состояла. Демобилизовался, работу нашёл разъездную. Чтобы быть рядом, она вышла замуж за его отца, но он всегда уходил. Это судьбы подлинные, непозволительные, как непозволительна сама жизнь.

В последнюю их встречу, она спросила: «Ты будешь закрывать дверь на ночь?» Его знобило от памяти о том объятии, но он закрыл, она была женой отца.

И не умея заснуть, как и она, услышал её крик.

Он улетел наутро. И когда самолёт его оторвался от земли, она вошла в ванную, взглянула на себя в зеркало — и упала, умерла.

Она преодолела хрупкую грань между миром живых и ушедших, свидетельствуя, что всё едино в любви.

ЧЕРЕЗ ВОРОНЕЖ

Мы с ней через Воронеж гребли.

В то лето к другу в деревню приехал, а тут, за рекой, халтура подвернулась, свинарник ставили. Платили неплохо, подённо выручали, да погулять времени не было, под темь с напарником возвращались. Как-то выходной устроили, в сельмаг сходили, отоварились. Обрато до лодок идти не хотелось, к перевозчику постучали. В сенях дочь его встретила, Таня, улыбнулась, как светом одарила. За словами звук расслышал — будто глубокая река в ней плеском отзывалась.

Хозяина дома не было, Таня лодку отстегнула. Хороша была — стройная, осанистая девушка. И всё слушал, как живая вода стучит в ней, и невольная речь настраивалась под волшебный этот звук. Не помнил себя, как в бреду, только: «Таня, Таня...» — телами друг к другу припадали с каждым движением весла и, отдаваясь прикосновению, забывали, зачем здесь, табанили — и снопы брызг обдавали, стора на лицах.

Заворожило нас, обморочило.

Как на берег вышли, обнял её, а она — чего и не ждал — припала и поцеловала в губы, словно всё решено было — крепко поцеловала, степенно. И не торопилась руки разнимать. Так уверенно и непреложно судьба обнимает.

— Приходи, — не отрывая лица, шепнула, — вот сюды и приходи завтра, один чтоб.

— Придти когда?

— Зарань приходи. Я деревенская, мне обвыкнуть надо. Плавмя буду, без лодки, неровён час, отец хватится.

До солнца поднялся.

— К Тане пойду, — сказал напарнику, в его избе ночевали. А тот со стены дробовик схватил — и дулами повёл.

— Сдурел ты, братан?

К однополчанину ехал, другу, а того, как подменили, волком взгляд уклоняет.

— Не я, ты сдурел. Нас, может, обоих уже приметили, обоих за Таньку и замочат. Нашёл, с кем обжиматься. Коляна она, Турмача, невеста. Семеро их, братьёв пришлых. У воды построились, на отшибе. Сейчас по тюрмам трое. Тёмные мужики, при деньгах, а чем промышляют, не ведаем. Пьют — не буянят, а рожки лютые, с такими лучше не вязаться, вон, и село под ними молчит. Богу молись, что они вчерась вас на месте не накрыли, а то и порешили бы мигом. Ты, вот, в городе зацепился, может, и живым свалишь отсель, а мне куды прикажешь? Мне тут вековать.

— Приглянулась она мне, ох, приглянулась мне Таня, не встречай лучше.

— Рыпнешься к ней — в спину шмальну, да и концы в реку. У нас просто, так и знай.

Знал. Врагами из избы вышли, на домашней лодке прохудившейся Воронеж кой-как осилили, а дробовик однополчанин всё на руке держал, стволами спину обшаривал, чтоб не унырнул. Пока автобуса дожидался, он на лавочке сидел и стволы не сводил

Дома запил, от снов спасаясь, всё склонялась она, обнимала, припадала к груди, и голос её, звук плещущий, до дна души проникал. Любил её, казалось, целую жизнь. Зиму едва перемучил и решил к теплу на Воронеж махнуть — лучше Турмачи, чем без Тани загнуться.

Но в метро однополчанина того встретил случаем.

— Вовремя, — сказал, — свалил ты от нас.

— Что так?

— Таньку твою утопили, вот что. Видели вас Турмачи, не простили.

Будто удавку на шее затянули. Рванулся, вырубил его со всего горя, обрушил навзничь, головой о мраморные плиты. У нас просто...

Так и оставил, а сам в людях затерялся.

ГОЛОС ДУШИ

Боже, как я его любила! Как занималось сердце, когда чувствовала на себе его руки, видела его взгляд, его лёгкую, размашистую походку — походку победителя. Я готова была умереть за него. Наверное, я понимала безотчётно, что такой любви не место на земле, что земля не держит небесного чувства, что оно обречено там.

В тот день он назначил свидание на нашем месте у метро на бульваре, назначил рано, и я сбежала из института с последней пары. Времени до встречи оставалось много, я пошла пешком через город, старалась не торопиться, но ноги несли, меня не слушая. Я пришла на полчаса раньше, села на лавочку, но вскакивала всё время, ходила, пока не наткнулась на него. Я припала к нему, но почувствовала чужое, враждебное напряжение его тела – и всё оборвалось во мне.

— Я уезжаю на Волгу, на пейзажи, — сказал он. — Мы теперь не увидимся... долго.

У меня потемнело в глазах, я хотела спросить, но голос застрял в горле, я сглатывала помеху, и слёзы катились по лицу. Когда взгляд мой прояснился, его уже не было. И я поняла, что это навсегда. Потом был город, встававший углами и стенами, я не понимала, где я, меня несло неведомо куда, пока не принесло на мост. Непреодолимая сила прижала меня к решётке, и я увидела воду. Краем сознания я уловила что-то книжное, банальное в такой смерти, но уже перенесла ногу через ограждение и толкнулась руками. Удара о воду я не почувствовала. Я хотела умереть за него, это исполнилось, я стала не нужна ему и ушла ради него. Он всегда был свободен, а я знала, что буду всю жизнь сходять с ума и губить его свободу — то, что всего более в нём любила. Я не могла этого, я хотела уйти.

Странно, что я принесла его в себе и сюда, что он по-прежнему составляет меня, как это было на земле.

Думая о нём, оставшимся там, где есть время, я жду, когда оно окончится для него. Мне легко ждать, ждать легко в безвременье. Я не зову его, я не претендую на его свободу, которую так люблю в нём, я просто жду...

Ночью он слышал лёгкий ритмичный стук, словно мелом наносили рисунок на чёрный ватман. Доносились обрывки старых мелодий и невнятный звук, обращённые почему-то к нему. Он понял, что это звук голоса, женского голоса, спрессованная речь, послание, смысл которого остался неуловим.

Он проснулся, вынеся этот звук из сна, и пытался понять его источник, и почему так важно понять смысл посланного ему, брошенному семьёй в старом пыльном доме, где доживала свой второй век мебель, принадлежавшая неизвестным предкам.

Жена, двое детей и их семьи, населявшие этот особняк, вчера покинули его. Это было выношенным решением, они правильно сделали, что ушли, как только для этого открылась возможность. Они не дождались, пока дом снесут, о чём им объявили заранее.

«Странно, — думал он, проснувшись в одиночестве и тишине. — Всё, кажется, для них делаю, так почему?»

И неожиданно попал на ответ — он не был счастлив их счастьем, он искал своё, которое ни в чём и никогда не нашёл.

Он работал, ему всегда не хватало времени на семью. Дети, а потом и внуки мешали думать, когда он возвращался из мастерской и воображению рисовались краски, которые он не успел нанести, он писал мысленно, а они шумели, отвлекали, раздражали его. Но всё, что он делал, он делал для них и вины перед ними не чувствовал. Что-то другое стало причиной его несчастья.

Ему не удавалось избавиться от звука голоса, прозвучавшего ночью, он повторял, воспроизводил его в себе, безуспешно пытаясь понять. И не обратил внимания, что странное ночное явление обрело в нём силу реальности, что он потерял грань между происходящим здесь — и во сне.

Тяжело поднявшись, он прошёлся по дому и заглянул в зеркало. Подумал, что писал всю жизнь, и натурщиков, и известных людей, портреты и пейзажи, работал и в живописи, и в рисунке, но никогда не писал автопортреты. Из суеверия, наверное, из страха

Он пытался найти причину своей неудавшейся жизни, которая так счастливо, так вздохом начиналась когда-то. Он вспоминал свою молодость в безудержном потоке встреч и расставаний, лёгких влюблённостей и горьких, но мимолётных страстей. Молодость, порхавшую, не задумываясь над чужими жизнями. Что-то в этом калейдоскопе оставалось незамеченным, он перебирал свои воспоминания снова и снова — но не находил. Вспоминал женщину, свою вязкую жену, преодолевшую его независимость своим упрямством, женившую его на себе, и полностью подчинившую своей воле. И то, как он махнул на себя рукой и тупо упирался, таща ту телегу, в которую она его впрягла, нарожав детей, которые, в свою очередь, одарили его внуками. Уходить было поздно, да и некуда. Собственная жизнь давно была ему безразлична, а потом стали безразличны и картины. Тот огонь, что так ярко пылал в первых его созданиях, имевших бешеный успех, теперь поддерживался тлением головешек, не гревших ни его, ни ценителей живописи. Он угасал, угасали картины, и непонятно было — почему, за что? Работа заполняла его одиночество, которое он испытывал в кругу своей семьи, но он не любил то натужное, искусственное, что оставалось по себе его кисть. Его полотна лишились души, он брал лишь той техникой, которую получил в юности. Он писал по инерции, и по той же инерции ему давали место в галереях. Когда он начал путать краски, то бросил живопись и занялся преподаванием.

Снова и снова пробегал он внутренним взором свою жизнь в надежде уцепиться, нащупать слом, понять и исправить, то, что так неприметно сделало его изгоем, одиноким, заброшенным стариком, то, что привело к крушению его жизнь, начинавшуюся столь победно. Виной всему была его женитьба, это лежало на поверхности. Но он любил тогда эту женщину, а она не оставила ему выхода. Почему же от той любви так давно не осталось и следа? Женский голос, сообщил ему об этом, обратив к тому времени, когда он не был женат. Он ещё чувствовал в себе силы, он мечтал начать заново. Но голос не объяснил, как вернуться.

Он восстанавливал в памяти лица людей, составлявших его жизнь, и, подчиняясь его усилию, они возникали перед ним в полутьме кабинета. Лиц было много, особенно, женских — от тех невосполнимых лет его свободы. Он старался вызывать их в хронологическом порядке, сбивался, переставлял — и они складывались в

весёлую, бесшабашную карусель молодости и продолжались лицами семьи и унылым рядом профессионалов, от которых зависели его выставки.

Он сидел в длинном халате — шлафроке, как он его называл, не веселя ни себя, ни семью. Поднялся, обошёл дом — старинные книжные шкафы красного дерева с резьбой в стиле барокко, стол на ножках с львиными лапами и умиротворёнными мордами львов по углам и гигантский буфет, за которым он тайлся в детстве, играя в прятки. Старый солидный дом, переживший себя, в котором прошла жизнь, не принёсшая ему счастья. Всё оказалось скомкано, утрачено, растерзано в клочья, — но почему, почему? Он раскладывал пасьянс воспоминаний, снова всматривался в лица людей, встречавшиеся ему, но не о них споткнулась жизнь. Недоставало главной карты. И тут приоткрылось на мгновение неузнанное лицо и тут же разошлось кругами, как отражение в воде. Женщина. Нет, девушка, почти ребёнок. Это она, она промелькнула случайным всплывком и исчезла разом, таинственным путём унеся с собой его молодость, дар и успех.

Как он горел тогда, как залиvisto, забубённо распахивалась перед ним жизнь! Он жил в мастерской, туда приводил натуру и просто девушек, от которых отбоя не было, так что не знал, с кем просыпался. Но жена перевезла его в собственный дом. После брака он ездил в мастерскую, как на службу, и покорно возвращался. Теперь возвращаться будет не к кому, так, может, и лучше.

Он схватился, распустил пояс халата, хотел переодеться, поехать в мастерскую и найти изображение этой девушки, но одумался. Слишком давно, не отрыть, их там тысячи, набросков. Да и видел он лица, которые писал, мог и теперь восстановить. Не было её среди них, не писал он её.

Они встречались, кажется, на Кропоткинской. Он напрягся и отчётливо увидел место их последней встречи. Вдруг странное напряжение сковало тело, им он защитился тогда от её неразделённой любви. Он вспомнил. Но ни лица, ни имени. Она была, но её не было. Зато он знал теперь, что тот ночной звук принадлежал ей. Куда она делась? Тогда он успел обрадоваться, что она так легко исчезла и не мучила его своей неразделённой любовью. «А может быть, и стоило её любить?» — задал он себе нелепый вопрос. Но всё сходилось на ней, это после неё всё рухнуло. Но кто она? И где искать её теперь? Он поднялся, снова прошёл квартирой, знал, что это была она, её звук, её невнятная речь. Теперь он поймёт, коли услышит.

Он спохватился, что не тоскует по покинувшей семье, настолько поглотило его прозвучавшее ночью. Это было родом шифра, который ему стало необходимо разгадать.

Он искал её в себе, он искал сближение, и уверил себя, что встретит её там, на бульваре. Одевшись, он вышел и взял машину, в свою сеть не решился. На бульваре, к удивлению, узнал скамейку, на которой они сидели рядом. Нет, скамейка была другая, ме-

сто — то же. Он просидел до сумерек, прикрыв глаза, и всё глубже уходя в последнюю их встречу, в звук её перехваченного горла, которое не пропускало слов. В то, как жёстко он отвернулся, воспользовавшись паузой, чтобы больше не увидеть её никогда. Много бы он теперь отдал, чтобы вернуть ту встречу.

«Что она сделала с ним? Или — с собой? С собой, — решил он, — точно, она сделала что-то над собой. Вот, что перебило его жизнь. Что можно сделать с собой? Только покончить. Так, вот почему лицо её расплывается кольцами, как по воде! Утопилась она. Господи, из-за меня! Вот и определилось всё и ясно, что обрушило жизнь, к гадалке не ходи. Жил с этим — и не знал, потому и жил так, а вот, открылось».

Он поднялся со скамейки и вернулся домой.

«Интересно, — думал он, — это я сам догадался или она мне подсказала?»

Ложась в постель, он пытался вспомнить о семье, но почувствовал, насколько она ему безразлична. Он ложился в надежде услышать девушку, имени которой так и не вспомнил. Она сломала его своим безумным поступком, но она же любила его. Он хотел вернуться в прошлое, где он был свободен, счастлив, и талантлив, где был самим собою. Он был готов, он ждал её.

И дождался, услышал ночью.

«Голос души, — подумал. — Голос души».

— Как я бы написал её теперь!

Утром не стало его на земле, потому, что он был с нею.

СОБАКА

В сквере сидел на лавочке, неподалёку от дома. Собака подошла крупная, метис, чёрная в жёлтых пятнах. Поцеловал её в морду, а она объяснила, что погулять хочет. «Иди, сказал, милая». Она и ушла. Потом мужик подсел.

— Ты куда, — спрашивает, — собаку отпустил?

— Гулять пошла, а куда не сказала.

— Чего делать теперь будем?

— Да, вон, за угол пойдём, выпьем.

Пошли и про собаку забыли. Из местных мужик, про детство рассказывал. «Похоже, на моё, — думал, — не легче».

— Я из коренных, викингов.

— Я тоже, — ответил он, — из коренных, русских.

— Да мы, парень, одних кровей с тобой, выпьем.

Выпили, понятно.

— Одних, — ответил, — корней. А собака-то где?

Там музыка играла, танцевали кто с кем, ночь совсем поздняя. Он почему-то пьяных девок не любил, трезвел.

Оставил мужика, за собакой пошёл, а она под дверью. Рядом сел.

«Что, — спросил, — делать будем?» «Пойдём, говорит». И повела на бульвар, к дому. Там дверь открыта. Зашли, и женщину он увидел.

Она на колени стала, обняла собаку, и застыли они так. Красивая женщина, и собака красивая, и любви такой безмолвной не встречал он по жизни.

— Ваша собака? — спросил.

— Моя. Только умерла она давно.

— Как это?

— Ну, просто, умерла. А теперь соскучилась, за мной пришла. У меня ведь кроме неё никого не было. Теперь вместе, как прежде.

Слов не нашёл. «Дурдом» — подумал. Но кожей чувствовал — другое что-то за этим, другое.

— А меня она зачем сюда привела?

— Подумала, может, не захочу с ней уходить, с Вами здесь останусь.

— И как?

— Никак. Она говорит, идти нам надо.

— Да, конечно.

— А Вы оставайтесь, тут выпить есть. Я больше не вернусь.

Стоял в дверном проёме, глядел вслед, как медленно шли они под фонарями открытым бульваром, и женщина держала на шее собаки опущенную руку. Недолго совсем шли — и тихо истаяли.

ПРОЧЕРНИ

Комната была — матрас на полу, рухлядь чужой жизни, разорение, украшенное кружевом паука, который прижился здесь, забившись в угол, как и он. Неделю не выходил, только в окно поглядывал на безнадежный двор, покрытый осевшим мартовским снегом, в котором вороньими прочерниями проступали отбросы человеческой жизни. Шторы сдвигал слегка, раскрыть не решался. На пожарную лестницу смотрел, прикидывал, седьмой этаж всё же. Вдруг звонок с перебивками — свой, они так не звонят. Открыл, приятеля увидел, и ознобом спину передёрнуло — с чего бы это?

Приятель про картину свою новую заговорил, Дали, дескать, в гробу перевернётся, а он гадал, от кого же тот про звонок узнал. Таких они перед собой посылают — отвлекать, забалтывать, чтоб не подготавливался, не съёл чего. Проговорил приятель в пустоту и ушел. Тянуло неладным, чувствовал, но понять не мог. Рукописи посмотрел — последние на месте, остальные у друзей схоронены, — но рыскать по комнате начал и наткнулся. Пакет прозрачный приятель под стол подкинул, а там вся аптека в пустых облатках. Тот давно на колёсах сидел. Невмоготу стало — взял пакет и, выйдя из дома, зашвырнул в помойку. Подбирайте, гады! За углом в будку телефонную заскочил, осмотрелся — вроде никого за ним. Пройти хотелось, засиделся.

Попал в кривой истоптанный переулок. Сумерки да туман и жёлтые окна, за которыми шевелятся люди — в своих домах, надо же. Зашёл в кафе, уже узнавали там. Водки взял, со стаканом в углу за шатким столиком пристроился. Да, так люди не живут, долго не протянуть, но и делать нечего, только ждать. Момент этот стра-

шен, когда берут, потом уж всё отрублено, всё одно. Проходил, помнит. Не выдержал, сам к ним явился, чтоб быстрее покончить, — так не приняли. Видно, подельников подбирают, не сдал он никого, вот и трудятся, знакомых колют. «То же деяние, совершённое группой лиц...» — у них дороже ценится. Уехать хотел, но одумался, это при отцах, при массовых арестах можно было на просторах затеряться, а теперь враз отловят. Выдернули же из лесной потаюхи, так и снова найдут, из могилы выруют. Вот и отпустили под расписку. А всё одно — сбежит, если не сорвётся.

Встряхнулся, лицо обтёр — вроде, жар прошибает. Смотрел, как растерзанная нищенка на стойке лежит лицом, просит. «Теперь уже не будет мне женщины, — думал. — Поторопился с чужой жить, своей не нашёл».

Подошёл к стойке ещё водки взял, нищенку задел ненароком.

— Чего ей? — спросил.

— Как обычно, — отвечают. — Водку в глотку, чтоб голова не качалась. Ждёт, может позариться кто, нальёт. Привыкли к ней, не гоним.

В кармане пошарил, подумал — не велики деньги, да и зачем они теперь. Заплатил, посмотрел, как она одним духом пойло в себя закинула.

Потом, когда она в угол к нему перебралась, оттолкнул. Беззвучно исчезла, тенью. Знобило его, пригреться хотелось, заснуть. Ненавидел он сумерки и сырость, тоску свою ненавидел. Подумал, что до магазина далеко, не дойдёт, и бутылку тут же, у стойки, взял. Теперь домой. Придумал тоже! Тук-тук, кто-кто в теремочке живёт? Предали его в родном теремочке. Был, да сплыл.

За дверью едва на тело не наступил, но живое почувствовал. Выругался, прошёл было мимо, но нищенка за пальто ухватила, держит.

— Пусти, тётка, — сказал, — болен я.

— Так я вылечу, вылечу. Полечу. Куда скажешь — с тобой.

Рванул полу, освободился, ушёл. «Собаку бы взял», — подумал. Не слышал — чувствовал её за собой.

— Ладно, — сказал, — иди.

Рядом пошла, на полкоргуса позади, правда, как собака.

«Надо же, — подумал, — кому-то и я ещё человек».

Привёл её в комнату, снова Достоевского вспомнил, как паутина на свету заиграла. Пусть и на том свете угол с пауками поджидает, только бы здесь закончить скорее, и забыть, всё забыть, всех. Взглянул — вроде не старуха она, его нищенка, да и пьяная не в дупель.

— Ты хоть знаешь, к кому пришла?

— Знаю, к тебе. А ты куда пришёл?

— Домой.

— Нет, не домой ты пришёл, ты другой. Да и я другая была...

— Что ж такой стала?

— Не смогла... С людьми этими не смогла... Ты не поймёшь.

— Куда мне. С этими она не смогла... Где других, сыскать, может, подскажешь? Ладно, давай по стакану и лягу, пока эти твои люди хомутать не пришли. Вышвырнули нас, и дело с концом. Лучше в холодильнике пошарь. Заболел я.

— Так ты лежи, я тебя выхожу.

— Сейчас выпьем — и сваливай, пока не поздно. Загадочна жизнь, подруга, — никогда не знаешь, кто тебя предаст завтра. А знать — так лучше бы и покончить разом. Людей она других захотела!

Выпил — и вверх озноб подкатил, захлестнул, во тьму затаскивая. Небо падало, трепетала зарницей чья-то жизнь, но не удержат, не удержать...

Очнулся — женщина над ним, не разглядел, глаза застило.

— Ты кто? — спросил.

— Так я же, ты и привёл.

— Ты что здесь делаешь?

— Некуда мне. Да и тебя жалею. Стонешь ты очень.

— А давно... это ты?

— Всю жизнь, кажется.

— Беги, сказал, беги, пока вместе не замели, слышь?

— Пусть метут, а я с тобой. До конца я с тобой, сколько...

— Со мной? Да, ты глянь на себя. Пьянь копеечная....

И сам взглянул, и осёкся. В накидке она сидела, строгая, как в окладе.

— Какая-то странная ты... нищенка. Не бывает таких.

— Я тебе расскажу. Мы всё друг другу расскажем, правда? Не гони, не гони только.

— Да, пойми ты, нас жизнь не держит, нет нас больше. И говорить не о чем. Раньше бы тебе...

— Ты сам будь, а остальное приложится, только поверь.

Подняться к ней хотел, но обвалилось всё, забылся, забормотал, слился с чем-то, наконец, найденным, и исчез — далеко, в другом конце жизни, где ждали его.

Очнулся — а она рядом, в руках.

— Ты, милый, ты... не помнишь?

— Уходи, сказал.

— Я всё сохранила, что ты мне подарил.

— Я подарил...?!

Но тут увидел близко склонённую над ним женщину, открыл её лицо — и дыхание перехватило.

— Господи, откуда ты мне?

И звонок взорвался.

Вскочил голым, в голове плывёт, едва устоял. Последним — взгляд её поймал и изумлённые, раскиданные по подушке волосы.

Пальто накинул и к окну. Рванул створ, открылся под удар мартовского ветра. Вздохнул во всю грудь — жить!

На подоконнике утвердился, взглянул мельком на пустой двор, испещрённый прочерьями, и в сторону себя кинул, уцепился за ле-

стничную перекладину, только руки обожгло. Торопился, сколько мог, перебирая железо, помнил, что внизу доски начнутся, там — на руках, потом прыгать и рвать во всю силу.

До последней перекладки добрался, повис и, оттолкнувшись, в снег полетел. Ощупал — цел, вроде.

И тут она сорвалась, рядом рухнула. Обнял её, поднять хотел, но только голова в сторону откинулась, распались волосы, и кровь в приоткрытом рту зачернела.

Сидел с ней в руках, укачивал, выл, не заметил, как брать подошли.

«Я всё сохранила, что ты мне подарил...»

ВЕНТЕРЯ

И ложился и вставал один. Сын его с женой жили неизвестно где. Виной тому был прыщавый Лёнька, когда-то сосед по подъезду, учившийся в одном классе, которого он нещадно бил за то, что тот воровал у него авторучки. Лёнька стал крупным бизнесменом в тёмные годы мародёров, обиравших погибшую страну, а он остался сотрудником НИИ, ныне упразднённого. Лёнька приезжал в гости на правах старого друга, приезжал и похитил, сманил его жену — красотку с мышлением и мечтами пэтэушницы — сманил роскошью, которой её окружил. А с ней и сына. И сражаться с Лёнькой он не мог. Да и видел его после того лишь однажды, потому что знал, где расположен его офис. Через охрану к Лёньке не пробиться. Осмотрел дома напротив, прикинул, откуда можно пулей достать.

Он нашёл своих армейских ребят и через них вышел на торговца. У того была снайперская «Ассигасу» — новая, английская. Не винтовка, сказка. Но когда тот назвал цену, то всё и кончилось. Столько не собрать.

Он видел Лёньку в ночном бреду, ловил скрещением оптического прицела, мягко, как на стрельбах, вжимал спусковой крючок и вскакивал в ужасе, когда пуля уходила вверх по дуге и рассыпалась в воздухе вспышкой петарды, которые они запускали с сыном под Новый год. Он не мог убить его даже во сне.

Очнувшись из кошмара, он принял решение и удивился, что не подумал об этом раньше. Он вырос на ярославских землях и с детства мастерил топором. В студенческие годы подрабатывал им на каникулах, бригады собирал в стройотрядах.

Наутро он собрался, сел в поезд и поехал к Волге. Знал, что всегда найдёт заработок, отобьет винтовку. По деревням все мужики — плотники, да перевелись они, мужики.

Так и складывалось. Где коровник подряжался ставить, где крыши перестилал. Набиралась сумма, немного покрыть оставалось.

Шёл однажды пустынным низким берегом Унжи, переправу искал. «Гиблое место, — думал, — нежилое, ржавое». Заметил старика в рваной робе, выгаскивавшего на берег плоскодонку. Старик поднялся в рост, лицо к нему повернул — тёмное в трещинах.

Высокий старик, длиннорукий, глядел неподвижно, прямо, бесчувственно. Холод он в пальцах ощутил — старик с глиняным неживым лицом, безвременный, свой в этом жутком пространстве. Не ответил на приветствие старик, нагнулся вязать лодку к вбитому обломку рельса.

— Будь и ты, мил шеловек, — прошепелявил неожиданно. Щёки его в беззубый рот западали.

Крюком развернул плоскодонку и вентерь начал вытаскивать.

— Старый, — сказал вдруг. — По заводи хожу, где вода стоит, недалече, затайками вентеря ставлю. Страшен стал, река кажет.

— Скажи, дед, — спросил, понуждаемый неясной мыслью, — а рыба твоя никогда из вентерей не уходит?

— Ушодить, — прошамкал старик. — Редко, но ушодить. Благословить её тоды надоть.

— Чего ж благословлять?

— А то, што Бох свободу ей дал. Ты лучше, мил человек, железа с под кустов прими, рыбу глушить надоть, жива, поди, берём.

Пошарил в кустах, скобу какую-то выгацил, передал. По головам старик рыб глушил, а потом одна к одной выкладывал. Лещи шли, щуки, плотву в заводь швырял, брезговал.

— Рыбу есть хорошо, а человека — нет, — сказал старик.

— А сам-то ел, дед?

— Може, и ел, но так не упомнить. Сладковатый, говорят. Голодов много прожил, беспамятно мне. Да, и пошто теперь? Не воротишь. А и воротил бы... Што дитём от больших хоронился, то помню. Дитя он што? Его завсегда сожрать можно.

— Да, это когда же такое было?

— Всегда, милук, а когда зановя будет — незнамо. На то Бох есть.

Набил старик с полмешка, на плечо закинул.

— Давай, — сказал, — дед, поднесу.

— Не, милай, она хозяйина чуёт.

— Ты что, дед, какого хозяйина, она же дохлая.

— Тебе, могёт, и дохлая, городскому. Рыба слышкакая тварь, вона и на том свету усё познаёт, дорогу кажет.

— Ладно, а рыбу готовишь-то как?

— Варю, коли соль. Подь со мной, отведай. Тута ближ.

Подошли к избам — завалившимся, пустым, чёрным.

— Тута вусадьба, — произнёс старик, голос его он уже научился вылавливать из шамканья. — Ране братеня тутова жили, да свели их. Кого по тюрьмам, кого голодами прибрали. Дурная о нас слава, вот и пусто тута, не селится никто. Бабы тоже были, де вони? И дитешки, помню, сыпались, ора от их не оберешь. Тяперя — тиха. Коли тепло каженную ночь на двор иду, на топчан въеду — и в небо. Ко гробу примеряюсь. Да гроба-то и не будет, так зарюют. И собаке рюют. Тольки звезда там, ужо не станет. Ты как думаеш?

— А это, кто как верит, старик.

— Я, кажись, верил, не упомню. Церкву, ту да, стояла. Петлями валили.

А ишо завою когда, оно слобождает. Было, волки отвывали, да их тоже того...

— А родня у тебя есть, дед?

— Може и есть. Незнамо.

Дверь висела в петле, вошли.

— Вонь у тебя, старик, всё рыбой повоняло.

— Так тож рыба, куды без вони? Много её. Река, вон, брюхатая, вытакивает.

Начал старик шарить по покосившейся полке, добыл смятую коробку и долго стучал по дну.

— Ни, не будет рыбы, соль извёл.

— Да принесу я тебе.

— Тама оно, в селе, мне туды не достич.

— И хлеб принесу.

— Хлеб Марья даёт, когда уж ссухарится, а мне размочить не в тяготу. Марья, она вроде токже на выселках, неподале. Ворожила по молодости, про люди усё ведала, так исторгли её от соби, боязно.

— Воевал, дед?

— А то. Полотно-то ихнее целовкал раз, а воно мне в нос, счихнул. Обозлился командир. В штрафы какие-то загнали. Помню, вот, воевал.

— А водку пьёшь?

— Не, пустое. Вона мягчит, водка, а мене мягчить неча, кость одна.

— Ладно, я мигом.

— Тута... деньгу-то не каж, забют тамошные, знамо...

Село краем к воде клонилося, берегом шёл. Просёлком дома миновал — жильё, с занавесками, на площадь вытопанную вышел. Сельпо там, и чиновное такое здание с легавкой в один этаж — центр, одним словом. Парни там толпились, так, допризывники, на водку соображали, везде так. Кивнул — и внутрь зашёл. Хлеба взял — сырой, по запаху — отрубей не жалели, соли добавил, масло и, надоумило, водки попросил. Упаковался, сумку холщёвую через плечо, вышел. Тут они и обступили.

— Издаля? — спросили.

— Так, бродяжу потихоньку.

Расхохотались парни. Смотрит — одеты под городских, рубахи пёстрые, джинсы китайские.

— А ты бродяга, придержиись у нас. Водкой-то отоварился?

— Есть такое, — ответил.

— Так поделись!

— Нечем, одна у меня на двоих.

— С бабой, что ль пить собрался? Да он наших баб хочет!

— Мы, вот, покажем ему баб! Бери его, парни!

Прихватили за плечи, на руках повисли — и сумку стянули, проверили.

— Так и есть, к бабе собрался — и соль прихватил, и масло подсолнечное. А кому оно, как не бабе?

— Ништяк, — закончил один, тихо так.

Присмотрелся он. Этот точно, после ходки, такое не сотрёшь.

— Ну чо, пощекотать фраера?

Урка, значит.

Он — к тополю, увернуться успел, спину заслонить. Они кругом стали, пересмеивали, понимали, что не уйти ему.

Урка ножом играл, власть свою чинил над придурками, а как подступать начал, он ногой по руке ему зацепил. Взвыл урка, нож его в серую пыль отлетел. Тут они набросились, многовато их, не отбил. От души работали, но голову он уберёт, всё видел. Сбил с ног, навалились, к земле жмут, а урка с ножом с головы заходит. Снизу взгляд его встретил — мёртвый, зависший. Знал такое, понял. Урка затыгивал, наслаждался минутой, стоя над ним судьбою. Он глаза стиснул, какие-то обрывки жизни завертели перед ним в красном, всё так пусто, горько и не поправить ничего....

И тут звук странный — и валится на него урка, поперёк лежит замертво. Придурки головы подняли — и оцепенели в ужасе, словно мертвец из могилы перед ними восстал. Потом схватились, и наутёк. Сбросил он урку, поднялся — и увидел старика своего со скобой.

Отдышался, спросил:

— Да как же ты, дед, до села дошёл?

— Ни, я не спосилю.

— Так дошёл же и меня спас.

— Ни, то не я. То Бох сподобил.

Подобрал холщёвку свою с товарами, старика поддержал, и пошли они под откос к реке, а урка так и остался лежать подломленным.

— Оно, милок, прежде, а теперя ни. Хоти летов не помню, а что тута люди, аки звери лютуют, то ведаю. Одного, было, жестяной и саданул. В тюрьму посылали, оно бы как, да без рыбы тоска берёт. Дед, он помнит. С того и ни шагом суды, в сельпо енто. Марья спомогает, рыбой подторговывает, соль покупает. А тебе спомочь сподобся, може Бох-то и помянет. Я ить тебя спворил, а посла примерещил, чего ты там нацепишь. Живой, стал быть. Так живи, рыба тута.

— Смотри, дед, знают они тебя, придут. Убьют они тебя, дед.

— Да енто кась? Коль Господь не прибирает, то енти-то кась? Мне тоби спобереч дело. Если чегой, в погребях схорон, ход там, от старчих времян схорон. Туды тоби и замурую.

Провёл он у старика три дня, по рыбу с ним ходил, дверь навесил, крыльцо выправил. К запаху привык, не замечал.

— Никогда не стрель, сынок, — прошамкал дед напоследок, словно насквозь увидел его с небес. — Не стрель. Вентеря ставь, с Богом в мире живи.

Побрёл он дальше к переправе тем низким берегом, вспомнил «Ассугасу» и прыщавого Лёньку — но далеко как-то, не задело. И того коснулся, что как током пробивало — семьи своей, сына. И вдруг боли не почувствовал. Ушли они из вентеря. Ну, ушли, что ж теперь.

Благослови их Господь.

Валерий СКОБЛО

/ Санкт-Петербург /



* * *

Вот и подходит к концу
наше плавание. Здравствуй, разлука!
Парусник в медленном дрейфе...
Не слышно ни всплеска, ни звука.

Берег последний, извилистый
самого дальнего края
Мимо, пылая, плывет,
под косыми лучами сгорая.

Как не похож этот край
на все то, что нам мнилось когда-то.
Мы не могли и представить
такого с тобою заката.

Скоро дневное светило
погрузится в темные воды,
не обещая подняться
с другой стороны небосвода.

Вечные дальние земли...
поистине темные земли.
Нету в душе ничего,
кроме шепота тихого: «Внемли...»

* * *

За час перед рассветом
такая тишина,
Что вслед за Фицджеральдом
прошепчешь: «Ночь нежна...»

Лишь кони вороные
 пасутся за окном,
 Когда она вступает
 в твой опустевший дом.
 Все двери открывает
 невидимым ключом,
 И мантия из мрака
 клубится за плечом...
 О Господи, какую
 мы чуть несем, когда
 На кухне за стеною
 в трубе вздохнет вода,
 И этот всхлип протяжный
 на грани полусна
 Сожмет в ладонях сердце, —
 и шепчешь: «Ночь нежна...»

Герцен

Над Европою солнце не встало,
 Долго тянется ночь в феврале.
 Как же мало нас, как же нас мало
 От Иркутска до Па-де-Кале!

Чуть светлеет, но утро туманно,
 За Ла-Маншем туманно вдвойне...
 Петербург просыпается рано
 Над Невой, в снегу, в тишине.

В окна бьет атлантическим ветром,
 Мерит версты слепой землемер...
 Даже имя твое под запретом
 Там, в России чужой, Искандер.

Там, лицом повернувшись к восходу,
 То шепча, то срываясь на крик,
 Ожидает ли братство, свободу
 Или равенство русский мужик?

.....
 Над сумятицей вздыбленных улиц,
 Через сто польхающих лет
 Наши руки к тебе протянулись,
 Ощущая пожатье в ответ.

1974

Ирина ДУБРОВСКАЯ

/ Берлин /



Веник

1

Мои походы на блошинный рынок начались с отчаянной надежды вновь обрести часы «Молния», украденные у меня в берлинском сабвее. Вот уже и пятнадцать лет с того дня минуло. Воображение услужливо рисовало мне картину путешествия часов от вора к перекупщику, с одной барахолки на другую, и в конце концов они приземлялись здесь, на этой, на лоток к турку — старьёвщику а почему бы нет?

Он мне подарил их в аэропорту «на память». Так и сказал: «На память», но это было не то, о чём он в тот момент подумал. Это была его любимая вещица и единственная собственность и он послал её со мной как залог с надеждой, что она потянет и его за мной в моё вечное движение. «Ты река — тебе бежать, а я камень — мне лежать», — так он говорил, шутя.

Мы жили в Москве. Жили как бродяги, — у него не было ничего, кроме разве часов «Молния», а я была просто неверной женой другого мужского человека и моталась неприкаянная, мучаясь, то непомерным счастьем, — то раскаянием, от переизбытка того и другого впадая в суицидальные состояния, пока и в самом деле не оказалась в больнице. От передозы наркоза (не рассчитали на 1 кг веса) я рассталась ненадолго с собой и посмотрела на всё это безобразии со стороны, точнее с высоты потолка больничной палаты. Как я потом где-то вычитала, — у всех это происходит почти одинаково. Многим, правда, к зависти моей, удавалось подняться и выше, под крышу больницы или даже (над ней) на высоту птичьего полёта.

...Однако даже под потолком мне привелось пережить это самое «такое», отчего вернулась я к себе неохотно и уже не прежней. Первое желание было — поскорей всем объяснить, что и как

со мной произошло и почему я уже не прежняя, но в обычных словах никто меня не понимал, а как ещё объяснишь? Я затаилась, но с этого дня жизнь моя, потекла совсем по другому руслу. Страх шкурного свойства исчез совсем, а мир предметный я как-то разлюбила. И границы сами собой для меня исчезли вместе с условностями, видимыми и невидимыми и вскоре, а может быть даже и вследствие этого, вынесло меня из родного города неведомо куда.

Помотавшись некоторое время по разным странам, я застряла в городе Берлине, на этом Вокзале Всех Вокзалов.

Часы не были мне дороги как вещь, не были мне они дороги и как «вещь на память». Нет. Но, они всё же были волшебные, эти часы, недаром что Молнией назывались. Время по ним я не исчисляла, наоборот, — оно катилось вспять и, я точно просыпалась и видела до мельчайших деталей то рошу у станции Переделкино бабьим летом, то майский лес с кукушкой, считавшей как полоумная наши годы у автодороги на Звенигород, то вдруг в тёмной чаще появлялся единственный сугроб в ложбинке среди изумрудного мха. Или же вдруг я оказывалась на пустыре в районе Малые Котлы, а то вдруг видела высокую бурьян-траву над своей головой у забора школы в Царицыно. С этими часами я помнила каждый день свиданий с их горячо любимым владельцем до нашего расставания, как оказалось,— навсегда.

Как говорить, шли годы, и мне легко удалось вместить в них несколько авантюрных жизней. Но про потерю часов я не забывала и надежду найти их не теряла.

Барахолка, это почти уже помойка и если археологи откопают её однажды как Помпей, то вряд ли распознают, что это всё же не городская свалка, а один из самых милых и живых уголков Берлина. Помойки и кладбища, мне думается, и есть основа истории, ведь довольно редко, можно даже сказать, как подарок, попадаются историкам внезапно погибшие Содомы с Гоморами под пеплом лавы сохранившиеся, а так, всё больше помойки да кладбища...

Для кочевников трофеи обременительны, — конь, нож (меч, лук) да огниво, — вот их богатство, у них и боги такие же беспокойные, гуляки и бражники, да и помоек у них нет, одни пепелища, а у оседлых, заметьте, — хозяйственных богов больше почитают, — вседержителей, под себя подгребающих, от этого и исторических подробностей у оседлых — хоть отбавляй.

Западная Европа — это вообще торжество материала. У обстоятельных и прагматичных римлян даже богиня клоак была, Венера Клоацина...

Люди подбирают Богов по своему подобию и по своей надобности. С Христом они обознались. Если б он снова пришёл, не приведи Господи, и посетил бы в неурочное время прекрасно ухоженный двор платной евангелической школы, его бы наверняка сторож сдал в полицию.

Попав на барахолку впервые, я засмотрелась на горы праздничного утиля и постепенно отвлеклась от своего поиска. И с тех пор почти каждый раз так: подхожу — помню, погружаюсь в этот цветник прошлой жизни предметов — забываю, зачем пришла, как Герда в саду волшебницы. «Спи, спи, — говорят мне пыльные, но всё ещё яркие помойные цветы — забудь свою жизнь-молнию, вот оно, — интересное самое, — чужие тайны, трофеи и штучки-дрючки и у каждой своя песня и всем им теперь, буквально, — грош цена. Глянь сюда, в этот чемодан полный довоенных фотографий, все эти смеющиеся и обнимающиеся люди, младенцы и старики — твои! Вот ожерелье из скелета кобры, а вот ящер, изваянный из велосипедных цепей, вот в ногу бегущая армия футбольных призов, а вот — распятый Христос из слоновой кости на зелёной бархатной подушечке, словно изящное диковинное насекомое.

Здесь дружат невозможное с несоместимым: хрустальный попугай с фарфоровым Фридрихом дэр Гроссэ, Купидон с Восемьруким божеством и Садовым Гномом, Весы Фемиды с Кнотом для взаимной любви.

Есть совсем потерявшие надежду на вторую (третью) жизнь после смерти предметы, возможно, раньше они бы и головой друг другу не кивнули, а сейчас лежат тесно, промокшие под дождём в картонной коробке: меховые воротники, оленьи рога, сахарница, ботинок... (ну всё как у людей!)

Есть среди них и чьи-то невозвратные утраты.

Материя обладает магнетизмом. И только здесь я позволяю себе отдаться на волю его, и это поле меня тянет то к одному предмету, то к другому. Сомнамбулически вынимаю старую тетрадь из ящичка: «Завтрак в одиночестве» — так начинается она и так заканчивается и печален каждый день у господина X, давно ушедшего с этого света на тот. «Спустился в погреб, картофель пророс фиолетовыми ростками».

Портрет кокетливой барышни в шляпке выпадает на землю. Подпись с обратной стороны «Персефона Шмидт».

«Покупали ли вы что-нибудь у немцев? Получали ли вы что-нибудь в подарок от немцев?» — кричит громовым голосом берлинец, роясь в сундуке полном старых газет. Останавливаюсь, удивляясь таким словам, особенному ударению на слове «немцы». «Получали ли вы что-нибудь в подарок от немцев?» — это он повторяет специально для меня и не дожидаясь ответа, протягивает мне три высоких стакана. Беру, благодарю, хотя они мне и не нужны. То, что я ищу у него, нет. Ставлю их под деревом неподалёку и возвращаюсь.

А вот и она, моя Бледная Богиня — Клоацина неподвижно стоит у дерева в диковинном фартуке с пришпиленными к нему открытками собственного изготовления. Каждая имеет свою сентенцию. Пумбайшпиль: «Твой панцирь крепок» (черепаха с молнией, ударяющий в её панцирь), «Ты мудрая сова» (сова), «Ты резвая лань» (голова лани), «Я очень любопытна, — у меня длинная шея» (жираф), «Прости меня» (собачья морда с большой слезой под глазом), «Мы неразлучны» (два котика), «Я знаю как!» (хитрая лиса).

Всё это сделано из обрезков старья.

Каждый может выбрать себе звероморфный образ по настроению. Я всегда выбираю. Нет, не из жалости к ней, — из уважения и цеховой солидарности художника. Всех уже перебрала, остановилась на черепахе, с якобы крепким панцирем, теперь её всегда предпочитаю. Бледная Богиня Клоацина тут всегда, — большинство продавцов меняется.

Отчаявшись найти моё «утраченное время» я начала покупать «пространства», глобусы, земные шары б.у. и адоптировать чужих мертвецов на фотографиях, их здесь превеликое множество.

Чужих, а теперь Моих Отживших я складываю в отдельную коробку, а миры б.у. в мастерской обклеиваю заново бумагой и они снова как новые и принадлежат только мне одной! А, впрочем, ведь пока я на земле, это так и есть, он мой этот шарик, весь целиком. И пусть на нём будет всё то, с чем мне жалко расставаться, и то, что я успела пережить и осознать. В стремлении объять необъятное мне не скучно двигаться по кругу, подчиняясь только Гармонии.

Вот несколько штук из моей коллекции:

ЦАРИЦЫНО. «Место это не счастливое, но оно обладает чарами. Его невозможно забыть. Попавшего туда однажды, тянет вернуться». Когда меня тянет вернуться туда, я делаю новый глобус... потом ещё один...

МОСКВА. Я знала этот город по подворотням от хронической бездомности в молодости. Это город моего сердца.

БЕРЛИН. Листки, вырванные из альбома с рисунками берлинских тополей, пустырей у реки, мостов и вокзалов. Листки кружатся на ветру, серые от городской пыли.

Берлин — книга прибытий-убытий, с фиолетовыми штемпелями на адресах постояльцев. Берлинское дерево — тополь, *Pappel*, *poplar*. По-итальянски *popolo*... — простолюдин.

КЛЮЧИ. Я их повсюду теряла... буквально по всему земному шару.

Бесконечное количество дверей, открытых и закрытых, но в памяти постояльца только пару окон осталось, вот этих, с яркой июньской зеленью за крестом рамы.

ТЕЛЕГРАММА. Бесконечный российский пейзаж — время не деньги, пространство не воля. Слова в эфире те же, вечные как дыхание смертных, чаяния и приветы, — жизнь смерть любовь встречи и проводы... «Привет с тех мест где нет невест... родила дочь три пятьсот... 15 июля тихо и без боли Анечка нас ушла упокой Господи душу её... доехал нормально Саша... Не скучай зайчик твой люблю тчк... вылетаю Москву встречай... почему не отвечаешь на письма... Поздравляем Годовщиной бабушка и дедушка».

ВАЛГАЛА. Этот глобус для умерших друзей любимых. Сам шар достался от погибшего в 2002 году Андрея Люса, художника и кинооператора. В его квартире я его нашла и закончила с ним в соавторстве, поминая и остальных.

ПАЛИНДРОМ: $\nu\psi\omega\nu\nu\alpha\nu\omicron\mu\eta\mu\alpha\tau\alpha\mu\eta\mu\omicron\nu\nu\alpha\nu\psi\iota\nu$

Этот греческий палиндром означает: «очисти мои деяния, а не только моё лицо».

По-моему очень хорошо ложатся эти слова вдоль экватора.

А этот шарик называется — «ФОМА НЕВЕЕРУЮЩИЙ».

Он о страданиях мирских, в наличие которых мы не верим до тех пор, пока не «вложу руки моей в рёбра Его».

ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ? (WAS FENLT) Этот о любимых книгах, которые читаем-перечитываем. Мудрецы всё сказали, читай или ходи слепым!

ДУБОВЫЙ ЛИСТ. «Дубовый листок оторвался от ветки родимой...» и носит его с тех пор по миру. КУДА? ЗАЧЕМ?

2

Потеря часов меня ранила, но потеря других вещей с тех пор больше ни разу не огорчила, а теряла я их ой как часто!.. Давно престала приобретать такое, что было бы жаль терять, трофеев не брала, ничего кроме победы не ценила. Это так, кажется, как Геродот о скифах отзывался.

Об украденной совсем недавно машине я позабыла на следующий день, но пару недель спустя вдруг, гуляя в очередной раз по барахолке вдруг меня пронзило: «Веник!», там же в машине, остался веник! И стало вдруг так грустно, что аж сердце заболело. Ему то этот рассказ и посвящаю, не знаю почему, но именно он вывел на поверхность моего сознания и всё остальное, барахольное. А вот так он ко мне попал: несколько лет назад заболела моя мама, чтобы быть с ней рядом, я вернулась в город моей прошлой жизни и провела в нём почти год. Это был для меня очень печальный год в тридевятом царстве в тридевятом государстве, в тридевятом году, вымотавший мне душу немилосердно. Глядя изо дня в день в окно с седьмого этажа на безотрадный зимний пейзаж московских выселок, я осознавала, что жизнь моя на мировых просторах казалась сном.

Мама меня оставила в январе, всячески стараясь укрепить моё мужество продолжать жить одной на этом свете, без неё и «со спокойной душой встречать наступающий день».

На следующий день после похорон на улице я увидела прохожего. О нём можно было бы сказать — волчара, если бы я не знала его с детства. (Тогда это был мальчик семнадцати лет, всего на три года меня старше). Прохожий — волчара шёл навстречу, сквозь заснеженный двор, глядя на меня в упор своими серыми гляделками и криво ухмыляясь точь-в-точь как и двадцать лет тому назад. От этого взгляда, помнится, у меня тогда подкашивались колени. Как сейчас помню, как хотелось тогда развернуться и бежать от врага по собственным следам в обратную сторону. Но почему-то не бежала, по глупости или из-за отчаянного куража, свойственного мне и поныне: назад — только вперёд но-

гами! Эта жуткая новостройка, несомненно, была одним из проявлений ада на земле и я уже тогда, в очень юном возрасте, вполне осознавала это, а слова — «будьте осторожны при выходе из последней двери последнего вагона» всегда буквально относилась на свой счёт. Это была конечная.

Он, как тогда говорилось, «любил её по-своему», но не знал, как объясниться, и, как я теперь думаю в его оправдание, решил, исходя из нравов того общества, где он произрастал до 17 годков, убить, чтоб не мучалась. Пару попыток он предпринял, к счастью для меня, неудачных, а потом сел в тюрьму за что-то другое и больше мы не виделись.

Поравнявшись со мной на снежном поле пустыря, он кивнул мне молча и проследовал мимо, оставив переживать де жа вю, а вечером позвонил в мою дверь.

И я ему открыла. «Слышал, мать умерла у тебя. Вот зашёл спросить, не надо ли чего помочь».

Я была уверена, что он придёт, поэтому не удивилась и пригласила его зайти и помянуть. От выпивки он отказался, сказал — «в завязке», сидел — маялся, но не уходил.

«Вот, что», — вдруг сказала я ему, смело глядя в глаза, — хочешь прожить со мной три дня и три ночи?» — Дай подумать минуту, — ответил он и потупился.

Но минута не прошла, и он сказал:

— Да.

— Три дня — и всё! Это договор, — повторила я.

— Я понял, — сказал он.

Напряжение ушло, но неловкость осталась.

— Я пойду пожарю картошку, — сказала я

На лице его изобразилось искреннее удивление. «Ты? Картошку?»

Кусок мне в горло не лез в последние дни и силы «встречать со спокойной душой наступающий день» были на исходе. Если уж совсем быть откровенной, то и необходимости я в этом наступающем дне я больше для себя не видела, не говоря уж о желании. Одновременно с постепенным уходом мамы мне довелось претерпеть развал семьи и предательство друзей, в общем, в этот день вакуум моей души был заполнен стылым январским воздухом и я едва сдерживалась чтобы не пугать людей клацаньем зубovým. Но гость, есть гость, и я приготовила ужин. Потом опрокинула одна пару рюмок и сняла с него свитер и рубашку. Шрамы и наколки щедро украшали тело этого незнакомого мужчины в соответствии с летописью его биографии, а она у него оказалась — мама, не горюй!

— Не бойся меня, — сказала я ему, в ужасе от собственного замозглого холода, мало подходящего для ночи любви.

— А что тебя бояться, — ответил он, — ты как мама.

На следующий день он принёс свёрток. В нём был довольно большой моток синтетической верёвки.

«Я сплету тебе веник». Я еле удержалась, чтобы не брякнуть ехидно: «Мне? Веник?»

Привязав один конец верёвки к батарее и уселся так, чтобы верёвка была туго натянута стал плести этот самый веник. «Поиграй мне на пианино», — попросил.

Мама моя очень горевала, когда я бросила музыкальную школу и радовалась когда ни с того ни с сего я садилась поиграть. Я стала наигрывать Сент Луис блюз... it makes me think i'm on my lust go round.

Плетущий Веник был когда-то мастер игры на шестиструнке во дворе. Я всё ещё помнила песню из его репертуара, что он пел так громко, что каждое слово долетало до седьмого этажа: «может где-то в га-а-лубой далии, я построю домик из цветов, будут облака всегда твои, будешь ты со мной мая любо-овь...» Мне тогда эти слова были смешны до колик.

Я играла, он плёл. Идиллия! «Плети-плети... — думала я, — конец этой верёвочки уже мелькает». Веник представлял собой туго обмотанную ручку со щёткой на конце. Очень странный. Вообще-то он больше смахивал на Метлу.

«А то может ну её, Германию. Я тебе дом построю. Сад. Будешь там цветы разводить».

Я промолчала.

— Где это тебя так научили? — спросила я, рассматривая его работу.

— В Казахстане, когда на поселении жил. Сплетёшь такой, — баба уважает.

За три дня и три ночи мы всё успели, — и нашу общую жизнь прожить и свои прошлые друг другу рассказать. Он не жаловался, я не сетовала, в сущности, они у нас состоялись такими, какими мы их себе насочиняли по малолетству, а уж удача нам сопутствовала обоим, это факт. Из общих знакомых наших и до тридцати мало кто дожил: Зона, Афган, драки, спирт Рояль, ну и так далее... (крест поставить, нужное подчеркнуть). Но встретилась мне товарищ дней моих суровых как раз тогда, когда моя сошлась на клин.

Он меня отогрел.

— Веник ты с собой возьми — попросил он. — Я пообещала.

— Прости, что тогда, давно, помнишь, чуть не убила тебя. Я всё помню».

— Ну что ты, дело прошлое и «чуть» не считается.

Утром четвёртого дня мы распрощались. Я слышала у выхода из подъезда, как он сильно ударил по застеклённой двери, (в девятиэтажках были когда-то застеклённые двери в подъездах, потом их в начале XXI века повсеместно постепенно стали забивать фанерой). Стекло со звоном осыпалось.

«Какие мелкие осколки» — подумалось мне, когда я выходила из этого дома в последний раз.

Эта встреча меня совершенно примирила с «наступающим днём» из маминой молитвы.

Веник-метлу я, как обещала, увезла с собой, и все эти годы он лежал в моей машине. Иногда я даже использовала его по назначению. Машина была единственной роскошью в моей жизни, а веник её неотъемлемой частью. И вот — нет его.

Я достала сигарету и присела покурить на задворках рынка. На торце дома трепетала тень от акации, переплетаясь с живыми цветущими ветками и иногда было не понятно, где тень, а где ветки.

Веник. Как мне жалко веник. Чертовски жаль! Неужели я так и уеду с этой ярмарки без часов и без веника?

Что мне глобусы, миры и универсумы, я летала, где хотела и не плохо, кажется, узнала этот мир и его обитателей, но я хочу для себя, приземляясь, только мои часы — Молнию и мой Веник. Часы — в карман, а на венике — как на коне верхом.

А может, лежат они где-то мои невозвратные потери и цена им грош! Может, найдутся?

Вспомнила, как в детстве потеряла ключ, катаясь зимой на ледяной горке. Чуть ли не до утра промаялась тогда на лестнице и по соседям (мама дежурила в ночь). А весной нашла его, заржавевшим и бесполезным. Дверь им было больше не открыть. Вот и всё. Больше ко мне ничего из потерянного не возвращалось.

ЕФИМ ЯРОШЕВСКИЙ

/ Одесса — Котбус /



Три четверти века

Если тебе исполняется семьдесят пять, а тебя все называют Фима — это означает многое. В частности, что ты сохраняешь молодость и даже — детство. Сохраняешь, а не впадаешь.

Если двадцатипятилетние-тридцатилетние поэты держат тебя «за своего», если вот уже год проживая в Германии, ты присутствуешь в Одессе, той уже почти виртуальной Одессе, которая состоит не из домов, а из людей, значит, Одесса еще чего-то стоит.

Ефим Яковлевич Ярошевский родился в 1935 году. А это значит, что он помнит войну, эвакуацию, голод 1947 года. Ему было восемнадцать лет, когда умер Сталин, и эта страшная эпоха — его детский и юношеский опыт.

Он много ездил — куда только его не заносило! Но где бы он ни был, все равно он находился в двух шагах от Одессы. И сейчас он совсем рядом.

Всю жизнь Ефим учил старших школьников русской словесности. И они тоже держали учителя Ефима Ярошевского «за своего». Он знает и любит русскую литературу, как мало кто ее знает и любит.

Он чувствует душу подростка, как немногие профессиональные психологи. Наверное, многие его ученицы мечтали выйти за него замуж, когда вырастут.

Ефим Ярошевский прекрасный поэт и писатель. Скорее, все же, поэт. Потому что проза Ярошевского — это проза поэта. Но, кроме того, это проза постоянно разговаривающего человека. Человека одесской богемной, художественной тусовки, настолько неофициальной, насколько это можно было себе позволить, не попадая в тюрьму.

Годами Фима писал свой «Провинциальный роман-с», этот роман бытовал в пересказах друзей и состоял из рассказов друзей. Это были листочки. Потрепанные, затертые до состояния папиросной бумаги, исписанные совершенно немислимым почерком, и все же очень красивым. Ну, почти как пушкинский. И почти как пушкинская — графика Ярошевского — сотни рисунков на полях его рукописей. И Александр Сергеевич — один из основных персонажей графики Ефима Яковлевича.

Одной из отличительных черт Фимы была явная беспомощность — казалось, что сам он ничего никогда не доведет до ума, не приведет в порядок... Для тех, кто бывал в его квартирке на Молдаванке, где жили его родители, ощущение невообразимого хаоса осталось навсегда связанным с уникальным профилем Фимы.

По счастью, рядом всегда были те, кто как-то структурировал этот хаос. Из груды разрозненных листочков рождались машинописные распечатки его стихов и, наконец, машинопись Фиминого романа.

Ему пришлось очень долго ждать публикации своих произведений. Первая подборка его стихов появилась в местной газете, когда Фиме было пятьдесят пять лет. Первое издание его романа в Нью-Йорке было издано тиражом в... пятьдесят экземпляров. Роман много раз переиздавался и вошел в объемную книгу «Королевское лето», напечатанную в Одессе пять лет назад. Выходила книга и в Санкт-Петербурге.

У редакции «Крециатика» есть основание гордиться тем, что впервые полный текст романа был опубликован именно в нашем журнале. Эта публикация была номинирована на конкурс «Сетевой Дюк» и заняла первое место. В «Крециатике» регулярно печатались подборки стихов Ярошевского. И будут печататься впредь. Потому что и в свои семьдесят пять Фима — прекрасный поэт, и его стихи сохраняют очарование молодости, из которой он давно «эмигрировал», так же как и очарование Одессы, из которой Фима эмигрировал совсем недавно.

Но эмиграция не означает отсутствие.

Мы от всей души поздравляем тебя!

Борис Херсонский

Разговорчики с небожителем или Прощание с текстом

(фрагмент)

одному поэту...

Я тебе подражаю только сегодня
на тебе, должно быть, печать Господня
всем известно, Муза — большая сводня...

Невозможно дважды — и в ту же реку
эта жизнь превращает меня в калеку —
помогите увечному человеку!..

.....

Там где каждый твой сокамерник — смертник
где закат над Нарвской заставой меркнет

там тамбовский волк тебе не соперник
лишь балтийский ветер тебе напарник
только звезды одни и ты — Коперник...

Там того и жди что ворона каркнет
да товарищ в сердцах за решетку харкнет
там свободой уже давно не пахнет...

А когда в небесах разверзнутся хляби
скажет дядя Исак (он мудрец и раби):
«Время близко, поздно кричать о драме! —
ибо самое время вспомнить о маме...
Ибо самое время — кричать о потопе!
Жаль, что нет кипы в твоём гардеробе —
ты надел бы — и жил бы себе в Европе...»
...Там сосед твой с утра не вяжет лыка
в двух шагах от Петра не услышишь крика
там с утра в стране назревает драка
там опасно жить и любить вне брака
(вижу слабый свет в глубине барака...)

Бойся, девочка, всяких прохожих дядек
не бери из нечистых рук шоколадик,
не ходи одна в этот детский садик...

Не смотри на мир раскрывая ротик
хорошо если доктор просто невротик
а не злой маньяк и не старый педик...

Так и будешь писать как в отчизне плохо
дескать нет там ни выдоха, нет и вдоха
и стоят дома со времен Гороха,
на дворе зима — такова эпоха...
там горят деревья, как посланцы духа...
там в крови голова, в голове разруха
там качают права и в делах непруха
запасают дрова старик да старуха....
и свистит метель в небесах и бронхах...
Ростропович летит на великий конкурс
Солженицын и Белль покидают Франкфурт
за чужой бугор улетят во фраках —
и ищи их потом в чужих оврагах...
Высоко в небесах самолетик кружит
шмель сидит в волосах — и ни с кем не дружит
спит царевна в лесах и о князе тужит
и тамбовский рысак ей надежно служит

И Гвидона тоска не напрасно гложет
от такой картинки его корезит
за окошком зима свои хлопья вяжет

скоро дева войдет и как карта ляжет...
 Стюардесса споткнувшись падает в кресла
 до сих пор там лежит раскинув чресла
 кабы к ней подойти — давно бы воскресла
 (но ее будить не имеет смысла)

.....

У тебя там дела, ты наверно занят...
 вьюга в здешних лесах давно партизанил
 подожди пока соберется саммит
 и увидишь все своими глазами

в этом мире нет ни низа ни верха
 на плечах тирана — седая перхоть
 по законам Корана — куда б ни ехать
 все равно бараном придется бегать
 и жевать травы молодую мякоть
 да над каждым цветком
 холодеть и плакать.
 (Над Германией дождь
 и в России слякоть...)

.....

Нам пора...
 До свиданья, мой друг Иосиф
 Поэтический лес редеет от просек
 (я здесь тоже живу, отчизну бросив
 если крикнут: домой! — я скажу, что не против...)
 Нешто мало равнин на просторах Рассеи
 инородцы, блин, там прочно засели —
 как их только терпит страна доселе?
 мы их где-то снова прочно расселим
 среди диких скал и цветущих расселин....
 а когда трава взойдет из проталин
 нам помашет ручкой товарищ сталин
 ...На пороге зима, на улице ветер
 мир не сходит с ума, он высок и светел
 величав и сед как писатель Федин.
 Он едва ли жив, но уже безвреден

.....

Мы с тобой заболтались. Луна в зените.
 Если что, обязательно позвоните...

2009, Германия

Городской этюд

1

...Плачет детский доктор
на коленях
у балетной примы —
он эротоман...
На широкие вечерние гардины
уж налег туман.

А у девочки в тазу
случился вывих —
мальчик что-то сделал не туда...
У нее в глазах широких и красивых
не осталось и следа...

.....

Грустная улыбка у старушки
бабушки Арины —
загулял курчавый внук...
взбиты, словно сливки,
пышные перины.
Чай остыл... Уснул паук.
И приходит не вечерние смотрины
старый доктор
исторических наук...

2

С неба медленно сползает позолота,
меркнет золото осин.
За окошком длится псовая охота,
запирают дворники ворота...
глохнет старый клавесин.

Утром сыро...
Улетают к югу злые птички,
вымирают в захолустьях города...
Нарастают к ночи
крики «электрички»,
набирают скорость
холода...

3. КОМФОРТ ЗИМЫ...

Барух Спиноза —
сегодня ты мой господин...
Кегли с мороза
и банка любимых сардин.

Угли в камине...
И в термосе — кубики льда.
Ветер в пустыне...
В кране — хмельная вода

Горсточка пепла.
Бокалы осенней тоски...
Осень окрепла.
Зима заострила виски.

Барух Спиноза —
сегодня ты мой господин.
Руки с мороза...
На свете зима.
Я один...
Старая проза.
Любимый поэт. Карамзин.

Зима, февраль, Россия

Когда замелькает февраль
и снежные лапы окраин
обнимут кварталы зимы
начнутся великие сны —
и мальчик по имени Хаим
откроет ворота тюрьмы
и крикнут народы: «Лехаим!»

Тогда мы на лире сыграем
тогда просветлеют умы...

Пока мы над высью порхаем
над глыбами мрака и тьмы
сквозь сумерки грозной зимы
от самых ворот, от Москвы
до самых далеких окраин
идет по стране как хозяин
двоюродный брат сатаны —
предвестник сумы и тюрьмы
не Авель, а брат его Каин...

Кто скажет, что это не мы
в ответе за козни зимы,
а грозные лапы окраин
в которых погрязли умы —
в угрюмых краях Кольмы,
в Рязани, в Казани, в Перми —

в объятых родимой земли
нам снится Ерушалаим

Прогулка по Летнему саду...

там Володя идет Гандельсман
по траве он гуляет
летний сад Петербург талисман Томас Манн
этот шторм за окном на него не влияет

там в саду на ветру дрогнут нимфы...
чуть-чуть в стороне
ходит гость иностранный
он ворчит как старик
не по мне (говорит)
не по мне эти новые рифмы
и стих этот странный...

светит лампа в ночи (у лампы есть раб)
жил себе и писал осененный таинственным нимбом
ах открыть бы
открыть бы и мне эту новую прозу с утра б —
и назваться Колумбом!..

там гуляет поэт не пугаясь простуд на ветру
и стихи сочиняет
ветер дует с Невы
ветер шепчет поэту: дай слезы утру
слезы вред причиняют

ветер ходит кругами по нашей стране, у ворот
там поэт выпивает
он читает стихи
он любимое слово на вкус и на ощупь берет —
и стихи убивают...

Так бормочет поэт и толкаются буквы не в лад
так рифмуются
совесть и сирость...

и впивает поэт эту ночь
эту морось и хаад
и вбирает в себя навсегда
этот текст,
эту сырость.

ПОЭТ И ДОЖДЬ

(Ода)

Свидетель певчих птиц обласканный богами
Насмешник и мудрец и чтец ненужных книг
Он в тайны бытия задумчиво проник
Он химик, он поэт, он физик, он ботаник
Он скрылся от царей он убежал от нянек
Веселый властелин таинственный изгнанник
Незримых городов окаменевший странник
Обрызганный дождем
Он страшен и велик!

Как первый летний дождь он прошумел над садом
Как Тютчев и как Фет над пашнями страны
Там девушки лесов печальны и стройны
Покорно и светло ложатся с бардом рядом.

Он понял жизни суть, он знал: век Музы краток
Он в пламенном бреду прекрасно занемог
Там молния воды течет между лопаток
И теплою струей стекает между ног...
(Там шабское вино — и пробка в потолок!)

Великолепный дождь! Он прошумел над прозой
Над прелестью стиха над пропастью воды
И первый летний гром был первою угрозой...
Предчувствием венца, предвестником беды

Когда в ночной тиши блеснет шальная гривня
(Последняя!) и бард опять уйдет в запой
На улице, где дождь шумит на мостовой —
Он до сих пор стоит
Глотая слезы ливня
И смотрит в ту страну,
Где Воля и Покой...

Б.Л.БРАЙНИН (Зепп Эстеррайхер)

/ 1905 – 1996 /



Австрийский поэт, переводчик поэзии на немецкий язык, полиглот (переводил с 26 языков). Писал под пятью псевдонимами, наиболее известный из них — Зепп Эстеррайхер (Sepp Österreicher). Происходил из венской семьи Brainin, к которой принадлежат многие известные деятели искусства и науки. Родился на Украине в Николаеве, откуда была родом его мать. Когда Б.Л.Брайнину было несколько месяцев, семья окончательно переехала в Вену, где уже давно жили их родственники. Факт рождения на территории Российской империи способствовал впоследствии получению Б.Л.Брайниным советского гражданства. Это спасло ему жизнь, в отличие от его брата Вильгельма (Вилли), рождённого в Вене и также эмигрировавшего в СССР, откуда он был возвращён после присоединения Австрии к Германии и погиб в Майданеке. Б.Л.Брайнин окончил Венский университет, получил степень доктора филологии (германистика). Имел также математическое и географическое образование. Изучал психоанализ непосредственно у З.Фрейда. Член Коммунистической партии Австрии (с 1927), руководитель молодёжных агитбригад. Награждён знаком Почетного члена Коммунистической партии Австрии и медалью им. Копленига за заслуги в борьбе против фашизма. В 1934 г. вынужден был бежать из Вены после поражения Венского восстания, в котором он принимал участие на стороне Шутцбунда. Попав в СССР, преподавал в Педагогическом институте АССР немцев Поволжья (г. Энгельс). Среди его студентов были родители композитора А. Шнитке, с родными которого Брайнин затем поддерживал дружеские отношения в течение всей своей жизни. Был арестован НКВД 5 октября 1936 г. и приговорён к шести годам исправительно-трудовых лагерей. Находился в лагерях Северного Урала, а после лагерей также в трудовыми в целом в течение десяти лет. Затем (с 1946 г.) отбывал ссылку в Нижнем Тагиле и в Томске с поражением в правах, преподавал в школах и ВУЗах. Реабилитирован в 1957 г. Переехал из Томска в Москву при содействии С.Я.Маршачка и переводчика Льва Гинзбурга, которым он послал свои переводы русской поэзии и сатирическую поэму «Германия. Летняя сказка» как аллюзию на известную поэму Гейне. Работал литконсультантом в «Нойес лебен» («Neues Leben»), газете советских немцев при «Правде». Много сделал для становления, сохранения и развития литературы советских немцев. По свидетельству В.Мангольда, у Брайнина было следующее представление об обстоятельствах, в которых существо-

вала эта литература: «...я вспоминаю ставшие легендарными слова знаменитого российско-немецкого поэта Бориса Брайнина, писавшего под псевдонимом Zenn Эстеррайхер: *Um die russlanddeutsche Literatur zu sehen, muss man auf die Knie gehen*»¹. Член Союза писателей СССР (с 1959 г.). Репатриировался в Австрию в 1992 г. За пять лет до репатриации написал по-русски мемуары о пребывании в лагере и в трудармии («Воспоминания вридола», «вр.и.до.л.» — «временно исполняющий должность лошади»). В Вене перевёл свои мемуары на немецкий. В своё время к написанию мемуаров Брайнина подвигал А.Т.Твардовский, на что Брайнин, согласно воспоминаниям В.Я.Курбатова, отвечал Твардовскому «я ещё не устал ходить без конвоя».

Из книги «Воспоминания вридола»²

24.5.1987

Это было в апреле 1938 года в лагпункте Верх-Шольчино. Мы почему-то не вышли на работу в лес. Возможно, был выходной день. Ко мне во дворе подошел нарядчик и сказал, чтобы я готовился с вещами в этап. Меня отправляют куда-то на другой лагпункт. Мне стало страшно, ведь со мною был мой брат Виля с больным сердцем. С ним расстаться я не хотел, ведь, может быть, никогда больше не увидимся. Я спрятался в бараке уркачей.

А нарядчик стал искать меня по всему лагерю. У него был список отправляемых, он должен был их вывести всех за зону.

А ребята дали мне совет:

— Разденься голым и спрячь одежду. На дворе холод и снег.

Они не имеют права отправлять тебя голым.

Ребята опытные. А Мишка-Ручка говорит:

— Отдай мне одежду. Я ее заховаю.

Я так и сделал. Все снял и отдал Мишке-Ручке. Сижу на верхних нарах среди урок, как мать родила. Вбегает нарядчик весь взмыленный.

— Где этот Брайнин Борис Львович?

— Тут я!

— А что голый сидишь? Весь этап уже за зоной стоит, конвой ждет!

— Не пойду без брата!

Нарядчик ушел. Через несколько минут заходит начальник лагеря Конюхов. Он смотрит на меня неодобрительно.

— Зачем так делаете? Нехорошо. Меня подводите...

— А я без брата никуда не пойду. Или вдвоем, или без меня.

— Вот что, этап идет в сангородок. Вы очень слабый. Мы туда отправляем больных и слабосильных на поправку. Там будет легкая

¹ «Чтобы видеть литературу русских немцев, следует встать на колени». Имеется в виду игра слов, смесь двух идиом: «опуститься на колени в почтении» и «опуститься на колени, чтобы разглядеть».

² Фрагмент. Книга готовится к публикации.

работа, усиленное питание. Через месяц-два вернетесь и будете опять с братом.

— Рассказывайте сказки, гражданин начальник. Я Вам не верю.

— Зря Конюхову не верите. Так вот, при всех слушайте. Я, Конюхов, даю Вам честное слово, что Вас заберу обратно.

Здесь я у Мишки-Ручки забрал свою одежду, надел свое венское пальто и поплелся через вахту. Там стояли человек тридцать и ждали меня. Конвоир выматерился, и колонна двинулась в Савиново, село Шабурово, на Лозьве-реке.

А ведь самое удивительное то, что Конюхов сдержал свое слово!

* * *

Савиново назывался лагпункт в селе Шабурово, недавно организованый, где собирали доходят из всех отделений Севураллага. Начальником был Кривоногов, о котором говорили, что он воспитывался у Макаренко под Харьковом. Это был, скорее всего, педагог, который находил подход даже к самым отпетым бандитам. Обслуживающий персонал состоял из БОМЖ (без определенного места жительства), БОЗ (без определенного занятия) и некоторых СВЭЛ (социально вредный элемент, например, Лопарев, который, вскоре освободившись, стал зав. клубом в Шабурово).

Наш этап распределили по баракам. Я попал в барак уркачей, некоторые знали меня еще из тюрьмы, что мне обеспечило спокойную жизнь. «Воспитателем» был Каширин, нарядчиком — Федя Плющев, молодые ребята. Я не помню, каким образом я стал их помощником, составляя какие-то списки. Возможно, что с первого дня нашлась мандолина, под которую так виртуозно плясал Дягилев и пела частушки БОМЖ Нона Сталенионис.

В женском бараке я встретил энгельсскую учительницу Таню Андреевну, получившую за анекдот 10 лет. Она была медсестрой в лагере (а фельдшером был какой-то рецидивист, крупный, мордастый, по фамилии Деев), у нее был чудный, звонкий голосишко, когда она пела «Однозвучно звенит колокольчик», то казалось, что действительно звенит колокольчик. Она умерла в марте 1942 года от воспаления легких, 23-х лет. В бараке была певица из Тбилиси, Орлова. Узнав, что я иностранец, она крикнула: «Валя! Слезы! Тут пришел иностранец!» Рядом со мною слезла с верхних нар девушка лет 16-ти. Очень милая блондинка с ямочками на полных щечках. Слезая она зацепила рубашкой за доску, до груди обнаженная, прыгнула на пол, поправляя затем рубаху (трусов у женщин не было) с самым невинным видом.

— Я тоже иностранка, — сказала она, улыбаясь. — Может быть, Вы когда-нибудь попадете опять за границу и найдете мою мать.

Здесь я узнал ее удивительную историю.

Она родилась в 1922 году в Польше, Тарнопольское воеводство, почта Богдановка, село Клебановка. Ее мать зовут Доницелла Флейтута, урожденная Штанек. Сама она вовсе не Валя, а Мэрион Флейтута. Ее отец уехал с мамой и с ней в Канаду, в Монреаль, где

работал инженером. В 1931 году летом мать захотела повидаться с бабушкой и поехала с Мэрион в Польшу, где в селе Клебановка ее бабушка имела небольшое имение.

Однажды летом ее мать послала няню в соседнюю деревню и дала ей 500 злотых, чтобы кому-то отдать долг. Мэрион просила разрешения поехать с няней. Мать разрешила, и они с няней сели в карету и поехали. По дороге их остановили знакомые и попросили зайти на свадьбу. Няня боялась, что у нее украдут деньги, пришила 9-и летней Мэрион эти 500 злотых внутри платья английской булавкой и велела подождать ее, она, мол, скоро придет. Мэрион окружили дети и позвали поиграть в прятки. Они все выбежали в поле и прятались за кустарниками. А Мэрион убежала далеко и стала собирать цветы в большой букет. Она заблудилась меж кустов, и вдруг ее окружили люди, говорящие на непонятном языке. Оказалось, что она перешла советскую границу. Ее забрали пограничники, нашли у нее 500 злотых и хотели знать, кому она должна была передать эти деньги. Ее увезли в Ямполь и посадили в подвал.

— Я никогда не забуду, как я утром проснулась с букетом цветов, вся замерзшая и замученная, — рассказала она мне.

Дальше я подробно не помню ее рассказ. Помню, что она была в колонии малолетних преступников. Ей было 12 лет, когда ее отправили в Нарын или Норильск (не помню, ехали по реке), по дороге многие умерли от тифа. Где-то выбросили трупы на берег для захоронения, в том числе и Мэрион. Придя в сознание, она выползла из-под трупов. Какая-то сердобольная женщина ее подобрала, вымыла, накормила. Девочка у нее выздоровела, но соседи заявили об этом. Женщину арестовали, а Мэрион отправили в лагерь. Она очень голодала, чтобы поесть ей пришлось уже в 13 лет продавать свое тело за кусок хлеба. Она об этом говорила так просто, как будто так и надо. Но в беседе (мы с ней говорили часто) она повторяла всегда, что ей это противно (а что делать?). Может быть, я был единственным, кто ее не трогал. Я ее знал почти до самой смерти. Она ко мне относилась е большой привязанностью и искренностью.

Через 24 года я разыскал ее мать, послал ей подробное письмо о судьбе дочери, но мать это письмо не получила.

Когда ей исполнилось 16 лет, т.е. совсем недавно, в 1938 году, ее отправили в какой-то большой город. Ее вызвали в кабинет какого-то офицера. Он ей сказал: «Запомни, что с сего дня ты будешь Валентиной Ивановной Ивановой. Никогда никому не говори, что ты на самом деле, а то тебе плохо будет». Затем она попала в Севураллаг, лагпункт Савиново. Так она и числилась здесь. Статья УБЭЛ (уголовно-бандитский элемент).

В 1940 году, после того, как Тернопольское воеводство стало Тернопольской областью УССР, «Ваю» отправили в Верх-Шольчино. Я ее встретил летом на л/п Верх-Лозьва. Она меня узнала, но говорить не могла, а только издавала крики: «А-а-а-а-а! С ней была заключенная женщина, ее опекающая. Она мне рассказала: зимой в феврале, Валя отказалась от работы из-за менструации. Ее

заперли в неотапливаемый карцер. У нее хватило сил разобрать дымоход и вылезть на крышу. Что с ней сделали, женщина не знает, но с тех пор «Валя» потеряла дар речи.

В ноябре 1940 года меня отправили под конвоем в Ликино. В поселке мне навстречу шла Валя тоже под конвоем. Она меня обняла, значит узнала, но говорить не могла. Все те же крики «А-аа...»

Летом 1942 года, находясь на Усть-Еве, я узнал, что Валя умерла от «чахотки». Неправда это. Не было у нее чахотки, никогда не кашляла. Убрали ее.

Через 20 лет, поскольку меня все время мучила совесть (ведь я же Вале обещал, что разыщу ее мать), т.е. в 1962 году, я из Томска, где я тогда жил, послал письмо на имя председателя сельсовета села Клебановка, почта Богдановка, Тернопольской области, в котором просил сообщить мне, живет ли в Клебановке гражданин Донцилла Флейтута, урожденная Штанек, поскольку я хочу ей сообщить, что мне известно о судьбе ее пропавшей дочери. К моему величайшему удивлению оказалось, что действительно есть такая деревня, Клебановка, и что там жила учительница Флейтута с двумя сыновьями, но они переехали в соседнюю деревню. Я написал матери «Вали» в ту деревню: «... если Вы хотите знать, что случилось с Вашей дочерью Мэрион, сообщите мне, была ли у Вас такая дочь».

Дрожащим почерком она мне немедленно ответила авиаписьмом: «Ради Бога, сообщите мне, что Вы знаете о моей дочери Меланье. Неужели она еще жива? Вы ее муж?»

Я ей написал на нескольких листах подробную историю мученицы Мэрион и отослал заказным письмом. Прошло больше месяца. Получаю опять авиаписьмо; «Что же Вы молчите? Вы же обещали мне сообщить, куда делась моя дочка».

Короче говоря, мое письмо пропало. Или его задержала в пограничной полосе местная цензура, или сыновья скрыли его от матери.

* * *

В женском бараке жили две сестры Бочкаревы: Зина и Шура. Зине было 20, Шуре, наверное, 22. Зина была худощавой, бледной, а Шура полнее, крепче, обе среднего роста. Совершенно непонятно было, за что эти простые, скромные колхозницы схватили статью УБЭЛ. Зина работала, кажется, в столовой. Однажды у нее на спине образовался фурункул. Аферист Деев, который неизвестно почему работал «Лекпомом», т.е. фельдшером, выдал ей этот гнойный нарыв, после чего Зина еще в июне 1938 года умерла от заражения крови. Деева отправили на лесоповал, но покойнице от этого не стало легче. Начальник отделения Мечеслав Петрович Буян пожалел сестру Шуру и взял ее к себе домой нянькой. Я помню Шуру, как она носила на руках двухлетнюю дочь Буяка Ирину... Сорок лет спустя (в 1978 году) Ирина придет ко мне в Москву, чтобы я ей помог проконсультироваться у невропатолога...

Никогда не забуду я Серафиму Романовну Зражевскую. Это была украинская красавица лет 30-и, с черными, как смоль, волосами и

глазами, широкобедрая, полногрудая, стройная. Она была заведующей столовой на Тбилисском военном аэродроме. Какому-то садисту захотелось над ней поиздеваться. Она сидела по 53 статье. Однажды, когда я зашел в женский барак, она спросила: «Хочешь на меня посмотреть?» — И, повернувшись ко мне спиной, задрала платье.

— На, посмотри!» Я ужаснулся. Зад и спина были исполосованы, местами вздуты: ее в следственной тюрьме раздевали догола и били палкой, пока она не подписала все, что от нее требовалось. У нее были повреждены почки. Она мочилась кровью. В 1946 году я ее встретил в Верхотурском ОЛПе. Ее освободили. Но она тогда в неполные 40 лет была седой старухой со сморщенным лицом. Я ее с трудом узнал.

Про тбилисскую следственную тюрьму я слышал в Верх-Шольчино. Грузины рассказывали ужасы о методах инквизиции. У бухгалтера Бочоришвили были раздавлены пальцы левой руки. Ее зажимали в дверь, чтобы он правой рукой подписал протокол. Но были и такие кого не пытали, например, молодую красавицу, бывшего секретаря Тбилисского горкома комсомола, Лидию Варламовну Забахтарашвили или врача Мишу Лилуашвили.

* * *

В Савиново я снова встретился с Колей Черновым. В нем было что-то от Остапа Бендера. Это был ловкий мошенник и аферист, который сидел не в первый раз. Я помню туманно, за что он сел на этот раз, он мне это рассказал еще где-то в сентябре 1937 года в энгельсской тюрьме. Ему тогда было 32. Он был стройный, крепкий, с живыми глазами, умел командовать преступным миром, у которого пользовался авторитетом. Короче говоря, он в Саратове вечером познакомился с капитаном сухогруза, пригласил его в привокзальный ресторан и напоил до белых риз. На путях стоял грузовой состав. Чернов затащил капитана в пустой товарняк, снял с него мундир и одел его, забрал у него документы и запер в вагон на засов. Затем разыскал его судно, которое возило арбузы куда-то по Волге, созвал всю команду и объявил, что капитана сняли с работы за порчу арбузов, а ему, Чернову, поручено продать их не месте, пока они не сгнили. Рано утром началась распродажа арбузов прямо у пристани. Выручку Чернов поделил с экипажем баш на баш, т.е. половину Чернову, половину всем остальным, так как ему, якобы, надо было «отчитаться перед наркоматом». Арбузы продавали по дешевке, толпа хватала их. К вечеру Чернов дал команду к отплытию, считая, что настоящий капитан не скоро вернется из запертого вагона. Так и случилось. Поезд доехал, а когда капитан проснулся, он уже был где-то далеко от Саратова на каком-то разъезде. Его отчаянный стук услышали, и его освободили.

Не успел Чернов распродать все арбузы на следующей пристани, как его арестовали. (В тюрьме он был в мундире капитана.)

Еще в Энгельсской тюрьме я с ним подружился. Он, как многие уркачи, был любознателен, и, узнав, что я собираю материал для словаря блатного языка, он очень усердно мне помогал и даже других мобилизовал.

Чернов был в Савинове расконвоирован и работал за зоной конюхом. Напрасно ему оказали такое доверие. Он ухитрялся совершать мелкие кражи, и краденые супони, чересседельники, даже фураж сбывал местному населению села Шабурово (где половина были Шабуровы, а другая — Митины). У него всегда были деньги, которые реализовывал в лагерном ларьке. Помню, однажды он меня угостил гороховой кашей с колбасой, хлебали мы из одной миски.

А в один прекрасный день Чернов сбежал при обстоятельствах, сильно напоминающих историю с саратовским капитаном.

Ночуя в конюшне, он устроил пьянку с одним из Стрелков. Напоив его до бессознательного состояния, он его раздел, надел его форму, вывел лучшего коня, оседлал его и умчался. Побег он тщательно подготовил. При нем была справка с круглой печатью Севураллага, что ему, стрелку ВОХР'ы, поручено собирать о населения средства для борьбы с беглецами из лагеря, которые грабят и убивают во всей округе. Он разъезжал по Надеждинскому (Серовскому) району, появлялся то здесь, то там, приходил в сельсоветы и требовал, чтобы собрали все взрослое население. На собраниях он выступал, собирал деньги и даже давал за них расписки. Люди охотно жертвовали для благородной цели. Если я не ошибаюсь, он так три недели путешествовал. Не пропивал бы он вырученные деньги, его бы не могли поймать так легко; он бы уехал куда-нибудь подальше. Но через недели три его схватили и привели обратно в лагерь. Я помню, как мы на сенокосе с удивлением увидели Колю Чернова с опущенной головой на краденом коне в сопровождении двух конных конвоиров. Если он сбежал галопом, так он вернулся медленным шагом. Больше я Колю не видел. Сперва он сидел под следствием, затем получил за побег два года к пяти годам, которые уже имел. А осенью я узнал, что он еще раз бежал и был убит из винтовки преследующего его охранника.

Итак, где-то в конце июня меня с бригадой отправили на сенокос. Луга находились на правом берегу реки Лозьва. Мы нарубили жерди и построили шалаши, а внутри постелили траву. Хорошо спалось после работы в этих шалашах. Я научился косить и грести, только стоговать не научился. Это была самая тяжелая работа.

Однажды рано утром, около пяти часов утра (завтрак был в шесть часов) я вышел из шалаша. Смотрю, наш охранник сидит поодаль и закуривает, заворачивает самосад в лист, который вырвал из книги. У нас не было книг, всякая литература была строго запрещена. А у меня для курева была старая местная газета. Я очень соскучился по чтению и крикнул охраннику:

— Стрелок! Что за книга у тебя?

Он внимательно посмотрел и ответил:

— Какой-то Евгений!

— Слушай, — говорю я, — ведь бумага плохая, лощеная. Давай поменяемся. У меня газета есть! Махнем?

— Махнем, — сказал стрелок, прошел несколько шагов в мою сторону, положил книгу в траву и вернулся на место. Я сделал то же самое с газетой и забрал книгу, а он потом пошел за газетой.

Эта церемония была принята, чтобы заключенный не мог схватить у стрелка оружие.

Так я впервые получил «Евгения Онегина» на русском языке. До этого я его читал в тяжеловесном немецком переводе. А в детстве, когда мать мне давала переводить сказки Пушкина на немецкий язык, я ведь не дорос до «Онегина».

Я стал жадно читать. С первых строк меня захватил этот шедевр. Я не вышел на работу, меня лихорадило. Я не помню, кто у нас был лекпомом, но меня по болезни освободили от работы. Ведь надо же, чтобы человеку так повезло: в 33 года впервые прочитать «Евгения Онегина» в оригинале! Я тогда дал себе клятву, если я когда-нибудь выйду на свободу, то обязательно переведу «Онегина» на немецкий язык.

Через 20 лет я перевел первую главу. Честь перевода была опубликована. Но потом мне кто-то (кажется, Элленберг) подарил перевод Коммихау, и я понял, что этот перевод так удачен, что не стоит мне продолжать работу.

* * *

Охранник, который мне дал «Евгения», влип однажды не без моей вины. У него была ночная смена, а он заснул крепким сном. Этим воспользовались трое, чтобы бежать из лагеря. Я помню их фамилии: Балбеков (бандит, 20 лет), Веденеев (тоже головорез, лет 24) и Кузовов (ленинградец, окончил десятилетку, гравер по профессии, интеллигентный, начитанный парень лет 20, но полностью попавший под влияние преступников). Я спал в шалаше, когда меня разбудил Веденеев. Он мне шепнул, чтобы я выполз. Мой шалаш (на 8 человек) стоял у крутого берега Лозьвы. Мы скатились с берега, там лежал Балбеков и Кузовов. Недалеко была привязана лодка. Они мне предложили плыть с ними на другой берег, там они уйдут в лес, а я лодку потом привяжу на старом месте, так что никто не догадается, что их надо искать в лесу на противоположном берегу. Мне ничего другого не оставалось, как выполнить требование, иначе они меня могли зарезать. Я так и сделал, они исчезли в темноте, и греб обратно, потащил лодку на старое место, привязал ее и лег спать. Утром на проверке поднялся большой шум, когда оказалось, что троих нет. Приехал командир дивизиона, охрану усилили, сеннокос быстро закруглили, и мы вернулись в лагерь.

А беглецам не повезло. Не зная местности, они попали в трясины, бились трое суток, не в состоянии выбраться из болота, и добровольно вернулись в лагерь.

Мой авторитет среди уркачей с тех пор вырос на небывалую высоту.

30.5.1987

В Савиново появился некий Солоха, бывший адъютант Фрунзе, высокого роста, лицо отекшее; он с трудом передвигался, говорил, что на следствии его зверски избивали. Однажды за ним прилетел его брат, говорили, что он добился у Сталина освобождения брата. Солоху вызвали на вахту, сказали ему, что он свободен. Увидев брата, он здесь же умер от инфаркта. «Только голова ушла за вахту», — сказала мне потом вахтер-вохровец, т.е. он упал так, что голова оказалась за порогом проходной.

Однажды прибыл этап доходят из Лупты (или Пельма?). Часть из них поместили в моем бараке, где я находился среди сплошных воров и других преступников. Это были бывшие беспризорные дети из времен раскулачивания, сейчас им, как Балбекову, Мишке-Ручке и др. от 19 до 24 лет. Среди прибывших был некий Вильгельм Блок, учитель немецкого языка. На нем был еще более-менее приличный костюм. Его в бараке урки раздели, все вещи у него отобрали и одели его в какое-то тряпье.

У меня с этими ребятами были хорошие отношения, так как некоторые меня знали еще из энгельсской тюрьмы, где я, рассказывая о своих странствиях по разным странам, создал себе нибм международного афериста, в чем меня поддерживал мой брат Вилля. Меня блатной народ звал «Рыжий клык». Эту кличку я получил за золотую коронку на левом глазном зубе.

Когда Блок заставили раздеться, я крикнул «раздевателям»: — А боты ему оставьте, они вам ни к чему, больно маленькие!

Ему оставили ботинки, но зачем-то сняли очки. Я забрал себе очки и сказал, что они для меня в самый раз, хотя они мне совсем не подходили. У Блока создалось впечатление, что я у уркачей что-то вроде атамана.

Все это происходило при свете коптилок, т.е. поздно ночью, ведь в мае в тех краях солнце заходило в полночь. На другой день, когда я собирался на работу, я увидел Блока во дворе и отдал ему очки. Он был поражен и сказал мне при этом:

— Если бы я не знал, что вы из воров, я бы поклялся, что вы тот ученый, у которого я слышал лекцию в институте им. Бубнова в Москве.

— Летом 1935 года? О немецких заимствованиях из вульгарного латинского языка? — спросил я по-немецки. Блок остолбенел.

— Это вы? Не может быть! Как вы попали в эту компанию? — спросил он дрожащим голосом.

— Если хотите остаться живым, советую вам не портить с ними отношений.

Блок заплакал и отвернулся.

Вскоре его с каким-то этапом отправили куда-то. Я потом узнал, что он умер от истощения в 1941 году.

* * *

В Савиново был среди зеков азербайджанец Векилов. Через 40 лет я увидел его портрет в Литературной энциклопедии и сразу

его узнал: это был знаменитый поэт Самед Вургун. Он был мастер выдумывать уморительные юмористические рассказы. Бывало, вечером соберет вокруг себя массу народа и так начнет рассказывать, что люди до слез хохотали. Я помню его рассказ от первого лица, как он в автобусе или трамвае был прижат к одной даме, а та, разволнованная его мужскими принадлежностями, пригласила его домой. Говорила, что муж военный и уехал в командировку. Ночью вдруг муж вернулся, к счастью, дверь была на цепочке. Пока муж кричал и стучал, Векилов успел кое-как одеться, выпрыгнул со второго этажа, упал на спящую внизу собаку и убил ее. А муж побежал за ним, догнал его и требовал, чтобы ему заплатили за собаку. Я не помню подробности, но все это было очень смешно.

Векилова очень скоро освободили. В Литературной энциклопедии ни слова нет о том, что он в 1938 году был репрессирован. Он был моим ровесником и умер молодым в 1956 году.

* * *

После возвращения с сенокоса мне дали новую работу. Я был приставлен к Рябову (СВЭЛ, 5 лет), который изготовлял кирпичи. Он их лепил из глины (кажется, мы работали за зоной и без конвоя) в деревянные формы, складывая в печь, которая находилась в яме, затем куда-то уходил в поисках водки. Все остальное делал я. Нам привозили дрова, т.е. целые стволы с сучьями. Я их распиливал и рубил, потом разжигал огонь. Рябов возвращался с водкой и закуской. Мы лежали перед печкой и поддерживали огонь. Когда кирпичи «созрели» и огонь потух, Рябов их вытаскивал, я грузил их на тачку и возил по доскам на склад, который находился в зоне за каким-то баракком.

Вот однажды так везу на тачке свой кирпич — в лагерном костюме, в лаптях (из них висят портянки, которые я никогда не научился заворачивать), со слишком маленькой синей кепкой на голове. Хожу с тачкой и пою во весь голос какой-то тирольский йоддер.

Когда я в 1935 году приехал в Энгельс, у меня не клеилось с русским языком. Я думал, что «зря» — это ругань. Ведь говорили: Чего ты зря сюда пришел, чего зря болтаешь. — А я отвечал: Сам ты зря! Откуда только такие зри берутся! Не встречался никогда с такими зрями.

— Однажды видел, как завуч Гармс подписал документ «врид директора». Я спросил, что за врид, сокращенный ли это «вридитель», а Гармс сказал, что, во-первых, не ври-, а вредитель, а, во-вторых, врид — это «временно исполняющий должность», это я хорошо запомнил.

Так вот, когда я толкаю свою тачку и пою свою звонкую немецкую песню, в это время пришло в лагпункт большое начальство во главе с начальником отделения Мечеславом Петровичем Буяком. Там был начальник КВЧ (культурно-воспитательная часть), УРЧ (Волков, учетно-распределительная часть), ПТЧ (Бабушкин, производственно-техническая часть), ОперЧ (Поносов), командир дивизиона Сальни-

ков. Они пришли для проверки порядка и режима, а с ними было наше местное начальство: Кривоногов и еще кто-то. Они остановились и обратили на меня внимание.

Сальников крикнул:

— Певец! Брось-ка тачку!

Я был рад стараться и бросил тачку.

Старший лейтенант Буяк, толстяк небольшого роста, крикнул:

— Подойдите сюда!

Я подошел и стал перед ними навытяжку.

— Скажите, что это вы поете? Кем вы здесь работаете?

(Через много лет Буяк мне скажет, когда я был учителем в Нижнем Тагиле, что он обратил внимание на мой звонкий голос. Я пел тирольскими переливами).

Меня зло взяло. Кем я работаю! И мне пришла идея.

— Разрешите доложить («Melde gehorsamst», — сказал бы бравый солдат Швейк). Я у вас работаю вридолом.

Последовала пауза. Все молчали и задумались. А я стою, руки по швам, и ем Буяна глазами.

— Это что такое? — спросил он наконец.

— Разрешите доложить, — кричу я, — вридол это временно исполняющий должность лошади.

Успех был неожиданный. Все дружно захохотали. А я стою с каменным лицом, как недоенная корова.

Буяк наконец успокоился и сказал:

— Идите! Больше вы вридолом работать не будете.

Я пошел опять к своей тачке. У меня пропала охота петь. Настроение было мрачное. Наверное, думаю, на лесоповал пошлют или в карцер посадят.

Плохо я спал в эту ночь. А утром после проверки но мне подошел нарядчик Федя Плющев и сказал:

— Тебя включили в список на курсы десятников лесозаготовок. Они начнутся сегодня в 10 часов.

Нас было 22 человека, все бытовики, я один с 58-ой статьей. Нам дали каждому по школьной тетрадке и по карандашу. Курсы проходили в столовой. Я помню Лохматова, который преподавал пороки древесины, некий Гришанин читал лекции по лесному хозяйству, кто-то учил нас, как принимать работу и пользоваться кубатурником. Курсы длились, кажется, две недели без выходных, а потом были экзамены. Большинство выдержало их, но какие-то 2-3 парня не запомнили ГОСТы и провалились, Так я стал десятником.

С этого дня люди стали забывать, как меня зовут. Все меня звали Вридолом. Однажды на совещании десятников, мастеров и прорабов Буяк дал мне слово, говоря: Слово имеет Вридол. — Никто даже не улыбнулся.

«Вридол» пошел по всем лагерям. Два года спустя, попал к нам урок из Аддана, он знал «вридло», это слово у них стало известно.

Много лет спустя я услышал «вридо» в одном кинофильме. Но Вридола я сам придумал летом 1938 года в Савиново¹.

После окончания курсов у нас съехались начальники всех лагпунктов Шабуровского отделения, чтобы получить десятников. Каждый себе отбирал, кто ему понравился. Среди них был и Конюхов, я к нему подошел и напомнил ему про обещание.

— Конечно, вы пойдете ко мне, — сказал он. Я ведь дал Вам слово.

Так я попал снова в Верх-Шольчино к своему брату.

2.6.1987

Я вспомнил еще один эпизод в Савиново. Когда мы вернулись с сенокоса, меня не сразу назначили помощником Рябова.

Утром меня Федя Плющев послал на вахту, говорил, что меня ждет Пожарский. Кем он работает этот Пожарский, я не знаю. Он был в военном мундире, молодой, очень уверенный, грубый до хамства. На вахте он меня встретил и сказал:

— Как фамилия?

Я сказал.

— Имя отчество?

Я сказал.

— Ты доктор?

— Да, — говорю. — Доктор языковед.

— Нам таких узких специальностей не надо. На язык разбираешься, так и на желудок разберешься. Будешь работать фельдшером. На тебе трубку, клизму, термометр, йод, аспирин, бинты и прочее. Распишись в получении.

Я расписался и добавил:

— Я ведь лингвист...

— Пошел к ебене матери, — ответил Пожарский в сердцах.

— Скажи спасибо за такую работенку.

Так я вдруг стал лекпомом лагпункта. Ко мне обращались в основном женщины за освобождением от работы из-за менструации. Медсестрой была Таня Андреянова. Когда я освободил двух женщин, веря на слово, Таня сказала, что надо посмотреть, а то ведь так наврут, что через неделю придется освободить снова. Ведь женщины обманывали, прежде всего бытовички. Когда я отказывал в освобождении, некоторые предлагали свои женские услуги. Оказалось, что Деев, который после смерти Зины Бочкаревой отправился на лесоповал, злоупотреблял своим положением, не только принимая «оплату в натуре», но и деньгами, продуктами и т.д. А я за все годы лагерной жизни вообще ни с кем не связывался (кроме Наташи Зиннер, моей лагерной жены, и Клары, о чем я позже расскажу). Из мужчин я освободил двух из-за высокой температуры. Так я работал три дня.

¹ У Солженицына («Архипелаг Гулаг») прочел, что «вридо» было придумано еще в 20-е годы на Соловках, так что ничего нового я не выдумал.

Вдруг меня опять вызвали на вахту. На этот раз меня ждал конвоир. Оказалось, что в Шабурово была построена центральная больница, которой заведовал профессор Гнучев, кремлевский врач, который отбывал 25 лет «за убийство Горького».

Конвоир меня провел до большого бревенчатого дома, велел мне войти, а сам остался на улице. И прошел в приемную, меня встретил пожилой мужчина среднего роста в белом халате.

— Вы доктор Брайнин?

— Я.

— Это правда, что Вы учились в Венском университете?

— Да.

— Я очень рад. Мне нужен заведующий акушерским и гинекологическим отделением.

— Простите, — ответил я, перепугавшись. — Я ведь германист. Я учился на философском факультете...

Гнучев помолчал озадаченный. Затем сказал:

— Очень жаль, идите.

Вот тут-то меня, наконец, сняли с лекпомов и послали в кирпичную печь.

* * *

Через три года я видел поздно вечером, как был арестован Гнучев на лагпункте «Набережная». Я никак не могу вспомнить, кто со мной был, кажется, конвой. Мы были вдвоем, и было это за зоной. Сколько раз я мучил свою память, никак не вспомню, как я оказался за зоной. Помню только, что перед медпунктом сто яла машина. Открылась дверь особняка, Гнучева вывели двое вооруженных, посадили в машину и уехали. За ним вышла медсестра и сто яла на крыльце. Мы стояли поодаль. Мой парень подошел к ней и спросил, что случилось. Я тогда не был глухим, как сейчас, и слышал весь разговор на расстоянии 10 метров.

Оказывается, что эта сестра сама Гнучева предала.

— Сам виноват, — сказала она. — А то ведь рассказывает всякую подлость. Вроде Сталин вызвал Левина какого-то и приказал, чтобы тот отравил Горького. А когда в самом деле отравили Горького, так Левина и других расстреляли на всякий случай, чтоб никто не узнал.

Мужчина, который с ней говорил, молча со мной пошел. Я его не помню. Утром в лагере узнали, что сестру тоже посадили.

Позже стало известно, что Гнучева отправили в Москву, и он был расстрелян. Сестра исчезла бесследно.

3.6.1987

В Савиново я познакомился с прокурором из Ульяновска по фамилии Шерман. Это был интеллигентный еврей, лет 45, маленький, худой, бледный. Его ото всего рвало, он в столовой ничего есть не мог. Через год я узнал, что он умер от прободной язвы. Срок — 10 лет по ст.58-ой.

На мой удивленный вопрос, за что мог сюда попасть прокурор, он мне с саркастической улыбкой, которая у него всегда была на губах, ответил, что он сидит по пункту 12-му, т.е. за саботаж. После процесса Зиновьева, Каменева и др., уже к концу 1936 года, он получил «из центра» «совершенно секретное» указание: «В вашем районе находятся (например, цифру не помню) 10.643 контрреволюционера. Ваше задание состоит в том, чтобы их всех выявить, арестовать и изолировать до 31 декабря 1937 года». Это я передаю приблизительно. Точный текст я забыл.

Тогда мне стало ясно, почему в энгельскую тюрьму привели в ночь с 31.12.1937 на 1.1.1938 года такую массу мужчин из всей республики. У нас в камере была 21 койка, а в ту ночь нас стало 120 человек. На койках лежали 42, под койками столько же, а около 40 человек стояли и сидели в проходах. Старик Моор из деревни Моор провалился в «парашу», т.е. в бочку с мочой и фекалиями, а пока его вытащили, он был уже мертв. Такая была теснота.

Прокурор Крамер выполнял план... Он умер в 70-е годы в Красногуйринске персональным пенсионером...

Я бы Шерману не поверил, если бы я не дружил в л/п Лозьва с прокурором Сванетии Джапаридзе Иосифом Платоновичем, который тоже получил 10 лет за невыполнение плана.

7.6.1987

В Савиново я организовал самодеятельность. Дягилев плясал под «барыню» (я играл на мандолине), я пел частушки с миниатюрной блондинкой Ноной Сталенионис, которая сидела за проституцию. У нее был звонкий высокий голос. Был 16-ти летний светловолосый худошавый паренек с таким же голосом, как у Ноны. Он знал только одну песню: «Васильки». Его звали Василек из-за этой песни. Он умер от чахотки. Еще перед смертью он пел свои «Васильки». Пел блатные песни 12-тилетний Вася. Он сидел по ст.58 пункт 3 (терроризм!). Он учился в 5 классе, когда его арестовали. Он участвовал в Ворошиловском кружке. В физкультурном зале над мишенью висел портрет наркома Ворошилова. По его рассказу, когда он стрелял, кто-то его толкнул, и он попал вместо мишени в портрет, за что был осужден. Насколько мне помнится, Кривоногов добился, чтобы Васю отправили в Верхнотурскую колонию малолетних. Не знаю, правда ли. Ведь у него была политическая статья, а в колонии были только бытовики.

Конюхов за меня расписался и повез меня без конвоя обратно в Верх-Шольчино. Мы прибыли вечером на бричке. Радостная была встреча с братом Вилли. Оказалось, что мне повезло. Ведь Конюхов на другой день сдал дела новому начальнику Рагозину, приветливому человеку низкого роста. Рагозин меня представил техноруку Ворошилову (из ссыльных раскулаченных), с которым я впервые познакомился и который в ближайшие два года сыграл большую

роль в моей лагерной жизни. Он мне сообщил, что он снял с работы десятника Вашаломидзе Акакия Константиновича и перевел его в бригадиры, а меня с завтрашнего дня переведет в его бригаду десятником.

Брата Конюхов назначил бригадиром, т.к. у Вилли был порок сердца. Вообще я убедился, что местное начальство состояло из добрых людей, которые старались облегчить нашу судьбу, насколько это было в их силах.

Вилля повел меня в женский барак. Большой барак, около 30 коек. Он меня познакомил с Серафимой Романовной Зражевской, с которой мы давно были знакомы. Ее еще летом сюда направили зав. столовой. Она почему-то нам симпатизировала и часто нас подкармливала «добавками».

В этот вечер мы были свидетелями страшной сцены. В крайнем дальнем левом углу лежала на койке чахоточная проститутка, полька Нелька. В бараке было много блатных парней, которые приходили к своим подружкам. Вдруг раздался жалобный голос Нельки:

— Ребята, я умираю! Пожалейте меня, поебите меня еще один раз!

Вокруг нее собрались уркачи. Один из них лег на нее. Вдруг раздался хохот. Кто-то кричал:

— Она же сдохла! Слезай!

Это было так цинично, так ужасно, что Симе Романовне стало плохо. Вилля заплакал, и мы вышли из барака.

Нельку похоронили в лесу.



Инна ИОХВИДОВИЧ

/ Штутгарт /

Вокруг Марины

То, что старик затравленно съёжился, словно молил оставить его в покое, злило Виктора.

— Да бери же, кому говорю, — горячился он, — бери, дурачок, ситра выпьешь или водички.

И тот, всё ещё не доверяя, с какой-то боязливой осторожностью, взял наконец мелочь.

— Витька, мы уходим! — кричали ему, в который уже раз, стоявшие у входа в «Гастроном», приятели, а он никак не мог отойти от этого чудного, в потрёпанном, со свисавшими клочьями ваты из многочисленных дыр пальто, старика, что-то быстро бормотавшего, с прижатыми к груди кулаками. В одном — он сжимал бублик, в другом — была Витькина мелочь.

Вот так вот: всем вышел Витька Рядов — крепко скроенный, и здоровый, и весёлый, выпить мог много, за себя, за друзей постоять, и девки с бабами его любили, да и где ни работал всё спорилось, одна только вышла осечка — с дочкой. Как, почему такое случилось, понять он не мог, он ведь был мужик ого-го, да и жена Валентина ему под стать, рослая, с большими руками и ногами, яркая, хоть и чуть грубоватая лицом женщина. Когда родилась крепенькая, светленькая девочка, Витька назвал её Мариной, уж больно в те далёкие, до армии и кратковременной отсидки за хулиганство, (конечно же, несправедливой), нравилась ему песня с повторяющимся этим именем.

И поначалу всё шло нормально, девочка росла, набирала в весе. Они с женой жили так же, как и до рождения дочери, ссорились из-за Витькиной голубятни и голубей, из-за женщины, (Валентина ревнивая была), из-за приятелей, из-за пьянки, из-за того, что он из шоферов пошёл в слесаря, да мало ли из-за чего не бывало, иногда и до драки доходило, часто не разговаривали, но спали вместе.

А жизнь продолжалась: так же звала к себе улица, и зазывными были взгляды проходивших женщин, и по всей их слободке так же рождались, умирали, дрались и сходились вновь, а сходясь, выпивали «на примирение» люди... Они с Валентиной несколько лет уже стояли в очереди на квартиру, как и многие на их улице и во дворе, куда выходили двери нескольких, таких же как и у них, крохотных домиков, где между не вынимавшихся и на лето оконными рамами лежала вата, присыпанная нарезанной фольгой, так, что иногда казалось, что нет конца празднику Нового года, и где был общедворовой туалет с постоянно возникавшими вокруг него спорами, кому очередь платить за чистку выгребной ямы, со внешне разгоравшимися между пьяными мужиками драками с поножовщиной и женским визгом.

Прошёл год. Маринка ходила, бегала, спотыкалась и падала, но не говорила. Они не особо обращали внимания на это, старуха Рядова — мать Витьки — рассказывала, что и он начал разговаривать то ли с двух, то ли с трёх лет, она запомнила.

Девочка была хорошей, спокойной, так, не сговариваясь, считали они с женой. Она любила играть сама, словно никто другой ей и не нужен был, не с игрушками почему-то, а с разными тряпочками, обрывками бумаги и картона, верёвочками и прочей мелкой домашней дребеденью.

Витька с Валентиной и бабкой нахвалиться ребёнком не могли. «Совершенно ребёнка не чувствуем, совсем не мешает», — говорили все трое гостям.

Случилось это утром, в воскресенье, было уж Маринке тогда больше двух годиков. У хмурого Виктора болела голова. А тут ещё противный, жужжащий, почти мушиный голос жены. Раздражённо отмахиваясь от неё, он огрызнулся, потом, чтобы побыстрее отвязаться от неё, с чем-то согласился, и, взяв в одну руку бидон для молока, а другой, прихватив ручонку дочери, вырвался из дому.

До пивной было, рукой подать. Туда он и двинулся. И только когда стал, наконец, у замызганного, к прилипшей к поверхности рыбной чешуёй и высохшей пивной пеной, сделанной «под мрамор», стола, и отхлебнул холодную, ни с чем несравнимую вкусноту тёмно-жёлтого вздымавшегося маленькими лопающимися пузырьками, пива, почувствовал он, как возвращается к нему обычное, то, в котором он только и мог существовать, некое взаимное соответствие всех помыслов, дел и слов. Он благодумствовал и смотрел на своего соседа по столу, бывшего врача, (когда-то наркомана, впоследствии излечившегося), потом фельдшера, а нынче и вовсе неизвестно на что и где живущего, Владимира Петровича. Маринка играла рядом, она держала в руках длинную ленточку, и то разглядывала её, то взмахиwała ею, как кнутиком, и хлопала в ладоши у самого уха, и замирала с широко раскрытыми глазами, будто слушала уже умершие во времени, в гуле голосов, в плеске наливаемого пива, в грохоте проходившего трамвая, но уцелевшие для неё, единственной, осколки звуков.

И снова мычала и помахивала и ленточкой и головой качала, и возносились ладони, и вновь вся она обмирала от неслышного другим звона.

— Твоя? — спросил Владимир Петрович

— Моя, — гордо ответствовал Витька, с удовольствием всасывая в себя осевшую на дне пену.

— Знаешь, по-моему, она... — замешкался тот, но продолжил, — я, конечно, уж давно не практикую, но какой-никакой, я — психиатр, можно даже сказать, что и психоанализом занимался...

Он говорил чего-то ещё, и Витька хоть и не понимал, к чему гнёт этот тип, чувял недоброе, а Владимир Петрович разглагольствовал: «...так вот, я считаю, что игра с верёвочками, тряпочками, это как бы символ влечения к пуповине...» Витька прервал эту речь, сунув ему под самый нос здоровенный кулак.

— Я тебе покажу, морда, пуповину! Я тебя сейчас самого расквашу до символа твоего! Доктор выискался, бич ты, а не доктор, бывший человечиска! Мужики! — обратился он ко всей, с любопытством воззрившейся на них братии, — вот затесался тут бич и ещё тень наводит, — и оборвав своё воззвание хватил недавнего друга по скуле. Его бросились отаскивать, жалобно заплакала Марина. И Витька вдруг бросился к ней. Он обнимал, уговаривал не плакать, тормошил свою девочку, наконец, отстранив от себя, взглянул на ребёнка, только не своими глазами, множество раз скользившими по ней, а как бы слезящимися глазами Владимира Петровича, красными, с лопнувшими сосудами, закисшими глазами завсегдатаев пивной, и всех-всех остальных. Всех, какие были и могли быть. «Так оно и есть!» — упало, как ухнуло в нём, осознание «докторской» правоты, девочка была не такая, какой должна была быть, она была н е н о р м а л ь н а я! И гневное чувство подмены, подлога, обмана зажглось в нём неистовым столбом, но тут же, взметнувшись до огня в глазах, потухло, сникло. И, неведомая, застившая собою не только весь этот воскресный день, но и горизонт, тоска затопила его. Впервые, после уже забытых детских, он заходился слезами, не вырывавшимися наружу, но изнутри, мягко, мягко и плавно, тихо омывавших душу. Жалость, родившаяся в нём мгновенно, будто делаящаяся клетка, породила нежность. И задыхаясь, распираемый всем этим, мучительным, до хрупкости уязвимый, он смотрел на мычащего ребёнка, на светлые волосы, и в своей же, но точно ничем не подсвеченные изнутри глаза; на тельце, крепко сбитое, не ведающее о болезни, на всю её, родную, кровную, плоть от плоти его. И притянув к себе девочку, он гладил мягкие, особенно на затылке, почти пуховые, волосики и тихо шептал на ухо ей: «Кровинушка, Маринушка моя...»

Девочка же, оказавшись в направленном на неё потоке тепла, да не тепла даже, а жара, раскалённой лавой идущего от прижимавшего её к себе знакомого, (колючая щетина, мозолистые руки, терпкий, бьющий изо рта запах), человека, растерялась. Ей, жившей в необозначенном мире подвижных и неподвижных предме-

тов, стало страшно, но попытка вырваться, крики неудовольствия, плач, не помогли. Спасение пришло из Бог знает какой потаённой тьмы, оглушило внутренним громом, перешло в движение неумелого языка и беззвучно поначалу раздвигавшихся губ, и излилось вдруг в ясно даже невыговариваемые, а выпеваемые звуки, в слог, в слово...

— Папа, па-па, па-па, — произносила она удивлённо, словно не веря в себя, в свою слаженность, в потрясающую одновременную вибрацию голосовых связок, движения языка и губ.

— Смотрите, слушайте! — орал Витька, — она говорит! Говорит! — и у самого у него дрожали губы, и срывался голос, точно эти слова были и его — первыми, его действительно настоящими, самыми главными словами.

Для Марины началась иная жизнь. Ведь раньше она жила ощущениями: твёрдого-мягкого, холодного-горячего, солёного-сладкого, ощущениями, которые заставляли её жмурить глаза, кричать от удовольствия, сопеть, отгалкивать, плакать... Игрушки не занимали её, в куклах было слишком много всего — и глаза и ресницы, и брови, волосы, рот — и всё это было только лицом! Привычно перебирала она бумажки и кусочки шёлка и шерсти, и палочки, и прутики, подобранные на прогулке. Палочки можно было различать по шершавости и сучковатости, обёртки и картон свёртывать, долго, до помягчения трогать, проводить ими по лицу или по коленке. Часами она возилась с этим, как говорила Валентина, барахлом, с этим не ставшим никаким мало-мальски предметом, сырьём, исходным материалом для чего-то.

«Папа», произнесённое ею, стало началом сотворения мира, мира слов. Редкий день не выговаривались ею, неправильно, с пришептыванием, новые слова, подчас это был простой лепет, но лепет называния.

Отец брал её с собой в голубятню, и в душном полусумраке она держала в руке птицу («голубоцка» на её языке), взьерошивала подшерсток, а в ладонь ей гулками хлопотливыми ударами отдавалось сердце. «Папоцка, сердечко у голубоцка!» — тормошила она его за рукав пиджака, он оборачивался, смотрел на неё, гладил по голове, и она вбирала в себя ровное лёгкое тепло.

Но вот загулял Витька, вовсе опротивела ему семейная и прочая, какую вёл он, жизнь, в которой заранее можно было знать, когда он напьётся, а когда буйствовать будет или наоборот, смиренно помалкивать. Заскучал он, затосковал, не выдержал...

Бросил работу, запил, а потом и из дома ушёл, говорили, что к другой. Жена его, Валентина, сначала ездила к той, разлучнице, скандалить, а чуть позже, забрав Маринку, уехала к своей матери в пригородный посёлок.

Витька платил алименты, с бывшей женой даже и не переписывался, а уж как он жил эти годы, что думал, о том никогда и никому не рассказывал, а может, и не думал ни о чём таком вовсе.

Только однажды, летним днём, нагрянул он в тот пригородный посёлок, нарядный, в белой нейлоновой рубашке, с огромным кульком конфет и с бутылкой подмышкой.

Вышедшая навстречу ему Валентина, босая в коротком ситцевом платье открывающем круглые коленки, не здороваясь вопросительно смотрела на него.

— Ну, здравствуй, жёнка, — он потянулся и громко чмокнул её в литую щеку.

— Здравствуй так здравствуй, — в тон ему отвечала она, поправляя волосы своей загорелой с тыльной стороны, но удивительно белой и полной с ладони рукой.

Витька присел на краешек скамейки у крыльца, повертел кулёк и с неожиданной тревогой спросил:

— А что, а где? А Марина-то где, а?

— А ничего, спасибо, всё в порядке.

— Где-то она у соседей, да? — с надеждой, неизвестно на что, потому что уж почуял беду, но ещё чего-то ждал хорошего, пусть и обмана.

— Нет, отчего же. Определилась она. Я её в интернат устроила. На Донбассе, хороший интернат. Сама ездила, знаю...

Она говорила ещё, будто лениво выплёвывала какие-то слова, которые уж ничего не могли прибавить. Да он и не слушал её, он был уже в пути. Туда. Туда, в Донбасс, где, как когда-то и он, в исправительно-трудовой колонии, томилась его дитё, его сиротинушка.

Она вышла к нему вытянувшаяся, повзрослевшая, с наголо обритой головой, и он, притянув её к себе, примолк, уткнувшись в выпирающие детские ключицы, лишь рука его ласкала колючий ежик головы. А она, признав его по теплу от него исходившему, тихо-тихо зашептала: «Папа, папочка!»

И он увёз её прочь из этого поганого приюта для умственно отсталых, где по продуваемым сквозняками коридорам слонялись похожие на призраков дети и подростки, где, несмотря на постоянное воровство персонала, они с жадностью набрасывались и на пригоревшую, ничем не заправленную кашу, и на несладкий компот, и где, наверняка, непослушных наказывали — телесно. Одним словом, он вырвал её из заточения, из темницы, так смахивающей на настоящую тюрьму, разница состояла лишь в том, что здешними заключёнными были мало что понимавшие и осознававшие дети.

Он привёз её к своей матери, впадающей уже в детство старухе Рядовой, доживавшей свой век в том же домишке на слободке. К себе, к новой жене и ребёнку, нормальному крепышу четырёх лет, он не мог поселить её. Жена и так грызла его за недостаточную заботу о сыне, хотя Витька был привязан к своему карапузу, подвыпивши — так и вообще — растроганно называл ребёнка «наследником». Но, поразительное дело, сам Витька презиравший физическую немощ, смеющийся над хилым и слабым, не мог к Сашеньке, к сыночку испытывать того, захватившего его всюю страстного порыва — защитить, прикрыть, уберечь, — исторгавшего из

него слёзы, дрожание губ, рук, искажавшего гримасой жалости и боли лицо, всего того, что переполняло его при виде несчастной своей дочери. Слишком здоровым был его мальчик.

И начал Витька жить на два дома.

В суматохе, беготне, очередях, (ведь старухе и дочери всё необходимо было закупить), в ежедневной, с островками выходных, работе, и в вечерах, то в одной семье, то в другой, проходило его время. В неулавливаемом слухом прибое времени чередовались весна и лето, осень и зима, вприпрыжку бежали годы, размывая его уверенность, лишая решимости, и начинали одолевать сомнения, поселяли тревогу и раздражительность, правильно ли поступил он тогда, забрав с собой в мир нормальных людей эту девочку. И к ней он стал придирчив, часто вечером, отчаянно скучая, с поднимавшимся изнутри озлоблением, наблюдал он, как, поигрывая маленьким кнутиком (обрезком материи, привязанным к палочке), она хлопает у самого уха в ладоши, и застывает, наклонив голову. Когда совсем невмоготу становилось, набрасывался на неё, не понимавшую, с сетованиями, что загубила она ему своей болезнью лучшие годы жизни, что не пойти никуда нельзя, ни съездить, вот сиди, как приклеенный, дома, и всё тебе тут.

А когда в ответ лицо её расплывалось в улыбке, ему хотелось (и это было то, чего он боялся больше всего) ударить её!

Но периоды хандры, приступов злобы, ужасного настроения проходили, и вновь он был ровен с ней, спокоен и уверен в своей правоте.

С девочкой стало твориться что-то неладное. Она вдруг приобрела совершенно девичий вид, с различными округлостями, небольшой грудью, и мускулистыми, как некогда у Валентины, белыми крупными ногами. Лицо же её, бело-розовое с блестящими глазами, то и дело меняло выражение. Не только по улице, но и по дому ходила она так растерянна и оглядываясь, словно не могла найти себе места. То плакала, то смеялась, часто о чём-то грустила сидя у окна с невнимавшимися и на лето рамами.

— Кровь в ней видно бушует, — почти так же как и внучка шепелявила старуха, — что и делать-то будем, разводила она худючими, с отделёнными от кости мышцами в истёртой оболочке кожи, руками.

Витька не верил матери, говорил, что та придумывает всё, что сама умом слаба стала, сама точно ребёнок. Но задумываясь мрачнел, не зная что предпринять и от чего обороняться, и вообще что делать со всем этим, свалившимся ему на голову. Он ведь как-то и не предполагал, что девочка вырастет, вернее он никогда не мог представить этого.

У него был отгул, и он заночевал у матери. Проснувшись, долго валялся в постели, покуривая «Приму». И нужно же было, чтобы он стал свидетелем всему этому.

Дочь металась по комнате, покусывая свои полные губы, а руками сжимала выпирающие из-под платья груди. Не понимая, что

с ней, она то повизгивала, то постанывала, потом бросилась в кресло у окна. Полулежа, она ритмично раскачивалась, сжимая, до стона, сомкнутые бёдра. Это продолжалось до тех пор, пока из неё не вырвался радостный, сладостный, короткий звук... обессиленно разомкнулись ноги, по лицу блуждала тихая улыбка удовлетворения. Такая же, как бывала у неё, когда, замерев, она отправлялась вослед неслышимому для других звуку...

Витьке был хорошо знаком этот то ли стон, то ли плач, то ли крик... Обычно он исторгал его у всех бывших с ним женщин...

А сейчас, при нём, сама у себя вырвала его женщина. И эта женщина, ибо кем другим была она, не ребёнком же — его дочь!

Такое вот дело. Марина отправилась туда же, откуда он её и привёз. Не было ей места в мире людей, не от сего мира была она.

Он снова зажил дома, семьёй, изредка навещая старуху-мать. Теперь он очень полюбил сына, в него, в Витьку удавшегося мальчика. И особенно за то, что тот был здоровым.

Рядов пошарил в пустых карманах, сплюнул:

— Ни черта нету!

И подумал: «Сам идиот, если другому, настоящему идиоту, всучил деньги!» И ещё подумал о том, что повезло сумасшедшему, успел уйти, иначе, если бы сейчас подвернулся, то, разжав ему кулак со вспотевшими в нём копейками, выгреб бы их назад!

Эти зимние мандарины

В тепле крытого рынка звонкими слышались голоса людей, сливавшиеся в многоголосый хор. По-весеннему чирикали летавшие под потолком воробьи. В цветочном ряду источали свой всепроникающий аромат, привезённые издалека гиацинты и тепличная невзрачная сирень.

Ирина Стефановна любила бывать здесь воскресным морозным утром. Тут попадала она в неведомо какое время года, тут и торговались, словно бы играя в какую-то азартную игру, покупательницы-женщины пробовали на вкус пористые, с отпечатками марли, куски творога и белоснежную сметану, рассматривали куриные тушки, проверяли мёд на засахаренность... И разгорались, то ли после мороза, то ли от возбуждения лица, и зажигались глаза, во всём была какая-то праздничность, а громкие звуки, поднимавшиеся вверх, как бы завершались заливистым птичьим аккордом.

И, сейчас, скупив то небольшое, что необходимо было им с сестрою, Ирина Стефановна медлила. Конечно же, ей не хотелось уходить в стылое утро, тряситься в трамвае, среди окутанных парком от собственного дыхания, пассажиров, заходить в подъезд, подниматься по кряхтящей под её шагами деревянной лестнице, остановиться у двери с фамилиями жильцов на табличке и несколькими звонками, рыться в сумке, отыскивая ключи, потом в полумраке коридора пройти свой путь до комнаты, зайти в неё, и в первом из темноты свете встретить взгляд...

Ирина Стефановна будто сопротивляясь чему-то в себе, тряхнула головой и пошла вдоль рядов с соленьями и фруктами. Острые запахи струились в воздухе, аппетитно щекотали ноздри, из-за спин толпящихся у прилавков виднелись горки квашеной капусты, влажные, с лопнувшей шкуркой солёные помидоры, мочёные яблоки... Но всё это уже не трогало, не радовало или веселило Ирину Стефановну. Всё это существовало помимо неё, бесцельно бродившей, она ушла от этих людей, их говора и глаз в свою коммунальную квартиру с длинным коридором, в конце которого открыла дверь...

— Барыте мандарины! Не пожалзете, сочные, полззные, зимой вытамыны нада!

И этот выкрик стал как бы сигналом ей — очнуться. Она стояла у прилавка, на поверхности которого наваливались один на другой оранжево-зелёные шарики, мелкие мандарины. Протянув руку, она взяла маленький комочек, близоруко поднесла к глазам: на поверхности кожицы, в точечных углублениях, блестели, словно росяные, капли. Невольно слизнув их языком, почувствовала горьковатую сладость. И, замывшись спросила у продавца: «Почём? Сколько за килограмм?» Услыхав ответ, в первое мгновение подумала, что ослышалась. Плечи её виновато приподнялись, и она выпустила на прилавок уже согретый в руках яркий шарик.

Уходила тяжело, враз почувствовав усталые от хождения ноги. У выхода задержалась, перелистать книжку в киоске. И за те секунды, что пальцы привычно, по-библиотечарски, перелистывали страницы, а глаза скользили по классически известным строкам, в ней всколыхнулось давно забытое, а сейчас припоминаемое:

«Там, где сливаясь шумит
Обнявшись словно две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь...»

Замерло нестройное многоголосие базара, а зазвучали голоса молодые и неокрепшие, два юношеских и девичий. Они пели на грузинском, и песня неслась к сводам храма, и дальше, ввысь, к синему небу, распластанному над землёй. О чём пели они, поднявшись высоко в горы, не знали не только Ирина Стефановна, но и никто из бывших в их группе, туристов. Но была она, эта Песня, для всех и для каждого, благодаря ей оттаивали даже ожесточённые души. И не нужно было думать или догадываться о смысле её, а просто вкладывать своё, свои слова...

Они затихли, и кончился, будто его никогда и не было, этот миг волшебства, расколдованности всех и каждого!

Туристы разбрелись, а Ирина Стефановна вышла на маленький балкон. Дул пронизывающий ветер, далеко внизу Кура и Арагви сливались во множестве гонимых один за другим бурнчиков.

Наверное, приехала новая группа экскурсантов, потому что послышался голос гида: «Джвари-сакдари — церковь Креста, построенная на том месте, где по легенде святая Нина водрузила крест из дерева...»

«Такое всё же не забывается», — зачем-то сама себе, будто оправдываясь, сказала Ирина Стефановна.

«Церковь строилась с 575 года по...» — порывы ветра относили голос экскурсовода.

— Это минута просветления! — продолжала снова как бы объяснить самой себе Ирина Стефановна.

«Местоположение и сам монастырь опозтизированы Лермонтовым в поэме «Мцыри», потому Джвари часто ещё называют храмом Мцыри», — быстро и с каким-то облегчением закончила свои пояснения экскурсовод. Тогда-то и произнесла она, губ не размыкая: «Там, где сливаясь шумят, обнявшись словно две сестры...»

Ирина Стефановна почти побежала назад, к грузину, торговавшему мандаринами.

Она купила целую дюжину душистых шариков, и мысленно пронесла их через все улицы и трамвайные остановки, и коридор, в конце которого ей светили глаза, такие же как у неё, ведь недаром были они близнецами. Да, солнечный отблеск юга поднесёт она к близоруким, как и у неё, глазам сестры.

В комнату зашла она с рвущимся изнутри, дошедшим почти до горла, криком радости. Но, Наташа, сестра её, сорока лет отроду, несколько лет уж как парализованная, спала. Крепко спала, и как почудилось Ирине Стефановне, сном довольного собою человека.

«А почему бы ей и не спать, — устало текли мысли Ирины Стефановны, — всё подаётся-принимается».

Она подошла к раскрытой ножной швейной машинке, передвинула начатое вчера шитьё, уронила ножницы. Большая проснулась. Ирина Стефановна почувствовала это, не оборачиваясь, ведь в спину ей, впиваясь, смотрели глаза. Но она сделала вид, что ничего не ощущает и не замечает, заходила по комнате, а то ещё стала выдвигать и задвигать ящики комода. И заговорила, как много уж лет с собою разговаривала. У Наташи после паралича речь вроде как восстановилась, но стала бессвязной и никому непонятной.

В комнате с застоявшимся больничным запахом, натываясь на мебель, взмахивая руками, поднимая изумлённо-горестно брови, пожимая плечами, ходила и ходила женщина, а другая, лежавшая неподвижно в кровати смотрела на неё.

— Такова наша с тобой судьба, Наталья! Да, судьбы, — закончила свой страстный то ли монолог, то ли диалог (потому что сама себе задавала вопросы, и сама же на них отвечала), Ирина Стефановна.

Она изнемогла в бесплодном споре с собой, иссякли её доводы, а слова улеглись до очередной вспышки... Да и что было доискиваться до какого-то, которого наверняка и не существует, смысла жизни. А может, он и был в ней, в самой жизни, в чередовании

дней и ночей, времён года... И даже в её, Ирины Стефановны неудачной, неинтересной, одинокой жизни, с опостылевшей работой в районной библиотеке за мизерную зарплату, с холодом постели, с тишиной в комнате, где и раздавался лишь её голос, а похожая на неё, почти неотличимо, женщина что-то лопотала. И даже в ней, в её жизни, видимо был некий смысл. В том, чтобы ходить на эту службу, надо же кому-то выдавать и принимать книги; в том, чтобы неизвестно кого ожидая, лежать в этой огромной, кровати; в том, чтобы кормить, обмывать, убираться за этой женщиной, бывшей для неё когда-то в с е м!

Ирина Стефановна разминала для сестры сваренное вкрутую яйцо, когда вдруг вспомнила про купленные мандарины. И, тут же, зарыдала, нет ни в чём она Ирина не была виновата, и нечего было судьбу винить! Это ж ведь всегда и во всём была виновата Наташа, которую она теперь и выхаживала, отрекаясь от себя! Разве она была обязана чем-то этой, бормотавшей о чём-то своём женщине? Только тем, что их когда-то, в почти уже мифическом прошлом родила одна мать? Или тем, что они — близнецы, столь неразличимы? Нет! Ирина Стефановна схватив мандарины присела у окна (так чтобы больной не было видно), стала счищать их тонкую кожуру и запихивать себе в рот по целой мандарине, а то и по две... Вечером заснула Ирина Стефановна легко и сразу, как давно уже не засыпала. И приснился ей рынок, а за прилавком с мандаринами стоит её сестра Наташа, здоровая! Ирина Стефановна бросилась к ней, схватила за руку, но обнаружила, что это не Наташа, а та девушка, что когда-то пела в храме Мцъри... И вот снова стояла Ирина Стефановна на балконе, воздвигнутого на вершине горы храма, обдуваемого всеми ветрами. А внизу, безудержно мчались навстречу друг другу, к слиянию, две реки...

«...Обнявшись словно две сестры...» — прозвучало в ней и пробудило ото сна, прямо в утро.



Сергей СЛЕПУХИН

/ Екатеринбург /

Из цикла «Сатурналии»

* * *

Михаилу Дынкину

Отказал GPS-навигатор,
Письма ветра в пергаментях льдин.
Здесь Анда придворный Меркатор
Путь наметил один.

Через пасти медведей трехглавых
Рваным треком зловещей воды
Мчатся нарты меж гребней шершавых
В эпицентр беды.

Аварийный маяк — не спасенье,
Лед непрочен и ветер свиреп,
Лишь Одиллии мертвое пенье,
Неба траурный креп.

Разевает полярный коллаидер,
Черных дыр гробовые нули,
Замерзающий в смерть аутсайдер
На задворках земли.

* * *

Элен Менегальдо

Поплавский дирижабль, монокль-иллюминатор,
Над Северным Крестом, полярно-голубым,
Сомнамбудой парит знакомый авиатор,
Из трубочки цедит сиреневатый дым.

Мотор скребет бока, жужжалки запускает,
Чернильные круги над айсбергом встают,
Зеркалит белый лед глаза слепому Каю
И Герды за окном рыдают и поют.

Но голосьба сирен лишь суживает ужас,
Смыкается в кольцо фермата, как змея,
И ширит океан луженый зев, натужась,
И манит дирижабль за острые края.

Там мертвый арсенал, арктический чернобыль,
Там сепий фиолет, китайский лён медуз,
Там спеют пузыри земли, как гонобобель,
И поглощают жизнь чернила топких луз.

* * *

Белые пальцы тянет прожектор эльгреко,
Сверлится линзой совиною грозно, толедо,
Ищет сбежавшего в потную ночь человека,
Рваную душу под выцветшим лоскутом пледа.

Вольтовых дуг выгнулись плечи ошело,
Донные рыбы фосфор лениво глотают,
За амальгамой ширится пастью пещера,
Где образа беглецов, не спеша, собирают.

Порохом пахнет, искрой лиловой петарды,
Тромбы тромбона аллегро и негро несутся,
Звездной ветрянкой обсыпаны нервы-гепарды,
Рыком саванным на клочья лохматые рвутся.

Время ревниво к свидетелям смертного фарса,
Хрустки кузнечики в хищных зубах стипль-чеза,
Их подытожит копьё бесноватого марса
Молнией адской в расплаве огня и железа.

Сатурналии

*«ведет танцоров жига...»
Олдос Хаксли*

Стучит разгул безумия в виски,
Индиго ночи, лоно небосклона.
Сквозь хаос па и скрежет саксофона
Надламывая струнные колки.

Подмигивают маски черных лиц,
 В них постеры глядятся деловито,
 В кремлевском зале сводня Немезида
 Льет серным ядом конфетти зарниц.

Биржевики и брокеры толпой,
 Сцепившись тенью цепких рук костляво,
 Выходят из подполья, на халяву
 Девиц и клоунов ведя на водопой.

Случайной встречи плещется крюшон,
 Елейный голос, кудри серпантина,
 В агонии холодная ундина.
 Кто твой партнер, безглазый капюшон?

Лоснится плоть, наяривает бэнд,
 Глумливый Моцарт нокии мобильной,
 В колючках ежевики замогильной
 Смерть-аноним раскручивает бренд.

Ладонь, бедро... Пульсирует насос,
 Грызут графит кривые фейерверков,
 Людская опись Хроноса, проверка,
 Кто выдохнет на грани срыва SOS.

Стальные пчелы сверлят зеркала,
 Буравят космос дервиши на нитке,
 Хрусталь теснят Полония напитки,
 И нижеет хаос острая игла.

Кровь заячья трусливо шелестит,
 Укус на шее — след любовной ласки,
 Фальшивых «я» заношенные маски
 Угадывает время-трансвестит.

Памяти Кормильцева

*«...мне снилось я один из тех
 с кем пил в подъезде Он»*

небо в трупных пятнах и пегасах
 вороня сталь одно крыло
 здесь в руинах герники пикассо
 сытой ложью солнце рассвело

нам на всех не хватит кислорода
 встань лицом к обоссанной стене
 удержи дыхание как в родах
 пропадай безвестно на войне

ахтунг ахтунг общая готовность
 лепота и лепра в голове
 поделом умри за теплокровность
 похоронка детям и вдове

крылья срежут известь к свежим ранам
 зрей аншлагом пьяный куршевель
 глаукома голубым экранам
 а баранам — кашка и щавель

оборотни нот и детских песен
 сталь цепочки рьяная шпана
 все мне снится что Христос воскресе
 как моя бедовая страна

* * *

В Макондо заморозки — яблоневый цвет,
 Гортензия оправится нескоро,
 След ледяной тускнеет сотню лет
 На горбыле упавшего забора.

А было — вознесенье в небеса
 На простынях. И бабочки кружили.
 Мы строили на облако леса
 Раскачиваясь на упругой жиле.

Мир был ничей и требовал слова,
 Мы их нашли, пошарив по карманам,
 Дом вырастал, а на дворе — трава,
 Мускарики и рябчики с тюльпаном...

Не знали мы, что голуби овес
 Стальной клюют, магнитные ладони
 Притягивают цинк голодных ос,
 Чугун колес на выжженном перроне.

Нам навязали тридцать три войны,
 Полковнику — по средам похоронки,
 Картонные чиновники страны
 Медали-фантики кладут на дно воронки.

Змеиным эхом в ухо шепчет медь,
 Дежурный врач с Владимиром на шее
 Нам запрещает канарейно петь,
 И заставляет быть мышей мышее.

В Макондо ветрено, местами — гололед,
Осада плесени и едкой белой пыли.
По небу — в клетке ангела полет,
Как вертолет фантазии и были...

Peysage d'enfer

Под рёбра сердце звякнуло ледышкой,
На башне почты запылал маяк,
И завертелась стрелка злой маргышкой,
И цифры заплясали краковяк.

По коже вспотевшего асфальта
Паяц-скрипач прошелся ча-ча-ча,
Когда сирен охрипшее контральто
С пожара возвращалось, хохоча.

* * *

Саше Кузьменкову

Сличите смерть со сном: стерильный запах моря,
Пикриновых кислот тугая желтизна,
Настырные ктыри, угрозе тленья вторя,
Пронизывают ткань погибели и сна.

Кору утюжит зной, всеобморочный ужас,
Вкус пагубы засох в каленой пленке губ,
Вот-вот твоя душа исторгнется, натужась,
В прогал небытия фаллопиевых труб.

Туда, где шайка звезд участливо висела
И заводной вертеп беременел тобой
Немыслимо давно, а память, память тела
Не оттеснили сон и смерть в беззвучный зной...

* * *

*«Вбегает мертвый господин
и молча удаляет время»
Александр Введенский.*

...и вбежал этот мертвый господин
сунул время в нагрудный карман
вот тогда я и остался один
праздник йок обезлюдел шалман

хоть бы мумия какая коко
оцифрованный в усмерть мираж
стекловатой подбито трико
черным маркером макияж

сжатый вакуум пейзаж-натюрморт
дайте что ли ИВА кислород
из заначки мензурок реторт
пару месяцев может быть год

я надену матросский костюм
бескозырку надвину на лоб
я такую вам песню спою
надорвались от зависти чтоб

шар воздушный вагон голубой
из саврасова грачи прилетят
а в сосновом лесу надо мной
утро выгонит гулять медвежат

только мертвый господин не шутник
удалил не во сне наяву
вынул жизни моей золотник
я теперь не живу не живу...

В сухом остатке

«Нет, весь я не умру...» Что значит «весь»?
Останется мутнеющая взвесь —
Обмылок чувства, сколок откровений?
Обрывок мысли на сырой земле,
Стихостроенье в дрогнувшей золе,
«Растяжка» облака, где эпикризом — «гений»?

Недавно Алексеев умирал,
Кселоду-смерть отчаянно глотал
И отдавал «очку» взамен живое...
И что осталось? Пара пыльных строк?
Проклятье всем и на губах замок,
И удивление: играло ль ретивое?



Гавриил ЛЕВИНЗОН

/ Нью-Йорк /

Синица в небе¹

11

Но несмотря на такой скептицизм старался Обтрепыш любить детишек, каких встречал на улице с такой же отдачей, как себя. Тех, правда, которых обучал он в школе, любить было потрудней. Но зато, как радостно было любить Кассиопею и девочек своих! Светилась Обтрепыш счастьем. Переливались чувства его разноцветными переливами. Менял он тона, как медуза на крымском взморье. Уж если ты такой переливчатый в радостях своих, то каков же ты в обидах? А такой вот: черней черного и никаких тебе полутонов.

Был такой случай в его учительской жизни, когда Обтрепыш от обиды вскочил и замахал руками, и этого себе насмешник наш простить не мог. Он, любящий людей, такой милый и рассудительный, и не дурак, заметьте себе, и вдруг на собрании вскочил и замахал руками в праведном своем негодовании. А дело-то было все в том, что опять он был озвучен. Да еще как: в присутствии всего педколлектива! Это он-то, дающий уроки, будто под музыкальное сопровождение, не то, чтобы учитель, а настоящий просветитель, ни разу в жизни своей не поставивший несправедливой оценки, был оплеван ядовитой слюной.

А что же делать? Подвернулся Обтрепыш под карающую руку инспекторши. Всем была женщина хороша: прекрасное украинское лицо, сложена, как модель, и выговор настоящий, с украинскими «ч», не то, что у Обтрепыша. И фамилия такая, что за одну эту фамилию влюбиться можно в женщину, — Олэксив. Радовался Обтрепыш, что есть вот такие совершенные во всем люди среди народа матери его. И вдруг славная эта женщина взяла да и озвучила его. Распевно, с наслаждением произнесла его фамилию: Ли-бер-ман. «Не достаточно працное над собою». И дальше в инспекторском разоблачительном

¹ Окончание. Начало Крещатик № 46.

упоении: «Уроки оставляют желать лучшего... методически несовершенные» — это уже было сказано по-русски, чтоб насладился Обтрепыш ее русским выговором. Да как она смеет! Вот тут Обтрепыш мигом и позабыл, что только что, любовался этой украинской красавицей. Какая уж там красавица, когда ядовитая слюна! Что же было делать? Сообразил Обтрепыш, но поздновато: защитительный рефлекс, видите ли, — самое быстрое в человеке: замахал он протестующе руками, чего до сих пор себе, насмешнику, простить не может. И только после этих унижительных взмахов провозгласил: «Я вижу вам нравится произносить мою фамилию. Почему бы вам не произнести ее с похвалой? Я ведь читал отзыв о моих уроках: он хороший». — «Так то ж был отзыв товарища Шварцмана! — так вот прямо и сказала ядовитая женщина. — Всем известно, что он слишком уж добрый человек. Разве ж обидит Шварцман Либермана?» — «Ни за что не скривдыть, — добавила на родном своем языке, чтоб внимающие ей оценили все красоты его.

Израсходовал Обтрепыш полночи на размышление об этом происшествии. Не мог он заснуть, не найдя оправдания поступку этой женщины. «И чего это ишу я ей оправдание? — спросил себя. «Так ведь родня! — ответил себе аналитик наш. — Уж больно лицом на мать мою похожа». «Что же ты ерзаешь? — спросила Кассиопея. — Спать не даешь училке. Иди-ка ко мне, родной! Я тебя успокою». И успокоив, сказала: «Так ведь и мама твоя кое в чем смахиват на нее. Да-да! Обрати внимание на выражение ее лица, когда речь заходит о евреях». Будто не знал Обтрепыш, как озорничала Мария Опанасенко, высмеивая иные еврейские обыкновения. Когда добродушно, когда осерчав. «Ты, сыну мий, слишком уж любишь их, — говаривала ему до женитьбы. — Смотри, как бы не обидели они тебя. Знаю, трудно тебе это будет пережить».

А оправдание ядовитой инспекторше Обтрепыш все-таки нашел: любит она Опанасенко больше, чем Либерманов — что же тут поделывать? Да и я ведь себя, Либермана, больше люблю, чем какого-нибудь Захарчука. И какому-нибудь Беккерману радуясь, только лишь заслышу его фамилию. И стал Обтрепыш представлять себе, как бы сложилась его жизнь, если бы был он не Либерман, а Опанасенко. Невообразимо получалось.

Да и что он, Либерман, с его блеклым воображением мог бы себе представить занимательней того, что сама жизнь развернула перед ним? Вот уж было, так было! Идет он — и видит навстречу плывет ядовитая женщина. И где он только беретса, яд, в такой красоте? Стал размышлять наш еврей, поздороваться или нет с этой прекрасной антисемиткой. Решил: «Кивну, если взглянет на меня». И кивнул. А она остановилась — и так радостно, по-родственному смотрит на него. «Що ж вы, Либермане, тримаете в секрети, що маты ваша украинка. Булы б набагато кращи ваши уроки. А я дываюсь, що за людына така: Либерман, а на израильця не схожий». — «А как же папа, — спросил Обтрепыш. Папа-то мой еврей. Неужели простите?» И пошел своими еврейскими путями. «Надо бы подружественней», — попенял себе. Считал наш народный учитель, что от антисемитизма

надо излечивать положительным примером. Провозгласил как-то это в еврейской компании, за что и высмеян был. «Это, — сказали ему, — на уроках литературы, а в нашей жини антисемита надо разить любыми средствами». — «Нет, уперся наш карась-идеалист: еврей должен быть безукоризнен, тогда и антисемитизма не будет». Уж всыпали ему! «Кто же ее оценит, твою безукоризненность? — спросил Изя Котляр — Неужели же та сволочь, которая расстреливала из пулемета наших женщин и детей в Бабьем Яру?» — «Гестаповец орден ему повесит!» — сказал Петя Записоцкий. «Все это верно, — сказала теснимый со всех сторон Обтрепыш. — Только все-таки лучше, когда еврей без жидовства». Что же вы думаете? Мотя Швильдерман пальцем на Обтрепыша и показал: «Терпеть не могу жидовства, — сказал, — особенно вот такого, когда подаживают под антисемита». Почувствовал наш безукоризненный еврей, что между ним и прочими произошло охлаждение. Знать бы ему, к чему это в конце концов приведет.

А между тем в школе у Обтрепыша вдруг обнаружилось много друзей-украинцев. Чувствовал Обтрепыш, что вихрятся вокруг него какие-то слухи, какие-то мнения весьма лестные для него. Как же! Оказывается, наш Либерман украинцем пишется. Мама у него щира украинка. И был провозглашен он гарною людьною. Так ему прямо и сказала училка-хохлушка с чудесной украинской фамилией Васылына: «Людына вы гарна, ничего еврейського мы в вас не бачимо». Корит себя Обтрепыш до сих пор, что не ответил ей достойно, что-нибудь вроде того, что еврейского во мне достаточно, уж вы извините. Оплошал на сей раз.

И обрел в связи с этим воспоминание, которое и держит в чуланчике. Прелестная картинка: входит Обтрепыш в дом к этой самой Васылыне, чтоб поздравить ее от имени всего педколлектива с днем рождения, а в доме этом щирые украинцы распевают задушевную песню, и речь в этой песне идет про клятых жидив, которые какого-то козака вбиты хочуть. Не знал наш украинец, что предки его по матери такой опасности подвергались. Долго решал он, вслушиваясь в родную, будто мать его сочиненную мелодию, что же ему делать, — то ли козака жалеть, то ли запростестовать: мол, предки моего отца ничего плохого не замышляли против козака, а дело обстоит наоборот: козаки тысячами убивали предков моего отца. «Ну, никак я не могу пожалеть вашего козака, — опрастался шуткой наш разнокровка, — ведь убивал он женщин и детей из народа отца моего Вы уж войдите в мое положение». Зарделась Васылына: «Просьмо нас выбачити!» Очень мило, совестливо у нее это выходило. «Выбачаю! — сказал Обтрепыш. — Що ж робыты. Таких вже маю я родычыв». А на лестнице в мыслях своих стал уже ерничать для себя: «А песенка-то что надо! Будь я чистокровным хохлом, то, пожалуй бы, и спел с удовольствием. Поэтичная душа у народа матери моей».

Не знал еще Обтрепыш, что у матушкиного народа свой неоплаченный счет к народу отца его. В перестроечные времена, когда развязались у людей языки, случилось ему осознать это. По дороге с

работы проходил он мимо старинной церкви, величаво водрузившейся на горке во всем своем благолепии. Поднялся Обтрепыш по ступеням вслед за группой экскурсантов послушать, что же такого интересного скажет экскурсовод: жаден был до всяких сведений о родном городе. И чем выше поднимался он, тем пленительней проникался чувствами другой эпохи, той самой, когда первопечатник наш по страничке печатал свой «Апостол». «Уж какая кропотливая работа!» — размышлял наш потребитель всяческих высоких чувств. Но отсек его от экскурсии сторож. «Навищо вам туды йты, — сказал. — Краще но послушайте мэнэ. Вы ж людына тутешня». И спел он Обтрепышу песенку про жида, который идет с ключом церковь открывать. «Кто про що спивае, — сказал этот собиратель украинского фольклора. — Мы про тэ, як гнобылы нас евреи, а вони про тэ як мы их вбывали». Согласился с ним Обтрепыш только отчасти, ибо в ту раннеперестроечную пору не возродились еще евреи до того, чтобы петь свои песни. А себе заметил: видать, у каждого народа свой чуланчик в памяти, куда он прячет то, чего не хочет знать о себе.

12

Нет, не песенными были еврейские воспоминания. Все больше устные сказания. Одно из них от Кассиопеи услышал Обтрепыш: гневливый румянец выступил на её щеках и показалось Обтрепышу, что и на него падает вина за то, что в каком-то местечке, называемом то ли Баром, то ли Гайсином какой-то дед-бандит вывел своего внучка полукровокку из дому и поставил в еврейскую колонну, обреченную смерти. Сам же не ушел, а сопровождал колонну за город, чтоб снять с внучка новые ботиночки, когда они внучку будут уже не нужны. И тогда Обтрепыш, чтобы оправдаться, поведал Кассиопее историю о том, как украинец Панасюк подкармливал еврея Вассера, который прятался в склепе графов Струтинских от немцев, вздумавших его прикончить за то, что он родился евреем. «Ладно тебе! — сказала Кассиопея. — Тебя никто ни в чем не винит! Что ты мне украинские мансы пересказываешь?» — «Так ведь чуланчик! — сказал Обтрепыш. — Она, память твоя народная, ничего плохого о себе помнить не хочет. А у меня две памяти. Ты уж извини, двухпамятный я».

В результате Обтрепыш и носил некоторое время новое семейное прозвище — двухпамятный. «А вашему папе двух памятей мало, — сообщила Кассиопея девочкам своим, — опять забыла масла купить».

Возрождались евреи в перестроечные вольготные времена, прибавилось в них насмешливости и уверенности. Тут и заметил Обтрепыш, что кое-кто из них не прочь и с него взыскать за деяния материнской его ветви на общечеловеческом ветвистом древе.

Лукавый Изя Записоцкий как-то спросил: «Не жалеешь, что украинцем пинешься? Может, запинешься заново? Эх, жаль нет такой национальности полуеврей!» — «Есть! — подумал Обтрепыш. — Графы для нее нет, а национальность такая есть! Вот ведь для Изи я полуеврей. И для Кассиопеи тоже чего-то не добравший». Уж кто его

знает, что оно творилось в душах тех, кто знал его украинцем, а теперь вот видел прилепившимся к евреям. Догадывался Обтрепыш, что в посмеянии он у тех, кто натерпелся кто за ненормативный нос, кто за картавость, кто за фамилию, кто за то, что диссертацию зачитал, а кто за то, что слишком уж хорошую книгу написал. Мотя Швильдерман, до того еврейский, что одним видом своим приостанавливал антисемитов в ходьбе, первым бросил в него камень: «А ты не боишься, — спросил, — что в посмеянии будешь? Я ведь знаю, как у нас это делается, — добавил со сладостным сочувствием. — Притчей станешь. Так ведь в Библии написано?» Да, чего уж скрывать? Хотелось Моте, чтобы наш украинец хоть в малой мере испытал, что значит быть притчей. Сам-то он, неунывающий разоблачитель всяческих славянских проказ, этой самой притчей во языцех была много лет: «Жидок, жидок!» — говорили о человеке А когда в отделе кадров услышал Мотя вслед запущенное: «Скажите, какой принципиальный еврейчик», — то и записал в анкете: «Еврей, седмижды обозванный жидом». «Про эти хулиганские выходки, — сказали ему, — сообщайте в милицию. А у нас бланки не переводите».

Так и был же уже наш обожатель двух народов, насмешник и меланхолик сразу, притчей. Как же! Вспыхивали вокруг его имени, будто петарды, всяческие пересуды. «Либерман, говорите? Да какой он Либерман, когда фамилия его матери Опанасенко? Опанас, приезжай до нас, будешь у нас свинопас! Вот то-то и оно!.. Университет окончил? А вы в паспорт его заглядывали? Так там же сказано по-русски: украинец. С такой графой кто же в университет не поступит в нашем бандеровском городе?.. Все-таки с прожидью человек, говорите? А вот прожидь-то и под сомнением. Кто же присутствовал при его зачатии? Не вы и не я!.. Чего я от него хочу? Да чтобы он мне по-еврейски улыбался, тепло и радостно: вот встретил брата по крови. Без этих хохлацких ухмылок: я в вас, братья мои еврейские, разобрался и все про вас понимаю. Это же антисемитский взгляд, если вдуматься...»

Мотя Швильдерман, такие вот монологи и запускал в околообтрепышевом пространстве: никак не мог забыть, бедняк, сколько раз его не пускали выше еврейского порога на работе, а порог на его заводе был слишком уж нереспектабельным: старший инженер.

Чуть было Мотя не побил нашего обожателя двух народов: «Это что же, прикажешь мне и гестаповца любить? — спросил этот сморчок. — А вот я тебе сейчас по морде дам и посмотрю, будешь ли ты меня любить после этого». Был Мотя subtilen и сугуловат, о чем и старался забыть, когда хотелось ему съездить по какой-нибудь антисемитской морде. Но не забывалось это, нет! Точно на фотографии в такие моменты видел он себя: веснушчатого, картавенького, величавенького от многолетних размышлений об Эйнштейне и Норберте Винере. И что же Обтрепыш ему ответил?.. А вот и не догадаетесь: «Твоя удаля, Швильдерманчик, — сказал, — не в том, чтобы морды бить. Но если тебе так уж хочется, можешь съездить меня разок — стерплю. Только ведь морда моя не антисемитская. Люблю я вас, картавеньких, ты уж мне поверь!».

Дело ведь в том, что уверовал Обтрепыш бесповоротно. В ночь прощания с усопшей матерью своей вдруг встал и помолился. «Господи, если ты есть, — попросил в безголосом молитвенном крике, — позаботься о ней, чтобы было ей хорошо!» И исполнился чувства, еще не испытанного им, уверенности в том, что было услышан. И так вот и зажил, окрыленный Божьим присутствием в мире, в котором солнце всходит и заходит по Его изначально установленным законам. И уже движение времени было другим, нацеленным на его, Обтрепышево, самоулучшение, что, впрочем, проявлялось вначале лишь в том, что не забывал он принимать душ ежедневно и целовать Касиюпею, уходя на работу. Но сколько же было радости оттого, что все это он проделывает как следует! И все, что выходило ко благу его, он ставил уже в зависимость от Божьих забот.

И можно было подумать, что в этот момент его жизни Господь позаботился о нем, — вложил в его руки Библию. Правда, не сразу удалось Обтрепышу ее заполучить, пришлось ему поканючить. Чувствовалось уже приближение новых времен: какие-то люди, каким-то образом раздобывали книгу эту, уже почти забытую народом. Матери Пети Записоцкога, которая была не берущим доктором в районной больнице, досталась Книга в дар от исцеленного ею пятидесятника. Принесла она ее домой и отдала сыну: «Читай, там про нас написано». Петя полистал ее, прочитал несколько абзацев да и положил в укромное местечко, чтобы кто из друзей-книголюбов не спер. И была в его жизни маленькая радость — показывать Библию друзьям. Обтрепыш как увидел ее, так и потянулся к ней. Руками? Да нет же! «Всею внутренностью своей». «Любую из моих книг бери», — сказал Пете. И читал он ее год безотрывно.

А в один из этих дней вспомнил про храм, в пригороде выстроенный. «А что если... — подумал Обтрепыш. — Что если пойти туда и помолиться. Никто ведь на работе не узнает. Что им до меня, расшавившегося на окраинной улочке?» И пошел, надев выходной свой костюмчик. Что же там было в храме такого, что заставило Обтрепыша заплакать? А ничего такого человеческим глазом увидеть было нельзя, но почувствовал Обтрепыш опять же всею внутренностью своей Божье присутствие. «Господи, как хорошо мне с тобой! — шептал нарушитель советского учительского обета. — Как благодарить мне тебя, Господи, за эту радость общения?»

Стал он познавать Господа своего.

Почувствовал он опять же всею внутренностью своей, что Господь открывается ему. Вот неземной сон, который увидел Обтрепыш, когда читал Евангелия: пять женщин, статных, высокорослых, в белых с синим одеяниях, шествовали с запеленутыми младенцами на руках. Понял Обтрепыш: мой мозг не в силах все это нарисовать для меня: такое вот торжественное шествие, в таких вот неземных красках. И не пришлось Обтрепышу вдумываться, что означает этот сон, ибо вместе со сном дана ему была разгадка его: это рождение новых душ, избранных Господом для Божьего Его возвращения. И вот усмехнулся Обтрепыш и подумал: «У которой же из женщин на руках была моя душа?»

И зажила Обтрепышева душа новой, еще не изведанной ею жизнью. Открылось ему: знает Господь, когда какой раздел Библии Обтрепыш читает. Как? А вот когда он читал послания Апостола Павла, Бог Апостола ему и показал во сне в чудном Божьем изображении. Увидел вдруг Обтрепыш молодого человека лет двадцати в блистающих белых одеждах. И двинулся этот человек по той комнате, в которой Обтрепыш спал. И чем ближе он подходил к изголовью Обтрепышевой постели, тем старше становился. Услышал Обтрепыш голос: «Апостол Павел». Вот ведь как! Показал Господь Обтрепышу человека, написавшего «Послание к римлянам». Прошел Апостол мимо Обтрепышевой постели — и прервался сон, чтоб Обтрепыш мог осмыслить его.

И стал догадываться Обтрепыш, что это уже его Обтрепыша личное общение с Господом.

А тем временем вошла в жизнь людей, все еще называемых советскими, иная эпоха. Потянулся как-то Обтрепыш к газете и прочел, что Ленин был обычным человеком, таким же, как мы с вами, и понял, что это не столько газетные строки, сколько зауспокойная песнь партии.

Вдруг стали возрождаться храмы из овощных и прочих всяких складов. Шел Обтрепыш однажды мимо бывшей мебельной комиссии, вернувшей себе первоначальное свое назначение — быть Божьим храмом. Направлялся наш искатель Божьих чудес в синагогу, чтобы проверить, а почувствует ли он в ней присутствие Божье, как чувствовал его в православном храме. Движимый светлым чувством богопознания, вошел Обтрепыш в освященный уже храм, встал перед новеньким алтарем, вобравшим в себя трепетные чувства, тех, кто сооружал его, и помолился о том, чтобы Господь открылся ему в синагоге, если он присутствует в ней. И осознал Обтрепыш то, о чем просит, только лишь после того, как была произнесена молитва. «Не странно ли — подумал, — что не сам я руковожу своими порывами, а они мной?»

И повлекли его восторженные его чувства дальше.

В синагоге было, увы, как в прибранном сарае: бугристый земляной пол и запах сырости, но и тут же разглядел Обтрепыш и мутноватые витражи, пропускающие в помещение приглушенный, подкрашенный свет. Стояли три ряда сидений, какие привыкли мы видеть в кинотеатрах. Бывший склад продтоваров преобразился в дом молитвы медленно и раздумчиво, и стал Обтрепыш и сам раздумывать, что же ему делать дальше. Подошел к Обтрепышу служка, вручил Обтрепышу молитвенник и подучил: «Сядите и читайте». Сел Обтрепыш на шаткое седалище, открыл молитвенник ... и грохнулся навзничь вместе с стоящими ряд, скрепленными между собой сидениями. Было странным это падение, ибо хотя и раздался сильный грохот, но не почувствовал Обтрепыш не только удара о пол, но и хоть какого-то сотрясения. Встал он, подобрал с полу молитвенник, увидел несущегося к нему служку и тут же осознал, что обеспокоен тот не его падением, а тем, что обронил

Обтрепши молитвенник. Поднял Обтрепши сидения, сел со всеми предосторожностями вторично, раскрыл молитвенник и прочел: «Я Бог, поддерживающий падающего».

А спустя полчаса увидел в синагоге Леню Шацкого, человека отдаленного от него проживанием в другом конце города. Встречались они раз или два в году на улице в высоком звании прохожих и делились впечатлениями о своей еврейской жизни. Шацкий был высоко-рос, упитан и широкоплеч. Если кого обнимал во всю силушку свою шутки ради, то попискивал обласканный. Рассказал ему Обтрепши, как подшутил Господь над ним, попросившим Господа открыться ему в синагоге. Шацкий ничего отвечать не стал, только пожал могучим плечом и заметил: «А я вот знаю в молитвеннике другие слова обо мне и о тебе», — и назвал страницу, на которой следует эти слова искать. Похохатывал, пока Обтрепши искал эти слова. Что ж, нашел их Обтрепши. «Благодарю тебя, Господи, — черным по белому написано было, — что родился я евреем». — «Вот за это нас и ненавидят», — сказал Шацкий. Усомнился Обтрепши. «Так ведь мы же наказаны! Отчего же мы тогда здесь, на украинской земле, а не у себя в Иерусалиме?». Промолчал и на сей раз Шацкий. Нет, не согласился он с Обтрепшем, а был возмущен таким толкованием еврейской истории, что в должное время Обтрепши и почувствовал.

Друзья Обтрепши, Изя Котляр и Петя Записоцкий, устроили Обтрепшу подлинный разнос со всем своим пылом и насмешливостью. Представьте себе, увязались они за Обтрепшем, когда шел он в храм молиться, стали в дверях храма и невозмутимо стали наблюдать, как осеняет себя крестом Обтрепши, как ставит свечку и бьет поклоны. «А ведь он тронулся! — сказал один из них другому. — Может, посоветовать Нюсеньке сводить его к психиатру?» — «Не поможет, — ответил другой. — Это, брат ты мой по неверию, натура такая, легковоспламеняющаяся» Но с другом детства все-таки переговорили: «Ты же умный человек! — сказали. — Как же это может быть?» — «А вот и может! — отвечивал наш неофит. — И чем умней, тем более вероятней!»

Доложили Обтрепшевы друзья Кассиопее об этом разговоре: «Не поддается, мы старались». Тут Кассиопея, говорит семейное предание, всплакнула даже. В этом, впрочем, можно и засомневаться: умела женщина в любых обстоятельствах выжать из себя слезинку другую, так станем ли мы это признавать неподдельным плачем? Но как бы там ни было, а заявила она Обтрепшу, что отдаляется он от нее из-за своей веры в Бога. «Вот, — сказала, — стоишь ты передо мной, а вижу я тебя совсем другим уже, чужеродным. Имей в виду, и девочки тебя не похвалят». Вознегодовал Обтрепши: «Так что же ты хочешь? Чтобы я родился заново?» — «Хочу, — ответила Кассиопея, чтобы ты знал, что выбирать тебе придется между мной и Богом». Уязвлена была женщина, что не на первом месте она в Обтрепшевых помыслах.

Тут же и новый обвинительный пункт появился: «Неужели же ты, несостоявшийся мой муж, считаешь себя лучше нас?» — «Да когда я это говорил?» — стал оправдываться Обтрепши. «Пока еще не

говорила, — установила Кассиопея, — но возмнил о себе Бог знает что! Нас, евреев, негодниками считаешь, распявшими Христа. Разве нет?», — «Считаю, что ты и дети наши в этом не участвовали... Люблю я всех вас, как ты не понимаешь!» — «Любил бы, так подумал бы хорошо, прежде чем эту гадость нам приписывать. Забыл, что ли, как запорожцы твои единокровные нас мордовали? О петлюровцах тоже не помнишь?! Так как же ты посмел в одном храме с ними молиться?! Вадим, опомнись! По-русски тебе говорю. Сказала бы и по-еврейски, да мы вот без родного языка остались!»

13

Вот тут и задумал Обтрепыш при помощи писательского своего слова обратиться горячо любимых своих евреев на путь истинный. Пошел он в общество имени Шолом Алейхема и предложил прочесть доклад. Тему взял изысканную: «Библия о прошлом, настоящем и будущем еврейского народа». Пришли евреи послушать, что же такого интересного скажет о них этот писателишка-полукровка.

А Обтрепыш возьми и скажи среди прочего о причинах еврейского рассеяния: в провинности мы пред Господом, получили то, что было обещано нам в случае непослушания. «А в чем же наше непослушание?» — заинтересовался рыжеволосый пытливый еврей «А в том, что не хотим блюсти Божью правду, совратились с Божьих путей». Тут и посыпались еврейские каверзные вопросы. «Я, — сказал Ленья Шацкий, — обзираю свой род в трех поколениях. Все мы люди честные, трудяги и семьянины еврейские: за что же нас наказывать антисемитским преследованием?» — «Так ведь у этих семьянинов еврейских русские женщины в добавление к семейному постельному рациону». Грохнул зал. «Неужели ж, — сказал рыжеволосый развеселившийся еврей, — за эти маленькие шалости холокостом следовало нас наказывать?» — «Бесчестить чужую жену и предавать свою — не мелочь, — сказал правильный такой Обтрепыш, — лож накопилась и излилась на наши головы страшными убийствами?» — «Не пойдем мы тебя, — сказал Ленья Шацкий, а за то, что обличил меня здесь прилюдно заплаатишь мне по самой дорогой таксе. Каша у тебя в башке — вот что!» — «Эй, товарищ, — развеселился Обтрепыш поболее рыжеволосого, — пора уже бросить партийные замеры делать в чужих головах. Ты, секретаришка партийный, сколько лет большевистскую ложь проповедовал?»

А работал Ленья Шацкий в только что отгромыхавшей своими лозунгами эпохе преподавателем обществоведения в техникуме. Любил свою парторганизацию и себя в звании парторга. И кто же мог подумать, что такое стряется: не понадобится он больше со своими конспектами уроков и протоколами партсобраний. Предложили отставному партзавывале читать историю Украины, это ему, оплакивающему Союз! Черной дырой в Лениной биографии стали постперестроечные времена, когда свалилась ему прямо на хребет украинская самостоятельность. Даже жене нельзя было сказать, что страдает он по ночам: такую идею загубили! И осталось у Лени только одно: его

еврейство, принадлежность к лучшему, самому чистому, самому напористому, берущему на себя самые трудные дела народу. Что ж, пора было собираться в Израиль.

«А ты кто? — спросил в тот раз Леня. — Мы вот, я и близидящие евреи, не понимаем, к какому народу ты относишься. При нашей власти ты в украинцах ходил, а теперь, как трамвай, подъяврейным стал. Ну-ка расскажи, как это ты, ловчила, мигом переназвался да и еще взялся нас, евреев, поучать, как следует жить?»

Собрал странички своего конспекта Обтрепыш и провозгласил всей ехидно разулыбавшейся аудитории: «А я по-израильски писался, по-матери. Что же здесь плохого? Я ведь не придумывал себе национальности, как некоторые из вас. Просто я, читатель Библии, обнаружил, что завет у меня с Богом через Авраама. Вот потому я и еврей! И переназывать меня никто из вас не властен». — «А я переназвал, — сообщил ему вслед, — Леня Шацкий. — Кто же тебя теперь евреем признает, хамелеончик?»

И был недолгий еврейский разговор после ухода Обтепыша. «Так он ведь сам от нас отрекся, — сказал один — молится не в синагоге, а с украинцами» — Иван Сусанин — подтвердил другой — Хочет нас в дебри чужой веры завлечь». «Пацаны, давайте его прочим!» — предложил Леня Шацкий.

О новом прозвище своем узнал Обтрепыш на следующее же утро. Встретил он Мотю Швильдермана, отстоявшего уже воскресную очередь в молочном магазине. «Теперь не отмоешься», — сказал Мотя и рассказал, как в армии его травили украинцы. Понял Обтрепыш, что это счет ему лично за наряды вне очереди, которые отпускал Моте сержант Стороженко. «Какая же разница, — провозгласил Мотя, — Стороженко или Опанасенко?». — «Так ведь меня же тоже травили за либерманство мое!» — поставил себе в заслугу Обтрепыш. — «Свои травили, — осклабился Мотя. — С них и спрашивай»

Вот и стал Обтрепыш избегать евреев, которые вдруг общительными сделались. Улыбались Обтрепышу зазывно с другой стороны улицы, звонили из общества Шолом Алейхема, не нужно ли какой еврейской помощи, спрашивали, так что Обтрепыш наконец взмолился: «В одном только нуждаюсь: в еврейской искренности. Не найдется ли?» — «Не найдется», — так прямо ему и ответил искренний еврейский голос. — Это товар дорогой. Только для своих»

Но нашаась для Обтрепыша и искренность в еврейских кладовых. Пришли к нему в эти неустроенные дни друзья его школьные, Боря Котляр и Изя Записоцкий. Попросились на кухню, выставили на стол студенческую «консерву» — бычки в томате, сопроводили это символическое приношение пивом и повели душевный разговор. «Если искренним быть, — начал Боря с того, на чем закончил еврейский искренний голос, то могу заверить своей подписью ответ на запрос, который поступил ко мне из общества Шолом Алейхема: Вадим Либерман-Опанасенко мною, Борухом Израилевичем Котляром, за сорок лет нашего общения ни в каких антисемитских проявлениях не замечен. Один только случай был: еще в школьные годы ты мне, Опанасенко, сказал: «Боря, брось свои штучки!» Что бы это значило,

а?» — «Почему же Опанасенко, — запротестовал Обтрепыш. — Это я, Либерман, сказал!». — «Да кто тебе поверит, что Либерман про себя станет такие гадости говорить?». — «В каждом таком вот Либермане сидит немножко Опанасенко, давай уж быть правдивыми». — Вста-
вил Изя. — Мне ведь тоже есть, что предъявить тебе. Помнишь ли, как ты подковырнул мою еврейскую маму, когда она тебе показала мои отремонтированные не каким-нибудь, а еврейским сапожником туфли. Что ты сказал тогда? — «Сказал, что неплохо себя чувствую в туфлях, отремонтированных украинским сапожником. А что же здесь плохого?» — «Это не плохо, — постановил Изя. — Это ужасно. Ты так до сих пор и не понял разницы между еврейским сапожни-
ком и украинским. Подумай-ка над тем, на кого ты нас променял!» А Боря поставил точку в разговоре: «Убивать они нас шли с иконами в руках, так что молись тебе лучше бы в синагоге» — «Так ведь там Христа нет! — со всей своей славяно-еврейской болью, — сказал Обтрепыш. Нет Его там, понимаешь?! Это вот и есть самое ужасное!»

Ушли друзья, не попрощавшись за руку, а Обтропыш провел ночь без сна, обозревая кое-какие приобретения памяти в своем чу-
ланчике.

14

Неужто Опанасенко, который в нем, в Либермане, с этой вот самой дрянцой, называемой антисемитизмом? Тут и стал себя корить Обтрепыш за грехи подлинные и выдуманные. Разве ж не случилось ему недобрый оком поглядывать на еврея? Наезжать по-антисемитски, как наехал он на Павликоа Гутмана. Как это Обтрепыш взъелся на еврея! И за что? За то, что Павлик на их факультетский вечер решил пройти нахалом. Да и как было не стать нахалом, если училась в одной группе с Обтрепышем Рита Крайзман, в которую Павлик был влюблен. Но не захотел этого понять Обтрепыш: разве ж можно так вот, без пригласительного? И не пропустил Павлика. Сказал, как тот озвучиватель еврейских фамилий: «У нас такие номера не проходят!» А ведь Павлик был из параллельного класса, за руку с Обтрепышем здоровался, и проскальзывал во время этого рукопожатия искренний дружественный импульс из руки в руку: все-таки еврей с евреем здороваются. Не захотел Обтрепыш тогда признать этого еврейского родства. Уж Беккерман бы все понял. «Иди, — сказал бы, — Гутман, улаживай свои сердечные дела». Павлик после этого пожаловался на Обтрепыша Изе Записоцкому. «С кем ты дружишь? — спросил. — Он же антисемит! Натуральный. Клянусь тебе! Ты подумай, не сделать евреем маленькой поблажки!» Изя этот разговор и передал Обтрепышу. «Я его успокоил, — проинформировал товарища. — Объяснил, что ты не антисемит, а просто наполовину хохолок — еврейского братства не признаешь». «Я ведь, — стал оправдываться Обтрепыш, — не люблю всяких нахалов. Терпеть не могу и нахалов Опанасенко, и нахалов Баранниковых». — «А нахалов Гутманов должен любить!» — просветил его Изя. Посмеялся Обтрепыш тогда над такой вот затребованностью любви у еврея.

А зря: понял Обтрепыш в установленное Господом время, что никакого нахальства-то у Гутмана нет, стоит только с любовью, а не как-нибудь эдак вот, косо, взглянуть на человека. Нет, его, нахальства, а есть обычная от праотца Иакова позаимствованная родная такая, такая понятная еврейская напористость. И жалеет Обтрепыш до сих пор, что не подошел к Павлику Гутману, когда встретил его после этого в городе, и не сказал, что виноват. Как бы славно было сказать: «Прости меня, Павел, тезка апостола нашего, такого напористого в сеянии Божьей правды и любви, что не нашлось во мне тогда для тебя братских чувств». Раздумывает над этим Обтрепыш до сих пор. «Блаженными мои мысли стали, — думает. — Но разве ж это плохо?» И поглаживает по голове четырехлетнего внука своего Нахабку: вот уж где напор так напор, в чужом доме игрушки за пазуху прячет, с желаниями своими совладать не может. Уж этот-то Рахиль свою будет ждать семь и еще семь лет! Но нет-нет да и пожурит мальчика: «Но какой же ты Филиппок нахааенок, кровинушка моя. Отдай машинку мальчику, я тебе такую же куплю!»

А в те дни проснувшейся украинской самостоятельности Обтрепыш вдруг начал прозревать в себе приободрившегося, поверившего в себя Опанасенко. «Разве ж я не смогу без Баранникова устроить свою жизнь?» Но Баранников и не возражал: «Давай, действуй, только зачем же все это делать в пику мне: утверждайся в себе самом». И с интересом поглядывал Обтрепыш на Юрка Омеляна, который вдруг восплаал непонятными чувствами к Либерману. Но к Либерману ли? Да нет же, к Опанасенко. Хорошо хоть о Баранникове ничего не знал, а то ведь огорчился бы. И вел он с Опанасенко разговоры о том, какой он все-таки замечательный, пока еще никем не признанный украинский народ! А украинская литература! Никто и не догадывается, что это самая задушевная в мире литература! А песни! У какого народа еще столько песен! А мова, наша спивуча украинська мова! Кивал Опанасенко. Пошучивал Либерман: у вас только спивуча, а у других, что? Трескуча? «Так то ж ридна! — говорил Омелян. — То ж ридна маты моя на тий мови свои писни мени спивала, колы ще був я у колысци». — «Это он на меня думает!» — встретив в разговор Баранников, — что я запрещаю его ридну мову. А я ее, между прочим, тоже люблю!» — «Да не ты, а я», — поправляя его Опанасенко.

Стал Омелян посещать еврейские собрания, с удовольствием выслушивал еврейские внутрисемейные свары. Его спросили: «Что так интересуетесь нами?» — «Миркую ось... — ответил он, — размышляю вот, как это так получилось, что народ мой оказался оплыванным вашим народом. Что это вы из нас убийц делаете? Будто не было у вас своих копов. А разве Лазарь Каганович нас не мордовал? А ваши чекисты?..»

«Чекисты — это общее наше достоиние», — ответили ему по-серьезневшие евреи и уже больше для разговора с ним не подходили.

А Юрко после этих еврейских сходов ходил по родному городу и любовался своим ридным народом. И вот в такой момент любования и встретился ему Обтрепыш на проспекте Шевченко

под тополями, где голуби клевали хлебушек, пожалованный им продавщицей мороженого. «Ото е справжня украинка, — сказал Омелян, — ну хто на свити ще вмие так щиро жити». — «А мне больше нравится другая украиночка, — сказал Обтрепыш. — Ненависть в глазах ее была, а я ее, девочку эту, увиденную один раз, полюбил на всю жизнь».

Предложил Обтрепыш сесть на скамейку Омеляну и рассказал, как умирала его теща. Сказала: «Вадик, так плохо мне еще не было... Это все...» — поцеловала Обтрепыша и приобщила к народу своему. «И вот за этот поцелуй за миг перед смертью я многое прощаю народу отца моего: и гордыню его, и насмешничанье, и настырность да и многое другое, чего другие простить не могут. А девочка украинская, санитарочка с медицинским своим саквожжиком, тут же стояла и с ненавистью смотрела на украинского доктора, не сумевшего уберечь от смерти еврейскую старуху. Видишь ли, Емея, пожалел этот доктор вторую ампулку для матери жены моей. Ни я, ни она не верили, что сделал он все как надо. Я эту украиночку с ненавистью в глазах люблю. Я руки ей целовать готов...» — «То не дивно, — сказал Омелян. — Знаю я вас. Ты гарну украинку, якбы можно було, то не тильки б поцелував...» — «Брось, — сказал Обтрепыш, — сейчас нам с тобой не до шуток. Ты вот все рассказываешь, какие мы Омеляны да Опанасенко чудесные люди. А ведь каяться нам надо, а не воспевать себя». — «А Либерман, что же твой Либерман? Присутствовать будет при этом?» — «Тоже каяться, — сказал Обтрепыш. — Уж до чего гадко мы обошлись с Мессией нашим израильским». На этом стоит Обтрепыш и до сих пор.

15

Не был он Бараниковым, а был Барановым, Обтрепышев ученик, полюбившийся Обтрепышу за русский размах в мыслях. До всего-то было ему дело: детдомовских детей жалел вслух, надрывно. Ишь куда с чувствами сиганул! Любовался им Обтрепыш. А что? Может, и родня. После урока, случалось, подходил к нему для разговора. И всегда-то Баранов жалел кого-нибудь. Не интернатских дебильных детей, так проституток. Себя корил за эгоизм и недостаточную любовь к матери своей. Не скрытен был, а напротив обнажался весь. Вот и признался он Обтрепышу: «Не люблю евреев». — «Отчего же? — спросил Обтрепыш. — Обидели они вас?» — «Нет, — ответил Баранов. — Просто так не люблю» — «Так полюбите». — «Не получается». — «Обратись к Господу, — посоветовал Обтрепыш. — Поможет!» И ушел огорченный: такой милый русский человек — и вот на тебе: антисемит. Откуда ж она берется, эта ненависть?»

Пожаловался Кассиопее: «Не любят евреев. Что ты будешь делать?» — «Кто это не любит? Подонки. Так что же их в расчет брать?» — «Да нет, — сказал Обтрепыш, — вчера мне довольно личный русский человек в этом признался». — «И ты не плюнул ему в рожу?» — «За что же. Так чувствуется ему». — «Понятно, — сказала Кассиопея. — Сколько лет я с тобой прожила? Зря я тебя так долго

удерживала при себе». А через два дня за обедом пробурчала: «А тебя кто любит? Вот я жена твоя, а больше не люблю тебя? Что будешь делать?» — «Не верю, — сказал Обтрепшш. — «Поверишь», — пообещала Кассиопея. Пришлось поверить: было у нее выражение лица то самое: «Ах ты сволочь антисемитская!» В первый раз ее такой видел Обтрепшш вскоре после рождения дочери.

Дело было в инфекционной больнице, куда Обтрепшша не впускали даже и во двор, хоть ты их убей. Полуторамесячную дочь, такую вот больную, что страшно смотреть, выхаживала Кассиопея одна. В той же палате, где лечилось ее дитя, лечили от того же патогенного стафилококка уже не ребеночка, а дытынку. Состояла при дытынке в плакальницах обезумевшая от страха его маты. Из полубредового ее сознания вырывались проклятия, поносила она «жидивку» за то, что та инфицирует ее донечку. Кассиопея ей не отвечала: что же спорить с безумной? Но Обтрепшшу сказала в окно: «Начали уже гнать твою девочку. Ты посмотри, кого твоя сестричка украинская преследует?» Ребенок лежал на ее вытянутых руках, полуживой, посеревший, с синяками под глазами и уже обобранный в правах. «Не хочу здесь жить!» — простонала Кассиопея во всеуслышание, так что нянечка стала её успокаивать.

А года через два повторила Кассиопея свои слова, о том, что нуждается она в другом месте на земле, когда переводилась из одной школы в другую, и инспекторша РОНО с ненавистным лицом петлюровка сказала ей, удостоверившись, что никто их не услышит: «Жидив не беремо. У нас своих бильше, ниж нам потрибно». Ни слова не говоря Обтрепшшу, который сопровождал ее в ответственный этот момент её жизни, пошла Кассиопея в обком и с телефона, специально установленного для контактов с трудящимися, позвонила: «Меня не хотят оформлять на работу, потому что я еврейка. Можете проверить». Проверили, предсавьте. Кассиопея наслаждалась тем, как беспомощно и злобно «петлюровка» выдает ей бумаги для заполнения. И веря и не веря, что это все с ней происходит, сказала: «Можно бы было и купить вас по дешевке, но зачем же тратиться?» Вот тогда-то Обтрепшш в третий раз увидел, что жена его не совсем то, что являла она собой каждодневно: прямодушная, беззлобная, любящая детей и мужа. Был в ее душе, этот уголок ненависти. И проглянул он теперь, так что вдруг чужой стала с иными уже, не Кассиопеиными поступками.

В смутные времена, когда Обтрепшш был уже без работы, а разрешение на въезд в Америку все не приходило, Кассиопея предложила ему продать отцовы, на память оставленные часы. «Ладно, продам, — сказал Обтрепшш, — раз ты считаешь, что без этого не продержаться» А продав часы, вдруг осознал, что серебряная эта вещьца, отцом купленная, согривала его и придавала ему устойчивости в его доме, где Кассиопея все больше вела себя весьма порядительной барынькой по отношению к нему, простолюдину. Но могло ли прийти в голову Обтрепшшу, что Господь взял этот случай на заметку.

А в Америке-то, а в Америке куда ни глянь, пиццу продают! И вывески: «DELL», «DELL», а что означают эти «дели» никто толком сказать не может. Сам допер Обтрепшш: деликатесы. Короче говоря, сытно стало, забылась колбаса «Отдельная» по два десятка.

Ходил Обтрепшш по новому материку неспешным шагом, от Брайтона в Манхеттен и обратно. Сносил две пары обуви, из родной Европы привезенные. Но зато и впечатлениями насытился.

А впечатления-то... странные довольно. Такие, понимаешь, впечатления, будто *кто-то* организовывает ему не столько торжественный, сколько насмешливый прием.

В «Наяне», где обучали Обтрепшша английскому языку, преподавательница довольно сопливого возраста вдруг стала намекать, что Обтрепшш того.. немножко сдвинутый. Да и приехал-то небось набить брюхо американской жратвой. Говорила-то она по-английски. Но главное Обтрепшш понял: этот самый *кто-то* взял его в оборот.

Прекрасно организованным оказалось его войско. Поглядывали на Либермана косо какие-то старухи в автобусе. Заводили разговор о том, во сколько обходится теплый прием в «Наяне», организованный не только для евреев, а и для таких, как он, неопределенной национальности. Все это сказано было не так уж отчетливо, но проглотил же Обтрепшш из экивоков и присловий составленную пилаюлю.

А Кассиопея? Уж кто, как не она в первую же неделю по приезде организовала ему теплую еврейскую встречу, на которой вздумали его, русского писака, гипнотизировать. За это глумление над русским, как вдруг выяснилось, человеком и заработала Кассиопея... хм — по лицу.

На квартире у Симочки Розенберг, с которой в давние советские времена Кассиопея в одной школе учила математике советских счастливых детишек, собрались евреи, сбежавшие сюда, в Америку, от русских и украинских антисемитов. Были тут и супруги Розенблаты, трижды оплеванные за всяческие блаты, и Маечка Кравец с мужем, который полу пиджака оставил в руках антисемитов, когда рвался в великие рационализаторы, и еще одна Симочка была — Ткач, возмущенная тем, как некоторые меняют свою национальность, когда это выгодно; был и какой-то пришлый человек, который негодовал, что не выбрал Обтрепшш евреев, а пошел молиться Бог знает к кому. Он-то и оказался гипнотезером.

Повели евреи разговор с Обтрепшшем ласково, наставительно: «Не ваш ли это брат в католический храм ходит? Уж очень похож на вас?» — «Братьев нет у меня, — ответил Обтрепшш. — Так, может быть, это вы меня и засекали. Молился я Богу у католиков. Православный храм далеко, а тут рядом: зашел и помолился. Почему бы нет? Господь прослушивает молитву в любом храме». «И в синагоге? Так почему бы вам не ходить в синагогу?» — «Да потому что христианин я, — ответил Обтрепшш. — Христа в синагоге нет. А я без Христовой любви жизни себе не представляю». — «Так кто же вы, еврей или украинец?» — спросила Симочка Ткач. «Семя Авраамово я.

Через Авраама у меня завет со Святым Израилевым. Стало быть, еврей». «Может быть это так, а может, нет», — сказал, посторонний человек, о котором Обтрепыш только и знал, что он очкарик и что лицо у него, хотя и еврейское, но довольно паскудное. Потом только Обтрепыш спохватился, что Кассиопея села в стороне от него, родного мужа своего, и все переглядывалась с этим прекрасником.

Сколько же времени прошло, пока Обтрепыш осознал себя пробудившимся от гипнотического сна? Услышал он тихое свое бормотание: «Нет, голосов не слышу...» И вслед за тем: «Не обижай пришельца!» Но только ночью Обтрепыш понял до конца, что поругались над ним родные его евреи. Так вот что он чувствовал, козак, которого собирались прикончить жида!

Встал он с постели и вышел в другую комнату, где Кассиопея, перелистывала детективчик, просматривая наскоро странички. Отчаявшийся, ударил он ее по лицу ладонью, прошу обратить внимание. «Ты же женой моей родной была! Что же ты наделала?» — спросил. Закричала Кассиопея, чтобы опомнился он и не вздумал ее избивать. А потом донесся ее голос из другого уже, еврейского мира, которого ему, хохолу, никогда не понять: «Что ты хочешь? Надо было проверить, здоров ли ты. Не захотел быть евреем, так и не выставляй претензий». Детям сказала: «Папочка ваш ударил меня ночью. Вот, смотрите?» Ничего девочки не увидели, но обе говорили с Обтрепышем о любви своей к матери. «А ты, оказывается, драчун, папа, — сказала старшенькая, Пулюнчик. — Так вот какие вы, христиане? Мы с Зайчонок это приняли к сведению». А Зайчонок вскоре пожалела его: «Ты должен понимать, папа: ты белый. А мы евреи». — «Кто тебя научил этому?!» — всполошился Обтрепыш. Так ведь сам же ее и привел в общество Шолом Алейхема: на выданы была Зайчонок, а где ж их еще искать, настоящих женихов, как не у Шолом Алейхема?

Сколько же каверз пришлось перенести козаку в еврейском плену! То старуха-сирийка в наяновском автобусе начинает убеждать Обтрепыша, что хотя он и не еврей, но должен поехать в Израиль изучать еврейский язык, то какая-то женщина звонит по телефону и спрашивает, кем он, Обтрепыш, приходится Кассиопее, мужем или сыном? Сумасшедшая? Как сказать. Может быть, это Обтрепыш свихнулся и все эти несуразности ему привиделись. А тут еще какой-то из сирийских евреев объясняет Обтрепышу по-английски, что он, Обтрепыш, не настоящий еврей, а настоящий он, из Сирии приехавший — во, какой еврейский! Шел бы разговор порусски, так объяснил бы ему Обтрепыш, что таким, как он, настоящим, быть не хочет, поскольку ничего, кроме бахвальства, в нем не видит. А по-английски что он мог? Пошутил при помощи жестов: мол, много у тебя веснушек, парень, — подкрапленный ты еврей? Осклабился сириянин, а выходя из автобуса, наступил на Обтрепышеву ногу. Уж не случайно, нет.

«Преследуют ли меня евреи или мне кажется?» — все размышлял Обтрепыш. Все стало ясно, когда субтильный еврейский старичок заговорил с ним на улице. Разговор этот, состоявшийся

между пятым и шестым Брайтоном, не раз воссоздавал Обтрепыш в памяти своей. Был старичок опрятен, весь лоснился, как новенькая монетка, от праздничных каких-то чувств. Что это за чувства, догадался Обтрепыш вскоре неколебимой своей догадой затравленного человека. Так ведь старик радуется своей принадлежности к евреям! «Вы Либерман, не так ли?» — приступил старичок к празднованию еврейской солидарности. «Я Либерман, — ответил Обтрепыш, вдруг заинтересовавшись старичком. «Нет, нет, — сказал старичок, — вы здесь никого не интересуете». А через два квартала обложил его со спины какой-то еврейский добрый молодец отчетливым, со вкусом произнесенным русским матом. О чем же Обтрепышу осталось размышлять? Так о природе же происходящего! «Что ж это они фотографию мою с собой носят, что ли? — со всей своей иронией не поддающегося на провокацию хохолка стал задавать себе вопросы Обтрепыш. — Кто-то же должен был все это организовать, разве нет?»

Уже стал ему мерещиться еврейский сговор там, где его и не было. Впрочем, не было ли? Может быть, этот сговор еще со времен египетского плена. Пусть читатель сам прикинет. Вот сидит Обтрепыш у парикмахерши своей Галы со своей нежидовской мордой, и вот входит женщина с рассерженным лицом. И на кого же она негодует? «Соскучилась по еврейским лицам, — говорит женщина, поглядывая на нашего славянина. — И угрозадио же меня поселиться в доме, где ни одного еврея». — «Вряд ли, — думает Обтрепыш, — ее кто-нибудь этому подучил. Посмотрела на мою жалобскую рожу и всплакнула о родном». И заскучал Обтрепыш по славянским лицам. Заглянул в телефонный справочник, нашел адрес украинской церкви и поехал в воскресенье. Что же увидел? Десятка полтора пожилых украинцев и священник, в конце службы пожаловавшийся на то, что кто-то хочет его прогнать с его священнического места. Удивился Обтрепыш: «Неужели ж нельзя было Господу помолиться! Достоин ли духовному лицу жаловаться?»

А в следующее воскресенье поехал в Манхеттен в русскую церковь, а там служба на английском.

Тут-то и подвернулась Обтрепышу на Брайтоне американочка. Век ее Обтрепыш не забудет: Божья девочка! Смирренная видом, держала она в руке несколько буклетиков, видимо, ею же самой и изготовленных. Что-то в них было по-английски про Моисея и еврейский исход из Египта, если судить по рисункам. Пришла девочка на Брайтон спасти кого-нибудь из евреев. Обтрепыш один из буклетиков взял ради того, чтоб держать в доме эти листочки, с любовью от руки написанные. Только придя домой, обнаружил на одном из листов номер телефона — позвонил. Собрал все, какие знал английские слова и произнес в трубку: «Куд ю плаиз гив ми зе адрес оф джуиш чёрч». Поняла его девочка и продиктовала ему адрес «Божьего Дома».

Но до всех этих Обтрепышевых приключений произошло кое-что такое, во что, читатель мой, тебе удастся поверить только в том случае, если наделен ты даром веры. Как у тебя насчет этого?

Начал Обтрепыш общаться с Господом. У меня это, представьте себе, не вызывает никаких сомнений. Не было сомнений и у Обтрепыша. Да и вы бы не засомневались, случись такое в вашей жизни.

Ходил в то время Обтрепыш по воскресеньям к католикам, молился вместе с американцами. И вот в один из тех дней, перепуганный не на шутку болями в печени, помолился Господу, поставив свечку об избавлении от недуга. Молился радостно: как же, есть Тот, к Которому можно обратиться в случае такой вот нужды. А нужда-то ух какая была! Уже вообразил себе наш трусишка, что рак у него.

А ночью увидел во сне руку с куском копченой грудинки и услышал голос: «Не ешь этого — и все будет в порядке». Через день-другой боли прошли, а исцеленный наш праведник не догадался даже поблагодарить Господа за то, что открылся Он ему. А ведь какая радость была!

Светлой, неземной радостью радуется Обтрепыш до сих пор, вспоминая о том, как Христос помог ему в трудный момент его жизни. Но только теперь ему открылось, как по-жлобски вел он себя, продолжая свары свои с Кассиопеей. Что, казалось бы, еще человеку надо? Уже Господь открылся ему и показал, что печется о нем, а он все никак не мог примириться с тем, что поругалась над ним Кассиопея вместе со своими евреями. Вот и пришлось Господу объяснять ему, что же такое случилось в его жизни. «Плохо любил, — сказал Господь. — Что же ты хочешь иметь от недополучившей женщины?» Впрочем, ведь это могло и померещиться Обтрепышу, а то ведь вообразил невесту что: будто разговаривает с ним Господь, как разговаривал с Авраамом и пророками.

Получил Обтрепыш еще один Божий урок во сне. Увидел он часы, те самые отцовские, которые по требованию Кассиопеи продал. «Она возненавидела тебя за то, что стал ты писателем, — объяснил Господь. — Заставила тебя продать дорогую сердцу твоему вещь, чтобы командовать тобой». А на следующую ночь Господь к сказанному добавил всего одну фразу: «Но ведь ты ударил ее». Но не понял Обтрепыш, что должен каяться пред Господом и женой. С утра, встав, помолился и стал жить так, как будто ничего такого сверх-обычного в его жизни не случилось.

Все представлялось Обтрепышу, будто обволакивает его ложь. Как же! Поругались над ним его евреи и делают вид, что ничего не произошло. Стала намекать Кассиопея, что он того, с «причком», что мерещится ему еврейский заговор против него. Так ведь это мерещится всем антисемитам!

А тут еще Швильдерман, подлил масла в огонь. Встретил его Обтрепыш у овощной лавки на Брайтоне, как встречал в родном городе — нежданно-негаданно. «Мотя, — сказал, — какое же ты сказочное создание на фоне этих вот помидор!». Но не поддержал его шутки Швильдерман. «А ты, — сказал, — Либерман, чему так разублабляешься? Не вздумай ко мне на шею бросаться! Не люблю я этого!» — «Извини, — сказал Обтрепыш, — не буду. Хотя, признаюсь тебе честно, хотелось мне подержаться за еврея, относящегося ко мне без злобы. Перевелись, видишь ли, такие». Тут Швильдерман и объяснил ему от-

кровенно, что иного отношения Обтрепыш не заслуживает: как же это можно при еврейском папе поверить в эту мерзость, распространяемую о них антисемитами, что распяли они Христа? И стал было Обтрепыш ему объяснять, что надо бы ему, вместо того, чтобы негодовать, прочесть Евангелия да и сделать выводы... Но перебил его Швильдерман. «Что это ты меня поучаешь скандальным тоном?! — сказал. — Агрессивный ты, а как же...» Тут и понял Обтрепыш, что будут из него делать человека злобного и агрессивного.

Но только ли? По дольке добавляла Кассиопея к его аттестациям: в злобных стал он ходить, в необщительных, в невежественных, в бестолковых и все прибавляла эпитетов, так что стало выясняться в конце концов, что хуже человека не было на земле и не будет.

Замороченный весь, усомнившийся в своем рассудке, сидел как-то Обтрепыш за машинкой, сочиняя письмо, — и вот явились в его дом два полицейских в сопровождении Кассиопеи. Один из них говорил по-украински. Вгляделся Обтрепыш в его лицо: «А что хорошего можно ждать от этого человека?». Оно, конечно, принадлежал человек к народу матери его, но уж больно сумрачным было лицо. Полицейский этот и объяснил Обтрепышу, что лучше тому не сопротивляться, а идти с ними в больницу, где его подлечат. Обтрепыш подчинился, уверенный, что сейчас, вот только переступит он порог больницы, выяснится, что он здоров.

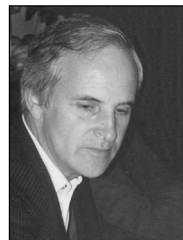
Пришла врач с еврейским, опять же нехорошим, лицом. А что же в нем было нехорошего, в этом лице? А то, что было оно не родным, это лицо женщины из чужого народа. Протянула эта женщина ему руку, но Обтрепыш эту руку пожимать не стал. Врач и поинтересовалась, почему это он такой необщительный. Вот его жена говорит, что перестал он общаться с людьми. Не стал Обтрепыш оправдываться, «Разве я не волен, — сказал — как и вы, общаться или не общаться, с кем мне захочется?» Усмехнулась врач, что-то записывая. Потом только Обтрепыш догадался, что запись была о его агрессивном поведении. Перестал Обтрепыш и с ней общаться. Препроводили его этажом выше и здесь увидел он русскую американку, опять же с нехорошим, хотя и русским лицом. «Параноик», — сказала она, взглядевшись в Обтрепыша. — Ничего, подлечим».

Тут и спохватился Обтрепыш, что он человек, не имеющий своего народа. Вот он, Либерман-Опанасенко да еще Баранников в придачу, похаживает среди посторонних, затаивших на него злобу.

Прошло ещё много лет, пока Обтрепыш понял, что сочетал его Господь с народом его таким вот болючим, но верным способом.

Юрий ХОЛОДОВ

/ Саванна /



Тихая музыка¹

Со старшим братом Бени было все в порядке. Он уже снялся в кино в эпизодической комедийной роли, хотя это не он, а сам Бенья должен был пойти в артисты. Маленький, ушастый, он с детства чувствовал себя как клоун на манеже, легко катился по жизни как мяч на футбольном поле, с которым каждому хотелось поиграть. Не то, чтоб ему нравилось представляться простачком, но так было спокойнее. Поиграют, но не обидят.

Да, с Беней тоже было все в порядке. Заканчивал четвертый консерваторский курс. После летних месячных военных лагерей Клава обещала стать его женой. Слава богу — для Бени тоже все устраивалось хорошо. Спасибо бабушке, которая, когда они всей семьей еще жили в провинции, желая спокойно умереть, старалась сделать из любимого внука музыканта. Ломая его сопротивление, уже став глухнуть, она кричала с самого утра: «Бенья! Ты хочешь стать Яшей Хейфецом? Иди поиспражняйся на скрипочку!» И Бенья шел, испражнялся, хотя ему совсем не хотелось становиться Яшей. Ему нравилось быть Беней. Играть с мальчишками «в коца», подглядывать за соседскими девками, моющимися во дворе в сбитой из фанеры душевой.

Когда переехали в Киев, бабушка вскоре умерла, но Бенья, хоть и почувствовал свободу, уже не мог свернуть с проложенного для него пути и только сменил ориентацию — в седьмом классе перешел из струнников в духовики. Мягкий, страстно-призывный звук губоя, как голос щипавшей травку у них под окном козы, когда он украдкой гладил ее теплое розовое вымя, напоминал ему детство. Глаза у нее были навывкате, со слезой. Как у Клавы.

Нет, у Бени тоже все было в порядке. Правда, Клава еще сопротивлялась, показывала маленькие рожки, когда он разгорячен-

¹ Рассказ взят из книги Ю.Холодова «Тихая музыка». Книга выходит в издательстве «Алетейя» (СПб) во втором квартале 2010 г.

ный, рифмуя для нее стихи, звал вместе с ним подняться «к вершинам чувственным блаженства, чтобы потом упасть... на самое дно разврата». Смеялась, охлаждала его порыв, говорила, что не хочет, как все другие. Только после свадьбы...

Зная, что Бенья вегетарианец, собрала ему в дорогу сухие фрукты, орехи, мед, три плитки шоколада.

На первой утренней поверке подтянутый, стройный старшина, присматриваясь к выстроившимся у палаток в два ряда студентам, выбирал себе жертву. Собственно, тут и думать было лишне. Вот он. Нос — сосиской. Уши как радары. Пилотка на голове — кипой. Из сапога торчит портянка.

— На чем играешь? — спросил.

— На гобое.

— Га-бой!... — В душе — как мед по маслу. — Га-бой! Как отвечаешь?

— Товарищ... офицер, я Бенья.

— Два шага вперед!

Бенья выбросил ногу с болтающимся сапогом вперед, но не рассчитал.

— Встать!.. Кррр-у-гом! Будешь отрабатывать выходку в индивидуале.

За Бенью вступились:

— Товарищ старшина, мы музыканты, а не...

— Отставить!.. Выровнять строй!.. На первый-второй рассчитайся!

— Первый! Второй! Первый! Второй!.. Последний.

— Культурно объясняю. Один солдат — это стальная спица в колесе. А если каждый не сымитирует другого, это будет что?.. Бардачок. И на таком велосипеде мы можем уехать куда?.. К Бениной Фене... Ишо вопросы есть?.. Десять минут на помыться, заправить койкоместо. Повторяю: армия — это вам не бардачок. Га-бой, ты старший по палатке. Приду проверю.

Соседи из театрального с песней уже шли в столовую, а старшина еще давал урок, как правильно заправлять постели. Бенью заставил перестилать три раза. Прошедшие проверку собрались у палатки, заглядывали внутрь. Кто-то не выдержал:

— Товарищ командир, согласно свободному волеизъявлению трудящихся, мы все решили тут пойти пожрать.

Тот побагровел.

— Вы мне самонадеятельность не проявляйте... Фамилия?

— Голицын.

Старшина достал из кармана список.

— Голицына здесь нет. Есть Гольц.

— Гольц — это Бенья, а я князь Голицын.

— Кто тут еще князь? Кто желает с Голицыным в ночной наряд?.. Я вам свою персону не навязываю. Могу рапортовать начальству, что вместо лагерных сборов кому-то захотелось попробо-

вать армейской жизни. Там быстро выбьют из ваших котелков интеллигентскую дурь.

— Это была серьезная угроза. Старшина торжествовал.

— Тебе, Га-бой, сегодня наряд на кухню мыть посуду.

— Служу Советскому Союзу!

— Взвод, слушай мою команду. В колонну по-два... становись!

Шагом... а-арш! Запевай.

От груды алюминиевых мисок с остатками жирной каши Беню мутило. Два раза выскакивал, бежал за мусорный контейнер. Повар, калмык или татарин, участливо спросил:

— Рыгаешь? Выпей чаю.

Беня пожаловался:

— Этот ужасный запах мяса.

— Мяса свежий. Сам принимал.

— Я о другом. Не потому. У нас в семье все вегетарианцы.

— А-а, слышал. Эта как мой ишак. Хлеб ест, трава ест, яблока с дерева, помидор в огороде.

Беня попросил:

— Мне бы какой-то постный суп. С грибами, например.

Повар пообещал:

— Поможем. Как не помочь. Сварю отдельно в котелке. Для вкуса поджарим немного сала с луком...

Первое время старшина, как надзиратель, держал всех мертвой хваткой от подъема до отбоя. Строевую проводил в самый солнцепек. Каждого студента раз, а то и два успел послать в наряд, наивно полагая, что вверенную ему музыкальную команду, наученную только стучать по клавишам, пилить смычками, дудеть и петь, за месяц можно переделать в боевую единицу. В эти несколько дней он всем так насолил, что вокалисты всерьез поговаривали, не поломать ли его немного где-нибудь в укромном темном закоулке. Почувствовав угрозу, тот стал ходить с оглядкой, меньше придирался, раз даже похлопал Беню по плечу: «Герпи, солдат. Тяжело в учении — легко в бою».

Угроза насилия Беню всегда пугала, и он в сложившемся противостоянии с готовностью принял на себя роль громоствода. Старался всех смешить, даже переигрывал немного. Это сработало, и он мог собой гордиться. Тревожило еще другое: сколько протянет без еды. Обещанный вегетарианский суп, видно для смеха, заправили соляжкой или еще какой-то дрянью. Повар клялся — это напарник чего-то там поддил. В другой раз он проследит. Но Беня больше не рисковал. Утром — чай с кусочком хлеба (масло отдавал соседу), в обед — компот. После отбоя, когда в палатке становилось совсем темно, он доставал из рюкзака домашние припасы, жадно набивал полный рот, мучился, стараясь поскорее проглотить.

— Эй, чуваки, держите яйца! — Кто-то бросал со смехом. — Сюда забрался зверь... Слышите?.. Грызет... У кого фонарь?

Беня, отогнув край матраца, сплевывал, что не успел пережевать, как испуганная мышь чутко прислушивался, пока не усypал последний, включая свой голос в ночную музыку вздохов, всхлипов, стонов.

Подполковник, добрейшая душа, читавший тактику ведения боя, увел их в лес, вплотную подступавший к самому лагерю. На большой тенистой поляне, усадив всех кругом, разрешил расслабиться, расстегнуть воротнички, снять ремни. Беня тут же уснул. Привиделся ему пыльный двор, коза, привязанная к кривому дереву, и он сам, висящий на ветке вниз головой — так он давно придумал, чтоб было интересней смотреть на все вокруг. Спрыгнул на землю, обнял козу за шею. Она брыкалась, больно толкала рожками в бок. Бе-е! Бе-е-е!

— Беня, отвечай.

— За что?

— За сектор обстрела.

Вспомнил, что осело в голове еще из прошлых лекций в консерватории:

— Сектор обстрела нашему взводу назначаю... ориентир справа — дуб сосновый, слева... корова.

Его перебивают:

— Беня, не про то... про химзащиту.

Уже понял, что с ним играют, но виду не подал. Выхватил из памяти другое:

— Вохлым тампоном протираем автоматъ, опять же открытые участки, просмаркиваем нос...

Другие подхватывают:

— После всего почистить зубы.

— Еще просратья, прошворить ствол...

Падают на траву, качаются от смеха.

— Это кто же вас так учил? — Подполковник улыбается. Пусть ребята повеселятся. Им не легко.

Кочегарка три-на-три. Без окон. Дверной проем как дырка в заднице. В углу — куча угля. Три часа ночи.

Дрова в трех топках под котлами никак не разгорались. Открыв заслонки, Беня с Гвоздецким из композиторского запихивали туда собранные на цементном полу последние пучки сырой соломы. Из топок валил едкий дым, утробный поварской мат.

— Что вы там возитесь, засранцы?

Беня достал спрятанную под гимнастеркой толстую тетрадь, рвал лист за листом, скомкав, бросал в дымящуюся топку. Гвоздецкий, заметив, что листы исписаны стихами, спросил:

— Твой?

— Мои.

— Не жалко?

— У меня все в голове.

Дрова, наконец, разгорелись. Подбросили угля. Сели прямо на пол передохнуть, привалились к холодному бетону. Гвоздецкий достал грязный платок, вытер вспотевший лоб.

— Говоришь, все помнишь? Проверим тебя на вшивость. Прочти из тех, что уже сгорели.

Никогда Беня не читал кому-то вслух. Чувствовал себя недовоко, как первый раз когда-то в бане, но ночь располагала к душевной близости.

Походкой пьяною приходит к нам весна,
Чтоб в смехе дерзкого невинного бесстыдства
Топить все наши хилые мечты и песни...

— Да ты, Беня, молоток... Я и не подумал бы... Прямо вокальный цикл — слышу, как они звучат. Жаль, нет здесь инструмента. Ну, ничего. Попробуем, когда вернемся.

— Боюсь, не дотяну.

Тот успокоил:

— Брось. Не бери дурного в голову. Месяц — это не два года. Пара недель еще этого дурдома, и будем гордо реять... Дай почитать.

Неохотно протянул ему тетрадь. Слишком много там было откровений. Не для других. Для Клавы. Гвоздецкий открыл заслонку, чтоб лучше было видеть. Листал тетрадь. Улыбался, шевеля губами.

За стеной повар, колдуя у котлов, напевал любимые куплеты:

Пошел я раз купаться,
За мной следил бандит.
Я стала раздеваться,
А он мне говорит:
Какая у вас ляжка,
Какая буфера...

Клава появилась во второе воскресенье. Привезла фрукты, пирог с клубникой. В палатке Беня был один. Чуть не расплакалась, увидев, как он жадно ест. Весь перемазался.

— Тебе здесь плохо? — Достала из сумки полотенце. Как маленького вытираала.

— Так хорошо, что ты приехала... Ничего. Две недели как-нибудь переживу. И будем гордо реять. — Засмеялся. Высыпал яблоки на одеяло. Пересчитал. — Надо ребятам хотя бы по одному. — Положил каждому на подушку. Оставшиеся — засунул под матрац. — Что мы сидим? — Схватился. — Здесь недалеко в лесу, никто еще не знает, есть сказочное место — нетронутая земляничная поляна. Я прятался там от старшины. Писал стихи. Хочу, чтоб ты услышала. «Тихая музыка» — целая поэма.

Взяв за руку, он вел ее по цветистому коври лесной просеки, пугливо озираясь — боялся, что кто-то может испортить праздник.

Хотите — верьте. Хотите — нет. Сначала он даже не думал ни о чем таком. Но вот пришли к поляне, и Клава, увидев как много

там ягод и жалея, что не взяла с собой корзинку, подобрав платье, опустилась на колени и стала собирать их в круглую ладошку, чтобы потом целой пригоршней, сразу полный рот. Глаз было не оторвать от ее широких бедер под тонким шелком платья, тихо покачивающихся — как медленный танец двух влюбленных. Любуясь ею, Бенья читал стихи:

Твои глаза — лесных озер ночная глубина.
В них трепетная лань отражена...

Вдруг понял: она его не слышит.

— Бесстыжие. Самые спелые прячутся под листья. — Голос выдавал ее волнение.

«Га-бой! — Он подстегнул себя. — Два шага вперед! Ты же мужчина!»

Дрожащая рука скользнула по нежной коже, отбросила подол, а там... совсем без ничего...

Как часто ему снилось это чудесное творение природы.

— Бенья, что ты делаешь? Нас могут видеть, — тихо стонала. — Я не могу так...

Когда пришли в себя, на чтение стихов уже не оставалось времени. Да и сама поэма теперь нуждалась в переделке.

Растянулись по полигону. Заняли оборону. Едва серело. Где-то впереди условный противник (театралы) нанес условный атомный удар. Всем приказали надеть противогазы, окопаться. Бене с Гвоздецким повезло — попали в глубокую воронку, наверное, еще с войны. Проковыряв саперными лопатками в сухой земле ложбинки для автоматов и заметив, что поблизости из надзирателей нет никого, сползли поглубже, сняли противогазы. Подняв воротники, плотнее укутались в шинели.

Очнулись — солнце уже палило.

— Эй! — кричал Гвоздецкий соседу, все еще долбившему землю. — Что там слышно? Где они все?

— Хер их знает. Наверно, пошли к бабам в село.

— Сейчас бы молочка... — Дернул Бенью за рукав. — Есть попить? Забыл флягу в палатке.

Небо над головой пустое, только на горизонте грязная пена облаков, будто здоровенная баба плеснула туда ведро помоев. Бенья расстелил шинель, снял гимнастерку, сапоги. Кружилась голова. От запаха портянок подкатывало к горлу. Снова забылся, будто поплыл куда-то.

— Бенья, очнись! — весело кричал ему Гвоздецкий. — Противник наступает!

Один из театралов, видно отбилась от других, по-бычьей опустив голову, перся прямо на линию защиты. Скатанная шинель через плечо, автомат болтается на шее, ворот разорван.

— Торо! Торо! — Гвоздецкий пальнул холостыми. Поднял комок земли, замахнулся. Тот сорвал за хобот противогаз, хрипит:

— Только попади... убью. — Свалился к ним в воронку. Рожа красная. В глазах звериная тоска. Гвоздецкому даже неловко стало.

— Это же игра.

— Кому игра, а кому едба... Дай глоток воды.

— Все выпили.

— А у тебя? — повернулся к Бене. — Смотри... этот уже покойник.

На самом дне воронки в траве — мутная лужа от дождя. Намочили портянку, приложили ко лбу.

— Бенья, не дури! — Гвоздецкий толкал его в плечо, но тот не шевелился.

Театрал успокоил:

— Не дрейфь, это бывает от перегрева. Беги к начальству. Пусть присылают катафалк... Шучу... Я останусь, посижу с ним... Доиграют без меня...

Почти неделю Бенью продержали в лазарете. Одни считали, что он искусный симулянт, другие его жалели. Без Бени даже старшине команда музыкантов казалась неполноценной, как организм, в котором недостает, к примеру, аппендикса — вроде и жрать все можно без разбора, но нет той радости.

Когда его выпустили, ребята уже готовились к отбою. Вошел в палатку, строго спросил:

— Как вы тут, без меня, еще не разбежались?

Гвоздецкий отшутился:

— Арена опустела. Всех клоунов перестреляли, но, мать твою, родина помнит своих героев. — И вдруг замялся. — Ты извини. Нам тут сегодня пришлось выбросить твой рюкзак. Не знали, откуда в палатке муравьи. — Достал яблоко, пачку печенья. — Вот все, что удалось спасти.

А утром Бенью было не узнать. Глаза заплыли. Нос распух. Уши как мухоморы. Видно, лесные разбойники ночью вернулись на место пиршества и, не найдя там ничего, решили отомстить. В медпункте санитар, увидев Бенью, развеселился.

— Первый раз тут с таким встречаюсь. Очень интересный случай. — Взял зеленку. Всего раскрасил.

В этот же день к обеду ждали генерала. Должен был сам проверить, как проходят сборы.

Старшина приказал пришить свежие воротнички, надраить сапоги. Будущих младших лейтенантов, командиров моторизованно-пехотных боевых подразделений выстроили в две шеренги. Бенью, чтоб не светился как зеленый светофор, спрятали за спину широкого в плечах Гвоздецкого.

— Здравия желаем, товарищ генерал! — рявкнули студенты, когда тот со своей свитой появился перед ними. Неторопливый. Довольный жизнью. Приняв рапорт старшего по лагерю, поздравил всех с успешным проведением боевых учений.

— Жалобы есть? — Подошел поближе.

Какие жалобы? Только попробуй — завтра получишь внеочередной наряд.

Возле Гвоздецкого генерал остановился. Близоруко щурясь, достал очки. Присмотрелся — за спиной студента (какая странность!), словно гриб, торчало большое зеленое ухо.

— Отставить! — Отмахнулся. — Мне говорили: среди вас есть солдат, которому не нравится наша армейская кухня, ничего не ест. Вторую неделю об этом слышу. Хочу на него взглянуть.

Отказать себе в удовольствии всех развлечь Бенья не мог. Выскочил вперед, взял под козырек.

— Рядовой Гольц... Га-бой... Служу Советскому Союзу!

Смех за спиной, как прибойная волна, и голос Гвоздецкого:

— Ну ты, Бенья, молоток.

Кто-то из генеральской свиты подсказал:

— Он вегетарианец.

— Сам вижу... Исправить и доложить...

В тот день повар сам подавал Бене миску с кашей.

К счастью, до окончания сборов оставалась всего неделя, и Бенью никто уже не исправлял...

Ныне младший лейтенант запаса Бенья Гольц имеет со своей Клавой маленькое еврейское счастье, играет в оркестре на гобое и ждет со всеми нами перемен.

Саванна, Джорджия, 2009

Наталья СЛЮСАРЕВА

/ Москва /



Прогулки короля Гало¹

ГЛАВА XI. ГЕРМЕТИЧНЫЕ ЗНАНИЯ

Плавно подходила к концу неделя семинаров. Учитель последовательно вводил своих учеников в мир обучающих программ, инновационных технологий, призванных изменить самое упрямое, что есть в человеке — его сознание. Камердинер, почерпнувший сам много сведений из королевской библиотеки, обладавший самым высоким интеллектуальным коэффициентом, доверительно делился с соседями по партам. Он уверял, что универсальными знаниями обладали ещё древние греки. Грекам знания были переданы от египтян, среди которых величайшим учителем считался Бог Тот с головой ибиса или Гермес «Трисмегист» — «Трижды величайший». «Tabula Smaragdina» — «Изумрудную скрижаль» — главную египетскую ценность, вырезанную на пластинах изумруда, нащептали в ибисовую голову, в свою очередь, светлые и высокие Атланты. Последнее же звено цепочки недоступных знаний, скорее всего, спускалось на землю с застывших звёзд. Тайны, которыми владел Гермес и его ученики, обещавшие блаженство на земле и исполнение любого желания, оставались закрытыми. С тех времен в наследство людям перешло слово «герметичность», а месторождение с жилой счастья почему-то каждый раз приходилось разрабатывать заново, взламывая ту самую герметичность...

На пешей прогулке по пустынному шоссе Луи с Антоном скромно держались за первой парой — Габинчи, шедшего под руку с Королем, но и до них доносился зычный голос боцмана.

— Пустота! — радовался ученый, оглядываясь по сторонам. — Пустота! Какая великолепная возможность! Каждый из нас уже был ничем и будет ничем. В сущности, все мы ходим туда-сюда через одни и те же двери, — восклицал он, механически переводя по маршруту все левосторонние указатели направо. — И, заметьте, всегда к

¹ Окончание. Начало Крещатик № 46.

себе домой. Страх пустоты, неизвестности — великая иллюзия невежественного разума. Но этот толстый канат, сплетённый руками стольких напуганных поколений, трудно разорвать.

Неожиданно в ничем не заполненное пространство, как раз между полями шляпы Его Величества и воротником королевского пальто, зигзагом скользнула птица-боа.

— Ничего. Не смущайся! — Чтобы встретиться с взглядом короля, Габинчи нагнулся пониже к обшлагу его рукава. — Этот проём ты создал сам, мыслями о собственном ничтожестве. Нерешительность и робость — плохие сторожа. Но мысль можно изменить! На этом золотом песке мы и построим замок счастья. Величайший учитель из Назарета никогда не любил говорить о тех плохих условиях, в которых жили люди. Он никогда не говорил Богу, как больны и бедны люди. Он утверждал совершенно противоположное. Он велел хромым — ходить, слепым — видеть, неммым — говорить. Он повелел волнам утихнуть среди бури. И ты не тушуйся, а просто знай: твоё лицо у тебя — в кармане. Извини, я хотел сказать — там, где ему и надлежит быть!

В следующую секунду, шумно рассекая воздух, вжикнул знакомым шарфом Феррари.

— На пикник. Воздушные ванны принимать. Ну, гусь! — Антон резко дёрнул хвостом, нечаянно задев двух бабочек двойняшек.

— Хорошая оснастка, а-а-апчхи! Отличный крен, а-а-апчхи!... Идёт, а-а-пчхи, почти совсем, как «Сити Белл». И правым бортом, — аллергически — ностальгически отреагировал моряк.

— Ничего удивительного, — вклинился Луи. — Прежде всего генетический код. В нём вся сила.

Внимательно вглядевшись в рисунок летних шин, Лебедь ещё раз кивнул в знак одобрения.

— Генетический код — лучшая оснастка. После того как его душа «Феррари Теста Росса» — «Красная Голова» в 1958 году победил в двенадцатичасовой гонке в американском Себринге, взял первое место в знаменитой гонке «Тарга Флорио» и пришёл первым в двадцатичетырёх-часовой гонке в Ле-Мане, всё семейство Феррари чуть ли не причислили к ликам святых. Оригинальные плавники, растущие за передними колесами, перешли к нашему Ферри, как раз от деда «теста Росса». А вот удлинённый разрез глаз — от бабушки «Пежо». Любимый племянник Фьорано, который ещё не встал прочно на ноги, разгоняется до первой сотни за три секунды и «антонов» в нем шестьсот двадцать жеребцов.

— А гарцующий жеребчик на фасаде от кого? — королевский конь требовал уточнений.

— Гарцующий жеребец — символ графского герба Франческо Баракка, легендарного лётчика-аса времён первой мировой войны. Графиня Паолина, мать героя, встретившись на гонках с конструктором машин Энцо Феррари, предложила тому использовать символ их семьи, как приносящий удачу. С тех пор к изображению чёрного гарцующего жеребца папаша Энцо добавил только жёлтой краски на фон, цвет родного города Модена. Здесь

в Маранелло в пятнадцати километрах от Модены в так называемых «конюшнях Феррари» каждый месяц объезжают восемнадцать кумачовых жеребцов.

— Ну и процессор у тебя, — Антон подмигнул бабочкам.

Не прошло и получаса, как на горизонте завибрировала алая точка. Феррари возвращался. По мере того, как, сбавляя скорость, красавчик приближался, пешеходы разглядели на переднем месте знакомую сирену с перламутровыми плечами, на заднем — размахивающего банкой пива, бодающего затенённое стекло здоровилу сержанта. Последний был явно навеселе.

На светофоре Феррари резко встал на дыбы, пытаясь сбросить с себя тяжёлое тело десантника. Кентавр отчаянно сопротивлялся. Упершись в боковые дверцы расставленными копытами, Филипп ни за что не хотел оставлять салон. Гарцующим жеребцом, на задних колесах, Феррари крутился вокруг собственной оси. Неизвестно, сколько бы это ещё продолжалось, если бы Люба, перевесившись назад, не треснула своей сумочкой со всей силы контрактника по голове несколько раз. Замолкнув, Филипп мягко осел на шёлковое сиденье и захрапел.

Получив свободу, «F550» признательно улыбнулся красивым разрезом фар и полетел вдоль шоссе, не касаясь шинами встречной полосы.

— Гляди, Млечный путь снесёт, — шараясь от него в кювет Антон.

— Паранормальная скорость, — восхитился вслед Габинчи.

Когда поздно вечером, вместо того, чтобы практиковаться в написании лозунгов, Лебедь и Конь стали обсуждать встречу на трассе, Его Величество неожиданно принял решение.

— Пора и нам нажать на акселератор! — высказал он мудрость в традиции золотого века монархии. — На стоянке всего не узнаешь. Оставим на время теорию. Будем пополнять знания эмпирическим путем.

— Умно! — В знак одобрения Лебедь вырвал из своего хвоста перо, более других напоминающее восклицательный знак.

ГЛАВА XII. ПОХИЩЕНИЕ ЕВРОПЫ

Дорога шла берегом моря. Лапа, копыто и колесо попеременно проваливались в зыбучий песок. Конь устал, всё-таки он нес на себе двух всадников.

— Это что получается? Я что — основание пирамиды, в конце концов? — ворчал он последние полчаса, — или, быть может — трёхступенчатая ракета? Пора делать привал.

— Выдай ему яблоко из мешка, а то он не успокоится, — обратился Гало к тому, кто призван был охранять его тыл.

— Такой не успокоится, это точно, — подтвердил Лу, протягивая Коню антоновку.

Пройдя ещё пару километров, решили заночевать на пляже.

— Сникерсни, отдохни, — выхрапнул из себя Антон, по-быстрому сбросив с себя седоков. Расторопный камердинер быстро развёл костер. Гало, придвинувшись поближе к огню, начал растирать покрасневшие на ветру пальцы рук. Луи разливал по жестяным кружкам бодрящий кофе.

Очередная большая волна лениво подошла к берегу, оставив на нём тяжело дышащего быка, на котором восседала верхом пышная блондинка, совершенно придавившая его своими формами.

— А кто-то ещё недоволен. — Луи кивнул в сторону Антона, но тот, разинув пасть, и так готов был тут же без разговоров поменяться с Быком седоками.

— Я быстро. — Пышка ухватила Быка за ухо и начала сползать с крупа. У Быка что-то хрустнуло в крестце. Он охнул, тяжело уйдя в песок всем корпусом.

— Здесь при дороге должен быть супермаркет. Пора обновить запасы: чипсы, пива, побольше гамбургеров. Ты ведь не против, дорогой?

Конь мечтательно провёл львиной лапой по небритому подбородку, проводив слегка затуманенным взором удалявшийся по пляжу Биг-Биг-Мак.

— Очень романтично, очень...

Луи покусывал кончик пера. Сидя у костра, Гало ещё ниже опустила шляпу. К счастью, никто не любопытствовал и не заглядывал под её широкие поля.

Быка била мелкая дрожь, чёрные круги под глазами выдавали предельную усталость. Он хрипел. Наконец, отдышавшись и сделав глоток кофе, неожиданно заговорил, ни к кому персонально не обращаясь.

— О, я старый идиот! Что я сделал со своей жизнью?! Я мог стать Коперником, Эйнштейном, Кротовым, в конце концов... Лучше бы я сложил свои рога на арене в цветущей апрелем Памплоне или Севилье. Почему я не погиб в честном бою? Я храбр и заставил бы дорогу заплатить за свою жизнь. Возможно, мне даже поставили бы памятник, не столь великолепный, как несравненному Хоселито — величайшему матадору Испании, но всё же достойный моего свободного выбора. А что я сегодня? Счастливый обладатель куска, которого мне не проглотить. Позарился на телесную оболочку и теперь погибаю в высоких волнах «Фаст фуда».

Бык несколько раз потянулся, чтобы растянуть натруженную поясницу и повернулся на другой бок. Силы оставили его. Прочитав в глазах друзей немой вопрос, он вздохнул.

— Это — Европа. Я встретил её в Америке. Там много таких бодрых и обширных, напоминающих Океан, но Европа оказалась грандиознее всех. Её жизнерадостность и безмятежность покорила меня. В душе я — меланхолик. Я наивно посчитал, что только с Европой смогу быть всегда энергичным и весёлым. Я похитил её. О, я — осёл! Первую неделю я был от неё без ума. Но не успел ещё наш медовый месяц выгрести на второй круг, как я уже выдохся. Теперь мной владеет только одно желание — уснуть, желательнее одному и

желательно под забором. Одному, дорогие друзья, одному. Проснуться утром, сварить кофе на одну порцию, пошляться по комнате в рваной майке, полистать журналы на диване, а потом расшвырять всё по полу. И главное — не слышать этого громкого смеха.

— Но такое совершенное изобилие, разве это не счастье, о котором мечтают все? — философски переспросил Луи?

— Прямо-таки яблочная пастила, — добавил Конь, взвизвись на дыбы и обдав приятелей волной сухого горячего песка.

— Конечно, разве я спорю. Счастье. Но это не моё счастье. Не моё.

Бык повернулся к огню спиной и захрапел.

На фоне гаснущей вечерней зари из-за дюны частями выбиралась Европа. Азартно крича кому-то в мобильную трубку, она катила перед собой тележку доверху нагружённую сосисками, колбасами, печеньем, банками с пивом, кока-колой и тому подобное.

Чтобы успокоить немного нервы и размять суставы, конь удалился пожонглировать в компании чаек. Общение с Габинчи ни для кого не прошло бесследно. У каждого обнаружили неведомые ранее таланты. Антон быстро обучился жонглировать тремя предметами одновременно. Простой набор: гнутая серебряная вилка, мячик, подобранный на поляне для игры в гольф, и зелёное яблоко он прятал в густых прядях хвоста. Уединившись по вечерам, новоявленный жонглер с завидным спокойствием подкидывал в небо вилку в очередь за яблоком. Цирковое искусство благотворно влияло на его психику. Конь умел на глазах. У него выработалась даже своя философия: поменьше мыслительных процессов, побольше мускульных движений. Приглядевшись внимательнее к мажордому, Луи пристрастился к вязанию. Ему отлично удавались купальники. Мечтой камердинера стало открытие собственного Ателье. Один Король не обнаружил в себе ничего нового. Он был слишком сосредоточен на своём чувстве.

Проснувшись на следующее утро, друзья вчерашних попутчиков на пляже уже не застали. К воде вела цепочка неровных следов, глубоко отпечатанных во влажном песке.

— Да, — Конь почесал за ухом. — Как это он вчера... Мда-а, с какой страстью. Не мой говорит кусок. Интересно.

— Припомни, — Габинчи на семинарах то же самое говорила, — быстро отреагировал философ. — Только своя ноша не тянет. Когда тебя окружает «истинно твоё», то тебе в нём легко, как рыбе в воде.

— Да, а где это «твоё-своё» найти? Вот в чём вопрос.

Обновив маникюр на львиной лапе и подкачав спущенную шину, Антон принялся загружать на себя пассажиров. Этажеркой двинулся дальше. На закате следующего дня группа добралась до серповидной бухты, вступив на территорию частных владений. На столбике, с которого вспорхнула чайка, чернела надпись: *«Владения Великого Художника»*.

— Ну что же, кажется, мы пришли, — громко объявил Луи.

ГЛАВА XIII. КОНТРАКТ РИСОВАЛЬЩИКА

Великий Художник любил много и громко смеяться. Кроме собственного очевидного смеха, на свете он ценил только три вещи: свои деньги, свою гениальность и свою родную дочь Елену, оставшуюся рано без матери. Быстро подружившись, гениальность и деньги доставляли ему минуты истинного веселья. Единственно заботы о дочери, её причуды, бессонницы, весенние лихорадки стогнали порой улыбку с его всегда довольного лица.

Облик любимицы отца был замешан на трёх красках. Чёрная волна пышных кудрей состязалась в блеске с сиянием глаз цвета мокрого антрацита. Нежное личико на фоне кружев, оттенка лапландских льдинок, казалось ещё белее. Карминные лепестки губ посылали воздушный поцелуй алой ленте в волосах.

Голосок непоседливой красавицы раздавался одновременно отовсюду, со всех тропинок и лужаек. Она мелькала то тут, то там, первой объявляясь во внутреннем дворике, а уже вслед за ней влетала ласточка.

— Елена, постой, мне надо закончить твой портрет.

— Нет, ни за что. Сидеть это такая пытка.

— «Скок, сорока, скок сорока»... — Художник напрасно пытался поймать дочь за руку.

— Папа, уймись. В нашем доме я давно уже чувствую себя, как в музее. Что меня окружает? Застывшие напыщенные мольберты, сморщенные тюбики засохших красок. Надоело!

— Я заплачу тебе хорошие деньги.

— Ты и так их мне дашь.

Как раз в то мгновение, когда ласточка метнулась к верхушке кипариса, на лужайке перед парковым павильоном предстали три странных — отчасти предмета, отчасти существа: одно пальто, обрамляющее пустоту, один, белого пера, лебедь и запылённый, в синеву, конь.

— Оригинальное сочетание красок из трёх, — рассмеялся всегда довольный всем Великий Художник. — Немного белого, в меру — синего и в избытке — «никакого». И сдаётся мне, что вот это бесцветное и есть кардинальный цвет.

Приостановившись, Елена с любопытством разглядывала гостей.

— И что же вам угодно? — улыбаясь на фунт «чииза», полюбопытствовал хозяин. — Вы — просители или путешественники?

Вперёд выдвинулся старший камердинер.

— Видите ли, — Луи распушил манишку атласного оперенья на своей груди. — Нас в некотором роде уполномочил Великий Мастер, Далай-лама, синьор Габинчи. Он заверил нас, что Вы уже могли бы расстаться с той частью лица, которую одолжили во время сна, при ободном согласии, разумеется, у Его Величества Короля Гало Пятнадцатого. Так что в настоящее время, как вы сами изволите видеть, Его Величество, имея всё, что полагается мыслящей субстанции, своего лица не имеет.

— Ха-ха-ха! — закатился смехом Великий Художник. — «Собирала Маргарита маргаритки на горе, растеряла Маргарита маргаритки на траве». Вы хотите сказать, что «Карл украл у Клары кораллы...» и при обоюдном согласии. Интересно. А если я не отдам?

— Тогда мы вынуждены будем драться! — подобралвшись и выпятив грудь вперед, храбро продолжил соратник Короля.

— Говорил попугай попугаю: «Я тебя, попугай, попугаю. Отвечал ему попугай: Попугай, попугай, попугай!»... Что ж, одна львиная лапа на троих у вас уже есть. Впрочем, разве что смеха ради!..

— Что это он странно так разговаривает? Получается ничего, типа того, не понять.

За спиной короля Антон попытался добиться от Луи внятных объяснений.

— Причуды баловня судьбы, — не меняя авантажной позы, прошипел сквозь плотно зажатый клюв опытный психолог. — Эрудичией ослепляет. Видишь, как светится весь от удовольствия. Ладно, молчи, потом договорим. Не пропустить бы важное.

Великий Художник, не смущаясь, в упор разглядывал Его Величество Гало Пятнадцатого, облокотившись на свою трость с золотым набалдашником в форме головы лебедя, чем заслужил неодобрительный взгляд Лу. Золотая голова наоборот приветливо подмигнула камердинеру изумрудным глазом. Король в свою очередь любовался яркой внешностью живописца, его уверенными жестами, осанкой.

«Какая великолепная самоуверенность. Мне никогда такой не овладеть, даже будь у меня три лица — одно спереди и два к боку, — подумал про себя Гало. — Однако, что за чушь лезет мне в голову?»

— Ну, что ж? Предлагаю скрестить шпаги, заодно и повеселимся. Разыграем дуэль. Своего рода, олимпийские игры.

Великий Художник немного отступил назад и насмешливо прищурился, как бы примериваясь тотчас набрасывать на холсте семейный групповой портрет.

— Я верну Его Величеству то, что он считает своим, в случае, если он одержит верх в нашем ремесле. Ваша артель вступила на территорию живописца и потому оружием поединка я выбираю кисть. Моделью послужит моя дочь Елена. Претендент должен будет сделать её портрет за семь дней. Жюри оценит работы по достоинству. Победитель, во всяком случае, останется с лицом. Если присудят пальмовую ветвь Его Светлости, — художник согнулся в церемонном поклоне, — «господин в пальто» покинет нас, будучи уже явным эскизом. Ха-ха-ха. Всё очень просто.

На повороте, задиристо помахав тросточкой, художник бросил через плечо:

— Если победа, как обычно, последует за мной, не обессудьте, господа, вам ничего не светит. Адье.

— Да, есть чему поучиться, — рассудительноотреагировал Луи. Антон в негодовании раскрутил вхолостую своё единственное колесо. Пальто короля приподняло плечи.

Неделя пролетела незаметно. Многими было отмечено, как, взявшись за руки, Гало и Елена часами следили с террасы за низки-

ми полётами бакланов; прислушиваясь к пению парковых фонтанов, ласкали доверчивые цветы. Первую половину дня Король неизменно проводил перед мольбертом, кажется, смешивал краски. Перед сном Лу уверял Антона, что видел, как Гало мыл кисти. Это был хороший знак.

В день состязания Гало торжественно почистил длинные полы своего пальто. Монарх захотел сделать это лично сам. Конь тщательно вычесал пшеничный хвост, прицепив за ухо букетик полевых цветов. Белоснежный фрак Лебеда оттенили чёрной бабочкой.

В поддень на террасе, где были выставлены два закрытых до времени полотна, собралась самая изысканная публика. На балконе для «вип» персон в глубоких креслах удобно устроились герцогини Лагунские, сёстры— меценатки, давние поклонницы художника. Местная аристократия считала своим долгом заказывать портреты только у Великого живописца. Неожиданно королю показалось, что в старшей сестре он узнал ту, которая доставляла ему экспресс-почту. Обрадовавшись поддержке, Его Величество приветственно подмахнул ей рукавом пальто, но надменная герцогиня так резко просигналила желтыми блюдами глаз, что Гало совсем потерялся, и отошёл в тень.

Пристально разглядывая через лорнеты свиту короля, сухо постукивая костяшками вееров о перила балкона, почётные гости требовали скорейшего начала состязания.

Непринуждённо поклонившись публике, хозяин первым отбросил старинную шаль, закрывавшую его работу, и развернул к зрителям картину. Блеск и молния. Как только присутствующие взглянули на портрет дочери, написанный её прославленным отцом, всем стало очевидно, что превзойти подобное совершенство, никому не под силу — ни королю, ни обычному смертному.

Портрет жил и радовался, приглашая других так же легко дышать и праздновать своё бытие. Переливаясь бессчётным количеством оттенков, краски нежились на полотне в абсолютной гармонии. Цветок раскрыл свои лепестки. Как бы гордясь тем впечатлением, которое они оказывали на зрителей, краски ослепительно смеялись в лицо всем и каждому. Почерк мастера. Характерным приёмом письма Великого Художника считалось признанное всем миром необыкновенное свечение, силу которого он многократно увеличил за последние годы. Немногие знали, что этот энергетический мяч он ловко отбирает у других более слабых игроков во время персональных ночных матчей. Великий портретист был непобедим, и он знал это.

Слуги короля переглянулись в замешательстве.

— Га-га-га. — Неожиданно, гусем загоготал Лебедь.

Он решительно возмущился. Условия дуэли показались ему несправедливыми. От испуга, наступив своей передней лапой на заднее колесо, Конь чуть не завалился в кювет, если бы тот там находился. Один Король оставался безмятежен. Любуясь светоносным цветом, он, казалось, забыл о жестких условиях поединка, не обещавших ему лица. Красота дарила ему блаженство. Он был почти благодарен Великому Художнику за уникальные мгновения созерцания Прекрасного.

— Ну что, господа дуэлянты? — весело потирая руки, живописец прервал размышления своего соперника. — «Джордж ждёт мейнджера с пейджером». Ваш выстрел. Прошу.

Заранее торжествуя победу, непревзойдённый портретист наслаждался произведённым эффектом. Герцогини аплодировали стоя. В ту же секунду на террасу ласточкой впорхнула любимая дочь.

— Елена, — ласково приобнял её за талию отец. — Полюбуйся-ка со мной за компанию. Вы так долго проводили время вместе. Что-то из этого должно же было произрасти? Ха-ха...

Все устремили взгляд на Его Величество.

Не торопясь, особенно ни на кого не глядя, Гало потянул на себя ткань, служившую покрывалом. Открывшийся холст оказался абсолютно чистым, без единого пятнышка, даже без подписи автора. Вынув из бархатных футляров очки и лупы, первые эксперты в живописи торжественно окружили полотно.

В отчаянии, закусив манишку, Луи завернул шею под таким градусом, чтобы никто не смог разглядеть под клювом синие звёздочки — следы от слёз. Антон решительно махнул чёлкой на глаза.

— «Сы, сы, сы, сы, сы, сы мы не видели осы», — захлёбываясь смехом, Великий Художник засвистел что-то совсем несурзное, но быстро осёкся. Его единственная наследница опустила голову слишком уж низко. Она плачет? Что за глупости. Неужели ей жалко этого неудачника, это бесцветное пятно?

— «О любви, не меня ли вы, милый, молили и в туманы лиманов манили меня...» — промурлыкал художник.

В следующее мгновение он возвёл глаза к небу и театральным жестом поднял трость высоко над головой.

— Мария! Видишь ли ты свою дочь?

Золотой лебедь с высоты набабдашника бесцеремонно уставился на Луи. Определённо камердинер короля ему нравился, и молодой искал повод, чтобы свести с ним более короткое знакомство.

Махнув рукой, ни на кого не глядя, чётко отстукивая тростью тирольский марш о гладкие ступени высокой лестницы из розового португальского мрамора, первый живописец спустился в парк. Он принял решение.

Когда маленькая чёрная ласточка, облетев бухту, развернувшись, пошла на третий круг, Великий Художник возвратился на террасу. Он появился из дверей в парадном костюме матадора, украшенном большими зелёными изумрудами в форме цветов. Его парчовый наряд дополняла серебряная шпaga с накрученным на ней красным плащом. Выставив вперед мулету, плавно поворачиваясь на каблуках, тореро начал кружить вокруг Его Величества. Сделав таким образом несколько пассивов, он неожиданно набросил плащ на шляпу Гало и, отчётливо проговаривая согласные и блестяще артикулируя, оттрапортовал:

— «Граф Пото играл в лото. Графиня Пото знала про то, что граф Пото играл в лото, а граф Пото не знал про то, что графиня Пото знала про то, что граф Пото играл в лото. Поезд мчится, скрежеща: ж, ч, ш, ща, ж, ч, ш, ща».

После чего тореадор резко сдёрнул мантию, и все увидели, как, раскачиваясь в воздухе, падающим лепестком сверху спускается в свои границы тонкое лицо Короля.

Всё, что было живым в помещении, на секунду замерло в неподвижной окаменелости. У простодушного Коня комната поплыла перед глазами. Он тряхнул на прощание гривой и грохнулся в обморок, высоко задрав к расписному потолку свои разнокалиберные конечности. При ударе об пол самортизировал хвост и выдал такую тучу соломенной трухи и засохших листьев, что собравшиеся, протирая глаза, долго ещё откашливались, не сразу приходя в себя от увиденного.

ГЛАВА XIV. СУВЕНИР ДЕ ЛАБЭЛЬ

Охотница, она же Купальщица, находилась в непрекращающемся мировом турне. Как и положено планете, не отстающей от своей орбиты, через определенный промежуток времени следовало ожидать её появления в известном месте.

Пунктом встречи стал альпийский городок с отличной кондитерской на верхней террасе горбатой горы. Разглядывая за чашкой горького шоколада афишу с изображением королевы стадионов в многоярусных оборках, король Гао неизменно вспоминал о кумачовом цветке и его трепетных воланах. Он чувствовал себя виноватым. После прогулки в парке Монсо, движимый сильным чувством, Гао сбежал, не попрощавшись с Розой. Испугавшись проливного дождя и долгих объезжений, он, надо признать, удалился по-английски.

Некоторое время Лабэль действительно находилась в глубоком отчаянии, даже заболела. Она слишком хорошо помнила историю своей семьи. Ее несовершеннолетняя бабушка из благородного семейства бурбонских роз «Souvenir de la Malmaison», страстно, до безрассудства увлекшись вихрастым шиповником, ютившимся за оградой монастыря, сбежала с ним без родительского благословения. В бабушкином архиве сохранилась гравюра с изображением монастырских развалин.

Я велел опустить подвесные мосты,
И я вышел к тебе за ограду.
Не успел предложить — будем, lady, на «ты».
Ты взяла моё сердце в осаду.

И с тех пор каждый раз, как шиповник цветёт,
А цветёт он недели две кряду,
Вспоминаю, о, lady, вишнёвый ваш рот,
Над обрывом — шипы и ограду.

Отрезвление наступило слишком быстро. «В час, когда в нашем кругу одевались к ужину, в семействе мужа таскивали сапоги, чтобы удобнее было хлебать похлебку. «Нет ничего ужаснее мезальянса». Таков был вердикт, продиктованный горьким опытом бабушкиного неравного брака.

Внезапное исчезновение Короля огорчило Розу. Она терпеливо ждала весточки от пропавшего кавалера, но когда на рассвете один из распустившихся лепестков показался ей подсушенным с края, Лабэль приняла решение. По совету подруг Роза вошла в сеть — не рыболовную, но тоже для поимки: глобальную международную сеть знакомств и брачных объявлений. Скоро в ответ на запрос и фотографию крупным планом откликнулись первые претенденты: опытный шкипер, знавший наизусть прохождения самых сложных проливов; веснушчатый преподаватель колледжа и владелец бобровой фермы лесного штата страны озёр. Лабэль остановила свой выбор на шкипере. «Месяцами он не будет сходить на берег», — заверили её пришедшие от этого в восторг подруги. Они быстренько собрали Розе гуманитарное приданое, побрили стебель, так как носить шипы в той стране считалось неприличным, и доставили в международный аэропорт. Больше её никто не видел.

Несмотря на первый шаг в обретении лица, Король часто оставался грустным. «Раньше, когда я был Ничем, я хотя бы мог мечтать о том, чтобы стать Всем. А сейчас, что я такое? — задавал он сам себе вопрос и тут же на него отвечал, — «Обыкновенная заготовка, ни два, ни полтора, обрывок бечёвки».

Тоска не покидала его. Даже товарищи взроптали.

«Глаза — на месте. Нос почти целиком. Чего же ещё? Разве можно так капризничать»? Деятельный Луи откровенно ликовал: «Каркас есть». Цвет лица, правда, оставлял желать лучшего. Лицо Его Величества отдавало лиловатой бледностью с местами открытых пустот.

Как-то в очереди за шоколадом, за явную прозрачность, Короля заподозрили в неизлечимой болезни и незаметно постарались отодвинуться подальше. Батистовые скулы отпугивали.

— Видели бы они его месяц назад... — потирая бодро левое о правое крыло, веселился камердинер.

Сумерки коротали дома. В один из вечеров представитель царствующего дома захандрил в своей комнате. «Отныне мне не даст утех ни кроличий, ни куний мех, мой графский горностаи, прости...», — мурлыкал он про себя песенку прадедушки, известного трубадура. Внезапно ему во что бы то ни стало захотелось познакомиться с Розой. Гало достал чистый лист бумаги и неожиданно увидел на нём свою подругу так отчётливо, что осталось только обвести кисточкой знакомые черты. На этот раз нежные лепестки с таким радушием открыли вход в лабиринт, что он впервые увидел промытые росой, лукавые льдинки её глаз. «Souvenir de LaBelle» — подписал он портрет своей первой любви. Перед затуманенным взором проплыл трёхстрочный шедевр одного из величайших поэтов, рождённых на земле.

«О, Роза, чистейшее из противоречий.
Блаженство ничейного сна
Под таким множеством век».

— Творчество — аромат индивидуальной Свободы! — Сверкнув спицами, Луи бросил довольный взгляд из под очков на просветлённое лицо художника.

Примостившись на батарее, лебедь довязывал очередной купальник. Поблизе к духовке, с мыслями о яблочном пироге, хлопотал конь. Пока Его Величество баловался красками, друзья обосновались на кухне.

— Не пойму, как этот задавала-художник так просто расстался с частью своего таланта, то есть энергии, ведь он же пришёл первым? — Антон заморгал белыми ресницами. Мука попала ему на глаза.

— А ты не понял? — Луи иронически покосился на приятеля. — Да он просто испугался за свою дочь. Испугался, что она влюбится и сбежит с нашим принцем, как это уже было некогда с той, которая повсюду разбрасывала свои клубки..., а бедный папаша останется потом один поднимать чёрные паруса. Больше тебе скажу, — клацнул длинным клювом дизайнер, перекусывая толстую нить, — но только — никому. Помнишь пажа художника?

— Какого ещё пажа?

— Ну, трость с золотым набабдашником в виде заносчивой головы лебеда. Тот ещё малец, вроде нашего Чарута, всё меня на свидание сманивал. В последний вечер перед отъездом я столкнулся с ним случайно, когда вышел попрощаться с кипарисом; там мне этот гримасник и выложил по секрету, что итог дуэли, оказывается, был «зерро».

— Какое ещё зерно? — удивленно заморгал над фаянсовым блюдом Антон.

— Не зерно, а «зерро». Ноль, то есть, а точнее: фифти-фифти.

— Что-то я тебя совсем не пойму.

— Не пойму, не пойму... — раздражённо застучал спицами Луи. — Пора уже учиться жонглировать не хвостом, а головой. Сканворды, что ли, в электричках покупай.

— Перестань, что ты сердиться? — Антон чуть не заплакал в горячий шоколад.

— Я же объясняю, — смягчился Лу. — Жюри, оценив представленные полотна, выставило участникам равные баллы. Эксперты объявили, что в чистом листе потенциально может заключаться шедевр, превосходящий работы Великого Художника. После этого, естественно, наш живописец и струхнул. Вот тебе и «ха, ха, ха — не могу без пирога», — заключил он, торжественно отщипнув приличный кусок от шарлотки. — Ничто не бывает «просто так», а ты всё своё — «...вроде того»... Ладно, просунь уши, мне надо сосчитать количество петель.

Известие о предстоящем воскресном концерте Мега-звезды на стадионе пришло неожиданно. Побросав спицы, «белый» стал приводить в порядок перья, «синий» — сбрую, «прозрачный» — шляпу.

— На охоту, собак кормить, — ворчал Антон. Он стал совсем невыносим.

В день концерта у стадиона ожидалась приличная давка. Антона с собой не взяли, чтобы не мешался и не крутил спущенным колесом под ногами. Охрана из дюжих молодцов держала оборону перед служебным входом. Под прикрытием крыльев камердинера, как за ширмой, король шмыгнул в костюмерную.

ГЛАВА XV. ЛЕДА

Лебедь остался ждать в коридоре. Из-за закрытой двери частой барабанной дробью неслись резкие пронзительные выкрики. Так кричат морские чайки, когда хотят есть. Лебедь Лу вспомнил свою молодость на тёплом море. Голодные чайки вырвут кусок хлеба изо рта на ходу у любого.

Охотница наступала, не давая вставить Королю ни одного слова. Общий настрой разговора был слишком понятен. Лу вжался в стул. Ему отчаянно захотелось закурить, но тут на него неодобрительно сверкнул яркий плакат, упреждающий не сорить, не Тем временем, крик в «артистической» сменился громким смехом, прозвучавшим еще более самоуверенно.

«Ждать здесь нечего, — прикинул про себя верный товарищ. — Надо будет утешить короля тем, что, во-первых, не лицо красит человека. Во-вторых, с лица воду не пить. Добавить больше было нечего. Ну, жили же как-то до сих пор без запоминающейся внешности. Проживём и так. Какой-никакой пунктир у нас всё же имеется».

Стараясь не скрипеть, он осторожно приоткрыл створку двери. В противоположенном углу комнаты на высоченных алмазных каблуках, вся затянутая в мерцающую муаровую кожу, в огненном парике, переливаясь всеми цветами пламени, покачивалась Мегазвезда. У Лебеда перехватило дыхание.

Эти уверенные жесты, мимика, эти коленные чашечки, в конце концов, кого-то ему отчаянно напоминали.

— Не может быть! — На мгновенье Луи стал белее своего самого белоснежного пуха с манишки, прикрыл глаза и повторил шёпотом: — Не может быть.

Но ведь это же она — Леда, его дорогая крошка.

— Леда, пушинка моя, — позвал он пересохшим языком, втискивая свою сторбленную фигуру в проём, и тут же осёкся.

Рыжее великолепие уставилося на него в упор своими блестящими глазами цвета лесных ягод.

— В моей жизни был только один «мерзавец», который звал меня именно так. Ты хочешь сказать, что это — ты, Лу? Без розыгрыша? Ну и денёк!

Её парень шел прямо на неё. Сапфировая звезда ткнулась ему в манишку. Взмахнув ресницами, она метнула в него взгляд, глубокий, как океанский разлом и острый, как «Экскалибур» — верный меч короля Артура.

Лебедь схватился за грудь, еле удержавшись на ногах.

— Не ждала? — только и вымовил он.

— Кажется, жизнь тебя потрепала?

— Зато ты, моя дорогая, просто цветёшь. — Лу начал приходить в себя.

— Ну, знаешь, сейчас это — не трудно: фитнес, ботекс, ДНК.

— Трёхспиральное ДНК, разумеется, наше будущее..., — подхватил тему всезнайка, но быстро осёкся.

Король с равным изумлением поглядывал на обоих. Он и представить себе не мог, что вокруг его камердинера когда-то кружила подобная пушинка.

— О, ты больше, чем хороший фитнес, Леда. Ты — моя первая любовь. — Бывший «бой-френд» выгнул свой стан и запетял перед красавицей, перебирая лапами на манер страстного «фламенко».

— Забавно, забавно... Я — твоя первая любовь и, конечно, последняя, — Пушинка произнесла это как-то слишком язвительно.

— Для меня это — новость. А кто бросил меня и сбежал с той крашеной массажисткой из водолазного отряда?... И перестань маячить перед глазами.

— Но ты, надеюсь, сохранила наше яйцо? — От волнения Луи всё-таки закурил

— Яйцо! Наше?.. Вот оно что! Bravo! Великолепно! Самое время! Прошло восемнадцать лет. А я всё жду, когда ты, наконец, об этом заговоришь.

— Друзья, не надо, прошу вас. — Между ними пыталось протиснуться пальто с плавущей шляпой. От волнения у Гало почти совсем пропало его тонкое лицо.

— Уберите это, — взвизгнула Охотница. — Я не могу это видеть!

— Может, напомнить о твоих бенефисах? — Резко отшвырнув окурок в угол гримерной, Лу зло сузил глаза.

— В стране не было такого заключенного, у которого бы не имелось обложки с твоей фотографией. Кто у всех на глазах закрутил роман с тренером по гольфу? А тот контрактник, мастер по тату. Хам! Почему я не задушил его своими перчатками?

Гнев большой птицы был страшен. Маховые крылья лебедя яростно трепетали перед лицом Охотницы, как разодранные ветром в клочья, паруса.

— Старый осёл и старый дурак.

— Осёл. Пускай. Я согласен. А кто, воспользовавшись засухой, забрался в лодку к паломнику? И чем вы там занимались, на мели?

Таким страстным король никогда не видел своего камердинера. Ещё немного, и началась бы драка. Гало осторожно потянул приятеля за собой.

— Лу. Нам пора.

— Вот именно! Вам давно уже пора! — подхватила реплику знаменитость, — и забори с собой этого отпрыска голубых кровей, который просвечивает на свет. Купите себе бинокль ночного видения и любуйтесь друг на друга.

— Спасибо за совет, охотница! Я как раз подумывал о бинокле с особо мощным инфракрасным осветителем, позволяющим вести наблюдение в «активном режиме» в условиях полной темноты, — саркастически дополнил инструкцию Луи.

Звезда шоу-бизнеса резко развернулась на каблуках и, взглянув на себя в артистическое зеркало, неожиданно громко разрыдалась.

«Её парень» подошел совсем близко и знакомым жестом обвил её плечи нежным боа.

— Ну, дорогая, ну, не надо. Ты же знаешь, что я всегда любил только тебя. — Он осторожно пощекотал клювом за её ухом.

«Та, которую любили всегда» утопила своё красивое лицо без глубоких морщин на груди любимого. «Остановись мгновенье ты — прекрасно!» Мгновенье прошло быстро, как впрочем, и остальные.

Заплаканная красавица первая отстранилась от родных перьев.

— Дай-ка мне лучше сигарету, Лу. Страсть всё-таки старит. — Леда энергично провела пуховкой по щекам. — Надо будет в этом месяце пройти омолаживающий курс досрочно.

— Всё хорошо, детка. Всё хорошо. Я с тобой. Помнишь, как я писал мелом под твоими окнами: Лу + Леда = ... Там, после знака равенства должна была появиться новая жизнь. И, — камердинер кивнул в сторону короля, — он мог бы быть нашим мальчиком. Только наше уравнение оборвалось.

— Да. Всё могло быть иначе, лучше, чище.

— Не расстраивайся, что теперь вспоминать. Ты дрожишь?

Лу взял под крыло рыжую подружку и присел с ней на диван.

— Были молодые, глупые. А всё-таки, что стало с нашим яйцом?

— Ну, перестань. Это было так давно. Я отдала его маме. Потом он учился за границей. Шлёт открытки, то есть короткие сообщения на Рождество. Тренируется. В общем, всё как у всех. Да, кстати, возьми там, на верхней полке, крем с синей крышечкой — для твоего слишком бледного приятеля. Из его ДНК. И пойдём, пропустим по стаканчику внизу в баре. Ох, как же быстро летит время.

Утопив себя друг в друге, крыльями и париками, в обнимку они тронулись к выходу из гримерной.

— А всё-таки у той крашеной козы были кривые ноги и тяжёлая походка.

— Но ты, хотя бы, знала, что я всю жизнь думал только о тебе.

— Держите меня.

— Ты что, мне не веришь?

— Верю, верю.

— Пушинка моя...

ГЛАВА ХУІ. НЕОПЛАЧЕННЫЕ СЧЕТА.

Странный на первый взгляд союз автомобиля, sireны и десантника затянулся, а главное, втянул Ferrari в историю. Русалка первая предложила организовать совместный бизнес. Взяв в долгосрочный кредит у паломника кассу его скита, партнёры открыли акционерное общество на троих. Рабочий день начинался рано. Неженку Ferrari парковали в тени платана, но с видом на оживлённый перекресток. Свесив с капота поблёскивающий на солнце хвост, учредительница рекламировала автомобильную косметику. Масла, лосьоны — всё подряд она втирала в свою зеркально отполирован-

ную чешую. Очень скоро Люба наловчилась ловко приманивать клиентов. Тут же с разводным ключом крутился главный менеджер Фил, дядя своих — механик Кентаврыч. В прейскурант фирмы входила услуга по сдаче Феррари в аренду, иногда вместе с Русалкой. Фирма процветала.

За время отсутствия монарху пришло несколько кратких по форме, но достаточно серьёзных по содержанию телеграмм: «Счета за электроэнергию не оплачены». «Угроза отключения света по всему королевству», «нефтяное пятно в пруду растёт», «цены на бензин растут».

С обретением постоянного слоя лица Король решил раз и навсегда навести порядок с оплатой счетов за коммунальные услуги, в частности за свет. Первым же рейсом вылетели домой. В пути пассажиры перехватили дополнительный блок коротких сообщений от владельца красного шарфа весьма странного содержания. «Я больше так не могу». «Я ждал до рассвета». «Если он останется ещё на минуту, я убью его и себя». Конь сделал вывод, что нефтяное пятно, закрывшее пресноводный бассейн целиком, лишило город питьевой воды. Вынужденный утолять жажду коктейлями, Феррари совсем затуманил себе мозги. Последнее сообщение, полученное накануне, было самым коротким и невнятным — «в нас въехала осень».

День приезда выдался ветреным и дождливым. В сумерках, решившись на пешеходную прогулку, Король вошёл в парк Монсо в одиночестве. Пусто и неуютно. Моросил тонкий дождь. На дорожках никого, только дурачок ветер гнал перед собой вертялые пожурые листья. Стараясь не наступать на их щёчки, Король побродил по аллеям. В парке открыто демонстрировали свою любовь молодая долговязая лиственница и низенький старый уличный фонарь. Их роман считался нонсенсом и был всеми единодушно порицаем. Парочке же решительно на всё, казалось, наплевать. Фонарь откровенно припал на грудь лиственницы, а та, сутулясь, чтобы казаться ниже, нежно прижималась к его стальной ноге.

На следующий день глава государства принял решение нанести официальный визит должникам. В офисе только что начался обеденный перерыв. Растянувшись на капоте, глядя на себя в боковое зеркальце, Русалка сушила феном локоны. В тылу копался с инструментом Филипп. Целиком и полностью положившись на тормоза, эстет в наушниках весь ушёл в прослушивание редко исполняемой симфонии. Внезапно он увидел перед собой Его Величество в окружении свиты. От неожиданности Феррари нервно задрожал и непроизвольно начал заводиться. Авто завибрировал, вынуждая Любу подрагивать хвостом.

— Прекрати немедленно! Ты что — рехнулся? Я же сползаю...

Король сошёл с коня и галантно подал девушке руку.

— Мадемуазель, очень хорошо. Продолжайте. Я буду только рад, если вы окончательно сползёте с моего автомобиля. Я ценю терпение и выдержку нашего общего друга, но нужно знать меру. К тому же целый ряд обстоятельств вынуждает меня переговорить с вами по важному делу.

— По какому?
 — Вы год не платили за электроэнергию. А цены на энергоносители, между тем, растут.

— Ничего не знаю.

— Но ведь это Вы греете сутками воду в ванне?

— А что, вы хотите, чтобы я окончательно застудилась? Я йогу не практикую, ледяной водой не обливаюсь, в озере не моржуюсь. Мне необходимы мои тридцать семь градусов по Цельсию.

— Ваши права на градусы никто не оспаривает, но задолженности быть не должно. У меня в архиве ещё хранятся не оплаченные счета вашей прабабушки. У вас в роду — хроническое поражение по вольтам.

— Бабушку мою вспомнил — умник.

— Я вам официально заявляю, что долги надо платить. Это важно.

— Для кого?

— Для всех. В первую очередь для государства.

— Очень мне интересно содержать государство. Филипп, ты слышал новость — мне здесь предлагают кормить борщом и государство.

Обходя с боку машину, стирая тряпкой мазут с огромных ручищ, внушительно надвигался менеджер.

— Слушай меня сюда, «кинг». Отодвинься-ка подобру поздраву. Мы под вас не роём, а вот чего вы под нас копаете, в ум не возьму.

— Не мешайте мне сохнуть. Сматывайтесь с нашего участка, да поживее, — взвизгнула сирена.

— Что за наглая девица? — не выдержал Лебедь. — А ты что, «пятьсот лошадиных сил», смотришь? Он сердито ткнул клювом в стекло. — Сбрось эту мисс «не оплаченный счёт» и ступай за нами. Значок на себя нацепил гарцующего жеребца, а сам — тюфяк тюфяком. Противно смотреть.

— Ферри, твоё место в гараже пустует уже полгода. Ты готов идти с нами немедленно? — осведомился, истинно по-королевски, Гало Пятнадцатый.

Краска стыда осветила изнутри салон.

— Я буду вечером, — покраснев, смущённо пробормотал аристократ.

— Хорошо, Ферри, — Король поправил на нём и на себе шарф. — Я жду тебя к ужину.

После этих слов Его Величество верхом на коне в сопровождении телохранителя с большим достоинством развернулся в сторону дворца.

— Ты, парень, в конце концов, определились кто ты — «Болид» или «кабриолет»? — фыркнул на прощание в сторону бампера Антон.

Ни вечером этого дня, ни утром следующего Феррари так и не появился в гараже.

— Ох, как не хочется опять идти разбираться. Но нельзя каждый раз терять лицо. Надо воспитывать в себе уверенность, — повторял про себя Гало. — В конце концов, свои права надо научиться отстаивать.

Компаньоны расположились на том же месте, под платаном.

— Никуда он не пойдёт, — отрезала Русалка. Надоели. Ходят и ходят. А ты что молчишь? — Она упруго проехала чешуей по поясице десантника.

— Да, куда это вы его забираете, интересно? — рявкнул зычным голосом сержант. — Он нам должен ваш красный самокат. Белоручка. Он же толком ничего не умеет, даже пуговицы на себе застегнуть не в состоянии. Пусть сперва отработает. Мы в него вкладывали — кормили, поили. Всё за наш счёт. Маслами разными обрабатывали, средствами против обморожения.

Механик ухватился огромными ручищами за задние колеса.

— Толковые, как же! — заквохтала высоким голосом медовая блондинка, ёрзая и царапая стальным бедром нежную панель. — Да он не сдвинется с места! Он объявляет голодовку! Выбрасывает красный шарф. Долой монархию! Да здравствует горячая вода! Бесплатная электроэнергия в каждую ванну!.. А ты что крыльями трещишь? Не стрекоза, чай.

Быстро съехав по капоту, как по катку, Русалка неожиданно влепила Луи пощечину.

Растопырив крылья, Лебедь в свою очередь упруго двинул сирену в бок.

— Э! Э! Потихе, громадяне. Получается конюшня, типа того. — Антон громко заржал и застучал копытом о мостовую.

Феррари прикрыл глаза платком.

Хлеща всех подряд по ногам опасной чешуёй, речная нимфа повисла на лебедином крыле, как на сохнувшей простыне.

— Крупная, какая ж ты — рыба. На муку бы тебя, да соболей кормить... баргуззинских...

Луи не по-доброму завернул шею восьмёркой. Увёртываясь от укусов, камердинер пытался сам ущипнуть девицу за бедро.

— Рота, подъём! — взревел контрактник и, подхватив разводной ключ, с разбегу врезался в ряды бьющихся тел.

Хрипы, лошадиное ржание, истощный женский визг, рыдание мотора, даже неизвестно откуда взявшийся Вивальди с темой грозы — всё смешалось в хаосе борьбы за свободу и электрический свет.

— Ви-ва-ат! — Воздух рассёк воинственный клич. Прапор спешил на выручку.

— Порядок. Люди, соблюдайте порядок. — Павлин быстро заработал хвостом-веером, пока у всех одновременно не зарябило в глазах.

Куча-мала распалась. Луи отплёвывался рыбьей чешуёй. Король осторожно подвёл руки под хвост и, изловчившись, снял девушку с капота. На руках у короля она внезапно замолчала и заморгала ему в переносицу круглыми глазами цвета морского прилива. Неожиданно у короля отчаянно забилось сердце. Осторожно чтобы не уронить, он

перенёс Русалку в ванну, спрятанную тут же в кустах. На гладкой поверхности осталась круглая вмятина, заполненная водой, в которой поблёскивали радужные чешуйки.

Феррари, которого все дружно поздравляли с освобождением, совсем не был так этому рад. В тускло освещённой глубине гаража, с опущенной головой и зарёванным лицом, он отворачивался от каждого, кто приходил его навестить. Король самолично протёр его фары от влаги и дал ему на ночь успокоительного.

— Не буди его рано, — попросил он Коня, тихонько прикрыв за собой дверь. — Спокойной ночи.

В гараже воцарился стойкий запах воблы.

— Как же, уснёшь здесь, провоняли всё селёдкой. — Антон раздражённо отмахнул хвостом и с ожесточением вцепился зубами в круглое яблоко.

ГЛАВА XVII. НА БОРТУ АВОКАДО

В то время как на чужой стороне Его Величество был занят поисками, и совершенно законно, своего лица, в его собственной стране назревал социальный кризис. Королевство взяло курс на демократию. Мода на это направление в политике держалась уже два сезона. Королю особенно обидно было то, что изменений желала не отдельная группа несознательных граждан. Сходили с ума всем хором.

Под пьяные улюлюканья забубённого, известного опустившегося люмпена ветра, только и умевшего что бродяжничать, в прошлом умница, а теперь дурочка, иначе её и не назовешь, дурочка-роцца начала оголяться у всех на виду.

Паломник, сплававший по реке всегда по правому борту, неожиданно переметнулся налево и загрёб против течения.

Дисциплинированный Антон без объяснительных записок начал пропускать уроки в манеже. Ещё через неделю, выбросив подковы на свалку, он примкнул к бродячему цирку шапито. Теперь по праздникам, дав заковать себя в наручники не без подражания великому Гудину, синий гастролёр на горящем плоту прыгал в большой королевский водопад.

Погрузившись в заботы о государстве, Король оттягивал поиски чёрного рыцаря. Размышления о нестабильности и сомнениях привели к тому, что он, наконец, решил переговорить с Учителем. Удалившись в рощу, в дубе, однако, профессора не обнаружил. Повернувшись демонстративно спиной, не без помощи корней, дуб стал агрессивно метать в сторону короля комья с землёй. «И тот туда же, «демос» — дубос», — откровенно рассердился на него монарх.

Проходили дни. Всё шло по-старому и не очень складно. Его Величество никак не мог решиться на последнюю прогулку для встречи с существом, владевшим частью его лица. Неоткуда было ждать подсказки. Опустив на время поводья правления, король заподучил много свободного времени. Всё свободное время Его Величество рисовал.

В одну из суббот, вернувшись с провизией с рынка, камердинер сообщил, что в овощных рядах случайно столкнулся с мажордомом профессора. Тревожность ассистента, казалось, достигла пика. Из-за политических волнений он начал срочно распродавать антиквариат. Чарут нервничал, не зная, в какой валюте выгоднее держать сбережения, которые пока ещё хранились в его зелёном чулке. На международном рынке за первенство сражалась валюта двух соседних государств: «белые раковины» обширной морской державы слева и «голубые пионы» скромной сухопутной страны справа.

Озираясь и заикаясь, напуганный Чарут поведал, что местом своего нового обитания Габинчи избрал авокадо, заменившего ему подводную лодку. Всё лето профессор пролежал на морском грунте в ожидании момента, когда подводный смерч протащит его волоком через лабиринт и выбросит в бурлящий «триангл» на борт родной «Сити Белл».

Действительно, в своё время, не без сопротивления вынув твёрдую косточку из мякоти авокадо, Габинчи занял её место. Прикрывшись верхней долькой, профессор большую часть времени лежал на дне залива, поднимаясь на поверхность в редких случаях. Медитация в самом сердце женственной энергии «инь» считалась особенно ценной. Заскорузлый Дуб, которому предпочли нежную плоть авокадо, злился и ревновал.

Как-то на закате, когда Гало на берегу моря не без помощи охристо-карминной и жёлтого сурика пытался запереть на холсте пейзаж, внезапно забурчила вода, обозначила перископ, а ещё через пару минут Габинчи лично объявился на верхнем мостике.

— Что вы делаете, профессор, один, среди волн? — не отрывая взгляда от перистых облаков, подёрнутых розоватой дымкой, поинтересовался юноша.

— Дышу, мой дорогой. Вдыхаю «любовь», выдыхаю «неуверенность». Стараюсь не отставать.

— Вы считаете это нормальным?

— Ничего аномального. Миром правит ритм: прилив — отлив, труд — отдых, напряжение — расслабление. Тот, кто вдохнёт, но откажется выдыхать, лопнет. Поэтому искусный пловец лавирует среди волн жизни, а отчаявшегося или слишком самоуверенного накрывает с головой.

Зелёный плод тем временем продолжал медленно очерчивать круги по часовой стрелке.

— Я вижу тебя уставшим и подавленным. Это значит, что для тебя настал час отлива. Не сопротивляйся, передохни, а потом попробуй ещё раз, и у тебя непременно получится.

На холст легло пятнышко света.

— Спасибо. Я всегда слышу от вас то, что мне необходимо знать. Но всё-таки, профессор, лично вам, зачем нырять в прошлое? Вы же сами учили нас, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды.

— Да. Учил вместе с Гераклитом, но, знаешь, если отмотать картинку немного назад, то за несколько минут до катастрофы я смотрел в глаза самой рыжей и самой очаровательной из всех пассажи-

рок. Если я вернусь, надеюсь, в моём распоряжении ещё будет пара минут, чтобы разрешить поцелуем тот диссонанс. Аномальное сердцебиение не прекращается в моей груди с тех самых волн.

Ясные восходы сменялись лучистыми закатами. Глубоко уйдя в своё пальто, Король Гало вошёл в парк Монсо. Заметно похолодало. Задолго до прихода короля, тетушка Осень уже промчалась по аллеям парка на своём велосипеде, распугав последних посетителей. На затерянных дорожках зююка-ветер очумело закручивал воронки из пыли и ссора. Высоко на дереве, среди голых сучьев, заброшенной вязаной шапкой, одиноко торчало воронье гнездо. В стеклянной неподвижности, как на китайских вышивках, замерли на ледяных ветках озябшие птицы. Король огляделся. Заброшенность и одиночество.

Один только ваюблённый фонарь, лихо подбоченившись, продолжал заливать что-то весёлое нескладной лиственнице. Эта парочка ни на кого не обращала внимание.

«Как это много — двое», — философски рассудил Король. — «Двое идут внутрь себя и могут согреться. Ненастью снаружи придется долго стучаться, прежде чем попасть в их тёплую комнатку. Оно — не в силах их обескуражить, разве что чуть обдать холодком».

Мысль о своей затерянности в мире, об Ильзе, завибрировала внутри его тонкой иглой. Напрасно, вглядываясь в глубину парка, пытался он разглядеть на дорожках сине-зелёное оперенье гвардейца, возвещавшее прогулку дочери Императора. Только редкие ключья тумана клубились у оснований тоскующих деревьев, затеяв с ними странную, никому ненужную игру. «Грустно», — подумал на прощанье Гало. Вернувшись, он оставил карандашный набросок осеннего парка на бумаге. В рисунке чувствовалось настроение.

ГЛАВА XVIII. ФОБИИ

Выложив значительную сумму за электричество, включая крупный штраф по задержке (мы знаем, что король Гало был королём, который платил) Его Величество, верхом на коне, выехал за заставу. В каком направлении искать таинственного Магистра, никто не знал. Гало вспомнил главный завет боцмана. Габинчи советовал сконцентрироваться на образе Всадника. «В ответ на твою мысль, он сам к тебе притянется, как на крючок. Думай о нём постоянно. Запомни, каждая мысль — это вибрация, посылаемая тобой в мир. Человек, о котором ты думаешь, получает её — осознаёт он это или нет. Будь то мысль о любви или о ненависти, она достигнет того, кому предназначена».

Думать о чём-то одном, как оказалось, было самым трудным. Думать о чёрном плаще, под которым ничего нет. Покачиваясь на спине коня, Король механически повторял про себя заветы мастера, которые заучил ещё на семинарах. — «Не думай — ни о внутреннем своём несовершенстве, ни о внешней недоступности желаемого. Раз цель поставлена, значит, она уже достигнута. Цыплёнок в яйце, пробивая скорлупу, выбирается наружу». — Король даже рассмеялся.

Выходило, что ни для чего не требовалось ума. Ему стало весело. У короля была свойство — простодушная доверчивость. Он умел верить по-детски.

— Ну, и куда теперь? — Скептически скрипел на очередном повороте велосипедным колесом конь.

От злости «пшеничный хвост» скакал сложным аллюром, бурча, что, если бы он знал маршрут, то мог бы остановиться на полпути, а так, «типа того», получайте свой поход со всеми неудобствами. Его девизом стало — «Пусть будет еще хуже».

Трудно ехать долго в «никуда». Ты можешь двигаться направо, налево, в конце концов, повернуть назад, но ты не чувствуешь: приближаешься ты к цели или удаляешься. Пару раз у короля мелькала недостойная мысль о том, чтобы прекратить предпринятое, остановиться на достигнутом. Ну, будет он прозрачным, бледным. Существуют же маски для улащивания цвета лица, лёгкий грим, в конце концов. Только мучительное воспоминание о прелестной дочери Императора не давало ему окончательно развернуться в сторону дворца. Секундной стрелкой бежали дни, минутной — недели. У Короля Гало отросли черные усы, он возмужал.

По ночам в верхушках деревьев громко и настойчиво звала кого-то большая белая сова. Доставлять почту в холодные ночи становилось всё труднее. Последняя новость по-настоящему печалила короля. Акционерное общество «Любовь и Моторные масла» в поисках лучшей жизни покинуло родину. После разразившегося в королевстве энергетического кризиса, узнав, что в южном княжестве налоги ниже, акционеры перебрались к соседям. Там, на юге, собирая лимоны, лучшей жизнью уже жил старый однополчанин десантника. Ротный прислал Фиаиппу вызов и подъёмные на дорогу. Интересно, что с ними в лодке заодно уплыл и Феррари. Последнее письмо, которое он отправил королю Гало на старо-французском диалекте, заканчивалось обещанием скоро вернуться, так как вряд ли он — баронет, единственный наследник, сможет долго продержаться среди людей таких не «*comme-il-faut*» столь обыкновенных.

— Подумать только, он добровольно сменил свое аристократическое уединение на толпу, — ушипнул его мысленно Лебедь.

— На общение, — поправил камердинера простоватый Конь, начавший многое понимать.

По вечерам в воздухе стали появляться птицы-боа. Их движение: сжатие, распрямление. Когда в низком полете они бесшумно касались гривы коня, тот испуганно вздрагивал и поводил ушами. В их шёлковых змеиных касаниях таилось что-то тревожное.

Над головой начали проплывать «тюки с хлопком», так моряки окрестили облака, предвещающие дождь. И всё-таки дождь обрушился внезапно. Потоки воды встали водяной стеной от неба до земли. Сражаясь с могучими порывами ветра, путники кое-как натянули палатку. Водонепроницаемая ткань не спасала. В полночь разразилась самая жуткая гроза. Яростные молнии черкали белым по лицу ночи. В отличие от привычных, выстреливающих из-за туч стрел электрических разрядов, эти, отдающие потусторонним зелё-

ным ответом, грозные стволы, вырастали из земли, распускаясь пышной кроной на страшной высоте. Цветение грозового букета сопровождалось оглушительными разрядами грома. Под прогнущимся от потоков воды полотняным потолком путники тряслись от холода и страха.

— Вот это грохот! — С хвоста коня стекал настоящий ручей.

— Для чего всё это? И зачем так пугать? Луи, включись. Что там у древних, насчёт грозы?

Большую водяную птицу не пришлось долго уговаривать.

— Всё на общую пользу и гром тоже. Сами имена громовержцев Юпитер, Перун имитируют раскаты грома. По преданию божество грома теряло жизнь, входя в землю. Этим актом самопожертвования оно давало жизнь земным тварям. Отсюда «abreg ad barba» — разбить гром насмерть.

С клюва лебеда одна за другой стекали капли, как из испорченного крана.

— Давайте озвучим главное. — Луи был настроен самым решительным образом.

— Что именно? — уточнил король.

— То, что нас волнует — наши страхи.

— Страх — это что-то липкое, — передёрнув ушами, отозвался Конь.

— И это всё? — Луи пустил веером с крыльев водяную пыль.

— Ну да.

— Немного.

— Страх — самая гиблая человеческая эмоция, — торжественно возвестил устойчивый к влаге камердинер.

— Чрезмерно разросшиеся страхи, которые ты постоянно питаешь своими мыслями и эмоциями, зовутся фобиями, от греческого «phobos» — «навязчивые страхи». Известно ли вам, сколько одних только разновидностей их существует? Страх открытого пространства, страх закрытого пространства, страх толпы, болезней, высоты, глубины. В некрепкой голове они могут поселиться навсегда и тогда, считай, пропал человек.

— И что же в этом случае делать? — Обхватив себя рукавами пальто, Его Величество представлял собой жалкую фигуру.

— Единственно верный способ справиться со страхом — непосредственное действие.

— Какое? — В один голос переспросили Антон и Гало

— Выйти ему навстречу.

— Получается, вылезти из палатки, типа того, — уточнил мокрый жеребец.

— Именно, так

— Здорово! Абракадабра! Под гром и молнию?!

— Возможно, это и безрассудно, но это единственный способ покончить с фобией.

— Ценою жизни?

— А вот и нет. Правильное решение, гарантирующее безопасность, всегда противоположно решению, принятому из страха.

— Что-то в этом определённо есть, — промолвил Король и отлучился из палатки на неопределённое время.

— Куда это он? — Полюбопытствовал конь.

— В гольф играть, — камердинер только покачал головой.

На рассвете, выбравшись из палатки, друзья увидели, что совсем близко от них, в зарослях кустарника запуталась птица-боа. Лебедь первым осторожно начал освобождать тонкие нитевидные перья птицы от застрявших в них колючек. Луи провозился с бедняжкой полдня. Наконец он вынес её на своих крыльях в сухое, безопасное место. В благодарность боа поведала о том, что неподалеку есть поляна, которую раз в сто лет, в полнолуние навещает как раз тот, кто им нужен — Призрак, он же — Магистр, он же — Гранмаль. В ближайшее полнолуние ожидалось появление могущественного Магистра на земле.

ГЛАВА XIX. ЗАБУДЬ О ЦЕЛИ...

На встречу с Гранмалем Король и его свита прибыли сразу после захода солнца. В небе вытянутыми спиралями восьмёрки ходили птицы-боа.

— Восьмёрка — знак бесконечности, — удовлетворенно отметил

Лебедь, благосклонно следя за полётом птиц, с большинством из которых, успел подружиться. Не делиться своими знаниями с окружающими, было выше его сил.

Сколько точно прошло времени, никто не знал. Неожиданно птицы пропали. Всё случилось слишком быстро. Тяжёлый конь упрямого Всадника заржал на своём языке грубое «посторонись», после чего Антон отпрянул в сторону вместе с Королём. До рассвета ничего примечательного больше не происходило. О том, как бесславно прошло первое свидание, решили не сообщать учителю. Из-за внезапности не успели проработать ни тактику наступления, ни обороны.

На вторую полночь, когда страх открытого пространства заду- мал оседать Короля, Его Величество глубоко вздохнул и мысленно пересел на Белого коня.

Антон первым почуял призрака и попятился.

— Что тебе нужно? — Выдохнул поток воздуха.

— Видите ли, я без лица, — начал робко Гало. — Это — anomalно. Ну, не то, что совсем, но мне... нужны краски.

— Краски ему нужны. А ты не видишь, что я сам без лица? — Магистр поднял своего огромного коня на дыбы прямо над шляпою короля и пропал в многочисленных проулках Млечного пути.

На следующее утро, как и было условлено, Его Величество попросил соединить его с Нетрадиционным Центром. В трубке потрескивало, последовательно раздавался то ли шум волн, то ли шорох летучих мышей, толком он не разобрал. Наконец, Габинчи взяла трубку.

— Слушаю тебя, мой мальчик.

— Он говорит, что у него самого нет лица.

— Нормально. Ну конечно, зачем ему тратить энергию на форму. Он по местным скверам не шляется. Ему нужна чистая энергия для межгалактических прогулок. Да. Все гуляют. Ладно, пойду-ка и я прогуляюсь перед ужином, а потом сброшу тебе по льготному тарифу свои соображения.

Вечерняя почта содержала три постулата.

Перед свиданием:

1. Убери чисто в доме.

2. Забудь о цели.

3. Не опаздывай.

— Профессор, типа того. — Конь недовольно почесал в затылке.

— Видно по почерку. Чистая диссертация: подмети и все забудь. Хитро...

Вечером выпал первый снег. Ожидаемый гость на встречу не явился, хотя король и не думал опаздывать. На открытой поляне, на ветру, сильно промёрзши, пришлось опять поворачивать домой. Его Величество простудился.

Зима в этом году быстро расставила всех по местам, расстелив ковры не только в городском парке, но и по всему королевству. За одну ночь кролик Лиль стал белым. Зимний дед вошел в северные ворота столицы, опираясь на сучковатый посох, с тяжёлыми мешками снежной отборной муки за спиной.

— Гляди, булками всех закидает. Теперь это надолго, — оторвавшись от вязания, Лебедь глянул на улицу через заледеневшее стекло.

Главный булочник, не мешкая, принялся за работу, в охотку выпекая пирожки и булочки, щедро одаривая рошу пышками, стараясь насадить очередной калач на верхушку ели. На её нижних, широких лапах уже лежали тяжёлые пироги, нависая козырьками над мышинными норками. На бывшей клумбе красовался высокий торт из взбитых сливок, украшенный глазурью, с личной подписью мастера. На самой его макушке, в голубых лучах звезды, маленькие снежинки затеяли настоящий бал.

Холодный воздух проникал повсюду. От сквозняков решили перебраться в покои с камином. Король не снимал горностаевой мантии.

— Эй, Читалово, расскажи что-нибудь интересное, — просил Антон, который сам в книги не заглядывал, но с удовольствием слушал речи своего начитанного приятеля.

— Да, вот рассказываю — «В лесу родилась елочка, в лесу она росла»... И интересно, что все нашли возле неё приют. Но это не случайность, а закономерность. Согласно смене времён года, в природе всё меняется. Зимой у животных другой рацион питания, новое платье, иной распорядок дня, и всё — ради экономии природных ресурсов. Мелкие млекопитающие, сбиваясь в кучу, вообще предпочитают жить вместе. Зимовье зверей. Слышали о таком?

— Вроде нас. — Конь сушил гриву у открытого огня.

— Точно, но вот кто меня действительно восхищает, — помешивая травяной настой от кашля, продолжал Лу, — так это «Canus Lupus».

— «И серый волк, голодный волк, порою пробегал»...

— Да, чего только о них не насочиняли в своё время. Сколько легенд, сколько вымыслов. И кровожадный, и хищник, вплоть до оборотней. Хищник есть хищник. Но, к общему сведению, в браке волк, между прочим, вернее нас, лебедей, а мы известные однолюбы. Если волчица погибает, самец не станет искать новую подругу или отбивать у соседа. Прибьётся к другой паре и на правах дядюшки будет воспитывает молодое потомство. А уж хитрости да ума им не занимать.

Именно у волка человек учился правилам охоты. Мне знакомый лёгчик сибиряк рассказывал, как не просто стало охотиться на стаю с вертолётов: «Чуть слышат шум винтов вертолёта, бегут к дереву и становятся на задние лапы, прижимаясь к стволу».

Ёлочка, выходит, опять выручает. «Весной на южных склонах прикидываются кочкой, с воздуха не разберёшь. В другой раз серый в ручей забрался, растянулся на дне, только нос и уши торчат. Ждал, когда мы улетим».

Верно другой мой приятель бард пел:

Из-за елей хлопочут двустволки —
Там охотники прячутся в тень.
На снегу кувыркаются волки,
Превратившись в живую мишень.

Рвусь из сил, из всех сухожилий.
Но сегодня — не так, как вчера!
Обложили меня, обложили,
Но остались ни с чем егеря!

Весь следующий месяц в паре выступали буран с метелью. Буран широко разводил меха своей гармоники, а метель, дробно отбивая каблучками ритм, кружилась вокруг него, поднимая столбики белой муки до самой колокольни.

У Луи всегда всё спорилось. Чуждый безделью, он грамотно вёл хозяйство, находя время для чтения, вязания, перекидываясь эсэмэсками с вновь обрётённым сыном — чемпионом в одиночном фигурном катании. Иногда, с очередного турне, звонила Леда. В такие дни Лебедь угощал всех кексом и крышоном собственного приготовления.

Король никогда не изменял своему правилу — совершать прогулки на закате солнца. В одиночестве он петлял по дворцу, к ужину выбираясь на кухню, редко с кем перекидываясь парой слов. Никто не знал, какие мысли он тренировал под шляпой, но, очевидно, не самые веселые.

— Чем я становлюсь старше, — скрипел по привычке камердьер в спину хозяина, — тем чаще поворачиваюсь спиной к стрессу, хандре и прочим глупостям.

«От безделья ты, мой Катулл, страдаешь.
От безделья ты бесишься так сильно.
От безделья царств и царей счастливых
Много погибло». —

Цитировал он неистового «веронца», назидательно стуча клювом под лопатку короля.

Днём Антона под крышу было не загнать. Большую часть времени он проводил на хоккейном поле. Дворовая команда доверила ему майку голкипера. Оправдывая доверие, мускулистый вратарь лихо отбивал чёлкой и хвостом самые опасные удары по воротам.

Как-то с улицы, разгоряченный и румяный, он принёс совсем оконечившего мышонка. Согрел дыханием, напоил горячим какао, накормил миндальным печеньем.

— Это — соседский малыш. Отправился в кедах топтать сугробы, вдобавок, без шарфа, вот и простудился. Думаю, оставить его. Обучу, возьму в напарники. Придёт весна. Будем вдвоём жонглировать.

— Гуманист! — одобрил действия товарища лебедь.

Король водил по бумаге пером, пытаясь одной линией изобразить то ли ветку, то ли зигзаг молнии.

— Так и до супрематизма недалеко, — крикнул Лу.

— А что, японская техника, — заглянув через плечо, добродушно отметил Антон, спровадив мышонка греться в густой гриве.

Перед Рождеством делали игрушки. Коню давали жевать бумагу с клеем. Из полученного папье-маше выходили забавные петушки, дивные лошадки. Одну лошадку отложили в сторону. Лебедю, дружившему с точными науками, поручили распутать и развесить на ёлке электрические гирлянды, а также продумать: уместно ли будет повесить «кота в сапогах» напротив «кролика».

Тем же вечером, уже на другом конце королевства, за деревянным столом, освобождённым от булок, присели павлин и дочь Императора. Ильзе расписывала маленькими фиалками большой стеклянный шар. Высунув от усердия кончик языка, Прапор взялся подготовить армию солдатиков — гвардейцев для авангарда и арьергарда, как и положено. Предстоящая «баталия дженерале» обещала быть не шуточной.

— С таким молодцом, — крутанул он перед глазами фигурку юного барабанщика с яркой перевязью и тугим жёлтым барабаном, — победа непременно будет за нами. Ви-ват!

Обменяв у камердинера на авторучку его самое маленькое пёрышко, король примостился на подоконнике мастерить свою поделку. Когда на небе зажглась первая вечерняя звезда, он закончил делать ангела. Король сразу понял, что игрушка ему удалась. Он нуждался в ком-то особенном, верном.

Конечно, Антон и Луи — самые настоящие друзья, никто не спорит, но у каждого — свой характер. С ангелом — по-другому. Ангела можно отвести в сторону и, доверив ему самое сокровенное, быть уверенным в том, что тот не разболтает. Ангел — терпелив.

Всё выслушает до конца. Не станет критиковать, не станет бесцеремонно стучать крылом в дверь твоей души. Мир и тишина — вот что он обретёт рядом с таким другом.

Фиолетовый шлейф Ночи мелькнул на платформе.

Укрывшись этим шлейфом, Ангел и Гало, довольные друг другом, долго вглядывались в лицо Ночи и ждали хорошего.

На Рождество король получил в подарок белую лошадку. На следующее утро пришло известие от птицы-боа, что загадочный Магистр перед очередной командировкой будет заправляться на заветной поляне за чертой города.

— Срочно звони Габинчи, — толкал Лебедь под руки короля. — Проси, чтобы сказал что-нибудь дельное.

— Да ну его! Писать заставит. Бумагу только переводить, — неожиданно заартачился Антон. — А ежели этот кавалерист не явится, как в прошлый раз. И потом, может мы сами, в конце концов, забьём гол в ворота, наконец. Типа того!..

— Молчи, спутанная грива, в сердцах заклокотал Лебедь, захлабываясь от эмоций.

— Если бы Александр Великий, прошедший и завоевавший полмира, воспитывался не у Аристотеля, а в волчьей стае, которую я лично весьма уважаю, то добрался бы только до соседнего вяза.

— А если бы у него вообще не было, у кого учиться? — заметил король.

— Хороший вопрос, вполне вероятно, без направляющей силы остался бы киснуть дома. Учитель раздвигает горизонты. Счастлив тот, кто встретит на своем пути Учителя. Слава учителям!

Лебедь так разволновался, что потребовалась новая выкройка, чтобы хоть как-то отвячь его и успокоить.

Король попросил соединить его с бортом авокадо.

На вопрос о конкретной помощи профессор помолчал, а потом ответил.

— Знаешь, последнее, что я услышал на борту «Сити Белл», прежде чем исчезнуть во всех трёх измерениях одновременно, было «не дрейфь», и сдаётся мне, что это «не дрейфь» будет посильнее многих рецептов. Лягни пару раз воздух, и «не дрейфь». И, давай, возвращайся, не задерживайся. Я уже записал тебя на текущий семинар «С новым лицом».

— Какой воздух? — ошеломлённо переспросил жеребец.

— Практика индейцев племени «кахунако» — сбросить с себя отрицательную энергию, лягнув в воздух три раза поочередно правой и левой ногой, — заметил Луи, торжественно водрузив свою перепончатую лапу на львиную.

До места добирались сутки. Последняя ночь караула выдалась глухой и тревожной. Быстрые тёмные тучи, как грязные тряпки, вешались на лицо луны, но ей всё время удавалось их с себя сбросить. На белом фоне чёрные дубы строго грозили королю сучковатыми пальцами, как за не выученный урок. Замерзший камыш в лунном блеске щетинился строем серебряных ледяных шпаг.

Когда Гало увидел Гранмаля, как всегда неожиданно, ему представилось, что он встретился с самим собой — одиноким, без лица, без надежды. Ещё совсем недавно он сам был таким, только его скрывала от людей шляпа, а гостя из неизвестной галактики — капюшон. Жалость, даже любовь к этому, скорее всего одинокому существу, прогуливающемуся верхом на коне по бесконечному лабиринту Вселенной, охватила юношу. Спешившись, он пошёл ему навстречу, как бы предлагая поделиться тем, что у него есть. Менее всего думая о том, для чего он здесь, король улыбнулся бесстрастно-му верховому. Всадник прошёл сквозь него туманом насквозь. Гало как будто ощутил на своём лице то ли слезы, то ли капли росы. Не очень понимая, что происходит, он медленно обернулся. На его глазах Магистр внезапно превратился в паломника, паломник — в зайца, заяц — в птицу-боа, которая, скользя в угол пейзажа, растаяла в эфире пространства. Как и в предыдущие встречи, ни вокруг, ни с ним ничего особенного не произошло.

Свидание с Призраком решили отметить в ближайшей булочной, как проваленный экзамен. Радовались тому, что всё уже позади. Пробовали разные сорта чая, с аппетитом уминая калачи. Луи без умолку трещал на своем лебедином языке. На этот раз он почему-то решил просветить друзей насчёт образа жизни попугаев — волнистых, с чарующим переливающимся оперением, крепкими клювами и отменной памятью.

— Красновострый Жако из мангровых лесов Африки — король всех попугаев. Лучший подражатель. Кричит. Ругается на всех языках. Восторг, а не птица!

Спустя восемь часов, когда Утро, разбив скорлупу Ночи, выбралось из «лабриса», все увидели, что Король вернул своё лицо.

ГЛАВА XX. УТОЧКИ СВЕТА

Зима ушла из галонского королевства, не попрощавшись. После звонкой капли настал черед лучистых голубых дней.

Гало с утра рисовал, когда в дверь его студии энергично постучали.

— Ваше Величество, бумаги на подпись.

Слегка приседая на лапы, в кабинет вошёл первый министр.

— Ваше Величество — фейерверки. Вы не забыли — по случаю выноса на поляны зелёного шеста и подсчета маргариток. Весна! Весна, Ваше Величество!

Бывший камердинер счастливо щурился на яркий луч света, бивший в окно.

Ещё в начале зимы в королевстве единодушно проголосовали за то, чтобы абсолютную монархию ограничить парламентом. У Короля высвободилась вся первая половина дня.

— Да, как быстро всё изменилось, а я опять не заметил, — согласился Король.

— И что вы всё сидите дома с вашими картинками? Вам совсем не вредно было бы прогуляться.

Протягивая бумаги, министр случайно споткнулся о несколько картин, прислонённых к стене.

— Боже мой, сколько холстов, сколько подрамников?! Когда Вы только успеваете? И что это за живопись? Какие-то сплошные лабиринты. Вот эта дверь, буквально, на лице зелёной рощи, куда, спрашивается, она ведёт?.. Ваше Величество, стряхните с себя эти туманы. Отправляйтесь на свежий воздух, да просто поиграть с друзьями в гольф. Гольф — истинно королевская игра. Разве я Вам этого не говорил?

— Да, да я сам об этом подумываю...

Над морем таяла вечерняя полоска тумана.

«Туманы, — король улыбнулся про себя. — Пустое пространство». Он вспомнил, как Габинчи открыл ему, что он заразился искусством ещё на вилле Великого Художника, перед чистым холстом. Маэстро тогда добавил, что качество жизни, её стандарт, должен быть очень высоким, иначе жизнь становится грустной. Он получил новое качество жизни — творчество. С этим шестом король был согласен прыгать в любой водопад.

...Море и небо всегда были заняты только собою. Небо особенно любило смотреть на море. У самого берега с достоинством лежали серо-зелёные камни, выступавшие из воды. Полузатопленная лодка успела подружиться с лучшими из них. Между камнями заброшенной рыболовной сетью часто морщилось голое тельце моря. За грядой камней, выворачиваясь белым барашковым воротником наружу, лениво шлёпали беспечные волны. С горизонта широким треугольным конвейером в спешном порядке подавались уточки света. Здесь, на мелководье, на закате, всегда собиралось много розовых фламинго, пощёлкать стальными клювами мелких доверчивых рачков.

Королю стало грустно. У него было лицо. Но вокруг ничего не изменилось. Фламинго не обращали на него внимания, как и раньше. Кому он нужен, кому интересен?

Боже мой, сколько вопросов и все без ответа. А та прогулка в парке Монсо сразу после его триумфального возвращения. Почему тогда он не подошел к Ильзе. Он был в пальто, при перчатках и при лице, однако, скользкий страх снова сковал его. Как же он забыл выйти ему навстречу? Значит опять надо ждать или желать. Король путался в своих и чужих мыслях.

Да, он стал видимым. Но сколько любимых за это время ушли в Невидимое: Роза, Русалка, друг Феррари? Наверное, следует терпеливо ждать, и они вернуться, но кто поручится, что он сам за это время каким-нибудь образом не перейдет в Невидимое. Единственное что остаётся — верить, что те, кого он любит — постоянно рядом с ним. Гало стало легче. «Вот сейчас я выдохну печаль, и сразу вдохну радость, — решил он для себя. — И потом, я никогда не буду свободен от Любви, разве это не прекрасно».

Ему показалось, что уточки света особенно весело потянулись к нему с самого горизонта. В блеске их света ему чудилась улыбка розы, подмигивание зелёных русалочьих глаз и тихое перешёптывание золотых листьев, смешанное с рокотом вечерних невысоких волн.

Владимир ФРЕНКЕЛЬ

/ Иерусалим /



Между ночью и днем...

* * *

Хорошо, что жизнь проходит мимо,
И не остается ничего
Лишнего, и неостановимо
Города ночное торжество.

Что услышим нынче за рекою?
Что творится в городе опять?
В час, когда увидимся с тобою,
Нам ничто не сможет помешать.

Фонари неярко освещают
Реку, как ее ни назови.
Все равно никто ее не знает,
Ничего не знает о любви.

Встретимся когда-нибудь на этой
Площади бессонной, у моста,
Над Невой, над Даугавой, над Летой,
Всюду, где укроет темнота.

ОТРЫВОК

Эти слова только ветер может услышать
На морском берегу, под темными облаками,
О закатном солнце даже не вспоминая,
Когда от ветра вдруг не хватает дыхания,
Эти слова никак не выстроят фразы.
Нет надежды на то, что кто-то их зарифмует —
Обрывки ночи, безумие желтых листьев...

Нет надежды на то, что когда-то было
 И прошло, и уже никогда не будет,
 Нет надежды на осень, вот и она проходит,
 Ветер уносит слова, и листья, и восклицанья:
 Я и не знал... да и я не знала... а мы когда-то...
 Ничего, ничего не надо хранить, пусть ветер
 Все унесет, да и нас уже здесь не будет.

* * *

Надо же, как упряма трава городских окраин,
 Всюду — на тротуарах, и дальше, на мостовой.
 Выйди за дверь, увидишь — печь затопил хозяин,
 И дым невесомой стружкой возносится над трубой.

Не это ли дым отечества, не этим ли надо средством
 Лечиться от ностальгии, но я-то с ней не знаком.
 Отчеством здесь не пахнет, а только травой и детством,
 Да вот еще — горьковатым и тянущимся дымком.

Тут застоялось время, а нам его не хватает,
 Но взять взаймы невозможно, чего уже больше нет.
 И в дом не войти обратно, и дым незаметно тает,
 И сладок не дым окраин, а их уходящий свет.

У ВРАТ МОЛЧАНЬЯ

Я давно потерял интерес к словам,
 К разномастной речи земного круга.
 Ничего не поделаешь, если нам
 Никогда, никогда не понять друг друга.

Что же делать, спросишь, ведь я привык,
 Не могу расстаться с хмельной отравой —
 Это русский путаный наш язык,
 Многоликий, лживый, живой, лукавый.

Вся-то жизнь ушла на игру в слова,
 На игру в созвучия и названия...
 Хорошо, что выжжена трын-трава
 Где-то там в пустыне, у врат молчанья.

* * *

В полусне, с закрытыми глазами,
 Слушать тишину,
 Позабыв о музыке над нами,
 Отойти ко сну.

Что ж, не вспоминай ее, не надо —
Явится сама,
Точно шум невидимого сада,
Шелест, полутьма.

Все начнется — музыка и ветер,
Как заведено.
Но не говори — еще не вечер,
Может быть, давно

Длится ночь, да мы не замечаем
Мрака за окном,
Музыку не помня, вспоминаем
Вовсе о другом...

* * *

Полоса уходящего света за кромкой леса,
Островерхий абрис уже ушедшего дня,
Над которым вот-вот сейчас упадет завеса
Темноты, где не будет ни одного огня.

Между ночью и днем, час волка и час собаки,
Где услышишь вдруг какой-то далекий вскрик,
Да и он, глядишь, уже утонул во мраке,
Что укроет все, и нет никаких улик.

Между днем и ночью, на острие, на грани,
Меж востоком и западом, вечно их войной,
Не боец, никто, соглядатай на поле брани,
Промелькнув как тень, я пришел наконец домой.

Вот и тьма с востока идет, торопясь за светом,
Это мрак, и туман, и холод ночных времен...
Продолжать не стоит, ведь сказано все об этом,
Вот и свет погас... Конечно, я видел сон.

* * *

Это свет, идущий ниоткуда,
Поздний час, нездешний холодок,
Отблеск исчезающего чуда —
Заново усвоенный урок.

Тает на вечернем небосклоне
Слово, пребывавшее со мной.
Это свет, как будто на иконе,
Неизменный, ровный, неземной.

ЭЛЕГИЯ

Идти аллеей опустевшей,
Переходящей в полумрак.
Свистеть мотивчик надоевший,
Что не отвяжется никак.

Шуршать опавшею листвою,
Как будто нет других забот.
Все той же давней маятою
Отметить осени приход.

По вечерам не удивляться
Почти беззвучной тишине,
И никогда не оставаться
С прошедшим днем наедине.

Пройдут по этой же аллее
Когда-нибудь, на склоне дня,
Другие... Нет, я не умею
Представить время без меня.

* * *

Блаженные времена.
Вечерняя благодать.
А где-то идет война,
А мы не хотим и знать.

И нам не узнать стыда,
А это и есть любовь.
Блаженные навсегда,
Блаженные вновь и вновь,

Останемся мы вдвоем
Глядеть на закатный свет.
А что там будет потом –
Уже не увидим, нет.

ИЗ Р.-М. РИЛЬКЕ

Снова и снова, хотя мы давно наизусть изучили
эту местность нашей любви, где на кладбище старом
не различить имен людей, что давно исчезли из мира
в холод безмолвия, снова и снова сюда мы приходим
вдвоем, под кроны старых деревьев, снова и снова
пребываем среди цветов, прямо напротив неба.

* * *

Адресом ошибся. Ну и что ж?
Хуже, если веком и страной
Ошибешься, так и проживешь
До конца под маскою чужой.

Мимо нескончаемых домов
И оцепеневших площадей,
Под ночную музыку без слов
Льющихся безудержно дождей,

Проезжай скорее, проезжай
И рукой, прощаясь, помашь.
Там, за поворотом, будет рай,
Где еще пока что ни души.

* * *

Историю растащат на слова,
На версии, остроты, повторенья
Прошедшего, а дальше — трын-трава,
Трава непониманья и забвенья.

Какой туман! Но если не понять
Чужих времен, тогда всего вернее
В каком-нибудь Париже повторять —
Ахматова, Паллада, Саломея.

Геorgia Иванова строка,
Истории и времени примета,
Останется как веха на века
Господнего исчезнувшего лета.

ВСТРЕЧА

Как по городу нам с тобой
Белой ночью бродить одним?
Ты, конечно, стала другой,
Да и я уже стал другим.

Остается от этих мест,
От давно прошедших времен
На Дворцовой площади — крест,
Что над ангелом вознесен.

Под мостами темна вода,
Непонятно, кто враг, кто друг,

А за нами идет беда,
И меняется все вокруг.

Говорят, не найти примет,
Да у нас свидетель — Нева,
Мы за нею пойдем вослед,
Потому что память жива.

А еще с тобой сохраним
Неизменно, в любой стране,
Тот небесный Йерусалим,
Что увидели в вышине.

СВИДАНИЕ

Обитатели мостовых и скверов,
Прохожие, гуляющие без цели,
Компании шахматистов, пенсионеров, —
Хорошо, что вы еще уцелели.

Чокнутые поэты и прочие бедолаги,
Рыцари бормотания, рифмы и метра,
Как не позавидовать вашей отваге
Перед порывами ледяного ветра.

Облетающая листва бросается вам под ноги,
Вы одни лишь видите, что кончается осень.
Время летит навстречу, а что в итоге —
Возвращается все, и даже чего не просим.

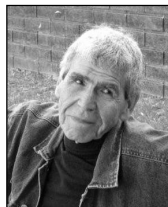
Без вас город был бы просто машиной,
Каруселью спешащих по делу клерков,
Кем-то там придуманной мешаниной
И непробиваемой каменной клеткой.

Благословен же столик в кафе, как плот среди моря,
Или скамейка в парке, где мы с тобою встречались...
Листья летят без спроса, и надо прощаться вскоре,
Время необратимо, но я бормочу, прощаясь:

Важно лишь то, что никому не приносит пользы,
Верю только тому, у чего даже нет названия,
Сбудется только то, что еще не бывало вовсе,
Никогда, никогда не кончится наше свиданье.

Владимир ПОРУДОМИНСКИЙ

/ Кёльн /



Короткая остановка на пути в Париж¹

Комедия масок

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Каждый квартал *Профессор* посылал некоторую сумму денег Олесе. То есть посылал теперь, конечно, не он — дети, но он всякий раз в определенный день очень заботился, чтобы деньги были посланы. *Профессор* знал Олесю давно: они вместе учились в университете: девушка с толстой светлой косой до пояса, гибкой фигурой и походкой танцовщицы с первого появления покорила всю мужскую половину факультета. Происходила она из какой-то потомственной интеллигентской семьи, героически сохранившей лучшие свои стати в разрушительных исторических водоворотах, получила прекрасное домашнее образование, говорили, будто она к своим восемнадцати годам знает восемь языков (восемь не восемь, но четыре, а, может быть, пять, кажется и в самом деле знала), училась она великолепно, на экзамене академик Добронравов, читавший у них курс всеобщей истории, сухой седецкий грибок в черной шелковой академической шапочке, вручая Олесе зачетку с отличной отметкой, поднялся с места и этаким мушкетером раскланялся изысканно: «При красоте такой еще и петь вы мастерица...»

Понятно, что претендентов на внимание было вокруг Олеси хоть отбавляй. *Профессор*, юный в ту пору, однако уже снискавший первые успехи у женщин, тоже полагал себя вправе питать надежду, но красавица ко всеобщему изумлению сделала своим избранником неприметного Колю Ивлева, худенького, белесого, молчаливого, не

¹ Окончание. Начало Крещатик № 46.

имевшего, казалось, никаких шансов, впрочем, вроде бы и не искавшего их. Он, похоже было, понимал, что ему не пробиться сквозь плотную стену громких эрудитов, говорунов и острословов, постоянно окружавших Олесю, — сам он говорил мало, к тому же слегка заикался, и, если все же говорил, в его светлых прозрачных глазах читалось печальное недоумение, какое бывает у человека, когда он говорит, но его не слышат, или слышат, но не понимают. Выбор Олеси поначалу повредил ей в общем мнении, но вскоре все привыкли, что при ней малоприметно и молчаливо присутствует Коля Ивлев, и всё пошло по-прежнему — и нескрываемое почитание и кружение поклонников.

В последний раз *Профессор* видел Олесю (уже мало набиралось тех, кто звал ее так, остальные звали скучно — Еленой Константиновной) за несколько лет до отъезда: сухонькая строгая старушка, голубоватая тень лишений на бледных щеках, вместо прежней сказочной косы — седой комочек на затылке. Она хлопотала о вспомоществовании и просила *Профессора* поддержать ее в какой-то инстанции. «Очень похоже, что прошу подавания, но, если подадут, не найду сил отказаться», — кажется, так она пошутила, не улыбнувшись. Было время перемен, инстанции разваливались одна за другой, денежные бумажки успевали потерять цену, пока их вынимали из кармана. *Профессор* соврал Олесе, что договорился в каком-то советкомитете-департаменте о небольшом пособии, но будет надежнее и удобнее, если деньги будет получать он сам и пересылать ей почтой, — она охотно согласилась (вряд ли, конечно, поверила — похоже, лишь сделала вид)...

2

Осенью сорок первого, когда немцы подошли к Москве, Коля Ивлев записался в ополчение, один из немногих записавшихся остался в живых и, не возвращаясь домой, провоевал два с половиной года в пехоте. Встречаясь с ним после войны, *Профессор*, тогда еще лишь мечтавший, что станет профессором, никак не мог себе представить, что этот Коля Ивлев, на вид всё тот же чахлый юноша с недоумевающим взглядом, неделями не вылезал из окопов, бежал в атаку, спал в снегу, стрелял в людей. Под Сталинградом Ивлева тяжело ранили, на фронт он больше не попал, после госпиталя окончил университет и был оставлен в аспирантуре. Отвоевав свое и доучившись положенное, будущий *Профессор* тоже оказался в аспирантуре; дела и занятия сводили его с Ивлевым. Поначалу его удивляло, что Олеся, броско талантливая и отменно образованная, в общих беседах и даже в отсутствии Ивлева, упоминая о нем, заметно подчеркивала его превосходство над собой. *Профессор* поначалу готов был в этом увидеть женскую хитрость или, может быть, странности любви, не поддающиеся логическому объяснению. Но со временем, когда Ивлев стал с ним разговорчивее и заведомо откровеннее, он стал угадывать в нем неожиданный, не присущий, кажется, никому из тех, с кем приходилось общаться, образ мыслей. В разгово-

рах Ивлева вспыхивали имена и названия, которые ему не приходилось прежде слышать, и иные, которые слышать, того более, произносить вслух было рискованно, иногда сокрушающе опасно. Ивлев же произносил их как нечто само собой разумеющееся и необходимое, не понижая голоса, с обычным недоумением в глазах. «Всё, что учили, надо учить з-заново: всё, что з-знаем, надо по-новому передумать», — повторял он.

3

Ивлева арестовали в библиотечной курилке. Он заработался допоздна; в читальном зале лишь на немногих столах горели лампы под зелеными стеклянными абажурами. В курилке и вовсе было пусто. Здесь его нашла давно ему знакомая библиотекарь Галя. Ивлев подивился смятению, может быть, испугу, отраженному на ее лице. Галя сказала, что его просят зайти в отдел выдачи: не могут разобраться с поданным им требованием на книгу. Он затянулся напоследок и бросил папиросу в вонючую, заполненную окурками урну. В небольшой выгородке заведующей отделом выдачи его ждали три человека, одетые в казавшиеся одинаковыми демисезонные пальто и одинаковые серые каракулевые шапки. Один из них достал из нагрудного кармана удостоверение и быстро показал ему. Он, конечно, не стал читать. Всё это — сам человек, и жест, которым он выдернул из кармана книжечку, и то, как он распахнул ее и быстро, не задерживая, провел ею перед лицом Ивлева, — всё это, хоть и увиденное впервые, было знакомо наизусть, как многие органические подробности жизни, при встрече с которыми человек не испытывает ощущения новизны, потому что они как бы изначально присутствуют в его опыте. «Только тихо! — предупредил главный, будто предполагал, что Ивлев начнет кричать караул, биться, крушить мебель. — Только тихо! Поедете с нами. Отдайте нашему сотруднику номерок на пальто, он получит в гардеробе...»

Катился к концу декабрь сорок девятого. Поперек улиц и по стенам домов тянулись гирлянды разноцветных лампочек. И пока везли Ивлева, на всем пути следования, со всех сторон смотрело на него с портретов одно и то же одно-единственное лицо. Страна праздновала семидесятилетие вождя.

Арест Ивлева, как тогда и водилось, шуму не наделал. Все привыкли к тому, что люди, живущие рядом время от времени исчезают и что интересовать судьбой исчезнувших людей, равно и причинами исчезновения не следует. Правда, по приказу свыше было проведено заседание кафедры, на котором без упоминания имени Ивлева, говорилось об идеологических ошибках в трудах *некоторых сотрудников*, но наш *Профессор*, хотя тогда как раз предполагал в не столь отдаленном будущем на самом деле стать профессором, так что рисковать было чем, повел себя молодцом и справедливо мог гордиться собой: ловко перевел разговор на недостатки имеющихся учебников и необходимость подготовки новых. Когда же спустя несколько дней пренеприятный доцент Манеев, в котором он предпо-

лагал доносчика, с глазу на глаз заговорил с ним об Ивлеве, Профессор не поддержал критических суждений собеседника, более того, попытался кое-что сказать в пользу Ивлева: вспомнил, что еще в студенческие годы находил в поведении и речах его некоторые странности, даже намекнул на возможное душевное заболевание.

Олеся была единственным человеком, который не смирился с тем, что произошло. До *Профессора* доходили слухи, что она шумит, хапочет, пишет просьбы и заявления и, наконец, выступила с речью о невиновности мужа на каком-то собрании, где присутствовал представитель высокого партийного органа. Это ей, конечно, даром не обошлось. Олесю перевели на ничтожную должность, что-то вроде секретаря-машинистки; все удивлялись, что она счастливо отделалась, — могли вовсе с работы выгнать, а то и посадить. Через несколько дней Олеся неожиданно позвонила *Профессору*, хотела встретиться, обсудить какие-то планы. *Профессор* испугался: ясно, что телефон прослушивают, если не его, то Олесин непременно, а у него защита на носу. Он сухо отказал ей — завтра уезжает в командировку; она поняла, конечно, и положила трубку. С годами *Профессор* всё чаще вспоминал этот разговор, и всякий раз стыд, как некогда испуг, перехватывал ему дыхание, и лоб покрывался испариной, но *тогда* труднее было заставить себя повидаться с Олесей, чем согласиться с тем, что когда-нибудь он не простит себе отказа повидаться с ней. Позже он слышал, что Олеся — по собственной воле или должна была — вовсе ушла из своего научного института и работает то ли истопницей, то ли продавщицей (он запамätовал).

Увидел он ее годы спустя на похоронах Коли Ивлева.

4

Ивлев вернулся, когда все возвращались. *Профессор*, который был к этому времени уже полноценным профессором, узнал стороной, что Ивлева взяли на работу в реферативный журнал. Они встретились случайно в гардеробе (оба получали пальто) той самой библиотеки, откуда шестью годами раньше Ивлев отправился в свое *несентиментальное путешествие*, как сам он позже в беседе определил. Ивлев, обозначая дистанцию (показалось *Профессору*), сдержанно кивнул ему, но *Профессор*, признаться, несколько любясь собой, тотчас крепко обнял Колю и расцеловал, и посетовал, что тот не позвонил ему до сих пор: «Я и сам хотел позвонить, да не знал, где тебя искать». Ивлев недоуменно пожал плечами: «Да всё там же. Номер телефона п-прежний». Он выглядел окрепшим и, хотя произнесенное вслух это прозвучало бы нелепо, возмужавшим. Его лицо, прежде приметно бледное, было тронато бронзоватым румянцем. («Свежий воздух», — подумал *Профессор*, страдавший от недостатка времени не только на то, чтобы выбраться куда-нибудь на долгий срок подышать по-настоящему, но и для ежедневных коротких прогулок.)

Они вместе вышли на улицу. Над улицей в снежной пыли желтели фонари. Дворники в белых фартуках большими деревянными лопатами с громким шорохом сгребали его в сугробы. Морозец слегка

жег лицо. Они шли неторопливо и перебрасывались в такт шагу неторопливыми, незначащими фразами, которые никак не хотели цепляться одна за другую, — разговор не складывался. *Профессор* вспомнил, как недавно вернувшийся издалека долголетний сиделец Лев Разгон, с которым ему случилось провести вечер в одной дружеской компании, сказал, отвечая на вопрошающие взгляды собеседников: о том, что было, хочется кричать на всех углах, но вспоминать пока еще нет сил. Он всё же спросил Ивлева, не собирается ли тот защищать диссертацию, наверстать упущенное. «А я ничего не упустил, — Коля удивленно взглянул на него. — Только приобрел».

Над Арбатской площадью кружил снег. Он окутал пушистым белым воротом темные плечи стоявшего на пьедестале памятника.

«Никак не привыкну к нынешнему Гоголю, — сказал Ивлев. — Вместо гениального андреевского — такая п-пошлость».

«Разве он уже без тебя поднялся из кресла?»

«Без меня. В лагере попался запоздавший номер «Правды» с фотографией. И надпись на пьедестале — тоже п-пошлее не придумаешь: *от советского правительства*. Гоголю — от правительства. Вот бы и Пушкину написали: *и долго буду тем любезен я п-правительству...*»

Профессор засмеялся и огляделся.

«Прежнего-то куда сослали? — спросил Ивлев. — Или — в расход?»

«Кажется, упрятали в Донской монастырь».

«Это хорошо. Николай Васильевич рад бы в затвор от п-пошлости нашей».

Ивлев порылся в кармане пальто, вытащил папиросу. Когда он прикуривал от спички, сложив ладони кровелькой, *Профессор* заметил, что у него сильно дрожат руки.

Поодаль, чуть в стороне от станции метро, тепло светился прямоугольным оконцем винный ларек. «Давай, что ли, за встречу?», — вдруг кивнул в сторону ларька Ивлев. Он посмотрел на *Профессора*, будто сам недоумевая, что такое было произнесено, и прибавил: «Я угощаю».

Профессор вообще пил мало, разве что в хорошей компании, а вот эдак, на ходу, в разлив, и вовсе не пил с юношеских незапамятных молодецких лет. Отказывать Ивлеву он чувствовал себя не вправе — попробовал повернуть по-своему: «Давай лучше поймаем такси и махнем ко мне? У меня непременно что-нибудь славное найдется — коньячок марочный, закуска». Но Ивлев, нетерпеливо прибавляя шаг, уже направился к ларьку. *Профессор* едва за ним поспевал.

Почти всё пространство ларька занимала большая краснотелая продавщица в сером шерстяном платке и тесно натянутом поверх толстого стеганого бушлата нечистом белом халате. На прилавке, для обогрева, пламенела раскаленной спиралью электроплитка. Отколупнув толстым ногтем обмазанную сургучом картонную пробку, продавщица быстрым уверенным движением, не отмеряя и даже почти не глядя, налила в стаканы водку. «Закусывать будете?» — спросила она, хотя вокруг нее никаких зримых следов чего-нибудь съестного не наблюдалось. «П-по конфетке, — будто удивляясь себе, попросил

Ивлев. — Если можно, *Эльбрус*, пожалуйста». *Василек*, — скомандовала продавщица, порывлась под прилавком и выбросила наверх две конфеты с синем цветком на обертке. Стаканы показались *Профессору* мутными, захватанными, — наверно, и не моют никогда: дуррацкий спектакль! Он уже жалел, что затеял прогулку с Ивлевым. «Зна за встречу!» — Коля запрокинул голову и неторопливо перелил в себя содержимое стакана. Он вроде бы и не делал глотательных движений: водка, будто сквозь воронку, сама устремилась куда-то вглубь. *Профессор* так пить не умел и вообще давно уже разучился пить водку из стакана. Он поперхнулся, тотчас почувствовал, что всё его существо заполнено привкусом и запахом дурного дешевого спиртного, закашлялся было, но одолел себя, сделал последний глоток и быстро сунул в рот конфету. Шоколад, отдававший соей, не таял во рту (от холода, что ли?), прилипал к зубам (слева наверху у *Профессора* был небольшой мост на золотых коронках), так что пришлось без церемоний сунуть в рот палец и счищать комки конфеты. «Может быть, сразу и добавим?» — неуверенно спросил Коля. *Профессор* испуганно показал рукой, что отказывается. «А я, знаешь, выпью, пожалуй. Холодно. Да и п-повод такой». «Наливать, что ли?» — продавщица крепким ногтем скосырнула пробку с початой бутылки. «Вот до сих пор, будьте любезны», — Коля показал на стакане, докуда налить. Продавщица снова одним махом плеснула водку в стакан. «Я заплачу», — *Профессор* поспешно сунулся во внутренний карман пиджака за бумажником. «Н-ни в коем случае. Уговор дороже денег», — Коля высыпал на обитый клеенкой козырек прилавка пригоршню мелочи и принялся старательно отсчитывать нужную сумму.

5

Снег на пустующем бульваре не был ни подметен, ни натопан, — *Профессор* сразу почувствовал, как набралось в штиблеты. «Присядем ненадолго», — Ивлев кивнул в сторону засыпанной снегом скамейки. «Верная простуда», — закричало в душе *Профессора*, но ему было неловко в чем-либо отказывать Ивлеву. Наскоро смахнули со скамейки снег. Ивлев подложил под себя тощую кожаную папку с бумагами, которую на пути прижимал подмышкой. Когда он принялся закуривать, *Профессор* снова заметил, как сильно дрожат у него руки. Он вспомнил: читал где-то, что у Достоевского после каторги были искалечены ногти. Потом подумал, что Коля, наверно, много пьет. Необязательный разговор, который они вели на ходу как-то сам собой сник, когда они устроились на скамейке: сделалось очевидно, что пора перейти к чему-то более значительному, но спрашивать Ивлева о пережитом *Профессор* не решался. И того более не решался рассказывать о достигнутом им самим за минувшие годы разлуки и делиться предположениями на будущее (которое, признаться, открывалось весьма радужным). Ноги, сперва разогревшиеся от растаявшего в штиблетах снега, теперь стыли ужасно; утром Анна Семеновна, жена, просила его поддеть под тонкие носки еще и шерстяные, но он отказался наотрез, даже рассердился: откуда он мог знать, что

в пору обычного вечернего чая будет коченеть на пустынном заснеженном бульваре. На Ивлеве пальто было никудашнее — дешевый *семисезонный* москвошвей. *Профессору* вдруг захотелось сделать невозможное — снять с себя добротную шубу, пошитую в академическом ателье, и накинуть Коле на плечи.

«Может быть, пойдем всё же, а то и простудиться недолго», — предложил он.

Если ты не очень озяб, посидим на морозце, пока мысли не поровнеют. Олесья, знаешь, сердится, когда я *подшофе*.

«Как она?» — Профессор тотчас осекся: воспоминание о том, как он не захотел встретиться с Олесей, обожгло его. Наверно, она и Коле рассказала.

«Болеет. Работала тяжело...» — Коля отозвался спокойно, будто говорил о чем-то стороннем и должном.

Профессор вспомнил королевскую статью, косу до пояса, походку балерины. Его задело, что Коля, показалось ему, бесчувственно говорит об Олесе. Это всё — усталость от пережитого, страшного, — думал он. — И киоск этот ужасный. И эти папироски вонючие. И этот реферативный журнальчик с технической работой и грошевой зарплатой. Одни в таком положении норовят отыграться, другие, как Ивлев, прячут голову под крыло. Хоть он упирается, надо всё-таки вытащить его. Если не для него самого — так для Олеси. Тогда и стыдно перед ней не будет. Коля вполне мог бы защититься. Надо только ему помочь тему найти выигрышную. Простую и актуальную, чтобы долго не возиться. Впрочем, даже не в теме дело... *Профессор* почувствовал, что может заговорить убедительно и уже собрался заговорить, но тут Ивлев крепко затянулся напоследок и щелчком отправил окуроч далеко в сторону.

«Читаю в журналах твои статьи, главы книги твоей будущей, о которой, хоть еще и не появилась, уже много говорят... — начал он для *Профессора* совсем неожиданно. (*Профессор* был, конечно, польщен, но сдержал готовую расцвевшую улыбку и несколько даже иронически пожал плечами.) — Ч-читаю, — продолжал между тем Ивлев, глядя на *Профессора* с недоумением, похоже, мучительным для него самого, — ч-читаю, и всё очевиднее становится, что книга годна для употребления в п-пределах, ограниченных на карте мира красным цветом... — (*Профессор* обмер: в глазах Ивлева не было ни осуждения, ни насмешки — искреннее недоумение. И это было всего ужаснее.) — ...Знаешь, танцоры есть такие? — Ивлев вдруг улыбнулся, точно и в самом деле увидел перед собой какого-то ему знакомого танцора. — Перед ним огромный зал, а он выделяется п-па на старательно отмеренном вокруг себя пятачке...»

«Погоди, погоди!» — у *Профессора* перехватило дыхание.

«Вот именно — *п-погоди*, — обрадовался Ивлев. — Какое ты хорошее слово нашел. Помнишь, у Салтыкова, у Щедрина — *надо годить*? Да ведь если всё годить, опять и прогодим...»

«И всё же, погоди! — Профессор крепко сжал руку Ивлева выше локтя. — Живая реальность всегда расходится с общими декларациями».

«Но общие декларации, — Ивлев высвободил руку, — это слоны, на которых Земля держится. Сейчас на ту же тему, что и ты, Ротенберг в Америке много пишет. Дюваль тоже хорошо копает. Да, из американцев еще Розенбаум, этот самый интересный. Они между прочим и тебя называют — соглашаются с тобой иногда, спорят. Чаще, конечно, спорят. А у нас один эталон — вечный Кисляков; по его учебнику еще на п-первом курсе сдавали... Ты

п-прости, что я про танцора; я — для наглядности...»

«Ну, что ты. Я очень даже понимаю... — (Улыбка получилась натянутой, — Профессор чувствовал. Еще и стыдно было: Кисляков — книга выходила под его редакцией — потребовал, чтобы он *отделал этого Розенбаума*, и он лягнул два раза, правда, в примечаниях, мелким шрифтом.) — ...Но ты же прекрасно знаешь, эти имена у нас даже упоминать запрещено. Разве только ругнуть мимоходом...» (Интересно, где Коля их труды выкапывает — в спецхране и то не всегда дадут. Этак он недолго на воле потопчется.)

«Да, обидно! Обидно!.. — Коля сокрушенно покачал головой. (Огорчается, будто речь о нем самом, а не об этих не знающих ни запрета, ни страха американцах, — подумал Профессор.) — ...Только знаешь, — встрепенулся Коля, — всё равно кто-нибудь однажды упомянет. И ничего. Сейчас вроде бы не время, а однажды оглянешься — опоздал. Не весь же век с Кисляковым... Он потянул из кармана новую папиросу.

(Дома Профессора ждали свет и тепло, стакан крепкого душистого чая, два вечерних бутерброда с сыром, заботливо приготовленных Анной Семеновной, и любимое миндальное печенье с потрепавшейся хрустящей корочкой. А он сидел на холодном бульваре, слушал несчастного Колю, и в желудке у него плескалась мерзкая водка, выпитая в угоду тому же Коле.)

«Прости, мне пора», — Профессор взглянула на часы и решительно встал со скамьи.

«Жаль. — Ивлев тоже поднялся, тощей папкой похлопал себя по груди, по плечам, сбивая снег. — Хороший затевался разговор. П-правда, не обиделся?»

«Ну, что ты! Что ты!»

Расставшись с Ивлевым, Профессор тотчас взял такси (благо, зеленый огонек, высмотрев его, прижался к тротуару) и, едва разместился в жарко обогретом салоне, принялся про себя торопить машину — казалось, едут медленно, и у светофоров долго стоят, и светофоров много. Ему не терпелось скорее оказаться дома, в своих стенах, где каждая вещь — торшер, кресло, книжные полки — как бы утверждали возможность устойчивой жизни, где властвовала Анна Семеновна, Нюта, с ее неколебимыми суждениями и мягким податливым телом. У него не было больше сил оставаться одному посреди пустого темного заснеженного города со всем тем, что обрушилось на него, в него и что теперь придется, согнувшись и отчаявшись, нести долго, может быть, до конца жизни. Коля Ивлев, в пальтеце на рыбьем меху, с дрожащими большими руками (всегда у него такие были или там, на каторге, выросли?), смотрел

ему в глаза недоумевающим взглядом, а он не знал, что ответить, как уберечься от этого взгляда — отныне вечный живой укор. *Профессор* представил себе, как дарит в институте или на кафедре свою книгу коллегам (в типографии обещали переплет из темно-вишневого ледрина: *престижный цвет*, выразился директор типографии), — и вдруг видит в сторонке Ивлева. Коля смотрит на него удивленно и печально: и не подарить нельзя, и подарить советно. И разве один Коля? Вокруг угадывал он всё больше и молодых, и сверстников, которые хотели бы освободиться от принятых правил игры. Он и сам всей душой устремлен был к новому, но знал: движением пальца, благим желанием науку в новое русло не повернешь, нужна долгая подготовительная работа, и он готов радостно участвовать в ней. Вся штука в том, что и книгу он писал искренно, от всей души, — искренно, всей душой увлеченный теми идеями и положениями, которые высказывал и которые должен был высказать. Черт подери, злился *Профессор*, не оправдываются же физики, вчера ведавшие только атомы и молекулы, протоны и электроны, а нынче то и дело открывающие какие-то новые частицы, — наука развивается. Что ж ему теперь — затребовать рукопись из типографии (то-то была бы скандал!) и засесть за новую книгу? (Дали бы ему писать новую книгу — корпел бы где-нибудь в Твери до самой панихиды!) И кто знает, что произойдет завтра, послезавтра, через год, через пять, — какие такие частицы еще обнаружатся через пять лет в материи жизни... Если бы он только не поддался этому вездесущему Кислякову, по требованию его не *отделал* в примечаниях *идеалиста и мистика Розенбаума!* Он ясно вообразил Кислякова, как тот, с его упорной лысиной, толстым сизым носом и сизыми щеками, распахнув пальто (ему всегда жарко), вышагивает на демонстрации и подпевает старательно: «А я не хочу улетать...» Берег турецкий ему не нужен... Африка не нужна... Образцовый домашний гусь!.. И летать давно разучился: только крыльями хлопает и шипит...

Доехали, наконец-то. *Профессор* сунул водителю купюру и, не дожидаясь сдачи, выбрался из машины. Одним махом, точно последовал кто-то, взбежал на третий этаж. Анна Семеновна, встревоженная его опозданием, тотчас вышла навстречу в прихожую. На ней был китайский малинового цвета стеганный халат: несмотря на раннюю полноту, она часто мерзла. «Что с тобой? — изумилась Анна Семеновна. — От тебя вином пахнет». «Не вином, а водкой... Нюта, мне плохо!» — *Профессор* порывисто обнял жену и, задыхаясь в словах, сбивчиво принялся рассказывать об Ивлеве, о дурацкой прогулке, о книге, о положении в науке и о живом уколе, который теперь всегда будет стоять перед глазами (дешевые папироски, руки большие, красные — это от каторги — дрожат, и недоуменный взгляд). Она между тем высвободилась из его объятий, помогла ему снять тяжелое пальто, шапку, шарф, промокшие штитлеты, подала шлепанцы. «А сейчас в ванну, — ласково, будто маленькому, приказала она. — Отогреться по-настоящему и смыть всё это, что налипло. И рот пополощи зубным эликсиром...»

Потом он, в полосатой пижаме, успокоенный и обновленный ванной и вкусно заваренным чаем, сидел в кресле; торшер, привезенный из Прибалтики, уютно светил. Нюта опустила к нему на колени, и ему приятно было чувствовать ее тяжелые мягкие бедра. «Всё завистники, неудачники, — говорила Нюта, прижимая его голову к своей груди. — Ты добрый, совестливый, всем добра желаешь, всем хочешь удружить. Вот и ездят на тебе, а ты только подставляешь спину, чтобы седали...» «Нет, Нюта, нет, — спорил он, впрочем уже умиротворенный. — Не в этом дело. Время меняется...» «Оно всегда меняется, — мудро заметила Анна Семеновна. — Напишешь новую книжку. Или эту исправишь». (А и правда, — подумал *Профессор*. — Надо сразу просить второе исправленное и дополненное издание.) Коля Ивлев прикуривал на холодном темном бульваре, но уже несколько в отдалении. *Профессор* раздвинул халат на груди жены, нашла бледно-желтое пигментное пятнышко, которое они в любовных играх называли *островком*...

6

Профессор избегал встречаться с Ивлевым. Завидев Ивлева, он издали показывал, что смотрит на часы, сокрушенно разводил руками, выкрикивал через головы людей: «Звони!» — и стыдился самого себя.

И всё же случай свел их.

День был счастливый. В этот день *Профессор* получил в издательстве сигнальный экземпляр книги, прекрасный, в темно-вишневом ледерине с золотым тиснением. («Только ведущих авторов так выпускаем», — поздравил его главный редактор.) *Профессор* усаживался в машину (теперь ему полагалась служебная) — скорее, скорее, показать книгу в институте, в университете, Анне Семеновне! — Ивлев его окликнул. Дверца «Победы» была открыта, и Гурий Васильевич, институтский водитель, круглолицый рябой мордвин, ожидающе смотрел на него. Ему бы *не услышать* оклика, нырнуть в машину, но он был *расслаблен*, как сам себе позже объяснил, и тотчас повернулся к Ивлеву, даже довольной улыбки не успел стереть с лица. «И-ну, что? Идет дело?» Ивлев кивнул на вывеску издательства. «Да вот, всё решаю, не забрать ли рукопись, — понизив голос, вдруг озабоченно соврал *Профессор*. — Многие, в самом деле, надо бы переписать, переделать...» (Что я говорю, — с ужасом подумал он. — Завтра Ивлев у кого-нибудь увидит книгу, в вишневом ледерине, как у *ведущих* авторов, со всеми дежурными цитатами, самому *Профессору* в зубах навязшими, с *под редакцией члена-корреспондента Кислякова* на титульном листе, с *мистиком Розенбаумом* в примечаниях...) Ивлев смотрел на него печально и удивленно. «Мне, сам понимаешь, трудно решить, да и дорого обойдется, конечно...» — не понимая, что с ним происходит, продолжал *Профессор*. «Нет, ты подумай. П-подумай еще... — Ивлев был даже испуган, кажется. — Т-так не надо. Нельзя. Только ра... ра... (он никак не мог выговорить)... Только радостно можно... Опытный Гурий Васильевич, хоть

и не прислушивался к разговору, пронизательно оценил ситуацию и слегка погудел, как бы поторапливая *хозяина*. «Всё с-само обойдется...» — Ивлев отступил на шаг. *Профессор*, согнувшись, протиснулся в машину, захлопнул дверцу. «Надо бы хоть спросить, в какую ему сторону», — окончательно запутавшись, спохватился *Профессор*; но опытный Гурий Васильевич уже отъезжал от тротуара.

Назавтра *Профессор* узнал, что Коля Ивлев умер.

7

Морг помещался в полуподвале — пасмурном, без окон, холодном помещении с выложенными белым больничным кафелем стенами. Пахло формалином, пиленным деревом последней экипировки и утрагившими, по обыкновению, природный аромат и слабо дышащими холодом и увяданием похоронными цветами. Коля лежал в гробу, наряженный в простенький твидовый пиджак, наверно, единственный, какой у него имелся, и белую рубашку с галстуком, которых при жизни никогда не носил (на нем всегда были клетчатые ковбойки). Мертвый, он как-то помолодел и был похож на сельского паренька, принарядившегося, отправляясь в город, чтобы сделать фотографию на паспорт.

Олеся стояла у изголовья гроба. Она сильно постарела, ссутулилась за те годы, что *Профессор* ее не видел. В волосах серебрилась седина, поредевшая коса была уложена узлом на затылке. На ней было недорогое пальто из магазина готового платья, как и то, которое *Профессор* видел на Коле, когда встречал его, — легкое не по сезону. В одежде Олеся, как и во внешности ее, чувствовалось небрежение к себе. Только просторная черная шаль, которую Олеся сбросила с головы на плечи, отличалась вызывающей особостью и красотой — то ли память былого времени, то ли одолжена к случаю. Народу подошло немного: объявлений нигде не помещали, рабочие утренние часы да и погода прескверная, последние потуги зимы — мокрый снег, ветер, пробирающий до костей, хлопающий студень под ногами.

Профессор хотел поцеловать Олеся руку, но она по-старинному, по-дружески подставила ему щеку. «Хорошо, что пришел. Коля тебя любил. И твою любовь ценил. Рассказывал, как вы гуляете, беседуете. Ему было интересно с тобой». *Профессор* с отчаянием думал о том, что, услышав известие о смерти Коли, изумленный неожиданностью случившегося, испуганный, одолеваемый тотчас нахлынувшими воспоминаниями, он почувствовал при этом, как коснулся его теплый ветерок облегчения. Слова Олеся застали его врасплох, как появление старшего застают мальчишку, занятого чем-то недозволенным и стыдным, — кровь бросилась ему в лицо, он склонился перед Олесей и, всё же, с горячностью поцеловал ей руку. «Перед смертью, в последний вечер, сказал, что очень в тебя верит, что ты скоро всех удивишь». «Никого я не удивляю, — печально откликнулся *Профессор*. — Только самого себя всё время удивляю». Худощавая белесая женщина, напоминавшая Колю (сестра, наверно, подумал *Профес-*

сор), не переставая, деловито суежилась у гроба, подкладывая и перекладывая приносимые цветы. «Ты прости, что я не встретилась тогда с тобой — помнишь? — когда с Колей всё случилось, — радуясь, что говорит это, сказал *Профессор*. И тут же, того не желая, соврала зачем-то: — Я, и правда, должен был уехать». «Разве мы не встретились? — удивилась Олеся. — Мне казалось, ты сразу пришел».

В помещении появился занимавший много места высокий крепкий человек на костылях, одноногий; на нем был солдатский бушлат с прицепленными на груди разноцветными ленточками боевых наград. Человек сорвал с головы серую солдатскую ушанку, сунул ее за ремень, стуча костылями по цементу пола, приблизился к гробу. Он перехватил оба костыля в одну руку, другой рукой, большой и темной от въевшейся черноты повседневной работы, крепко схватился за край гроба, попрыгал на одной ноге, надежнее утверждая большое тело, нагнулся над гробом и долгим крепким поцелуем поцеловал покойника в бледный лоб. Выпрямился и, глядя в лицо умершего, громко крикнул: «Эх, Колька! Что ж ты учудил, Колька!» «Не надо, Леша. Не шуми», — тихо попросила Олеся.

Профессор вышел на улицу. Серый погребальный автобус, помеченный по бортам черной полосой, стоял у двери морга. Люк сзади был открыт в ожидании главного пассажира. Тяжелый мокрый снег, не унимаясь, валил с неба на землю. Несколько выбравшихся из подвала покурить мужчин теснились под жестяным козырьком подъезда. Кто-то незнакомый предложил *Профессору* папиросу. Он курил лишь изредка, веселясь, в застолье, больше дым пуская, но тут взял предложенную папиросу, неумело прикурил от поднесенного огонька и сразу глубоко, до кружения головы затянулся. Ему вдруг очевидно сделалось: всё, что он боялся услышать от Коли, теперь он будет говорить себе сам. Конечно, придется, как и доньше, врать, фальшивить, трусить и книгу свою в престижном ледерине придется дарить и подписывать: обстоятельства места, времени и, соответственно, образа действий остаются прежними, и прежними остаются правила игры, ими навязываемые, и все же не только эти обстоятельства и правила меняют нас, мы меняемся и сами, вопреки им, и в этом основа движения жизни. Вот и Коля Ивлев: память о Коле останется в его душе зарубкой, меткой, меркой — и поддержит, и уберет. «Серьезный был человек Николай Игнатьевич, мало пожил, да с толком. Достоинством своим не баловался», — сказал тот, который угостил *Профессора* папиросой. Но не *Профессору* сказал — другому кому-то, тоже незнакомому, стоявшему с ним рядом. «Да уж, тут ничего не скажешь, — подтвердил тот, другой. Прищурился и кивнул значительно: — Он и там себя не терял... Однако пора, наверно? Сейчас выносить будут».

...На кладбище, конечно, снега по колено, подумал *Профессор*, взбираясь в автобус, и порадовался, что поддел толстой вязки носки, которые дала ему Нюта.

...Ему приснилось: он едет ночью в служебной машине, не разбирая дороги, напрямик через бескрайнее снежное поле. Ветер гудит. Пурга. Снег сыплет, косой, стремительный, резкий, шуршит по крыше кабины, заметывает переднее стекло, дворники, отчаянно стуча, не успевают отбрасывать его в сторону. *Профессор* видит бледное, закаменевшее лицо Гурия Васильевича, крепко вцепившегося в рулевое колесо. *Профессору* кажется: если Гурий Васильевич чуть ослабит руки, ветер подхватит машину и понесет боком неведомо куда. Вдруг впереди в свете фар возникают какие-то странные белые фигуры. Будто люди — множество людей — в белых рубашках стоят, расставив руки, чтобы не пропустить их. Спустя мгновение, когда приблизились, *Профессор* понимает, что это белые каменные кресты — кладбище. (Военное кладбище с такими одинаковыми крестами *Профессор* видел однажды в Бретани.) Кресты стоят тесными рядами — проезда нет. Гурий Васильевич резко останавливает машину, поворачивает к нему круглое бледное лицо, сильно попорченное оспой, и молча усмехается. *Профессор* хочет закричать от страха, но голос пропал куда-то. Дворники перестали стучать, переднее стекло всё больше покрывает плотный слой снега. *Профессору* страшно: еще минута-другая — машину завалит снегом. А круглое закаменевшее лицо Гурия Васильевича скалится улыбкой. Но тут кто-то, стоящий снаружи среди крестов и снега, начинает крутить и дергать ручку дверцы. *Профессор* тоже хватается за ручку, но не в силах удержать ее — рука его, мягкая и бессильная, подчиняясь движениям ручки, болтается, как веревочная, вверх-вниз, вверх-вниз. *Профессор* знает, что там, снаружи стоит кто-то, хотя за окном ничего не видно, кроме белого поля, крестов и неба, иссеченного косыми стремительными линиями летящего снега, — и знает, *кто* там стоит: это — Коля Ивлев, похожий на деревенского юношу в своем пиджаке и галстуке; сейчас он откроет дверцу, влезет в кабину... «Нет!.. — отчаянно кричит *Профессор*. — Нет!.. Нет!..»

...«Вам нехорошо?». Фрау Бус, включив свет, подплыла к *Профессору*. Он сидел на кровати, еще не одолев страха, его сковавшего, видения сна мельтешили перед глазами, сердце колотилось так, будто хотело взломать грудную клетку. Он увидел себя со стороны: костлявый старик с приоткрытым от ужаса и отчаяния пустым ртом (вставные зубы мокла в стакане с водой на тумбочке возле кровати), взлохмаченные седые волосы, руки, некогда красивые, а теперь — ломкая пергаментная кожа, крупные пятна стариковской *гречки*,

темно-лиловые набухшие вены. Ему, по обыкновению, было стыдно, что фрау Бус видит его *такого*, но при этом хотелось одного только, — чтобы фрау Бус обняла его за плечи, укладывая на подушку, как всегда это делала, и он на мгновение прижался бы к ее огромной мягкой груди, почувствовал бы запах ее большого теплого тела. В это мгновение в нем пробуждалось уже забываемое волнение мужчины и вместе давняя радость ребенка, мальчика, который за-

сыпал, будто в теплом потоке, в объятиях толстой няни Матрешки. Фрау Бус, может быть, сама не вполне это ведая, испытывала очевидное пристрастие к *Профессору*, и то ласковое объятие, которое она всякий раз охотно и даже несколько пылко ему дарила, было, конечно же, неосознанной и желанной вольностью. Вот и теперь, раскрасневшись и пыхтя, она поднесла *Профессору* рюмку с лежавшей в ней желтой снотворной таблеткой и стакан воды — запить, после чего прижала, может быть, несколько крепче, чем требовалось, его голову к своей колышущейся груди и, медленно склоняясь, принудила его улечься. И он, устраиваясь, мечтал о том, что облежавшее монументальную фигуру фрау Бус тесное платье с высоким воротом каким-то образом распадется и прямо над ним, над его лицом окажутся большие, как кувшины груди; он припадет губами к огромному розовому соску и, чувствуя, как по телу разливается благодать, будет ровными, долгими глотками вбирать в себя тепло, забвение и покой.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

«...И вот, только представьте себе, мои дамы и господа... Сожженная русская деревенька, маленькая, может быть, всего десять домов, и все сожжены, кроме одного. Черные трубы печей торчат, будто указывают на небо, отвечая на вопрос о причине обрушившихся на землю бед. Этот единственный уцелевший дом стоял на отлете, потому и пламя не дотянулось до него, — на самом конце деревни, уже почти в поле. Где-то там, за полем, в лесу русские. Слева, с севера лес подступал к деревеньке, или, лучше сказать, к бывшей деревеньке, совсем близко, и там, может быть, тоже были русские. Наши, с вечера захватив деревню, не захотели на ночь оставаться в ней — когда стреляют, никому нет охоты ночевать на открытой ладони — и отошли на исходные рубежи. По правде сказать, никому она и не нужна была, эта деревенька, но на то и война, чтобы убивать друг друга и отнимать друг у друга что-нибудь нужное или ненужное, неважно. Как бы то ни было, поначалу мне и моему напарнику было приказано наладить связь, но пока мы возиались, последовал новый приказ — отступить, который наши боевые товарищи выполнили куда быстрее, чем мы предыдущий. Принятое среди штатских заблуждение, что где-где, а уж в армии, конечно, порядок, укоренилось, видимо, оттого, что солдат каждую минуту вытягивается перед начальником и кричит: «Так точно!» На самом же деле в армии не более порядка, чем где-нибудь еще. Точнее, всюду свой беспорядок, который со стороны может показаться порядком; на войне же вообще не может быть порядка, потому что война сама по себе изначально беспорядок. Я думаю, мои дамы и господа, вы согласитесь, что на свете нет большего беспорядка, чем война...».

Старый Фриц был в ударе. Его серебряные талеры весело поскрипывали, когда он победоносно вертел головой, обводя взглядом слушателей, равно тех, которые с интересом внимали его рассказу, и

тех, которые, понурясь, дремали, пристегнутые к своим креслам. Черная птица Керри время от времени раскатисто выкрикивала какое-нибудь из разученных слов, будто ободряя его и приглашая продолжать.

Под вечер в холле *разожгли камин*, то есть включили прилаженный к стене, внизу, у самого пола, плоский экран; на нем появлялось — очень похожее на настоящее — жерло камина, в котором ярко и даже слегка потрескивая пылали дрова. От этого, что там ни думай, в помещении становилось уютнее и, казалось, даже теплее. Старый Фриц склонился перед экраном и потер руки, будто согревая их у огня. «Фор-р-ран», — нетерпеливо выкрикнула птица Керри, требуя продолжения рассказа. Он выпрямился, талеры его блестели...

«...Как вы могли понять, дамы и господа, мы с моим напарником остались вдвоем в этой заброшенной Богом и людьми деревне. Впрочем, хорошо бы просто заброшенной! Сожженной дотла! Вот какой она была, лучше сказать, уже не была эта деревня. Осень, рано темнеет, холодно, дождливо, грязь по колено, до своих не доберешься, дороги мы не знаем, да и русские где-то рядом, а пойдешь прямо, полем, как бежали в атаку, — подстрелят, не русские, так свои непременно, когда будешь подползать в темноте. Жителей в деревне никого: еще до начала боя ушли от пуля и снарядов — должно быть, в эти недалекие леса. Из домов, как я сообщил вам, уцелел один-единственный, тот, что стоял в стороне, и мы — ничего другого не придумаешь — направились туда. Имя моего напарника было Кригер, Отто Кригер. Вопреки воинственному имени, вид у него был совсем не воинственный: тощий, бледный парень, всегда с унылым, испуганным лицом, — взглянешь на него, и сразу ясно: такой в живых не останется. Не сумею рассказать вам, мои дамы и господа, что это была за лачуга, в котором мы оказались. Крошечное помещение: расставишь руки, и, кажется, достанешь от одной стены до другой, низкий потолок — не распрямиться, земляной пол, черная от копоти печь, непокрытый стол. В углу на скамье сидела и вроде бы даже дремала старуха, похожая на ведьму из наших сказок — костлявая, согнувшаяся пополам, вся, и лицо, и руки, и платье, будто заросшая серым мхом. Сколько ей лет? Сто? Может быть, двести?.. Похоже, вот этак, подремывая в углу, старуха просидела весь день, не замечая ни движения войск, ни развернувшегося боя, ни яростной стрельбы, ни огня, спалившего деревню. Мы вошли. Старуха подняла на нас глаза и снова опустила голову. В ее лице ни было ни страха, ни беспоконства. Мы сели рядом с ней на скамью. Отто сказал: ночью придут партизаны или русские разведчики и найдут нас. Я его успокоил. До своих нам не добраться, а спрятаться нигде. Найдут ли нас русские на улице, под дождем, или здесь, в доме, они нас так и так расстреляют. Лучше уж ждать под крышей. Я не заметил, как задремал. Вдруг Отто отчаянно закричал: «Хальт!» — он вскочил на ноги, автомат ходил ходуном в его трясущихся от страха руках. Старуха стояла у печи, в руке у нее был топор. Она, казалось, не услышала крика, не замечала наведенного на нее оружия. Она отщепила от полена лучину и показала мне, что

у нее нет спичек затопить печь. Я чиркнул зажигалкой — тогда были в ходу большие, алюминиевые, на бензине. Дрова в печи занялись, и на душе стало веселее...»

Жестом полководца, указывающего на поле выигранного сражения, Старый Фриц простер руку в сторону экрана, на котором, бойко потрескивая, но не сгорая, пылали поленья.

2

«Как у Буратино. — *Старик* кивнул на экран, где в камине горели и не сгорали дрова, весело подмигнул приятелям. — Там тоже печь, огонь, похлебка в котелке. А сунешь нос, оказывается всё только нарисовано».

«Не в этом дело, — заспорил *Профессор*. — Именно за старым холстом с изображением очага таилась дверца в иной, прекрасный мир».

«Вот то-то, что — в иной. А в этом мире — светло, тепло и похлебка без отказа, и всё настоящее».

«Вы нынче дурно настроены, — сказал *Профессор*. — Третьего дня, поглядывая на этот камин, вы отпусkali такие шуточки, что неловко было слушать».

«Это правда. Пока не задружишься с Альцгеймером, каждый день лезет в голову

что-нибудь новенькое. И всё же как-то паршиво, когда искусственный огонь. А? *Ребе*, — *Старик* не любил, когда *Ребе* сидел отчужденно, погруженный в свои таинственные расчеты, ему, *Старику*, неведомые и непонятные и оттого неприятно тревожившие его. — *Ребе*, что вы вспоминаете, когда включают этот нарисованный огонь?»

«Настоящий огонь». *Ребе* провел рукой перед глазами, точно отгоняя от себя и вопрос *Старика*, и свой ответ.

«Фор-р-ран», — требовательно закричала черная птица Керри.

Старый Фриц засмеялся, победоносно поглядывая на слушателей. Сегодняшняя история определенно имела успех.

3

«...Старуха между тем сняла откуда-то с печи черный от копоти котелок, поставила его на стол и взяла в руки большой нож. Я почувствовал, как напрягся бедный Отто. Он решил, наверно, что ведьма собирается сварить из него суп. Но в котелке оказались четыре вареных картофелины. Четыре — заметьте, мои дамы и господа. Старуха протянула одну картофелину мне, другую — Отто, третью взяла себе. Вы, конечно, спросите, что она сделала с четвертой? Мне и самому тогда было очень интересно, что она с ней сделает. В конце концов проще всего было бы нам с Отто отнять ее у старухи, а еще проще — отнять у нее и ту, которую она оставила себе. Но все и в самом деле происходило, как в сказке. Старуха взмахнула ножом, разрешила лишнюю картофелину пополам и положила одну половину на стол

передо мной, другую — перед Отто. Это было по законам русского гостеприимства, дамы и господа! И мы втроем ели картофель без соли, потому что у старухи соли не было, а наши рюкзаки остались на исходном рубеже. И я думал о русском гостеприимстве, о старухе, которую чудом не убили сегодня и, наверно, убьют завтра, либо наши, либо свои, и еще вспоминал один случай, который произошел со мной месяца за три до этого странного приключения...

4

«Хорошее общество, и похоже интересный разговор»... Доктор Лейбниц с улыбкой на лице показался в дверях холла, и все, кто еще способен был удивляться, удивились этому: стрелка на стенных часах, изображавших улыбающийся круг солнца, подползла к половине шестого — в эту пору доктора редко можно было встретить в *Доме*. Тем более в пятницу. Ильзе встревожилась, когда, выйдя из *Дома*, чтобы направиться к доктору, обнаружила его велосипед, на привычном месте пристегнутый цепочкой к решетке ограды. Она предположила, что доктор для разминки решил прогуляться пешком, но на всякий случай возвратилась поискать его в помещении и тут же увидела, что доктор Лейбниц выходит из кабинета лечебной физкультуры.

Это была вотчина Паолы, полгода назад появившейся в *Доме* маенькой брюнетки со смуглой кожей и упругим телом. Особенно попка у нее была хороша, будто сработанная умелым скульптором, и она знала это и не давала забыть другим. Доктор говорил, посмеиваясь, что чрезмерное враг хорошего, а физкультурница, пожалуй, чрезмерно сексапильна. Ильзе терпеть не могла Паолу и за эту сексапильность, которую, даже не отдавая себе отчета, тотчас чувствовали мужчины, и за то, что доктор говорил об этом с такой добродушной усмешкой. Паола тоже не жаловала Ильзе и едва удерживалась от резкого слова, выслушивая ее придирчивые и по большей части справедливые замечания. Но внешне обе женщины обходились одна с другой вполне дружелюбно: город небольшой, разбежаться в разные стороны почти невозможно, выгоднее терпеть, и они даже заглядывали иногда вдвоем после работы в соседнее кафе, выпить по бокалу *зекта* и с глазу на глаз аккуратно посудачить о том, что их обеих занимало.

Визит доктора Лейбница в кабинет лечебной физкультуры сам по себе ничего не значил, но в пятницу и в шестом часу вечера — от этого можно было прийти в отчаяние. Ильзе улынулась, с игривым недоумением взглянула на доктора и поскребла пальцем циферблат своих ручных часов. «Ничего, — доктор так же игриво подмигнул ей. — Какие-нибудь двадцать минут роли не играют. Я взгляну одним глазом на наших подопечных и догоню тебя на велосипеде». Ильзе шла знакомой дорогой к дому доктора Лейбница, и, хотя плечи ее были, как обычно, расправлены и шаг был, как обычно, уверенным и ровным, ей казалось, что идет она сторбившись и еле волочит ноги. *Какие-нибудь двадцать минут, билось у нее в ушах, какие-нибудь двадцать минут...* Вот так же стервец Петер, поломавший ей

жизнь, перед тем, как расстаться, приучал ее к опозданиям. Двадцать минут, и еще двадцать минут, а потом уже никакие черные штанишки его не соблазняли. Она думала о том, что, как бы ни исхитрился сегодня доктор, она ничем не заставит себя отдаться ему целиком, ласки не развеют тревоги и отчаяния, надо будет притворяться и обманывать, чтобы он (это всего важнее) ничего не заметил. *Какие-нибудь двадцать минут...* Какие-нибудь!.. И она охотно думала о том, как после, придя домой, к себе, закутается в теплый халат, отыщет по телевизору головокружительный триллер и будет пить терпкое белое вино, от которого тяжелеет голова, а руки и ноги будто заполняются понемногу сыпучим песком...

«Надеюсь, не помешаю? — доктор Лейбниц вошел в холл и опустился в свободное кресло. — Я, впрочем, не надоло, всего на несколько минут». Он поднял глаза к улыбающемуся циферблату — как раз в эту минуту стрелка сделала маленький шагок и перескочила за половину шестого. Возможно, подумал доктор, сейчас он услышит нечто весьма любопытное, что пригодится ему для заветного сочинения. И тут же четко разяснил себе, что это — довод, но никак не оправдание. Он всегда поступал так, что в оправданиях не нуждался.

5

«...Итак, дамы и господа...» Старый Фриц повернулся к доктору и слегка поклонился ему, как бы изъявляя охоту, с которой принимал его в круг своих слушателей. — Итак, мои дамы и господа, темной и холодной русской ночью мы с Отто сидели в лачуге похожей на ведьму русской старухи, жевали картошку, которой она нас угостила, и, естественно, не могли не опасаться того, что это наша последняя трапеза, наша *тайная вечеря*, так сказать, что с минуты на минуту появятся партизаны или русские разведчики и, даже если пожелают сперва допросить нас, всё равно прикончат до рассвета. Потому что пленные на передовой — большое неудобство. Девать их некуда и, сколько ни думай, ничего лучше не придумаешь, как побыстрее от них избавиться. И еще нетрудно было предположить, что, едва рассветет, либо наша артиллерия, либо русская сметет эту лачугу вместе с нами с лица земли — так, на всякий случай. Впрочем, еще и потому, что, когда всё вокруг вычищено под гребенку, трудно удержаться и не уничтожить то небольшое, что еще торчит перед глазами. Старуха прилепила к столу огарок свечи, я завесил оконце плащом, чтобы у какого-нибудь скрытого в темноте ночи артиллериста не возникло соблазна выстрелить. Так мы сидели и жевали холодный картофель без соли, и это было счастье — сидеть и жевать, и дремать в тепле, и стараться не думать о том, что мы вряд ли переживем эту ночь, — я бы, наверно, и не думал, если бы не Отто, с его перепуганным лицом и тощей шеей, такой тощей, что всякий раз, когда он делал глоток, было видно, как разжеванный картофель проталкивается в желудок. И, как я уже сообщил вам, дамы и господа, в эти минуты я вспомнил нечто, происшедшее со мной совсем недавно, месяца за три до событий, о которых я имею удовольствие вам рассказывать.

...Дело было в Берлине. Я возвращался из отпуска в часть. После не вполне успешной зимней кампании удача, похоже, снова поселилась на нашей стороне. Я был сыт и уверен в себе. В рюкзаке, который приятно тяжелил плечи, был уложен выданный мне на дорогу отличный паек: хлеб, галеты, шпек, колбаса, плавленый сыр, баночка с джемом. Уже занялись сумерки. Я спешил к вокзалу, чтобы поспеть до темноты, до комендантского часа. На улице, по которой я шел, было пусто, ни пешеходов, ни автомобилей; окна запечатаны темными шторами светомаскировки. Помню, меня даже смутила эта насупленная пустота города, и я напевал какой-то бодрый марш, отстукивая ритм подкованными каблуками сапог. Вдруг в некотором отдалении прямо передо мной возникла какая-то фигура. Это произошло так неожиданно, что я даже опешил. Человек, которого я еще не мог разглядеть, вынырнул из подворотни и двинулся мне навстречу. Он шел согнувшись, медленно переступая ногами, будто кто-то подгонял его, а он не хотел идти. Вдруг он поднял голову, увидел меня и суетливо шагнул с тротуара на мостовую. И тут я понял, что это — еврей. Им, если помните, запрещалось ходить по тротуарам, заговаривать с нами, даже приветствовать нас. Их еще не транспортировали в эти ужасные лагеря, или, может быть, транспортировали, но еще не в массовом порядке. Сойдя на мостовую, еврей остановился и дожидался, пока я проследую, как дожидается солдат в строю, пока мимо проходит командир. Мне показалось, что он даже постарался распрямиться, вытянуться по-военному. Приблизившись, я увидел желтую звезду на его груди. И еще я увидел, что он изнеможен и голоден. Продуктами, которые выдавали евреям в военное время, вряд ли насытилась бы кошка. А у меня за спиной в рюкзаке лежали хлеб, колбаса и прочие замечательные вещи. И я подумал, что сейчас я сниму на минуту рюкзак, и отрежу этому еврею ломоть хлеба, дам кусок колбасы, или даже всю колбасу, потому что мне завтра или день спустя выдадут новый паек, и банку с джемом тоже ему отдам, ведь у него, наверно, дети, а если не то, не другое, не третье, пачку галет уж непременно могу ему отдать. Потому что, как бы ни решался еврейский вопрос, думал я, нехорошо, чтобы люди умирали с голоду. И что же?.. Я прошел мимо еврея, стараясь не смотреть на него, как если бы его вовсе не было, громко стучал каблуками и напевал свой марш. У меня не хватило сил победить страх. Но у страха хватило сил победить меня. К сожалению, именно так чаще и случается. Вот об этом я размышляла ночью в хижине русской старухи, которая по врожденному человеколюбию и гостеприимству поделилась с нами, врагами, последней картофелиной. И еще, сидя под кровлей старухи, ожидая партизан, разведчиков, снаряда спереди или сзади, я размышляла о том, что боюсь всего перечисленного меньше, чем боялся тогда на пустой улице открыть рюкзак и протянуть еврею пачку галет...»

«Но улица была пустая?» — доктор Лейбниц быстро взглянул на смеющийся циферблат (вряд ли он уже сумеет догнать Ильзе).

«В том-то и дело, что пустая! — *Старый Фриц* вскочил с места, его обветренное лицо потемнело. — В том-то и дело! Если бы не пус-

тая, тогда совсем другой разговор. А тут страх, не подвластный рас- судку. Страх, который сидит в порах, в потрохах, вам, доктор, вид- нее, где еще может сидеть страх, — страх, что кто-то спрячется за темными окнами, в подъезде, в подворотне, припал глазом к щелке в шторе затемнения... Я читал: гестапо по своим выкладкам завело все- го двенадцать процентов рассмотренных дел. Остальные семьдесят- восемь процентов были заведены по доносам. Вы полагаете, все доно- сили из принципа, из верности национал-социализму? Ничуть! Всего больше — из страха. Из страха, что донесет кто-нибудь другой. Что донесут на них самих. Пастор пришел в лазарет к умирающему солда- ту: «Как вы себя чувствуете?». «Как наш Господь на кресте между двумя разбойниками», — ответил солдат и показал глазами на портре- ты фюрера и еще кого-то из той же команды, висевшие над его голо- вой по обе стороны кровати. Пастор пошел и донес. Потому что сест- ра могла услышать и донести раньше. Другой умирающий на сосед- ней койке мог услышать и донести. Дальше всё по Писанию: день не кончился, солдат уже был в раю. Жителей городка, расположенного неподалеку от лагеря уничтожения спросили, как часто они видели колонны заключенных, которых не раз и не два проводили под их ок- нами. Большинство ничего не видело. Думаете, они вралли? Они в са- мом деле ничего не видели. Не видели от страха. Если видели, не помнили — от страха. Тут приезжал американский историк, краси- вый парень в белом костюме, объяснял нам, немцам, что такое на- ционал-социализм. Неплохо объяснял — я его видел по телевизору. Одно только замечательно: в его речах так и не появилось слово — *страх*. Я всё ждал, пока не понял, что он не знает этого слова, этот молодой *ами* в белом костюме, не знает *так*, как я знаю это слово, как знают все, кто на своей шкуре испытал наше прошлое, во многом и созданное этим словом, этим понятием, этим страхом, — наше про- шлое, которое теперь объясняют нам нынешние ученые ребята...»

6

В холле появилась Паола, прошла туда и обратно с деловым видом, будто высматривая что-то нужное, и снова направилась к двери. Старый Фриц замолчал, и все мужчины, находившиеся в по- мещении, все, кто еще в состоянии был сообразить, каким концом вниз ставят в стакан розу, молча смотрели вслед маленькой женщи- не, на ее ягодицы, обтянутые джинсами, напоминавшие совершен- ное творение мастера. «Это она для меня вошла», — с неожиданной радостью подумал доктор Лейбниц. Он почувствовал неудержимое, показалось, желание обладать этой женщиной и даже поднялся с кресла, чтобы поспешить за ней, но тут в его памяти возник много- кратно выласканный взглядом на карте треугольный остров, приви- лившийся к самому носку Апеннинского сапога, фотографии домов, которые он рассматривал в конторе по продаже недвижимости, сре- ди них был один, особенно его приманивший, с окном во всю стену, обращенном в сторону моря, он вспомнил свои тетради, бесчислен-

ные записи и наброски, ожидавшие лишь энергичного вмешательства его руки, чтобы превратиться в книгу, в роман, подобного которому доньше не было написано, — взглянул снова на часы, пожелала всем хорошо провести остаток вечера и не спеша направился к выходу. Он вряд ли теперь догонит Ильзе, и вряд ли она станет дожидаться его, но можно еще позвонить ей по хенди и всё уладить: например, пригласить ее поесть пиццу, а потом уже заняться любовью, пожертвовав привычкой ложиться спать всегда в одно время.

«Вы рассказали интересную историю, — доктор остановился у двери. — Но у нее нет конца. Что же стало с русской старухой?»

Старый Фриц засмеялся и в неведении развел руками:

«Кто ее знает. Может быть, она и сегодня еще сидит в углу своей лачуги. Но беднягу Отто ухлопали на другой же день».

«Пр-р, пр-р, кга...» — заорала птица Керри, и никто не понял на этот раз, что она хотела сказать.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1

Ребе натянул фуражку на лоб и, лежа неподвижно на спине, несколько минут смотрел, как перемещаются на полированной поверхности шкафа тени плывущих за окном облаков. Потом охотник на шкафу затрубил в свой изогнутый полумесяцем рог, и на Ребе обрушилась легкая, как вакуум, непроницаемая тишина, сквозь которую до его слуха уже не проникали ни храп *Старика*, ни шорох пробежавших по улице машин, ни шаги ночной дежурной в коридоре. Тишина была напоена запахом дыма и снега, тем особенным запахом, который растекается в воздухе, когда в зимний день разжигают костер на поляне посреди окованного морозом хвойного леса. Потом с этим запахом стал смешиваться тонкий, но явственно уловимый запах сирени, даже мокрой сирени, и Ребе вспомнил, как после дождя, не разбирая дорожки, шел по саду, раздвигая лицом и грудью отяжеленные лиловыми гроздьями ветви кустарника. Его лицо было мокро, и гимнастерка на груди темнела влагой, он стоял, скрытый зеленью, и смотрел снаружи на прямоугольник кухонного окна, в котором появлялась, исчезала и снова появлялась занятая своими заботами девушка, дочь фрау Гунст, хозяйки этого небольшого домика, в который был определен на постой его, Ребе, непосредственный начальник, инженер-майор Архангельский.

На окраине городка, в котором квартировала часть, помещалось немецкое оборонное предприятие, его приказано было демонтировать и переправить в Советский Союз. Для этой цели в городок вместе с несколькими специалистами и был командирован инженер-майор Архангельский. Инженер-майор поспешно искал людей, способных по своему образованию и знанию языка разобраться в технической документации. Тут-то и подвернулся ему отвоевавший войну тихий светловолосый солдат.

С фрау Гунст инженер-майор познакомился вскоре после прибытия в город. Он случайно проходил мимо ее домика, когда перепу-

ганная немка выбежала на улицу с мольбой о помощи. Фрау Гунст схватила его за рукав, шумно объясняя (она помогала себе жестами, но инженер-майор, на ее счастье, знал немецкий), что сама вынуждена была уже уступать требованиям победителей, теперь же дело дошло до ее дочери, совсем девочки: «Господин офицер, ей в марте только исполнилось шестнадцать!» Инженер-майор Архангельский, горбоносый и смуглый, похожий на казака, хотя был исконным петербуржцем, вбежал в дом, где, взамен ожидаемого кошмара, застал весьма мирную сцену: в гостиной на диване, боясь шевельнуться, лежала с задранной юбкой худая белобрысая девчонка, а рядом лицом вниз сладко храпел вполне одетый и даже не сбросивший автомата пьяный сержант.

Инженер-майор растолкал и выпроводил несостоявшегося насильника, а затем, бегло осмотрев владения фрау Гунст, объявил, что, наверно, лучше всего сумеет защитить ее от дальнейших притязаний, если сам поселится здесь.

Фрау Гунст, несмотря на перенесенные лишения военного времени, сохранила миловидность лица и округлость форм. Отношения с ней инженер-майора оставались тайной, причем, нисколько *Ребе* не интересовали. Душой его владела девушка, дочка, — она виделась ему совершенством, даже внешне, хотя трудно было не заметить ее, пожалуй, несколько долгий нос и мелкие зубки. С той ночи, которую *Ребе* провел у своей спасительницы, он по-прежнему, как и до этого, не знал женщин. Солдаты, сослуживцы, быстро разгадали это и подшучивали над ним, нахаальная медсестра Валентина в банный день с хохотом звала его, громко, чтобы все слышали: «Давай с нами, с девками, мыться, мы тебя спину мылить научим!», но шутки и разговоры не задевали *Ребе*, будто не к нему и относились, и того менее пробуждали в нем желание отправиться вместе с другими к какой-нибудь известной свободным нравом особе и подтвердить свое мужское начало. Только с этой немецкой девушкой он в мечтах своих был мужчиной, обнимал и ласкал ее и имел от нее детей, и чувствовал себя готовым положить за нее жизнь.

Лирические стихи немецких поэтов, которые он когда-то в школе и университете, не испытывая в том охоты, принужден был выучивать наизусть и которые теперь казались ему прекрасными, ясно, от первого до последнего слова, выстраивались в его памяти, — между тем, он и слова не сказал с девушкой, кроме ежедневных *гутен таг* и *ауфвидерзеен*, да еще *данке* — *битте* (это когда он приносил что-нибудь из еды, полученное в пайке). Его кормили в ту пору хорошо, лучше, чем других солдат части, в офицерской столовой, так что от пайка у него постоянно образовывались кое-какие излишки, — но дело и не в излишках: он готов был вовсе забыть про еду и питье, скажи ему кто-нибудь, что в таком случае он сможет взять девушку за руку, коснуться щекой ее щеки.

Он иной раз по четверти часа, а то и долее, таился в кустах, жадно высматривая, как девушка, занятая своими хозяйственными заботами, движется по кухне. Движения ее — чудилось ему — были удивительны: она не воду наливала в кастрюлю и не пыль тряпкой

смахивала, а танцевала какой-то завораживающий волшебный танец. Наконец, он решался, окликал девушку своим *гутен таг* или просто э-э — произнести ее имя (которое знал) он стеснялся, в этом чувствовалось что-то нескромное, даже интимное, а назвать принятым *фрейлейн Гунст* не поворачивался язык. Девушка всякий раз пугалась, услышав его оклик: она привыкла, что люди подходят к дому по дорожке, а не выпархивают откуда-то сбоку из глубины куста; к тому же после перепуга первых дней нашествия в самой возможности появления русского солдата было что-то неожиданное и страшное. А ему, признаться, нравился ее испуг, когда она, как вкопанная, замирала на мгновение в том положении, в котором застигнута была его окликом — с поднятой рукой, или склоненная к полу, или держа в руке кружку, из которой продолжала литься вода. *Битте* — он вынимал из мешка и быстро кидал на подоконник буханку хлеба, кусок сала или сахар в пакете (такая благотворительность, как и вообще налаживание отношений с местным населением более чем положено начальством не одобрялось) — *Битте. Данке* — она таким же быстрым, понимающим движением смахивала то, что он положил, с подоконника куда-то внутрь помещения — *Данке*. Он смотрел на ее улыбку, золотистые локоны, на тонкие белые руки, тянувшиеся из рукавчиков ставшего за последние год-другой коротким платьица, улыбался: *битте, битте* — и снова отступал в кусты.

В те недолгие для него весенние дни, напоенные запахом сирени, электричеством майских гроз и переполнявшей душу хмельной радостью победы, ему казалось, что он познает всю полноту счастья. И потому почудилось ему, будто бежал он, распахнув руки, навстречу солнцу, навстречу девочке в платьице с короткими рукавчиками, навстречу звучащей где-то впереди чудесной музыке, — и вдруг земля разломилась под ногами, он провалился и летит в черную, холодную, бездонную глубину, когда однажды утром, войдя в отведенную ему для работы комнату, увидел за столом вместо инженер-майора Архангельского совсем другого майора, не инженера, с воспаленными глазами на странном лисьем лице, когда четверть часа спустя, без пояса, без брючного ремня, без медалей на груди и с пустыми после обыска карманами, вслушивался в то, что, горячаясь, толковал ему другой майор, вслушивался и ничего не понимал: какая-то вражеская разведка, агент Архангельский — всё это не имело к прожитой им жизни ни малейшего отношения. Майор, сидевший перед ним, сердился, кричал, стучал по столу ладонью, а он всё не мог постигнуть, чего от него требуют, и лишь напряженно ждал, не прорвет ли путаницу майорской речи острый осколок той давней ночи, хотя помнил, как упал прошитый автоматной очередью лейтенант Маслов и как стучала о днище кузова грузовой машины голова мертвого Билялетдинова.

2

«Нам кажется, что жизнь не удалась, если она идет не так, как нам хотелось бы», — сказал *Учитель*, едва они познакомились.

Он, тогда еще не *Ребе* (скоро станет *Львом в квадрате*) увидел прозрачные синие глаза, тотчас вызвавшие желание искать сравнение с небом, бороду удивительно чистой седины.

«Я хочу умереть», — сказал он.

«Если это правда, то вы счастливец. — Учитель смотрел на него с интересом. — Даже здесь, в этом аду, люди цепляются за жизнь, хотя у всех, кто оказался здесь, она сложилась, конечно же, вопреки их желанию. А вы — пожалуйста! — хотите отказаться от единственного Божьего дара. Но мгновение прекрасно не потому, что вы готовы расстаться с жизнью. Оно прекрасно потому, что, желая умереть, вы готовы жить заново».

«Вы имеете в виду загробную жизнь», — спросил он.

«Здесьнюю», — сказал *Учитель*.

3

...*Старик* перестал храпеть, и это — будто выключатель щелкнул — тотчас прервало странствие *Ребе* по просторам памяти и воображения. Он на всякий случай закрыл левый глаз, тот, что был со стороны *Старика*, правым продолжая наблюдать за теньями, движущимися по стенке шкафа; не поворачивая головы, слушал, как *Старик* тяжело возился, охая и кряхтя. Вот он уселся, наверно, на краю кровати, широко расставив крепкие голые ноги, звучно зевнул. *Ребе* лежал, не шевелясь, и старался дышать спокойно и ровно. Только бы не начал вязаться, по обыкновению, со своим *Аккерманом* или *Аккерманами*, дались они ему, — думал он.

«*Ребе?*» — окликнул его *Старик*.

«Вы же видите, я сплю», — отозвался *Ребе* и на всякий случай закрыл второй глаз.

«Врете, не спите. Вы никогда не спите. Я даже вас боюсь».

«Сейчас я проснусь, вызову сестру, и она даст вам таблетку».

«Перестаньте. У меня к вам вопрос».

«Я уже сто раз говорил: в городе Аккермане не был, с мадам Аккерман не знаком».

«Я о другом. Вы можете мне объяснить, отчего у меня по ночам так потеют яйца? А?»

Словно машинным маслом облили».

«Об этом вы тоже сто раз спрашивали».

«Вот то-то. У вас не потеют. У *Профессора* тоже. Или, может быть, в меру. А у меня так прямо капает с них».

Он сполз на пол и зашлепал босыми ногами в туалет. Через минуту оттуда, будто ливень по крыше, зашумели бьющие о пластиковую занавеску душа струи воды.

Ребе открыл глаза. Охотник на шкафу надувал щеки, но рог его безмолвствовал. *Ребе* вспомнил, как *Учитель* говорил весело: многие беды человечества происходят оттого, что тираны мало спят. Наполеон, например. Или Ленин. Наш усатый владыка тоже любит варить свою кашу по ночам. А насколько меньше зла было бы в мире, если бы все они крепко, без просыпа спали, ну, хоть десять, а то и двенадцать часов в сутки...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1

Черт его знает, спит он, этот Ребе, или вовсе не спит? Ночи напролет лежит вот так, не шевельнувшись, на спине, со своим страшным, открытым, немигающим глазом... Сколько их всё-таки было там подследственных, в этом сволочном аккермановском деле?.. Сперва — восемь, это точно, те, кто сидел за пасхальным столом. Потом, когда начали раскалываться и называть имена, десять, двенадцать... А сверху давили — требовали еще. У генерала, начальника областного управления любимое слово: *старайся*. В мягких сапожках неслышно появлялся в кабинете, стоял пообок (рука понаполеоновски — за бортом мундира), дышал коньяком и хорошим ужином. «Старайся! — кричал. — Выявляй! Без пощады выявляй! Выколачивай! Имэна пусть дает! — щеголяя кавказским акцентом в подражание главному, что над столом на портрете. — Имэна!» И они старались, выявляли, выколачивали, потому что знали: одна надежда — если зачтут, что очень старался.

Старик (тогда еще вовсе не старик — добрый молодец!), конечно, тоже старался, тоже кричал, колотил кулаком по столу, по лицу сидящего перед ним человека, забывался, но страх снова перехватывал дыхание — вот этак и его распластает, как цыпленка, и положат на раскаленную сковородку, — и от страха начинал еще пуще кричать и колотить.

Когда *постарались*, имен набралось пятнадцать или семнадцать. Сейчас уже в точности не установишь. Но, кажется, на семнадцатом он и выбыл из игры.

Старик поднимал голову от подушки, приглядывался к остро очерченному профилю *Ребе*: мучительно чудилось, что в проклятом аккермановском деле именно *Ребе* был этим семнадцатым, его последним. Иначе почему именно *Ребе*, с той минуты, как встретились здесь, в *Доме*, так навязчиво разрушает положенный ему, *Старику*, на старости лет душевный покой?..

В жизни, конечно, много было всякого, о чем теперь не хотелось вспоминать, но только аккермановское дело, в котором всё перемешалось, перепуталось — правый и виноватый, охотник и дичь, угрожающий и уstraшенный, — только это дело не хотело теряться в пыльной кладовке памяти, тревожило снова и снова, резало, саднило, как незажившая рана. «Постарайся, прижми-ка этому пионеру-герою яйца, чтобы язык заработал!», — командовал генерал, и он, *Старик*, а тогда ох какой еще добрый молодец, старался, прижимал, а генерал тут же рядом, чуть в сторонке, переступал ногами в мягких сапожках и, склонив голову набок, смотрел, как он старается, *прижимает* и как у заупрямившегося было подследственного начинает работать язык.

Вспоминая, *Старик* только понять не мог, зачем ему так хочется услышать от *Ребе*, что он, и правда, проходил по этому поганому аккермановскому делу. Зачем он, приступая к *Ребе* с допросами, всякий раз с тайным страхом и мучительной надеждой ждет, что тот

вдруг изменит своей блаженной тихости, перестанет темнить со своими дурацкими вычислениями и отгонять паутинки от глаз, заорет с ненавистью: «Да, я сидел за праздничным столом у Иды (или Фиры, или Софы — как ее?) Аккерман, макал мацу в красное вино, жевал горький лук и сладкую фаршированную рыбу, и за это ты прижимал мне своей железной коленкой яйца, и вот теперь я не сплю по ночам, слушаю, как ты дышишь, потому что от доктора Лейбница выведал, что однажды ночью ты — тик-так — и перестанешь храпеть!» Чего он хочет, вымогая из *Ребе* признание? Зачем стремится разрушить покой, обретенный в последние годы жизни? Но в душе жгло, и дергало, и свербило, и так хотелось, так необходимо было объяснить *Ребе*, что всеми *стараниями* и *прижиманиями* он, *Старик*, желал того *Ребе* или не желал, сотворил из *Ребе* героя и жертву, тогда как сам он со своими *стараниями* и *прижиманиями* был зерно меж двух жерновов: с какой стороны ни глянь, всех хуже, мерзее, больнее было в этом деле ему. Что хотя в оборот взяли всех этих несчастных *ребе* — восемь, двенадцать или семнадцать — главный удар в завершение должны были нанести по нему, по *Старику*, тогдашнему доброму молодцу, по таким же *добрым молодцам*, как он. К тому времени оставалось их в управлении не семнадцать, не двенадцать, не восемь даже, а — пересчитать на одной руке, да и из тех, что на одной руке, еще не покончив с аккермановским делом, успели изъять Когана, самого старшего и опытного.

2

А началось всё с того, что восемь человек, мужчин и женщин, собрались за столом у своей знакомой, зубного врача Иды (или Фиры, или Софы) Аккерман, чтобы справить еврейскую пасху. Среди этих восьми находилось, само собой разумеется, доверенное лицо, составившее тотчас по окончании праздничного ужина соответствующую бумагу с подробным изложением всех событий, которых стало свидетелем: перечислены были блюда на столе, и разговоры вокруг стола, и рассказанные анекдоты, и провозглашенные тосты. В тостах и была вся механика дела, и не в тостах даже, а в одном-единственном тосте, когда все собравшиеся за столом *возбужденно и радостно*, как сообщало доверенное лицо, сдвинули наполненные бокалы и объявили, что желали бы в будущем году в этот самый день оказаться в Иерусалиме. Это было *хорошее кое-что*, как выражался в подобных случаях генерал, начальник управления: попытка бежать за рубеж тянула на высшую меру, а тут к тому же коллективная попытка, группа, сговор, а хочешь — заговор. *Сочное дело*, — генерал, округлив пальцы, будто держал в ладонях тяжелый зрелый плод, яблоко, например, еще лучше — персик. Страна уже разобралась с космополитами, в Москве взяли членов Еврейского антифашистского комитета, прикрыли еврейское издательство, газету — и палец не надо было слюнявить и поднимать, чтобы понять, куда ветер дует.

Аккермановское дело отдали им троим, всем, кто еще оставался на одной руке, — Когану, Фрумкину и ему, *Старику*. Точнее сказать,

Коган, умница, стратег, и обернул эту бодрягу с анекдотами и фаршированной рыбой, тянувшую школьным сроком за трепотню, в настоящее большое дело. В сочное дело.

Первым номером Коган притянул самого своего сотрудника, информатора, и заставил донос переделать на явку с повинной: тут появилась и группа, и разработка планов бегства, и руководитель — эта самая Ида Аккерман, зубной врач и агент иностранных разведок. Генералу хотелось поначалу видеть во главе заговора мужчину (кавказские понятия), но Коган, стратег, кивнул на Голду Меир и еще кое на кого из наших, на самом верху, — получалось, что баба даже как-то больше подходит к моменту. Участники пасхального ужина у госпожи Аккерман, под который была замаскирована тайная сходка, раскальвались быстро: действовали физические методы воздействия и угрозы по адресу членов семьи, некоторые же, и того более, будто не понимая, что накликают на себя, с какой-то странной готовностью и даже ответственностью включались в шахматную партию, которую принуждали их играть.

Месяца через полтора после начала работы исчез Коган. Кто приказал, что шьют, даже где находится — неизвестно. Генерал, как ни в чем не бывало, неслашно прохаживался в своих сапожках, тоже, между прочим, стратег, лишнего не скажет, а если обронит словцо, то, будьте уверены, не случайно. И вот из таких-то крох оброненных стало выявляться как нечто вроде бы само собой разумеющееся, что место Когану, похоже, выявляется в том самом аккермановском деле, которое по его же проекту аккуратнo, как гнездо ласточки, лепили в управлении. Они остались на этом деле вдвоем с Фрумкинoм, и оба понимали, да что там понимали — потрохами чувствовали, что обречены, и оба очень старались в надежде на чудо, и поневоле состязались один с другим, утверждая себя в добром мнении начальства, отвоевывая один у другого лишний пятачок в пространстве времени, которое было отпущено, и опасались один другого, и когда генерал как бы невзначай спросил у Старика, не нужна ли ему помощь, Старик, хоть тотчас и смекнул, что такой же вопрос генерал задал Фрумкину, понял так же, что этого вопроса они с Фрумкинoм друг другу не простят.

Семнадцатый в деле, его последний, и появился в тот последний день, точнее — в ту последнюю ночь, которую он, Старик, провел в угрюмом и уже ощущаемом не столько привычным, сколько враждебном и опасном здании управления. Он уже не помнил лица семнадцатого, помнилась только плешивая узкая голова со впальми висками и удивившая привычка будто муху от глаз отгонять, точь-в-точь как у Ребе. Старик забыл также фамилию семнадцатого, в самом деле забыл, не придурился (позабудешь, если со всего маху огреют тебя по башке обрезком железной трубы!), помнил, однако, что тот был учителем математики — потому помнил, что генерал, когда привели семнадцатого, сказал весело: «Этот Пифагор, если постараться, может очень интересную теорему доказать». Но семнадцатый, как ни старался, бормотал что-то ненужное и отмахивался. Генерал молча прохаживался в своих сапожках за спиной Старика, и Старик, от-

лично постигшему признаки начальственного неудовольствия, казалось, будто позади него раскачивается огромный черный маятник и острым концом туда-сюда чертит линии на его спине. «Тебе, наверно, отдохнуть пора, — генерал зевнул, будто разговор затянулся (а всего каких-нибудь полчаса прошло), дохнул на *Старика* коньяком. — Отдай его Фрумкину. Пусть Фрумкин постарается». Неслышно ступая, вышел из комнаты. Ну всё, — понял *Старик*. — Хана!..

3

Старик сел на кровати, свесил ноги, потер колени. *Ребе* лежал на спине, сложив на груди руки, неподвижно, как покойник. Спит или не спит, — приглядывался *Старик*. — Черт его знает, у него никогда не поймешь. Открытый глаз *Ребе* неприятно поблескивал в темноте. «Вы спите?» — спросил *Старик*. *Ребе* не отозвался, конечно. «Я же знаю, что не спите». *Ребе* молчал, но вот, будто против воли, поднял руку, провел перед лицом ладонью. «Я же говорю, не спите. А?.. Вы слышите? Пусть не Аккерман. А человека по фамилии *Фрумкин* вам приходилось встречать?» *Ребе* хотел было пригрозить, что вызовет дежурную, но, чтобы не затевать разговора, промолчал, с шумом выпустил набранный в легкие воздух, потянул козырек фуражки пониже на лоб. «Вы только скажите, да или нет, что вам стоит. Фрумкин? Такая обыкновенная фамилия: Фрумкин, — попросил *Старик*. — Да или нет?»

Пойти, что ли, в туалет от него запереться, — подумал *Ребе*. — Не станет же он ночью колотить кулаком в дверь.

Но в этот момент поступил сигнал.

Ребе сначала даже не поверил: в такое время, среди ночи, сигналы поступали крайне редко. Может быть, это охотник на шкафу затрубил в свой рог? Но месяц уже проплыл мимо окна, и одинокая фигура охотника немо чернела в темноте. Он между тем ясно чувствовал поступление сигнала. Он понял, что происходит нечто чрезвычайное. Всё в нем напряглось, как в древесной почке, прежде чем лопнет кожа и, расправляясь, вырвется наружу зеленый листок. Он стал ловить направление. Но будто какая-то аппаратура в нем разладилась: едва ли не впервые он не в силах был усвоить задачу. Волны метались, кружили по комнате, не желали расправляться в линии, слепили яркими всполохами и ослепляли его. Он вспомнил, как они с Игнатием Горбылем, был у него такой кореш, однажды захвачены были в поле сильнейшей грозой. Поле казалось котлом, накрытым темной тяжелой крышкой, — этой крышкой было небо, желтые молнии с оглушительным грохотом ломали его на куски. Молнии крушили небесное тело прямо над ними. Старый дуб развалился под ударом невидимого гиганта дровосека. И с каждой вспышкой они с Горбылем пригибались и вжимали голову в плечи, и ждали, что следующая молния ударит точно, не промахнется. «Тут мужик, как в очко, — между двумя ударами грома крикнул Горбыль, утирая мокрое лицо. — Либо ты, либо я...» Либо ты, либо я, — подумал *Ребе*. — И вдруг ему совершенно ясно сделалось, что всю набранную энергию он должен —

таков сигнал — не думая о дальних маршрутах, немедленно передать *Старику*. Такого быть не может, пробовал он сопротивляться, уже чувствуя, что решение принято, но не желая поддаваться. И тут он увидел *Учителя*. *Учитель* появился откуда-то из-за деревьев, прямые стволы сосен были как протянутые в небо медные струны. С раскрасневшихся щек *Учителя* стекала седина бороды. Его влажные синие глаза смеялись. «Вспомните Иону пророка. Как отбивался он от воли Того, кто призвал его (*Учитель* всегда говорил о Боге — *Том*). Как не хотел облегчить участь грешной Ниневии. Но *Том* укорил его: Мне ли не пожалеть не умеющих отличить правой руки от левой?..

4

Тяжелая дверь управления вытолкнула его на улицу. Быстрым уверенным шагом, будто по делу, чтобы, если генерал, или Фрумкин, или другой кто-нибудь смотрит из окна, видел его уверенность, этот деловой шаг, он пересек улицу, по другой стороне (чтобы видели, если смотрят) отмаршировал до угла, свернул и только тут, за углом, сперва обернувшись (никого!), взглянул на часы.

Был второй час ночи. Домой идти не хотелось. Ему никогда не хотелось идти домой. Ему нечего делать было дома. Жену он не любил. Он был уверен, что никогда не любил ее. Может быть, сначала увлекся немного, но первых же недель совместной жизни оказалось достаточно, чтобы осознать свою ошибку. Он не понимал, как случилось такое, что эта скучная, с юных лет выдохшая душой и телом особа в пору ухаживания и жениховства чудилась ему полной жизни девушкой, к тому же начитанной интересной собеседницей. После свадьбы он понял: в ту сладкую пору ее оживляла надежда выйти замуж, на что она, наверно, и не рассчитывала (слишком мало женихов осталось после войны в России), а основой ее начитанности был журнал «Огонек», получив который в выходной день, она потом всю неделю тщательно штудировала от фотографии на обложке до кроссворда на последней странице. В постели она тоже была неинтересна — холодна и безучастна, и то, что он, здоровый мужик, не мог победить ее безразличия, тоже отвращало его. Садясь обедать, он раздраженно перекидывал развернутый номер «Огонька» со стола на диван, а после обеда, прилегая покурить и поразмышлять на досуге, снова возвращал журнал на стол, стараясь при этом не спутать открытую страницу: жена в таких случаях начинала ворчать, точно «Огонек» какой-нибудь тысячестраничный фолиант и найти в нем то место, которое читал час назад, составляет неимоверный труд. Впрочем, по-семейному сидели они за трапезой крайне редко: обедал он обычно на службе, задерживался там далеко за полночь, нередко до утра, не раз бывало, возвращался домой, когда она уже собиралась на работу, в свою контору — он валял ее на кровать, она сопротивлялась: ей не хотелось потом снова одеваться, причесываться, красить губы; они соединялись коротко и раздраженно.

Детей у них не получалось. Он винил в этом ее холодность, она же вычитала в своем «Огоньке», что причиной мужского бесплодия

является перенесенная в юности венерическая болезнь, и подозревала его в этом. Он знал, что она его не любит, но разойтись они не могли: это тотчас сказалось бы на его служебном положении. Однажды он вычитал где-то словесный оборот — *скованные цепью*, и теперь этот оборот постоянно возникал в его памяти, когда он думал о себе и о ней. Светлые, то ли сероватые, то ли голубоватые глаза жены с годами казались ему всё более блеклыми, почти бесцветными, как и ее белокурые волосы, пересушенные перманентом.

...Он постоял несколько минут за углом. На темной улице никого не было. Он знал, что пойдет к Татьяне, в такую ночь ему некуда было больше пойти, но он, по привычке, медлил, озирался и просчитывал. Татьяна была его тайна, его опора и, кажется, единственная на этой земле его любовь; ему даже подумать было страшно, что то, что происходило между ними, может быть разрушено, осквернено чуждым взглядом и словом.

5

Они познакомились полтора года назад в электричке. Он возвращался с выданного ему на службе садового участка, где, имея возможность для того лишь в редкие дни, с медлительностью, уже у него самого вызывавшей смех, пытался возвести небольшое, пригодное для жизни и ночлега строение. Был воскресный вечер. В вагоне было тесно. Напротив него, почти упираясь коленями в его колени, сидела женщина, может быть, чуть постарше его, если еще не под сорок, то прилично за тридцать, он сначала и не приглядывался к ней: протиснулся, высмотрев свободное место, повозился, устраиваясь, кое-как вытянул из кармана газету, уткнулся глазами в тесные, липнущие одна к другой строчки. Она первая его окликнула: «Приедешь домой, вели жене штаны зашить». (Приметила порванные на колене рабочие брюки — зацепился о гвоздь, а иголку с ниткой с собой не захватил.) «Мужик видный, а штаны рваные». Это *мужик видный* ему польстило. Он поднял голову: загорелое скуластое лицо, косынка, красные ягодки сережек... Таких на любой стройке считать не пересчитать. Вот хоть высунись из окна электрички тут, там вдоль по насыпи бабы машут кувалдами, таскают тяжелые шпалы — тотчас ухватишь взглядом такую же точно. Она смотрела на него и улыбалась, широко, весело. «А если жены нет? — принял он шутку. — Может, ты зашьешь?» В глазах у нее что-то темнело, перемещалось, появлялось и исчезало, как в глубине желтоватой, тронутой рябью воды, когда смотришь с моста в небыструю речку. «Ишь, какой смелый! — она улыбалась и приглядывалась к нему будто испытующе. — А если что пришью?» Сидевшая рядом с ней женщина в брезентовой робе (после выяснилось, что не с ней ехала, — незнакомая) громко засмеялась. «Ну, разве что меня к себе пришьешь, — повернул он по-своему. — Я согласен». Она вдруг перестала улыбаться. «Ладно. До города доедем, видно будет». Он почувствовал, что лицо у него покраснело, что голос сорвется, если он заговорит. Уткнул глаза в газету и молчал до самого города (благо, недолго оставалось), не спозная взглядом с первой под-

вернувшейся строчки: *что определяет задачи нашей станкоиндустриальной промышленности*. Когда поезд остановился, все заторопились выходить, вышла и женщина в робе, а эта, выгудив из-под скамейки кошелку с каким-то барахлом, всё сидела, пока он, помешкав, растерянный, как подросток, не поднялся с места. Тогда встала и она, поймала жесткой ладонью его руку: «Ну, что? Пойдем, что ли?»

6

Он никогда никому не доверял, а ей как-то сразу доверился. Пугался иной раз: как же это он так распустился; кто-кто, уж он-то знал, что доверять нельзя никому, что каждый, и тот, о ком никак не предполагаешь (такой раньше иных прочих), может, волею или неволею, предать тебя, что жизнь есть система расставленных капканов, и каждый в ней, опять же волею или неволею, охотник и заяц одновременно. Порой, захлестнутый страхом, он начинал размышлять, как бы ему осторожно, «по-хорошему» отвалить от Татьяны, и всякий раз, размышляя о том, не то что умом — сердцем, всем существом своим сознавал, что по своей воле не откажется от нее, что, если было и есть в его жизни хорошее, о чем думать радостно, то всё это радостное сосредоточилось в скудастой женщине с жесткими ладонями, сокровенные прикосновения которых бывали подчас особенно, до нетерпимости острыми.

Мысли о Татьяне пробуждали, иногда в самую неподходящую минуту, его мужскую силу; но это не была тяжелая, грубая, даже насмешливая страсть, к которой он привык. Оставаясь с Татьяной, он не испытывал жестокого желания подчинить ее себе, тем более унижить, как прежде бывало у него с женщинами, — когда он был с ней, ему хотелось угадывать самые заветные ее желания, приноровляться к каждому едва уловимому ее движению, во всем подчиняться ей. С ней он впервые изведal ни с чем не сравнимую прелесть нежности не в женщине — в себе: подчас взять ее руку и поцеловать теплую, чуть влажную жесткую ладонь ощущалось им такой близостью, которой уступала самая полная близость с другой женщиной.

Он вспоминал потом (тогда об этом не задумывался), что, когда оставался с Татьяной, сам акт телесной близости не был столь продолжительным, не занимал всё или почти всё отпущенное время свидания, как происходило у него прежде (и потом) с другими женщинами. Разговор за чаем с мирабелевым вареньем (Татьяна не отпускала его, не напоив чаем) оказывался для него не менее желанной близостью, чем телесное соединение. И это было тоже открытием, чем-то новым — радостным и привлекательным.

Трудно устроив свое большое тело на табурете за крошечным столом, приткнутом в углу Татьяниной каморки, он зачерпывал ложечкой из стеклянной банки приятно кислые желтые шарик и с незнаемым доголе одушевлением рассказывал сидящей напротив женщине о своей жизни. Никогда еще не было рядом с ним человека, которому он хотел бы рассказывать о себе. Это была выучка — жить за семью печатями, жить как бы зеркалом, отражающим, но

непроницаемым. Он и вспоминать не любил: вспоминая, он на каждом шагу наталкивался на нечто, о чем вспоминать не хотелось, — теперь, возле Татьяны, он почувствовал манящее очарование прошлого, накопившегося в его тогдашние тридцать с небольшим. Татьяна будто сорвала запретные печати, и он щедро водил ее по дорогам и тропкам того мира, который успел создать за прожитые годы в своей памяти и воображении. Приукрашал, хвастал, привирал, конечно, но и не щадил себя, сокрушенно вытягивал из тайников заветное, что заталкивал прежде в самые дальние и темные углы, — с Татьяной он, тоже впервые, узнавал радость покаяния. И когда она, обрывая его исповедь, прижимала к его губам свою ладонь, это было словно отпущение грехов.

Самое замечательное (это, казалось, должно было останавливать его), что сама Татьяна говорила о себе скупой и неохотно. Если он принимался выспрашивать ее, смеялась: «Моя автобиография простая: год рождения, год смерти, а посередине черточка». Но по всему, по всей хватке ее угадывалось, что позади у нее немалое обжитое пространство, радости и страдания, любовь, наверно. Иногда он видел у нее книги, ни авторов книг, ни названий он прежде не слышал (он, правда, читал теперь мало, времени не оставалось, газету разве или оставленный женой на столе «Огонек»). «Про что это?» — кивал он на книгу. «Все книги про одно, — отвечала Татьяна. — Про мечту». Иногда по едва уловимым признакам он чувствовал, что с Татьяной произошло что-то или происходит, он приставал к ней с расспросами, она отмахивалась, смеясь: «Что у меня может случиться? Со мной и случиться-то ничего не может». Но и это ее немногословие, пугающее, иной раз и обидное, не разъедало его доверия.

7

Татьяна жила недалеко от вокзала, в одноэтажном барачного типа здании какого-то малоприметного технического учреждения. В торцовой части здания имелась каморка, предназначенная то ли для дворника, то ли для вахтера. (Татьяна вполне успешно совмещала обе эти должности, а при необходимости выполняла также работу секретаря и счетовода, даже иногда чертила кое-что, — наверно, за эти заслуги и досталась ей по тому времени завидная жилплощадь.) Удобно было, что в каморку вел отдельный вход, притом не с улицы, а со стороны пустыря, куда глядел торец барака. Пустырь, огороженный проломанным во многих местах забором, был вдоль и поперек перерыв траншеями: чуть ли не до войны здесь наметили строить ДК железнодорожников, но денег всё не хватало и строительство откладывалось с года на год.

Старик, именно до этого часа еще *добрый молодец*, внимательно оглядевшись, свернул с Вокзальной в тупик, вдоль которого тянулся забор, снова огляделся, не свернул ли кто следом, прошел пару сотен шагов в конец тупика, огляделся в третий раз (никого!) и быстро нырнул в хорошо ему знакомый пролом. Высоко над пустырем висел полный круглый месяц, тусклый, как оловянная тарелка, и та-

ким же тусклым был лежащий на пустыре снег, расчерченный линиями черных по срезу стенок траншей и вырытого неведомо когда под фундамент котлована. *Старик* шел осторожно, глядя под ноги, на каждом шагу нащупывая неровности промерзшей, припорошенной снегом земли.

Эти трое появились неожиданно: продрались сквозь какую-то щель далеко впереди и тотчас повернули ему навстречу. Три силуэта — сразу угадываются крепкие мужики: завяжется драка, с такими не сладить, тут же и уложат. Они шли навстречу и перебрасывались негромкими словами, до него доносились ругательства и неприятный, грозящий бедою смех. «Чужие или свои?» — полоснул вопрос; тотчас вылепился в воображении генерал-начальник, маленькие шаги, маленькая белая рука за бортом мундира: если *свои*, пощады не жди, конец. Двое, косая сажень в плечах, поталкивая друг друга на узкой тропе, шли впереди, третий, выше их ростом, странно припрыгивая, будто перескакивая с кочки на кочку, поспешал следом, то и дело взвизгивал смехом. *Старик* (*добрым молодцем* времени быть не осталось), коли уж не разминуться, решил уступить и сошел с тропы и остановился, пропуская недобрых встречных. По смеху, по походке, по всему облику эти были всё же не *свои*, но кто их знает, моги и придуряться. «Неужели Татьяна?» — согрешил он мыслью, и снова дверь приотворилась, генерал стоял на пороге, хитро на него поглядывая. Ну, нет, если и в Татьяна разувериться, тогда всё к черту, пусть убивают. Трое были совсем рядом, они подходили молча, он слышал их громкое сопение, и худой не оступался и не смеялся больше. Сейчас закурить попросят, подумал *Старик*. Он почувствовал щекотливую пустоту в животе, ноги у него дрожали. Но они не попросили (он даже успел понадеяться, что страх его напрасен: идут люди, и пройдут себе мимо), — порывавшись с ним, тот, что шел первым, развернулся и с бычьей силой ударил его кулаком в лоб. Он сразу поплыл и, оседая на землю, почувствовал, как ударили еще раз, и еще. (Кастет, наверно, соображал он.) Кричать он не мог, да и смысла не было, только себе во вред, как не мог, да и смысла не было сопротивляться, и пока трое мужиков, продолжая наносить удары, ворочали его большое тело, стаскивая пальто и прочую одежду, душа как бы со стороны созерцала еще некоторое время то, что происходило на пустыре под смутным оловянным фонарем безликого месяца, ловила хриплые злые слова, будто заглушаемые лихорадочным тараканием движка. «Штаны замочил сука... ничего анюта отстирает... ишь жопу наел смотри какой арбуз... ты павлик не заглядывайся... драть дома будешь...» (Это, наверно, длинный, Павлик... — догадывался для чего-то. — Смешливый...) «... клади всё в мешок... .. дышит?.. готов вроде... затяни мешок покрепче» (В пиджаке удостоверение сотрудника управления — катастрофа! — плеснуло последний раз в сознании.)

Рано утром тело обнаружил в траншее случайный прохожий, завернувший на пустырь по нужде.

8

Старик, к удивлению докторов, выжил.

...Когда он, наконец, очнулся, он сразу — одним куском — вспомнил всё: и тусклый месяц над пустырем, и черно-белый чертеж котлована, и силуэты тех, кто его убивал, их слова и удары, и поганный смех долговязого, всю мерзость, пережитую до той минуты, когда он окончательно провалился во тьму. Врач слегка пожимал ему руку, как бы желая разбудить его; эти прикосновения, хоть и отзывались болью во всем теле, были приятны. *Жив*, понял он, и сознание того, что жив, обдало его радостью, но он продолжал лежать, не открывая глаза, чувствуя всем телом растущую силу притяжения Земли. И вместе с радостью возвращения к жизни муравьиными тропками спеша вползал в руки, в ноги, в сердце съедающий радость страх: генерал мягко прохаживался по кабинету, *старался* обреченный Фрумкин, аккермановское дело крутилось, зачерпывая лопастями всё, что попадалось на пути... *Ах, да, еще служебное удостоверение в кармане пиджака...*

«Обрезком железной трубы... — говорил кому-то врач. — Чуть пониже — и конец...»

Кто-то аккуратно покашлял, спросил:

«Какие возможны последствия?»

Голос был знакомый.

«Последствия непредсказуемы, — ответил врач. — Не исключены двигательные, речевые расстройства. Амнезия». И пояснил: «Потеря памяти...»

И тут же резкая, как молния, мысль ослепила *Старика*. Он внутренне собрался в комок, как перед выходом на арену, и — открыл глаза.

Рядом с доктором, тоже в белом халате, но не совсем по росту и надетом так, как бывают надеты на посетителях, стоял знакомый ему сотрудник управления. Пугая гостей широкой улыбкой, особенно нелепой на его разбитом, выглядывающем из-под бинтов лице, он переводил радостный, ласковый взгляд с одного на другого и тихо смеялся...

Так будет он смеяться два с половиной года, внимательно до изнеможения день и ночь следя за каждым своим дыханием, пока не настанет время выздоравливать (да и то не сразу), чтобы потом, получив инвалидность, перебраться за Уральский хребет и там, в другой части света, начать жить сначала.

9

Снова оказавшись на воле, он узнал, что жена за эти годы сумела оформить развод и снова выйти замуж, и подивился тому, что кто-то способен жить с этой скучной, холодной женщиной и, может быть, даже любить ее. Всё его семейное прошлое воплотилось в наспех выдернутом из середины «Огонька» листе с репродукцией — ребенок, стоящий под яблоней, тянется ручонкой к свисающему с вет-

ки тяжелому золотому плоду. В этот лист были наспех завернуты шерстяные носки, положенные в чемодан вместе с остальными считанными, принадлежащими ему, по мнению жены, вещами. Заранее собранный ею чемодан терпеливо ждал его в прихожей. Он взял чемодан и ушел, не заходя в комнаты.

Барак, в котором жила Татьяна, давно снесли. Да и пустыря больше не было, на его месте стояла серая пятиэтажка. Он стал было узнавать, куда перебралось техническое учреждение, но, оказалось, что и учреждения такого больше не существует. Всё вокруг втолковывало ему, что он обречен начать новую жизнь с нуля, и он подчинился этому. Возле него менялись другие женщины, он даже снова женился, и снова неудачно, но того, что довелось ему испытать с Татьяной, никогда не испытывал больше. И он снова и снова не то что бы просто вспоминал — проживал заново эти, в общем-то, немногие и всякий раз недолгие их встречи, от прикосновения ее руки, когда она, отворив ему дверь, быстро подносила жесткую ладонь к его губам, до приятно кисловатого вкуса мирабели во рту, долго сохранявшегося после того, как он с осторожностью и оглядкой выбирался из ее каморки.

Однажды, когда они пили чай (это было одно из последних их свиданий), она сказала: «Если забеременею, нипочем не стану избавляться, рожу себе парня». Засмеялась: «Или девочку. Но парня лучше». Он ничего не сказал, даже посмеялся вместе с ней, он верил, что она не сделает ничего, что было бы дурно для него, но ее слова, тем не менее, огорчили его: появление ребенка было бы чем-то ненужным, неудобным, беспредельно осложняющим их отношения. Вспоминая этот разговор, он предполагал иногда, что Татьяна затеяла этот разговор не просто так, не вообще, а желая предупредить о том, что уже совершилось, и теперь, годы спустя, ему странно и приятно было думать, что вдруг где-то на белом свете, скорее всего, ничего о нем не ведая, живет его сын, и изобретать в воображении, как некая неожиданность, на которые щедра жизнь, возьмет да и сведет их. И когда сорок лет спустя в дальнем сибирском городе его, обитающего в скудости и немощи пенсионера, нашел немолодой господин с усталыми недобрыми глазами и обрюзгшими щеками, по облику и повадкам новый преуспевающий деловой россиянин, и объявил, что Татьяна Ивановна перед смертью просила позаботиться о нем, *Старик* не то что бы не удивился (конечно, удивился! еще как удивился!), но при этом встретил нежданного гостя с какой-то вдруг охватившей его убежденностью, что именно так оно и должно быть. Господин делово объяснил *Старику*, что имеется возможность обеспечить его дальнейшую жизнь в Германии или Израиле, как он захочет; в Германии, однако, по всему удобнее, и в климатическом отношении тоже, а он смотрел на прищельца и искал сходства с Татьяной, и не находил, пока не спохватился, что тот, наверно, похож на него.

...Что-то он не храпит, — тревожился *Ребе*, прислушиваясь к тихому, едва приметному дыханию *Старика*. — Не садится на кровать,

не пристаёт с допросами?.. Тени облаков бежали на полированном экране. Охотник с воздетым рогом то озарялся светом, то снова погружался в сумрак. Ранняя птица посвистывала в саду под окном. В тишине слышно было, как по улице, еще не пробудившейся навстречу очередному дню, проехал велосипедист.

«Вы не спите?» — чувствуя, что голос у него замирает, спросил *Ребе*.

«Не сплю», — сказал *Старик*.

«Вам плохо?» — спросил *Ребе*.

«Мне хорошо», — ответил *Старик*.

И тотчас легкая, прохладная ладонь покрыла лоб *Ребе*.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

1

На следующее утро *Профессор* впервые проспал обычную прогулку и вышел к завтраку наспех причесанный и небритый. Он дурно спал минувшую ночь. Перед сном он дочитал роман, которым снабдил его доктор Лейбниц. Роман закончился ужасно. То есть закончился он так, как и должен был закончиться, но *Профессор*, продвигаясь к концу книги, не переставал надеяться, что сам автор, как бог из машины, вторгнется в развитие действия и, вопреки всему, что написал, одарит читателя счастливым концом. Автор же, не изменяя себе, остался до последней главы суровым реалистом, не ищущим поблажек от жизни и не склонным заменять жестокою действительность сладкими грезами. А тут еще телевизионная передача, которую *Профессор* неведомо зачем остался смотреть после ужина. Ему бы вовремя обратиться к себе в комнату, послушать музыку (недавно дети прислали чудесный диск композиторов барокко — Монтеверди, Вивальди), полистать иллюстрированный журнал, пометать о том, что было бы, если бы было так, как мечталось, но *Старик*, падкий на зрелища, насел на него, зазывая к телевизору, а он не нашел решимости отказать (*Ребе* с каким-то атласом уже устроился в кресле перед экраном). И ко всему луна: мертвенный свет лиася в окно, бродил по комнате, тревожил и путал его то холодным, настойчивым блеском на стекле висевшей напротив кровати картинке, то гипсовой белизной вазочки на столе, в которую фрау Бус, желая порадовать его, вставляла иногда несколько ландышей, то черной горбатой тенью тяжелого халата, брошенного на спинку кресла, а у него не хватало ни догадки, ни сил подняться и затянуть гардину. Подушка сделалась жесткой и комковатой, больно давила затылок, каменистыми выступами упиралась в спину, впечатления прочитанного, увиденного, пережитого, одно сменяя другое, резкими, быстрыми кадрами вставали перед *Профессором*, скручивались плотным жгутом и душили его, лунный свет, белый, холодный, проникал сквозь прикрытые веки, и некому было прижать его к большой теплой груди, как прижимала няня Матреша, когда, огушенный детским кошмаром, просыпался он по ночам: «От луны смута, морок...»

Он не выдержал, что было силы придавил пальцем кнопку звонка. *Профессор* ждал, что войдет фрау Бус, проследует к нему, приговаривая что-то доброе, он услышит, как под юбкой трутся одно о другое ее толстые бедра, она обнимет его за плечи и склонится над ним, даря утешение и покой. Но в проеме отворившейся двери возникла крепкая, четко изваянная фигура Ильзе, и *Профессор*, увидев ее, тотчас раскаялся в том, что попросил помощи. Ильзе отказалась дать ему сверх обычной белой таблетки снотворного еще и желтую, какую давала ему, когда одолевала его бессонница, фрау Бус. «Вы слишком тепло одеваетесь на ночь». *Ейн, цвей, дрей* — Ильзе, решительно поворачивая его сильными руками, он и охнуть не успел, стащила с него вязаную фуфайку, которую он натянул под пижаму, взбила подушку, уложила его, как сочла удобным, задернула гардину и выключила свет. Он увидел напоследок, как в прямоугольнике открявшейся в коридор двери появился статный силуэт Ильзе, потом дверь захлопнулась, стало совсем темно.

Профессор закрыл глаза и ужаснулся навалившейся на него темноте. И было еще что-то — необычное, страшившее его. Прошло какое-то время, пока он сообразил, что это — тишина. Она заполняла пространство помещения, как воздух заполняет шар, только стук сердца, казавшийся чьими-то поспешными шагами в коридоре, отдавался в ухе, и оттого тишина была еще напряженнее и страшнее. *Старик* не храпит, наконец, снова догадался он. Может быть, *Старик* умер (с его-то диагнозом)? Ну, конечно, умер (*Профессор* был уже убежден в этом). Умер, и лежит совсем близко, за двумя дверями, и застывает, не от холода, а оттого, что жизнь ушла. И почему молчит *Ребе*? Почему не поднимает тревоги? Неужели чуткий, как стрелка компаса, *Ребе* заснул так крепко, что не слышит гнетущей тишины? Надо было встать, и пойти туда, поднять тревогу, потребовать еще снотворного в конце концов, — но *Профессору* страшно было открыть глаза, включить лампу, нажать кнопку звонка, увидеть Ильзе в проеме двери... И он лежал, погруженный во тьму и тишину, слушал суетливый топот собственного сердца, и старое его тело дрожало от холода и страха.

2

Он долго мерз, не решаясь снова надеть желанную фуфайку, и, кажется, только под утро провалился в сон, но и сон не принес ему успокоения. Он странствовал, то и дело сбиваясь с пути, по какому-то огромному непонятному зданию. Бродил по бесконечным коридорам, поднимался на лифте, и опускался, и снова поднимался, даже во сне удивляясь тому и пугаясь, что поднимается не просто снизу вверх, а наискось, по диагонали, он заглядывал в комнаты, которые оказывались то учебными аудиториями, то больничными палатами, то еще чем-то, он продолжал искать, и во сне не представляя себе ясно, кого же он ищет. Он понял это, когда на каком-то повороте увидел женщину, маленькую и ладную, в тонком просвечивающем платье, похожую на сестру Паолу из кабинета врачебной физкульту-

ры, но он-то знал, что это не Паола, а Вика. Его тело, его тотчас ставшее прерывистым дыхание, его сердце, гулко заметавшееся в груди, тотчас сообщили ему об этом. Женщина стояла к нему спиной на лестничной площадке у окна и, не отрываясь, вглядывалась во что-то, происходившее снаружи. Он тихо подошел сзади, ближе, ближе, и вот уже прижался к ней, обнял, почувствовал ее маленькие точеные ягодицы, провел ладонью по животу, она не оборачивалась, высматривала что-то вдали за окном, он осмелел еще больше, но тут будто резкий толчок, не пробуждая его, включил сознание, и он с ужасом понял, что плоть его по-прежнему мертва и бессильна. Он почти проснулся от нахлынувшей тоски, тем более (он сквозь сон чувствовал), что ему пора было встать, чтобы помочиться, но не проснулся и даже, наверно, заснул еще крепче. Он всё еще стоял у окна, но женщина уже исчезла. Внизу, под окном лежала серая полоса автобана, по которому медленно тянулась бесконечная процессия легковых машин, у каждой из них на крыше был укреплен длинный черный ящик, наподобие того, в котором возят доску и прочие приспособления для занятий виндсерфингом. Приглядевшись, он с замирающим сердцем обнаружил, что происходит нечто невообразимое: автомобили стоят на месте — движется, увлекая их вперед узкое асфальтовое полотно дороги. Что-то пугало его в этом медительном движении. Он припал лицом к стеклу: ящики на крышах машин не были принадлежностью веселых смельчаков, резвящихся в бурной стихии, — это были гробы.

3

Накануне вечером они смотрели по телевизору смешные истории про мистера Бина. Впрочем, по-настоящему от души хохотал только *Старик*. Его широкое лицо багровело от хохота. *Профессор*, хоть и смеялся, полагал нужным оправдываться: комическое мастерство актера поистине великолепно, найденная им маска убедительна, но, если вдуматься, всё происходящее перед ними достаточно печально. Обладатель одной вечной маски не может не вызывать жалость. Если представить себе, что артист Аткинсон завтра захочет сыграть Гамлета, зрители будут по привычке видеть в нем этого нелепого мистера Бина. «Да на черта ему ваш Гамлет? — заспорил *Старик*. — С этим болваном Бином он сколотил себе уже не один миллион. И еще кучу миллионов сколотит, пока всем не надоест. А тогда купит остров (если еще не купил), будет лежать под пальмой и чесать между ног». *Профессор* не соглашался. Он убежден, что в жизни артист Аткинсон, как большинство комиков, человек трагического мироощущения. Этот трагизм то и дело дает о себе знать в смешных приключениях нелепого мистера Бина. А Гамлета мечтают сыграть, наверно, все артисты, какие только есть на свете:

«Не так ли, *Ребе*?» *Ребе*, разложив на коленях таблицы с расчетами, по обыкновению, смотрел на экран несколько отсутствующим взглядом; лишь изредка он, казалось, слегка улыбался, отгоняя от глаз паутинку и за козырек натягивал фуражку на лоб. «Кто знает, — отозвался *Ребе*. — Может быть, Гамлет казался окружающим таким же нелепым, как этот мистер Бин».

Объявление о следующей передаче не предвещало ничего неожиданного. «Путешествие в мир неведомого» или что-то вроде того. Обычная познавательная программа: скорее всего, научный или видовой фильм. Но уже первые кадры оказались так тревожны, что даже Ребе поднял голову от расчетов и замер в напряженном ожидании.

Сперва на экране появилась больничная палата. Возле кровати, на которой лежал человек, видимо, только что отбывший в этот обозначенный в титрах неведомый мир, скорбно, слегка сутулясь, стоял почтенный седой господин в черном. Наверно, целую минуту, очень долго длившуюся, пребывал он недвижимым, потом закрыл простыней лицо умершего и неторопливо направился к двери. Он вышел в длинный и пустой белый коридор, тихо и плотно прикрыл за собой дверь палаты, повернул лицо к зрителям. «Рано или поздно каждый человек умирает, — раздался с экрана негромкий убеждающий голос. — Заранее подумайте о своих похоронах, заранее обеспечить, чтобы они соответствовали вашему желанию, заказать самый лучший билет для путешествия в неведомый мир, значит освободить себя и близких от важной заботы, с которой каждому из нас так или иначе предстоит встретиться».

Нет, это не для моих нервов, и уж во всяком случае не перед сном, подумал *Профессор*, но вслух произнес, стараясь, чтобы сказанное прозвучало равнодушно и даже беспечно: «Кажется, опять реклама. Пойду-ка лучше почитаю». Он слегка потянулся. «Не робейте, *Профессор!*» — расплываясь в улыбке, подмигнул ему *Старик*. — Совершите путешествие, о котором нам хотя бы рассказать, всё равно придется. Но когда, не знает никто, и этот седой зазывала на экране тоже. Меня однажды уже убили, даже в яму бросили, а я после этого еще полвека отмахал. А?» *Профессор* покачал головой, выразительно взглянул на *Ребе* («При его-то диагнозе!») и остался сидеть в кресле. Он не любил говорить о смерти и не умел думать о ней. *Старик*, чувствуя это, при каждом удобном случае с жестоким постоянством заводил с ним беседу о конечности жизни и неизбежном приближении конца, приправляя свои соображения шутками и прибаутками, конечно же, весьма неуместными. «Как же он боится!» — думал *Ребе*, не о *Профессоре* — о *Старике*, но в разговоры не вмешивался, и потому, что не имел желания вмешиваться, и потому, что, как он полагал, каждый должен сам и по-своему пройти курс подготовки к путешествию в неведомое, которое предстоит совершить.

В хорошую погоду, если была охота прогуляться подольше, они шли к вокзалу круглой дорогой, и тогда у них на пути оказывалось похоронное бюро, в одном из окон которого красовался вертикально поставленный вызолоченный гроб, напоминавший о сокровищах египетских пирамид. Витрины заведения были вообще со вкусом оформлены исполненными философского смысла натюрмортами из камня, дерева, керамики и разнообразных тканей, привлекавшими внимание прохожих; декорация к тому же часто обновлялась. Кроме того, в витринах, будто это были окна какой-нибудь художественной галереи, неизменно выставлялись акварели некой Эльзы Химмель, видимо, имевшей с бюро свои особые отношения: умело написанные

ландшафты, изображения цветов и плодов, проекты витражей. Тут же лежали и билетки с ценой, работы стоили недорого. «Были б деньги, я бы купил вот эту, — *Старик* делал знак толкавшему кресло Элиасу задержаться у витрины. — С озером». Он восседал в своем кресле на колесах, как фараон, его тяжелые щеки расплывались в улыбке. «*Профессор*, что вы там жметесь в стороне, как девственница на танцплощадке! Мы пока, слава Богу, картинку выбираем, а не кое-что другое. А?» *Профессор* покорно подходил ближе, делал вид, что рассматривает выставленные в окне работы, но взгляд его не задерживался на них, проникал в сумрачную глубину помещения, различая там тяжелые лады гробов и положенные поверх мерцающие серебристой белизной покровы. «Или эти белые лилии в синей вазе. А? — весело кричала *Старик*, точно командовал аукционом. — Это вам не то, что картинку у нас в комнатах! — (Хотя картинку, развешанные в комнатах *Дома*, скорей всего, принадлежали кисти той же Эльзы Химмель.) — А вы, *Ребе*? Что вы скажете про эти лилии?» «Я не люблю белых лилий, — *Ребе* отмахнулся то ли от своей паутинки, то ли от *Старика*. — Они слишком сильно пахнут».

Седой господин на экране убедительно рассказывал об удобствах анонимной кремации. Если вы не хотите беспокоить ваших родных и близких, если ваши родные и близкие не хотят беспокоиться или почему-либо не в силах принять на себя неизбежные беспокойства, соответствующая фирма без всякого участия с вашей стороны превратит ваше отжившее тело в горстку-другую пепла. Нужно только позвонить по телефону и сообщить, что вы умерли. Ну, и оплатить услуги, конечно. За вами приезжает автомобиль, а через определенное время родные и близкие получают прах в запломбированной урне, модель которой вы можете сами заранее выбрать по каталогу. Анонимная кремация производится согласно самым строгим правилам. Тут на экране показали огромный во всю стену холодильный шкаф, в секциях которого, как в сотах, хранятся взятые в переработку тела, упакованные в прозрачные пластиковые мешки. Два работника фирмы в светло-зеленых комбинезонах извлекали тело из мешка, натянули на него белое трикотажное белье. «У нас за таким бельем когда-то в универмаге очереди стояли», — весело прокомментировал *Старик*. Потом покойного обрядили в какое-то подобие специального мундира — темно-зеленый мундир удобно надевался спереди и застегивался на спине с помощью нескольких крючков. «Прямо генерал! — веселился *Старик*. — Только орденских планок не хватает и золотой звезды героя». *Профессор* оборвал его: «Прекратите!» Голос у него дрогнул. Он поднялся было, чтобы уйти, но, поставив минуту, снова опустился в кресло. Гроб был светлого дерева, просторный, с высокими стенками, слегка украшенными резьбой. «Ничего себе ящик! В России мы о таком и не мечтали!» — не мог утомиться *Старик*. (Ох, страшно ему, — думал *Ребе*. — Да ничего, пусть помается!) «Не кощунствуйте!» — вдруг тонким голосом закричал *Профессор*. Он побледнел, снова встал с кресла, шагнул было к двери — и остановился: в этот момент на экране возникли гигантские металлические клещи, они опустились откуда-то сверху, подхватили гроб,

подняли, подержали на весу и опустили на черную бегущую дорожку транспортера. Ладья неторопливо двинулась вперед — дальше, дальше, и вот на ее пути распахнулись тяжелые ворота и обнажилось сияющее пламенем жерло печи. *Огонь пожирающий...* — с ужасом вспомнил Профессор. — Откуда это? *Огонь пожирающий...*

А с экрана молодая красавица с ярко-голубыми линзами в глазах уже увлекательно рассказывала, что вместо того, чтобы покупать могилу на кладбище, можно захоронить урну в лесу под деревом; для этого отведены специальные лесные участки. Нестандартно и поэтично. Лесные ландшафты, предъявленные телезрителям, были, в самом деле, очень привлекательны. Имеется и морское захоронение: урну с вашим прахом берут на борт специального судна и опускают в пучину. Морские виды тоже манили воображение.

«Что скажете, Профессор? Красиво? А?» *Старик* повернулся к Профессору, точно ничего и не было между ними.

«Боюсь, эта передача не для нас, — сказал Профессор. — Начальство Дома без нашего участия решит, что с нами делать».

«Но помечтать-то можно. Тем более что есть заманчивые предложения. Вы, Ребе, выбрали что-нибудь. А?»

«Мне незачем выбирать. — Ребе потянул на лоб козырек фуражки. — Меня похоронят на кладбище Батиньоль в Париже».

«Простите... — Профессор задохнулся от неожиданности. — Вы собираетесь в Париж?»

«Неприменно. Здесь — только короткая остановка».

Старик побагровел и захохотал:

«Да вы в Доме уже шесть лет... Или семь?»

«Это неважно. Мне надо в Париже передать письмо. Я обещал. Там ждут».

«Там ждут», — сказал *Учитель*, передавая ему письмо. — Он знал, что умирает. Была новгородная ночь. Двадцатый век перешагивал во вторую половину. *Учитель* договорился с санитаром, что Ребе — тогда еще *Лев в квадрате* — поможет хоронить его. «Боюсь, не запомню места, — сказал он *Учителю*. — Кладбище большое. А здесь не то что имен, номеров не ставят». Синие, уже меркнувшие глаза *Учителя* засветились улыбкой: «Вы полагаете, я собираюсь здесь лежать?..»

Передача заканчивалась. Из телевизионного ящика неслась бодрая музыка.

«Господин Профессор, у вас процедура».

В двери стояла старшая сестра Ильзе.

4

Зачем он смотрел эту дурацкую передачу! Ведь он уже встал, чтобы уйти. И снова, как мальчишка, по первому слову *Старика* покорно опустился в кресло. Этот грубый *Старик* обладает какой-то необъяснимой особенностью подавлять его, подчинять себе. Впрочем, наверно, он сам всего более виноват в своей податливости. Несносный характер, всегда готовый к уступкам, ищущий соглашения.

Воспитанный в детстве под крылом обожавшей его, вечно зябнувшей в страхах семьи. Родители, однажды напуганные и так до конца долгой жизни не успевшие освободиться от испуга, всегда и во всех случаях ищущие возможность ладить с *ними*, с теми, кто за окном и вокруг — сверху, снизу, в учреждениях, в трамвае, на улице. И няня, найденная или дарованная им под стать: в младенчестве он прятал лицо в мягкой и теплой выемке между ее тяжелых грудей, в мягкой байке ее платья, чтобы не вдыхать, не чують, не слышать разлитого повсюду в воздухе запаха, привкуса, посвиста страха. И вот теперь, когда жить осталось несколько воробьиных шагов и, если не бояться смерти, то вообще уже нечего бояться, над ним по-прежнему властвует привычка страха, и наглый окрик *Старика*, точно команда собственного мозга, подчиняет дух и тело...

Процедура как всегда возбудила *Профессора*, но тоска, которую разворошила в душе передача, не отпускала его. Неужели всё, что ждет его впереди, удобный гроб, брошенный железными клещами на вечно ползущую ленту транспортера и пламенеющее жерло печи?.. Огонь пожирающий!.. Иногда он жалел, что оставил Россию, его воображение заполняли сослагательные мечтания — заполненные аудитории (и он на кафедре), юные лица студентов, птичий перезвон молодых голосов, покорные и смелые аспирантки, исполненные серьезного достоинства беседы с коллегами, знакомые имена которых он, среди множества новых, неведомых ему имен, еще встречает, когда попадает ему в руки российская газета, книги, им написанные, значимые, итоговые, в красивых солидных переплетах. Всё это было брошено под ноги Вике, она прошла, не испытывая благодарности, похоже, даже не заметив того, что у нее под ногами, по всему, что могло составить смысл и сущность оставшейся его жизни. Он искал в этой молодой любви продолжения жизни: он любит, он любим — он живет. Светлый месяц, проплывая за окном, с каждой ночью становился массивнее, круглее. Вика в большом, не по росту, профессорском халате сидела на диване, скрестив по-турецки ноги, воодушевленно разворачивала перед ним рожденные ее воображением видения будущего, похожие на страницы рекламного атласа туристического агентства, заполненные фотографиями ярко-синих океанов, экзотических земель, великих творений искусства и зодчества всех народов и континентов, — он увлеченно слушал ее, будто пил элекси́р долголетия. Жадно требовательная маленькая женщина, она умела взять от него, мужчины, казалось ему, вдвое, втрое более того, что он мог дать, и это тоже приносило радостное ощущение нескончаемого продолжения жизни. Она снова и снова пересказывала теорию об идеальных детях, рождаемых от *старого* (слово мучило его, но он стеснялся сказать ей об этом) отца и юной матери, и однажды почувствовала, что в самом деле беременна. Он вдруг забыл о своих опасениях, чувство присутствия рядом нового прекрасного существа охватило его. Двигаясь по комнате, он старался ступать как можно тише; находясь рядом с Викторией, сам того не замечая, прислушивался к тому, что происходит *в ней*; улыбался и даже напевал что-то. Иногда на улице ему чудилось, что сжимает в ладони трепетную нежную

ручку — он невольно подравнивал свои шаги к крошечным шажкам ни для кого, кроме него, невидимого шествующего рядом мальшша, мысленно низко наклонялся к нему, чтобы просто и весело поведать о том, что происходит вокруг. Будущий ребенок, не заботясь о здравомыслии, обещал ему нескончаемое будущее: он забывал хронологию, видел рядом с собой уже не мальшша — прекрасного молодого мужчину (нимало не похожего на его старшего сына — этот пошел в мать, в Анну Семеновну, был невысок ростом и полноват), он вел с прекрасным молодым мужчиной — сыном — ученые разговоры, спорил о политике, заглядывал в кафе выпить чашку кофе с коньяком. Но Вика, не спросясь его, избавилась от плода: «Сперва надо уехать. С ребенком мы застрянем здесь неведомо насколько». Он затосковал, по ночам вдруг просыпался в испуге, будто кто-то грубо встряхнул его за плечи, подолгу лежал тихо, сдерживая дыхание, чтобы не побеспокоить лежащую рядом маленькую женщину, за окном была черная пучина, и светлый месяц, будто переменяв назначенный ему во Вселенной маршрут, больше не плыл мимо окна по небу.

5

Роман, который читал *Профессор*, закончился ужасно.

...Профессор из романа, еще недавно такой благополучный, столь уверенно шествовавший по дорогам жизни, был повержен, превращен в ничто. Родители девчонки, которая в постели была настолько изощрена, что он подчас чувствовал себя с ней неопытным юнцом, обвиняли его в использовании служебного положения, насилии, разврате, чуть ли не в растлении малолетней. У отца девчонки обнаружили какие-то важные связи, в весьма высоких сферах начались разговоры о неурядках в университете, в солидной газете появился фельетон об университетских нравах, о той цене, в частности, которую студентки принуждены платить престарелым профессорам за нужную оценку. Имена не были названы, но ректор всё же пригласил к себе профессора, — после неприятного разговора тому ничего не оставалось, как подать в отставку. Приятели отдалились от него: он стал для них скучен, как бывают скучны неудачники. Знакомые посмеивались: неудачи кажутся смешными, если неудачник виноват в них сам. Недруги зорадствовались. Жена рассердилась, потребовала, чтобы он переехал на Мельничную, в свое холостяцкое убежище, и, не таясь, завела себе respectable любовника, директора фирмы по продаже медицинского оборудования, взамен прежнего, подающего надежды молодого скрипача, с которым встречалась в гостинице. Вся жизнь профессора из романа сосредоточилась теперь во встречах с девчонкой, разрушившей его прошлое и настоящее и сделавшей сомнительным его будущее. Она едва не всякий день прибегала к нему на Мельничную, он загодя чуял ее приближение, чтобы тут же, на пороге сжать ее в объятиях, и вспоминал знакомого добермана, принадлежавшего одному сослуживцу. Рассказывали, что пес вот так же чуял момент, когда хозяин выходил из здания университета и садился в машину, чтобы ехать домой:

именно в этот момент доберман выбежал в прихожую, замирал у двери, лишь вздрагивая иногда, поводя ушами и втягивая ноздрями воздух, и ждал, пока дверь откроется и хозяин появится на пороге, чтобы в радостном порыве броситься к нему. Девчонка (он звал ее Ли, как звали друзья и подруги, с которыми она его, впрочем, не знакомила) обсуждала с ним планы дальних путешествий, то по Африке, то по Австралии или Южной Америке, — отдыхая от любви он прокладывал вместе с ней головокружительные маршруты, прикидывая, что дальше и долгое странствие, может быть, единственный разумный выход из положения, в которое он попал (они попали). Он помечал в записной книжке, какие вещи понадобятся им в путешествии и часто навещал магазины (чего раньше терпеть не мог), деловито высматривая необходимое. Однажды профессор отправился проведать сестру, обитающую в недалеком городке, — с сестрой они дружили, но из-за его занятости виделись чрезвычайно редко. Сестра была старше его семью годами: что с ней будет и будет ли она, когда я возвращусь из Африки, печалился он. От всего пережитого за последние месяцы профессор был утомлен, нервы вконец расшатаны, он отказался от привычного автомобиля и выбрал поезд в надежде, что дорога принесет ему покой и развлечение. В вагоне он и в самом деле подремал немного, потом заказал кофе с круассоном и, чувствуя, как утишается сумятица в душе, смотрел на тянущуюся за окном реку, по которой проплывали белые теплоходы. Он предполагал провести у сестры несколько дней, но в первую же ночь почувствовал недомогание, тяжелая тоска тучей придавила его, час, другой, третий он томился в бессоннице, понял, что долее не в силах оставаться здесь, наскоро расцеловал разбуженную им, оторопевшую от неожиданности сестру, вызвал такси и помчался на вокзал. Может быть, доберманово чутье напомнило о себе?.. Ожидая поезд, он вышла в буфете две стопки коньяку, алкоголь взболрил его; по дороге в вагон вошла странная пара — рослая африканка и маленький вьетнамец с шафрановым раскосым лицом, они устроились на диване неподалеку от профессора, смешно целовались (африканка резким движением хватала в охапку своего малыша, наклонялась над ним и опрокидывала на его лицо огромную копну черных волос), пили по очереди кока-колу из большой литровой бутылки и снова целовались. За окном поднималось солнце; туман, лежавший на полях, над лентой реки, дымными волокнами тянулся ввысь, тоска профессора тоже развеивалась понемногу, он уже жалел, что напугал сестру и не провел с ней назначенного времени, — кто знает, доведется ли еще встретиться. Впрочем, и мысли о сестре оставляли его по мере приближения к дому, образы будущего овладевали им. Он, увлекаясь, думал о том, как навсегда покинет город, с которым так долго и, чудилось, прочно была связана его жизнь и который в конечном счете так безжалостно с ним обошелся, о том, как найдет для себя иное место обитания, другой город, скорей всего — и другую страну, как увезет туда маленькую Ли (конечно, чтобы жениться на ней, придется преодолеть множество пренеприятных трудностей, но о них пока думать не хотелось), и проведет остаток жизни в угодении своим

скромным прихотям и утехам любви. Конечно, Ли еще очень молода, и многое, что она желала бы испытать, уже отзвучало для него, но она любит его, и, может быть, ее любви достанет на тот, в общем-то, недолгий срок, который ему еще осталось топтаться на земле. Он же отдаст всё, что имеет, чтобы сделать счастливой утреннюю пору ее жизни, которая для него будет порой заката и ухода в ночь. С вокзала он отправился к себе на Мельничную пешком. Час был ранний, движение на улицах небольшое, от неосвещенных витрин магазинов тянуло сонным покоем, словно товары, в них разложенные, устав красоваться, задремали к утру, как прелестницы на баду. В сквере на подступах к Мельничной ему попался навстречу знакомый бездомный бродяга, который обычно ночевал здесь, а теперь перемещаясь в сторону центра, там в дневные часы он располагался у входа в торговую галерею и ставил перед собой на тротуар высокую оловянную кружку, в которую собирал подавание. Бродяга был похож на Карла Маркса — большая седая борода и седые волосы до плеч. Под курткой он носил ярко-красную рубаху. В уголке рта у него был зажат вечно дымящийся окурок сигары, борода и усы вокруг губ желтели никотином. Спальный мешок и рюкзак с имуществом были взвалены на выдавший виды велосипед, который бродяга, придерживая одной рукой за руль, катил рядом. Профессор обычно подавал ему, случалось, при этом задерживался ненадолго, чтобы услышать суждения уличного философа на тот или иной счет, нередко весьма неожиданные. Он и на этот раз принялся суетливо рыться в кармане, не в силах припомнить, куда засунул кошелек с мелочью; бродяга, коснувшись в знак приветствия двумя пальцами полей шляпы, величественным жестом ладони уверил его, что подавание можно отложить до новой встречи. Профессор пересек сквер, свернул за угол на Мельничную, и именно в эту минуту, как в без надлежащего вкуса смонтированной киноленте, из подъезда его дома показалась Ли. Она никогда не ночевала одна, без него здесь, на Мельничной, но в том-то и дело, что и эту ночь Ли провела, похоже, не одна: вместе с ней вышел из двери подъезда неизвестный профессору высокий крепкий парень в черной кожаной куртке; черный лакированный шлем мотоциклиста парень держал в руке. На улице они тотчас обнялись, порывисто, жадно, будто истосковались друг по другу, долгие годы ожидая свидания. Профессор застыл в полусотне метров от них, не в силах и страшась пошевелиться, но они, занятые поцелуем, не глядели по сторонам. На Ли была тоже черная кожаная куртка, которую профессор никогда прежде не видел, за плечами висел рюкзачок, в этом рюкзачке однажды (какой это был счастливый день!) она принесла ночную пижаму и домашние тапочки. Профессор стоял обреченно и смотрел на открывшуюся перед ним перспективу улицы, знакомые фасады домов, знакомые, с наизусть запомнившимися номерами автомобили, припаркованные вдоль тротуара... — ноги не шли, и идти было некуда; девчонка с парнем наконец перестали целоваться, подошли к стоявшему перед подъездом мотоциклу, парень достал откуда-то из-под сиденья еще один лакированный шлем, протянул Ли, она нацепила его и взобралась на заднее сиденье; парень

оседал мотоцикл. Ли крепко обхватила парня за пояс, мотор затахтал, профессор усаьшал, как Ли, перекрывая шум мотора, крикнула что-то и громко рассмеялась. Мотоцикл рванул с места. Профессор, провожая его взглядом, смотрел туда, где недлинная улица, казалось, слегка сужалась, чтобы влиться в старинную, уложенную брусчаткой площадь перед церковью, шпиль которой маячил вдали. Но парень, вдруг круто развернул сверкающую лаком и никелем ревущую машину, профессор испуганно шатнулся к стене, молодые люди промчались мимо, не заметив его...

6

Оставалось еще страниц тридцать недочитанных, но *Профессор* в отчаянии захлопнул книгу. После этой сцены с мотоциклом читать дальше было уже незачем и невозможно. Черная кожаная куртка доконала его. Именно в такую куртку мотоциклистки, прежде ему не знакомую, была обряжена Вика, когда они виделись в последний раз.

Где-то сверкал огнями, торопился в нескончаемом круговороте дел и развлечений Берлин, но в отдаленном районе столицы, где они поселились, было темно, дни и вечера были похожи один на другой. Им отвели маленькую двухкомнатную квартирку в нижнем этаже скучного многоквартирного дома, снизу доверху заселенного почти сплошь эмигрантами. И квартира была скучная, с голыми белыми стенами, они не заботились ни о том, чтобы украсить ее, ни даже о том, чтобы обставить со вкусом. Им казалось, что это лишь вынужденная, незначущая остановка на пути, как спешащий человек останавливается у светофора: вот вспыхнет желанный зеленый цвет — и можно бежать дальше. Но прошел месяц, другой и третий — в жизни ничего не менялось. Время от времени *Профессор* собирался с духом и отправлялся в учреждение, ведающее трудоустройством, — его встречали со скукой, без малейшего интереса, разве что с недоумением: ведь ему уже назначено всё положенное и необходимое для жизни. Однажды, правда, молодой человек с пухлым гладким лицом, показавшийся *Профессору* подростком, сочувственно его выслушав, «покликал» в компьютере и нашел для него должность смотрителя в парке: работа не очень обременительная и целый день на свежем воздухе. В парке имеются вольеры, где содержатся козы, овцы, а также кое-какая домашняя птица: нужно следить за тем, чтобы посетители не давали животным пищу, которую приносят собой, а покупали пакеты с кормом в специальных автоматах. Было бы стыдно поведать об этом предложении Вике; возвратившись *домой* (так приходилось теперь называть постылую квартиру, в которой они обитали), он терпеливо ждал ее, уставившись в экран телевизора. На экране показывали распродажу в каком-то крупном торговом центре: сияли, вспыхивали, гасли и снова вспыхивали лампы и неон реклам, сотни предметов разных форм, цветов размеров сменяли один другой, люди с радостно озабоченными лицами сновали во всех направлениях...

Вика всё чаще приходила поздно: она искала работу. Нужны знакомства, связи, объясняла она, нужно действовать, она не для того *позволила себя увезти*, чтобы сидеть здесь взаперти перед ящиком или обсуждать с соседями достоинства и недостатки окрестных врачей и продовольственных магазинов. Где-то там, в другом Берлине, куда *Профессор*, не имея дела, редко выбирался (очень уж угнетало его всякий раз возвращение в скучную выгородку пространства, где — он убежден был — не могли селиться его пенаты). Вика решительно лепила для себя какую-то новую жизнь, он создавал и чувствовал это, и ревновал ее к тому неведомому, что происходило с ней за пределами скучного мира, который оказался ему отведен, и понимал, что не имеет права да и не в силах хоть как-то препятствовать Вике лепить эту новую жизнь. Одно только тревожило и мучило его — возьмет ли Вика его в новую свою жизнь, которую так настойчиво и торопливо лепит. И хотя ответ был легко предсказуем и неутешителен, надежда, всё более схожая с мечтаниями начитавшегося приключенческих романов школьника, не оставляла его. Как было жить без этой надежды, когда эта надежда и была жизнь. Вика возвращалась в темноте, энергичная и веселая, воодушевленно, хотя слишком общо и коротко, сообщала ему о *проектах*, в которых предполагала участвовать (теперь в ходу стало это слово — *проект*), что-то ей уже пообещали, а что-то назревает и, похоже, скоро благополучно решится. В последнюю их пору Вика была очень жадна и откровенна в любви. После бурной близости она тотчас засыпала; он, надремавший за день, долго лежал без сна, смотрел в темноту (разве увидишь небо из окна нижнего этажа?) и утешал себя мыслью, что *так* обманывать невозможно. Он не предполагал, что ее щедрость в постели была диалогом не с ним, а с собственной совестью.

Возле Вики начал появляться Юрген, молодой и вроде бы уже преуспевающий журналист. Вика объясняла: Юрген, спасибо ему, предложил ей участвовать в некоторых его проектах. Сам парень был не словоохотлив, но часто улыбался, глаза у него были веселые. Юрген ездил на могучем мотоцикле величиной с небольшую лошадь; *Профессор* никогда прежде такие не видел. Под вечер он заезжал за Викой. Вика предупреждала, что вернется поздно. «Чао», — Юрген улыбался *Профессору* и делал ему рукой, как ребенку. Когда *Профессор* замечал, как в дверях, пропуская Вику вперед, Юрген слегка касался ладонью ее спины, сердце его больно сжималось, не от ревности — от тоскливого предчувствия. Потом он подходил к окну и, не раздвигая прозрачную ткань занавески, смотрел, как маленькая Вика, смеясь, карабкается на заднее сиденье мотоцикла; она ни разу не захотела почувствовать его взгляда, не обернулась к окну. Громадина-мотоцикла, задыхаясь от нетерпения, сползал с тротуара на мостовую, Юрген давал газ, они исчезали так быстро, точно вдруг становились невидимыми.

В тот, последний день они, сразу вдвоем, Вика и Юрген, возникли раньше обычного, *Профессор* только что успел сходить в магазин — прикупила кое-что к обеду. Первое, что заметил *Профессор*, едва они вошли, и что потом почему-то особенно пронзительно терзало

его память, была надета на Вике черная кожаная куртка. В рокерской куртке — Вика никогда не носила такую — она смотрелось по-новому и показалась *Профессору* по-новому обжигающе желанной. «Прости, но я уезжаю», — объявила Вика, едва перешагнула порог. Лицо ее было бледно. Она торопилась сказать то, что собиралась сказать. «Надолго?» — нелепо улыбнувшись спросил *Профессор*, коря себя за то, что спрашивает. «Навсегда». Немудреный диалог был будто из пьесы, наскоро слепленной ремесленником драмателем. Юрген, большой, как и его мотоцикл, стоял за спиной Вики и улыбался; глаза у него были веселые и добрые. «Признаюсь, не ожидал», — *Профессор* попробовал тоже улыбнуться. «Мы ждем ребенка. Прости». *Профессор* вспоминал потом, что после этих слов Вика подошла к нему и поцеловала его в лоб (как покойника, растревая он боль, вспоминая), но на самом деле Вика не подошла и не поцеловала. Собранный дорожная сумка стояла тут же в прихожей под вешалкой — видно, собрана была с утра, он и не заметил. Юрген легко поднял сумку с пола. «Но так же нельзя! — вдруг, сам того не ожидая, жалко закричал *Профессор*. — Нельзя же так!» Он вспоминал потом, что Вика подошла к нему и провела ладонью по его щеке (на самом деле не подошла и не провела). «Успокойся. Я приеду на днях, и мы обо всем поговорим», — сказала уже в дверях. Юрген, коснувшись ее спины и как бы выталкивая ее легким движением, обернулся к *Профессору*: «Чао». Улыбка у него была хорошая, приветливая. Профессор, вскрикивая что-то, подбежал к окну — за окном никого не было. Он отбросил легкий тюль, прижался лицом к стеклу, но мотоцикл уже растворился в воздухе. На столе в комнате Профессор обнаружил неведомо откуда взявшийся пластиковый пакет, полный крупными в детский кулачок сливами. Он потом не мог вспомнить: он ли купил их для Вики или она, уходя, оставила этот пакет. Сливы были янтарно-желтые, чуть тронутые с боку лиловым дымом. *Профессор* остановился у стола и начал есть сливы. Ему казалось, он думает о том, что произошло и о том, как быть дальше, но он ни о чем не думал, удивительно ни о чем, — просто стоял у стола и одну за другой ел сливы; руки и подбородок сделались липкими от сока. Так он стоял до тех пор, пока не съел до одной все сливы, и когда ни одной не осталось, спохватился, что съел их немытыми...

7

...Из холла доносился приятный бой часов, считавших те счастливые часы, которые только и предлагалось замечать, когда живешь в *Доме*. Он безнадежно проспал — утренний душ, бритье, прогулку. Даже повелительные позывы не разбудили его в этот навалившийся тяжелым, глухим пластом остаток ночи.

В комнату вошла степенная турчанка-уборщица фрау Экер в черном платке. «Вы, наверно, замерзли, господин Профессор. Такая холодная ночь». Она стащила с кровати мокрую простыню и не стала постилать чистую, пока не просохнет матрас.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

1

В то утро, открыв глаза, доктор Лейбниц с удивлением увидел стоявшие в стеклянной вазе ярко-оранжевые цветы *берберы*, похожие на солнца, нарисованные рукой ребенка. Он не любил берберы, они казались ему искусственными, и оранжевый цвет раздражал его своим бездумным оптимизмом. Он не любил также и не умел пробуждаться по утрам не у себя дома. Память тут же поведала ему обо всем, что произошло накануне, и он огорченно подумал, что, поддавшись настроению, возможно, в несколько часов разрушил дорогое для него сооружение, создаваемое годами, и, того более, что сооружение это оказалось не таким прочным, как ему чудилось. Загрещал будильник. Доктор Лейбниц терпеть не мог будильники, полагаясь на бесперебойно действовавший в нем внутренний указатель времени, к тому же и звук этого будильника раздражал его — будто кто-то перемалывал в кофейной мельнице осколки стекла. Лежавшая рядом женщина слегка приподнялась на локте, прижалась к нему и поцеловала его в губы. После выпитого накануне вина дыхание ее было нечистым. Во рту у доктора тоже пересохло. Поцелуй был ему неприятен. Он повел плечами, высвобождаясь из-под налегавшего на него сильного тела женщины.

2

...Накануне, после выпуска «Новостей», доктор как обычно совершил вечернюю пробежку. Впрочем, пробежка получилась не совсем обычной, даже совсем не обычной: во всем, что окружало его и в самом себе доктор чувствовал в этот вечер радостную легкость праздника. Праздничное, отливающее предзакатным золотом небо раскинулось над ним. Легкие облачка казались золотистыми парусами кораблей, неторопливо плывущих в бескрайнем просторе. В роще, в эту пору весны особенно прозрачной, напоенной воздухом и вечерней прохладой, зелеными огоньками теплились на ветвях деревьев молодые листочки. Самый воздух, в такт бегу вдыхаемый доктором, наполнился легкой хмельной силой, будоражил, торопил, — доктор едва удерживал себя, чтобы не нарушать выбранный темп. Шаг был легким, ноги касались земли легко и точно. На душе было ясно, спокойно. Мысли тоже не тревожили доктора: всё, что его занимало, в чем виделась цель жизни, именно к этому дню было окончательно решено, задокументировано и уложено в красную папку, на переплете которой доктор крупно вывел фломастером число «500».

Ровно пятьсот дней оставалось по его расчетам до отъезда на Сицилию, и на эти пятьсот дней было по датам и пунктам разложено всё, что еще предстояло сделать, начиная от переговоров с агентством о продаже недвижимости и кончая транспортным агентством, в котором он намеревался заказать билет на самолет. Доктору нравилось это число 500. Скажешь: *год и четыре с половиной месяца*, — в

этом есть что-то аморфное, нечеткое, тогда как в формуле *500 дней* звучит упругая деловитость, обязательность, высокая скорость движения. Радуюсь светлому простору неба, заметно прибавившейся долготе дня, легкости дыхания и шага, доктор взбежал на холм, крест на вершине которого означал пройденную половину пути. Христос с перебитыми ногами встретил его привычным усталым, печальным взглядом из-под сползшего на лоб тернового венца.

Возле креста доктор, как было у него принято, остановился ненадолго и принялся делать гимнастические упражнения. Он поочередно закидывал свои крепкие мускулистые ноги на невысокую ограду, окружавшую крест, широко раскидывал в стороны руки и, резко подаваясь вперед, касался концами пальцев носка ноги. Вдруг прыснул дождь, легкий и быстрый, никак не понять, откуда: небо было по-прежнему ясным, хоть и померкло несколько, всё те же редкие облачка, дымные на потемневшем его полотне, вроде бы не полинились влагой, да и тянулись стороной. Прохладные капли стекали по разгоряченному лицу доктора, плечи и спина намокли, это развеселило его. Сдерживая шаг, чтобы не поскользнуться, он сбежал с холма, потом взял нужный темп и направился в сторону дома. Дождь быстро кончился, так же внезапно, как начался. Приятно было чувствовать, как лицо и плечи обсыхают, обдуваемые прохладным встречным ветерком. Быстро темнело. Вдоль просеки и в аллеях парка зажглись фонари.

Дома доктор сбросил в передней кроссовки, быстро принял теплый душ и промокнул влагу на теле мокрой простыней. Не одеваясь, он вошел в комнату. Красная папка с крупно начерченным на переплете числом *500* лежала посреди стола. Доктор жадно отбросил крышку переплета и принялся перелистывать заполнявшие папку деловые письма, счета, квитанции, яркие рекламные листки с фотографиями домов, ландшафтов, образцов мебели, графики, карты дорог, наконец расписание авиационной компании, в котором красным маркером был помечен первый утренний рейс на Палермо. Доктор наметил взять в середине следующего месяца короткий отпуск и отправиться на рекогносцировку, никому, понятно, ничего не сообщая об этом. Ну, может быть, если Ильзе спросит, он скажет ей, что едет на неделю в Париж (когда говоришь, что едешь еще куда-нибудь, у собеседников непременно возникают новые вопросы — зачем да почему, но когда говоришь, что едешь в Париж, вопросов не возникает: всякий хочет съездить в Париж, если выпадает возможность). Доктор стоял обнаженный, держал папку в руках, каждая бумажка была ему знакома и каждая была вещественным обещанием будущего счастья, первый шаг к которому он сделает уже завтра с рассветом, когда приступит к выполнению программы первого из оставшихся пятисот дней. Он чувствовал, что даже тело его предельно возбуждено, как будто не кусок картона был у него в руках, а держал он за руки мановением волшебства явившуюся к нему женщину, которой долго добивался. Доктору неудержимо захотелось выйти на люди, не то что бы возникла потребность общаться с кем-нибудь, — захотелось не утратить в обстановке привычных одиноких

будней бездумного ощущения праздничности, кипевшего в нем колким, веселым кипением шампанского. Всей кожей чувствуя удовольствие, он натянул новую, ни разу еще не надетую белую рубашу, тут, там коснулся мягкого ее полотна душистой пробочкой от давно тосковавшего в шкафу флакона с дорогим одеколоном и, сам себе улыбаясь, снял с вешалки костюм, предназначенный лишь для самых редких и особо торжественных случаев.

3

За несколько лет жизни в городе доктор Лейбниц не набрал большого числа знакомых и всё же разглядел в полутемном зале несколько известных ему лиц, всем вместе кивнул от порога и поспешил к свободному столику в дальнем углу — меньше всего ему хотелось сейчас делить с кем-нибудь свое хорошее настроение. Знакомого официанта, открывшего перед ним карту с перечнем блюд, он задержал вопросом, не из Сицилии ли тот родом. Официант был не из Сицилии, но так получилось, что прожил на острове четыре года.

«И что же, хорошо там?»

«Если вы не надолго, ничего не найти лучше. А жить — скучно. Пока сезон, вокруг одни туристы. И все они будто одинаковые, все хотят одного и того же. А когда туристы разъезжаются, скучно от того, что вокруг никого нет. Говорят, что Сицилия — это пляж, вулкан и мафия. Но мафию за последние годы порядком прижали, ждать, что начнется извержение вулкана, интересно только первые два дня, а на пляжах в основном приезжие. Люди, живущие у моря, купаются редко, потому что всегда могут искупаться».

Доктор неторопливо тянул красное сицилийское вино и смотрел, как за буфетной стойкой проворный тощий повар в высоком колпаке, похожий на паяца, исполнял перед пылающей печью свое завораживающее действие. Вот подхватил кусок теста, ловким красивым движением перебросил с руки на руку, и еще, и еще, похлопал, погладил, снова перебросил... Красота и повторяемость точных движений, живой, дышащий огонь в печи, рассыпающийся жарким золотом (это не электрический камин-картинка с плоским изображением пламени на холодном стекле экрана), расставленные на столах свечи, загадочно выхватывавшие из полутьмы, в которую был погружен зал, фрагменты лиц и рук, и, конечно, темное красное вино, неторопливо разносимое по телу током крови, — всё располагало доктора в его счастливом одиночестве к размышлению и покою. Время от времени он поднимал свой бокал, чтобы, держа его перед глазами, сквозь налитое вино заново увидеть полнящуюся огнем печь, пекаря с его жонглерским танцем, мерцающие свечи, как звезды, разбросанные по залу. И тогда ему казалось, что яркий клубок огня, ворвавшись в бокал, разогревает заполняющую его жидкость, ворожба пекаря оборачивалась мелькающей за красной завесой чернотой, сверкающие крестики свечей вспыхивали и меркли в бездонной непроницаемой глубине. В какой-то момент он вроде бы даже задремал, но тут же одернул себя! Сегодняшний праздник — не

сладкий отдых обретения — разбег и новое начало. И пятьсот дней — 500 дней, — лежащие впереди, надо пройти уверенно и бодро, ни на шаг не отворачивая от цели. Пятьсот дней — это в конце концов всего семьдесят недель, семьдесят шажков времени, с непостижимой скоростью сглазвывающего расстояние от понедельника до понедельника. Теперь, когда каждый такой шагок означает не просто движение вперед, но приближение будущего, когда с каждым новым понедельником он будет всё глубже вступать в это будущее, всё реальнее вживаться в него, ощущать себя в нем, когда всё, что сегодня и здесь, будет всё меньше занимать его, недели замелькают с особенной быстротой.

4

Официант принес ему грапу в высокой узкой рюмке. Он отпил глоток. Пламя обожгло желудок, дохнуло в голову. Потом доктор вспоминал, что именно в эту минуту мимо его столика черным силуэтом неспешно проследовал кто-то незнакомый: «Добрый вечер, господин доктор!» Он не задумываясь ответил и тут же спохватился: доктор не любил вступать в общение с незнакомыми людьми. Кто бы это мог быть? Он не успел разглядеть лицо незнакомца — только силуэт: высокая, узкая фигура, слегка надломленная в пояснице, странный, облегающий на старинный манер, едва не до колен пиджак. Позже, вспоминая, он как-то само собой придумал незнакомцу длинный тонкий нос, гладкие волосы до плеч. Но в тот короткий миг, когда перед его взором появился и исчез этот непонятно откуда появившийся и куда исчезнувший человек, не было ничего, кроме черного силуэта и неожиданно возникшей в душе тревоги. Чтобы прогнать ее, доктор мысленно открыл красную папку с числом 500 на переплете и принялся думать о Сицилии. Это имя, как скипетр волшебника, тотчас начертало в его воображении огромное во всю стену окно, и море за окном, и небо над морем, и растворенную в воздухе полоску горизонта вдали. Доктор, как было принято в его фантазиях, стоял у окна, смотрел на море, на небо, на открывшееся перед его взором бесконечное пространство — и на этот раз вдруг ужаснулся этой открывшейся перед ним пустоте. Он поневоле сделал шаг от окна и оглянулся в поисках опоры. Но и позади была пустота. Он вспомнил фильм о летчике, который видел однажды. Летчик со сверхзвуковой скоростью летел на огромной высоте над морем. Он поворачивал машину так и этак, выполняя назначенное ему задание, и вдруг утратил способность ощущать пределы пространства. Верх, низ, море, небо — всё не то что смешалось: перестало существовать. Машина крутилась в пустоте.

В зале появилась пожилая пара: высокий седой мужчина, которого, при его отменной выправке и точных изящных движениях, невозможно было назвать *стариком*, и его спутница, тоже совсем седая дама, — возраст оставил следы на ее прекрасном лице, но обозначение *старая* и ей никак не подходило. Они устроились за соседним столиком. Доктор поневоле наблюдал за ними, и это увлекло его.

Правильные точеные черты лица мужчины, движения его крупных рук, золотой перстень (*королевский*, определил доктор), массивный и вместе по-особенному скромный, вещь не напоказ — для себя, прическа дамы, изысканная, но изысканная своей простотой, ее закрытое черное платье, тоже *королевское* и тоже очень простое, ожерелье — круглые, серебристо-серые камни под цвет ее седины, но главное — выражение лиц этих двух, жесты, редкие касания рук, взгляд их глаз, лучившийся нежностью и таившимся в душе каждого радостным, веселым волнением, когда они явно немногословно, больше выражением лиц, этими взглядами, касаниями рук, беседовали друг с другом, — всё это привлекало внимание доктора, не отпускало, как ни старался он, чтобы интерес его был возможно неприметнее. Даже белый сыр, черные блестящие маслины, налитое в бокалы вино, обычная снедь и самые простые предметы, многожды повторенные на столиках итальянского ресторана, на их столике казались чем-то особенным, будто выставленным в музейной витрине. Они счастливы, думал доктор, и оттого всё в них и вокруг них, всё, к чему они прикасаются, полнится совершенством. Они ушли бесконечно далеко от него. Они живут уже в мире его мечты, думал доктор, и мир этот уже так же не Сицилия, как и не этот городишко. Они — это *они*. Они уже за чертой, там, где счастье не помечено точкой на географической карте, где люди не носят масок, или, по крайней мере, не меняют их, ему же (если, конечно, достигнет цели) еще предстоит обрести свою последнюю, или — вдруг и в самом деле — добраться до подлинного своего лица. Путь, который он вознамерился пройти, у этих уже позади, прекрасные итоги этого пути они так по-королевски просто отмечают сейчас здесь перед ним. Он вспомнил свою красную папку. Что же он-то собрался сегодня праздновать? Его *500 дней* — даже не начало новой жизни: счета, рекламки, графики, и никто не в силах предугадать (сам он тоже не в силах), что произойдет, если перевалит он всё-таки через хребет промеченных пятисот дней и окажется на треугольном каменистом куске суши, где, по словам официанта, нет ничего, кроме пляжей, вулкана и мафии.

Кто-то сзади коснулся его плеча. Доктор быстро обернулся. За спиной никого не было. Да и не могло быть: он вспомнил, что сидит в углу. И всё же кто-то (он сразу понял, что это тот самый, узкий, в старинном спортуке до колен, после он присочинит ему длинный нос и волосы до плеч), кто-то, наклонившись к его уху, тихо и вкрадчиво, как тихо и вкрадчиво выведывал он сокровенное у своих пациентов, спросил его: *А зачем тебе, собственно, ехать на Сицилию?* Эта неожиданная мысль поразила его неожиданной простотой. Но как же, — не совсем уверенно ответил он кому-то (*тому*) и себе самому тоже, — я ведь должен написать роман. Кто-то (может быть, он сам) негромко рассмеялся: но почему — *должен?* Это было снова неожиданно и просто. И почему ты решил, что *сумеешь* написать? Он снова рассмеялся — и взглянул в сторону соседнего столика: чего доброго королевская чета примет его за ненормального. Но господин и дама были заняты друг другом: ничто извне не пересекало границ чу-

десного мира, в котором они пребывали. Оба приподняли наполненные вином бокалы и взглядами желали друг другу чего-то такого, о чем доктор и понятия не имел; бокалы сияли в их руках, как маленькие волшебные факелы.

Доктор отпил еще граппы. У какого-то хорошего писателя он прочитал однажды, что едва не каждый из нас, фантазируя, сочиняет в течение жизни не один роман, но мало кто обладает способностью *написать* хотя бы один-единственный. Семьдесят восемь тетрадей с историями болезней пациентов — неплохой архив врачебной практики, но выйдет ли роман, оттого что перетасуешь исповеди тех, кто приходил к тебе со своими недугами, призовешь из тьмы прошлого тени этих людей, принудишь их двигать руками и ногами, произносить слова, сходиться и расставаться, пить вино, совокупляться, убивать друг друга или писать книги, как это привалило в голову тебе самому? Дарована ли ему и впрямь искра Божия, чтобы превратить пачку историй болезни в возведенный из слов мир? И сколько времени понадобится ему на это и на то, чтобы прожить новую, спланированную в мечтах жизнь? Кажется, в его красной папке, где заранее просчитан каждый день, не хватает одной существенной бумажки. И не обернется ли эта вымечтанная жизнь той новой жизнью, которой природа наделила на закате лет его пациентов?..

Доктор представил себе томограмму старческого мозга, потраченного временем и происходящей в организме разрушительной работой. Съезженный комок, забытый белковым мусором. Кто знает, может быть, и у него в черепной коробке уже прячется такой экспонат (доктор, сам того не замечая, провела по лбу кончиками пальцев) — лишь монашье однообразие будней, привычка к однажды выбранной жизни мешают следам разрушения сегодня, сейчас явить себя. Не оттого ли и творческое долготение, старческая свежесть Томаса Манна и Германа Гессе, что, как монахи, годами и десятилетиями бесменно тянущие молитвы, они исписывали словами бумагу, складывали из слов великую китайскую стену, возводили сооружения открывшегося им мира, что та жизнь, для которой он пытается сохранить себя, была у них, у Томаса Манна или Германа Гессе, как у монахов с их вековыми устоями, раз и навсегда заведенным механизмом повседневности?.. Доктор вспомнил слова псалма, которые в детстве часто слышал от отца: *Научи нас так считать дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое*. Отец, наверно, обрел эту мудрость сердца, оттого и заносил свои тексты в конторскую книгу, точно такую же, в какой с утра и до вечера записывал проходившие через таможенно-грузовые, оттого и держал эту заветную книгу в сундуке, подалеке от глаз людских. И не была ли одарена мудростью сердца матушка, которая никогда не имела желания заглянуть в отцовскую книгу и после смерти отца, искренно ею оплаканной, даже не заметила, как забывтая в сундуке конторская книга с годами бесследно затерялась где-то. Доктор вспомнил старинный сундук в прихожей родительского дома — зеленый с намалеванными на стенках и крышке яркими букетами цветов. Неужели в таком сундуке должен

он теперь навек похоронит свои тетради, пробуждавшие мечты и надежды, заветную папку с горделивым 500 на красном переплете? И тут, на мгновение заслонив от его взгляда стойку буфета, позади которой, озаренный пламенем печи, жонглировал похожий на паяца повар в высоком колпаке, мимо — уже в обратную сторону — снова проследовал некто, показавшийся доктору лишь черным силуэтом, высоким, узким, слегка согнутым в пояснице: «Всего доброго, господин доктор». И снова эти незначущие слова обдали доктора волной тревоги. «Простите», — он даже протянул руку вслед непонятному господину, как бы желая остановить его. Но тот будто растворился в сумраке зала.

5

Доктор поднялся с места, голова слегка кружилась, ноги ступали нетвердо; он выпил не более обычного, да и не пьянел никогда, но тут ему показалось, что перебрал. Он направился к стойке. Пекарь на его вопрос удивленно вскинул клоунские — острыми углами — брови: разве кто-нибудь только что проходил здесь? Нет, он никого не видел. Доктор в поисках поддержки обернулся было к королевской чете. Но за соседним столиком было пусто. Два пустых бокала стояли на залитой вином скатерти; на тарелках — остатки небрежной трапезы: обломки сыра, стебли зелени, огнистая лужица подливки, похожие на пули косточки маслин. Доктор возвратился на свое место, допил грашпу. Перед его глазами снова встало вымечтанное сицилийское одиночество. Огромное во всю стену окно, к которому прижимался стоявший по ту сторону стекла пасмурный день, не похожий на яркие картинки туристических фирм. День был серый, и море серое, и небо, и серым был береговой песок — бесконечная, сколько хватало взгляда, серая пустынная полоса вправо и влево, охватившая и удерживавшая бившуюся о берег воду. Иногда брызги от развалившейся волны долетали до окна, ударялись о стекло и, округлившись каплей, медленно сползали по нему, оставляя за собой тонкий прозрачный след. Можно было выйти из дома и идти направо или налево, задыхаясь обилием воздуха и вбирая ноздрями пьяный запах моря, глубоко вдавливая ботинки в мокрый песок, и никого и ничего не встретить на пути, кроме выброшенных волной черных водорослей. Там, в этом пустынном мире, собрался он быть кукловодом, заставить своих героев играть придуманную им для них комедию... Он снова вспомнил распахнувшуюся, как весенний цветочный куст, томограмму молодого здорового мозга и тут же (как на картинке в рабочем кабинете) скукоженную отжившей водорослью томограмму мозга старческого. Надо что-то еще обдумать, говорил себе доктор, никак не в силах ухватить, что именно надо обдумать, чтобы выбраться из непонятого наваждения, опутавшего его тревогой. Что-то надо обдумать. Сегодняшний праздник не получился. Праздником станет завтра — первый день из отсчитанных пятисот. Главное — не отступить, пробежать пятьсот дней день за днем, как всякий день, не обращая внимания на погоду и обстоятельства, про-

бегает он свои вечерние километры, одолевая склон холма, на вершине которого встречает его распятый Христос с перебитыми ногами. За его спиной кто-то засмеялся. Но он знал, что позади никого нет, и не оглянулся.

«На улице ужасный дождь, господин доктор», — предупредил официант, отсчитывая сдачу. Доктор кивнул, быстро пересек зал, толкнул дверь и, не подумав про торжественный костюм, шагнул под обрушившийся на него ливень.

6

После он никак не мог понять, каким образом оказался у дома Ильзе. Он никогда прежде не бывал у нее. Даже, провожая ее изредка, он не принимал приглашения зайти. Он стоял на пороге. С его одежды на пол быстро натекала лужа. Ильзе вышла к нему большая и теплая, в цветастом халате поверх ночной рубахи. Зрачки ее глаз ярко чернели, распускаясь. Она улыбнулась чуть насмешливо и радостно, как улыбаются, встречая слегка нашкодившего, многого сердцу юнца. Это задело его, но другого сейчас у него не было. В комнате пахло женщиной, разобранной теплой постелью, белым терпким вином, которое здесь недавно пили. «Я поставлю будильник на шесть, — сказала Ильзе. Надо подняться пораньше, привести в порядок костюм».

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

1

День был солнечный, теплый, манил на волю. «Не погулять ли нам, пока ноги носят? А?», — предложил *Старик*. Отправились, как обычно: впереди Ник толкал кресло, в котором восседал *Старик*, следом под надзором Элиаса шли *Профессор* и *Ребе*, еще и *Старый Фриц* на этот раз решил составить им компанию.

На деревьях весело поблескивала молодая листва, пряный запах вечнозеленого кустарника висел над улицей, на площадке перед серым гранитным памятником жертвам Первой мировой войны темнели острые шпильки посаженных строем кипарисов.

Профессор вспоминал Крым, куда они повадились всякий год ранней весной ездить с Амалией. Они поселились в Симеизе, на горе, высоко над морем, всегда у одной и той же старушки-хозяйки, которая, не заботясь о разнообразии меню, кормила их котлетами, начиненными гречневой кашей. По склону горы феерическим сиреневорозовым пламенем полыхало иудино дерево. От их дома, с каменной площадки, заросшей диким виноградом, видна была вдаль ослепительно сверкающая на солнце полоска моря. Вечером, перед сном, утомленные прогулками, свежим просоленным воздухом, молодым вином, тяжелившим тело, они выходили из дома, чтобы еще раз взглянуть на него, не взглянуть даже — почувствовать: темнело быстро, лишь далекий равномерный шум доносился до них, и, будто в

такт движению волн, в черном небе вспыхивал и снова гаснул острый зеленоватый луч маяка. Они стояли, прижавшись друг к другу, говорили, что в Москве, наверно, еще лежит снег, им чудилось, что они отвоевывают для себя какие-то заветные, утаенные в вечности куски времени, которого, не вырвись они сюда, как бы вовсе и не было. В первую же весну после смерти Амаии *Профессор* снова направился в Крым, чтобы, так ему мечталось, продлить свое пребывание с ней, но получилось отчего-то наоборот: на каждом шагу что-нибудь отвлекало его от желанных воспоминаний — газетный киоск, афиша концертного зала, прогулочный катер, швартующийся у пристани, даже милостивая курортница, с заведомым интересом на него взглянувшая. Он рассердился на себя, на Крым, через три дня взял такси и уехал в аэропорт.

В окнах магазинов, мимо которых следовали обитатели *Дома*, красовались разного размера зайцы — необходимый персонаж пасхального украшения: до праздника было уже рукой подать. Согласно старинному поверью, именно зайцы одаривают людей красивыми пасхальными яйцами. Зайцы были похожи один на другого — упитанные, с довольными физиономиями. В некоторых витринах на равных с зайцами присутствовали ангелы — тоже не в меру упитанные и благополучные ангелочки, керамические или из папье-маше. В окне кондитерской *Kunststleben* два таких позолоченных ангелочка, каждый величиной с трехлетнего младенца, парили животом вниз, держа в руках рог изобилия — из золотого раструба потоком сыпались конфеты. Ангелочки смешили *Ребе*: он пытался себе представить, каким образом из этих откормленных детишек вырастают до прозрачного бестелесные ангелы. Сытые, самодовольные зайцы с круглыми позолоченными животами тоже веселили его. Он вспомнил одну давнюю историю про зайца — тот был совсем другой, несчастный, перепуганный до полусмерти, мордочка была такая, точно он кричал, отчаянно, но беззвучно. *Ребе* улыбнулся, прогнал от глаз паутинку и, крутя головой, весело смотрел из-под козырька фуражки на обвеянные юной листвой деревья. Обрывки каких-то давних стихов, подавая о себе весть, заскреблись в его памяти, про березы, единым взмахом накинувшие на себя кружева, про охватившее душу печальное и прекрасное предчувствие Страстной недели, — что это были за стихи, он не помнил, и кто их сочинил, тоже, — скорей всего, он сам. Когда *Ребе* смотрел перед собой, он видел толкавшего кресло Ника, его широкие плечи, обтянутые красной спортивной курткой, коротко остриженную голову с крутым затылком, слегка оттопыренные крепкие уши, прозрачно красневшие на солнце. И он думал о том, что годы, разделяющие его и Ника, дольше вечности, потому что вечность есть нечто отвлеченное, а эти разделяющие их годы битком набиты событиями, которые этот парень не в силах ни представить себе, ни понять, ни тем более пережить, и которые для него, *Ребе*, были сутью и воплощением прожитой жизни.

«По Вильгельмштрассе», — скомандовал *Старик* и показал рукой, как Суворов в кинофильме. *Профессор* огорчился: по Вильгельмштрассе значило кружным путем, мимо похоронного бюро, с золотым гробом и метафизическими инсталляциями, с картинками Эльзы Химмель и дурацкими шутками *Старика*. Протестовать было бы глупо — только повод подать *Старику* для его словесных упражнений. Группа, охотно удлинняя маршрут (очень уж день хорош!) взяла налево в обход. *Профессор*, не выказывая неудовольствия, побрел со всеми. *Старик* то и дело что-то выкрикивал и громко хохотал, оборачиваясь и снизу вверх глядя на Ника. *Старый Фриц*, завладев вниманием Элиаса, энергично рассказывал одну из своих бесчисленных историй — прислушиваться не хотелось.

«У вас сегодня глаза озорные», — повернулся *Профессор* к шедшему рядом *Ребе*. Он сказал это потому, что ему тоскаиво было идти молча, хотелось заподучить собеседника, но едва произнес первое, что попало ему на ум, тотчас понял, что заговорил именно о том, что удивило и тронуло его. Глаза у *Ребе* сегодня и в самом деле были озорные — веселые, дерзкие, даже диковатые. Казалось, сейчас возьмет и выкинет какую-нибудь невероятную штуку, что-нибудь этакое, чего от него, от *Ребе*, никак не ждешь. «Я испытываю редкое чувство освобожденности, — отозвался *Ребе*. — Знаете, когда вдруг кажется, что никому ничего не должен. Весна, наверно...» Он отбросил паутинку и покрутил головой, ловя взглядом синеву неба и обсыпавшую деревья юную зелень. Весна, конечно, воздух легкий и пьяный, как молодое вино, всё так, но было еще нечто, о чем он промолчал: день уже перевалил за половину, а он пока не получил ни одного задания. Он полнился накопленной доброй энергией, ни толики которой сегодня еще никому не передал.

В окне похоронного магазина на фоне драпировки из черного бархата была выставлена новая работа Эльзы Химмель: заброшенная могила — белая мраморная плита, уже подзаросшая травой, и памятник в виде колонны со стоящей на ней урной. *Профессор* сначала рассчитывал укрыться в сторонке, но вдруг, для самого себя неожиданно, точно магнитом потянуло, приблизился к окну. У него защемило сердце. В последнюю крымскую весну с Амалией во время дальней прогулки они оказались на старом забытом кладбище. Устале, присели они на теплый камень надгробия, даты на нем искали в воображении прохожего минувший век, давно минувшую жизнь. Близился вечер. Цвета вокруг сделались гуще, тени резче. В море, которое с возвышенности широко открывалось перед ними, медью плавило солнце. Белый лайнер, шедший недалеко от берега, расстроил их мечты. Они заговорили о круизе: осенью, решили они, следует непременно убежать от московской непогоды куда-нибудь в теплые края. «Хочу в Магриб, сказала Амалия. — Когда девчонкой читала сказки *Тысячи и одной ночи*, там был злой волшебник *магрибинец* — он пугал меня и манил вместе, как в детстве бывает. А недавно видела фотографию — разрушенный город в Магрибе: посре-

ди пустыни строй белых колонн. Ниоткуда и в никуда...» Они вдруг начали целоваться, самозабвенно, точно впервые дорвались друг до друга, — наверно, набранный телом зной минувшего дня возбуждал их, и запах южных трав и кустарника, и проникавшая воздух соль волновавшегося рядом моря. А осенью Амалии уже не было в живых, и он, вспоминая этот вечер, суеверно думал, что, может быть, эти поцелуи и ласки в ограде смерти были вызовом судьбе.

Старик, сидя в своем кресле, с некоторым даже испугом смотрел на припавшего к стеклу витрины *Профессора*, на его ссутулившуюся спину, на черное серебро непривычно растрепавшейся прически, на его красивую руку, которой он отгородился, чтобы лучше рассмотреть позвавшую из-за плоскости стекла картинку. Шутки и остроты не приходили *Старику* в голову, процессия, остановившись, молча ждала, пока *Профессор* не наглядится вдоволь на притягательное для него творение кисти Эльзы Химмель.

Старый Фриц первым решил покончить с затянувшимся привалом. «Не сочувствуйте старости, мои дорогие юные друзья! — начал он по всем правилам риторики, обращаясь, надо полагать, к Элиасу и Нику. — Старость не заслуживает сочувствия не потому, что не хороша, но как раз благодаря своим бесспорным преимуществам. Первое из них здесь само собой приходит в голову. — Он весело сверкнул глазами, предупреждая о заготовленном сюрпризе, красивым, обдуманном жестом указал на витрину. — Старость единственная пора жизни, когда не надо объяснять, почему ты умер». Старик захохотал, лицо его побавровело. «Старики умирают оттого, что у них уже нет сил таскать свои вставные зубы. А?» — выкрикнул он и захохотал еще громче.

3

В кафе при вокзале, по случаю хорошей погоды, заняли места на открытом воздухе. На столиках в ожидании Пасхи были расставлены то ли шоколадные, то ли марципановые зайцы, упакованные в обертку из золотой бумаги. Вокруг шеи у зайцев была повязана красная шелковая ленточка с золотым бубенчиком. Рослый буфетчик, черноволосый, красивый, похожий на футболиста Луку Тони, приветствовал вошедших как старых знакомых.

Старик и *Профессор* затеяли как обычно сложные дипломатические переговоры, уславливаясь, какие шарики мороженого (чтобы не достались одинаковые) каждый возьмет на этот раз. *Старый Фриц* потребовал огромную вазу чего-то невообразимого, целую башню из шоколадного и фруктового пломбира; сверху в искрящуюся холодную массу была стоймя, наподобие петушиного гребня, воткнута дощечка печенья. «И мне такое же», — ко всеобщему удивлению попросил *Ребе* и указал пальцем на воздвигнутую для *Старого Фрица* сладкую башню. «Ага! Кончился пост? А?» — *Старик* приготовился смеяться, но *Ребе* вдруг так лихо подмигнул ему, что от удивления смеяться расхотелось.

Старый Фриц затеял с Элиасом игру в шахматы; плоскую карманную коробочку с фигурками он прихватил с собой. Матч между ними длился уже несколько месяцев, с самого начала цивилизной службы Элиаса. *Старый Фриц* играл хорошо и любил свое умение. Как правило, он и выигрывал, не замечая при этом, что регулярно уступает юному партнеру каждую пятую партию. *Старый Фриц* любил побеждать в борьбе, одолевая сопротивление противника, и умница Элиас способствовал ему в этом. Вот и теперь, после того, как дебют для *Старого Фрица* сложился неудачно, Элиас, пряча улыбку, несколькими неожиданными и точными ходами помог противнику выровнять положение. Но — ненадолго. Хитрой комбинацией Элиас снова перехватил инициативу и принудил *Старого Фрица* искать пути к спасению. И *Старый Фриц* нашел этот путь! Крошечная, казалось, малозначащая неточность Элиаса не осталась им незамеченной: ход, другой — и премущество завоевано, подготовлена атака, железной рукой полководца *Старый Фриц* довел битву до победы. Элиас произнес «Сдаюсь!» и осторожно пожал полководцу его железную руку. *Старый Фриц* достал из кармана записную книжечку и занес в нее результат. «Ты здорово меня прижал сегодня, — он не мог сдерживать звучащего в голосе торжества. — Я думал, что не выпутаюсь». «Когда это было, чтобы вы не выпутались!» — пряча улыбку с почти-тельным восхищением возразил Элиас. «Отчего же? Иногда я допускаю непростительные ошибки. — *Старый Фриц* полистал книжечку. — Помнишь, двадцать шестого декабря я в отличной ситуации проворонил простейшую вилку конем».

Ребе сидел над своей вазой и с аппетитом, но без интереса (за-мени ему мороженое картофельным пюре, он бы и не заметил) черпал ложечкой тающую шоколадную и фруктовую массу. Железнодорожный справочник, который, конечно же, был при нем, лежал на столе невостребованный. Сигналов не поступало. То ли после десяти-летий непрерывного труда ему предоставлена была возможность отдохнуть, то ли настала пора браться за решение новой задачи. Иногда он поднимал голову, отмахивал паутинку, взглядывал на благопо-лучного зайца с бубенчиком (в праздничные дни кто-нибудь его непременно слопают) и улыбался: давняя история толкалась в его памяти. Тогда они с Горбылем уже дня три ничего не ели. Горбыль поставил самодельный капкан: «Крот попадетса — всё равно сожру!» В капкан попался заяц. Горбыль как раз пристроился у костра и заснул, а он услышал крик зайца и поспел к капкану. Зайчишка трясся от страха и смотрел на него с отчаянием, уже не кричал, но казалось, всё кричит, и в ушах бился этот высокий, режущий крик. Он отпустил зайца и вернулся к костру. Горбыль потом руками разводил: «И как только выбрался? Ну, хитер косой!» Недобро щурясь, взглядывал на кореша с подозрением, но за грудки не хватал, напрямую не спрашивал. *Учитель*, когда он рассказал о случившемся, улыбнулся беззубой улыбкой: «Робеспьер из вас, скорее всего, не получится. Впрочем, не исключено, что Робеспьер, за день натешившись гильотиной, по вечерам кормил с ладони цыплят. Я видел как-то фото-графию: Ленин ласково гладит кошку...»

Старик с *Ником*, поставив локти на стол и сцепив ладони, мерились силой. Состязание складывалось не в пользу *Старика*, хотя тот подбадривал себя, на своем коверканном немецком выкрикивая что-то дурацкое, принимаемое им за шутки. В отличие от своего приятеля, *Ник* не был склонен к психологическим маневрам: у него даже лицо становилось сердитым всякий раз, когда он, прибавляя силы, укладывал руку *Старика* на стол. «Здоров он, однако, — *Профессор* раздраженно поглядывал на красное, возбужденное лицо *Старика* и всякий раз вздрагивал от его выкриков. — Здоров, как бык. И это при его диагнозе».

«А вы, похоже, сегодня на пенсии?», — повернулся он к *Ребе* и легким кивком показал на дремавший без дела железнодорожный справочник.

«Кто знает, — глаза *Ребе* весело смотрели из-под козырька фуражки. — Возможно, как раз сегодня меня ждет главное дело жизни».

Красная стрелка на вокзальных часах, постукивая, отбрасывала в вечность секунды. Было время пройти поезду. И он показался, точно по расписанию. Машинист из кабины приветливо помахал им рукой. Разноцветные, отмытые до блеска грузовые вагоны бойко пробежали мимо.

«На днях в газете поразительная информация, мои дамы и господа! — На обветренном лице *Старого Фрица* засветились серебряные талеры. — Представьте себе точно такой же состав, точно так же спешащий из пункта А в пункт Б. Вдруг в чистом поле поезд резко останавливается. Нет, не технические неполадки. И не какой-нибудь несчастный случай. И не внезапная болезнь машиниста. Даже совсем наоборот. Машинист, мои дамы и господа, открывает дверь кабины, спускается на землю и в самом добром здравии направляется напрямик через поле к расположенному неподалеку от железной дороги поселку. Поезд между тем остается стоять на рельсах между пунктами А и Б. К счастью, срабатывают соответствующие автоматические системы. Поезда, идущие следом, тормозят один за другим, заполняя путь на десятки километров. К месту происшествия направляются вертолеты — техническая служба, скорая помощь. Все убеждены, что произошло нечто чрезвычайное. Но то, что произошло, никто не в силах предугадать. Прибывшие на место происшествия бросаются искать машиниста. И находят его. Где бы вы думали, мои дамы и господа? Смело полагаю, не отгадаете. Его находят в кнайпе — он преспокойно пьет пиво и беседует со случайными знакомыми о чем-то не имеющем отношения к делу. О футбольном чемпионате, например. И что замечательно: он прекрасно помнил о брошенном на путях составе и, хотя не в силах был объяснить, как это произошло, не испытывал по этому поводу ни малейших угрызений совести».

«Вот и полагайся на немецкий порядок?» — недоумевал *Профессор*.

«Еще бы не порядок! — заспорил *Старик*. — Пиво в кнайпе имеется. Грузы из стоящих вагонов не растаскивают. Автоматика

сработала. У нас бы нипочем не сработала. Поехали бы из пункта А в пункт Б, а оказались в пункте... Ж!..» *Старик* показал пальцем на небо и гакнул так, что *Профессор* поморщился.

«Если считать порядком принятый ход вещей, то именно порядок рано или поздно непременно вызывает у кого-нибудь желание его нарушить», — сказал *Старый Фриц*. — Не в этом ли причина всех войн и революций?»

«А вы что думаете, *Ребе*? — спросил *Старик*.

«Я думаю, что машинист иногда очень хочет выпить пива».

Ребе потрогал пальцем бубенчик на шее у шоколадного зайца и неожиданно громко рассмеялся.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

1

Птица Керри умерла под вечер.

В холле на экране пылал искусственный камин. Пламя то вспыхивало ярко и металось по всему экрану, то начинало увядать, нико, легкие золотые обрывки его, будто подхваченные ветром, устремлялись в черную непроглядную глубь за экраном.

На огонек, пусть и невсамделишний, но, отчего-то казалось, всё же даривший тепло, тянулись, как повелось, обитатели *Дома* — те, кто хотел и кто мог, тех же, кто не мог, но и не протестовал, привозили в креслах и размещали каждого на привычном месте.

К Пасхе помещение было по-новому убрано: на зеленой тряпичной лужайке резвились плюшевые зайцы. В углу за сетчатой перегородкой всамделишные птицы щебетали и перепархивали в ветвях растущего в кадке дерева, заменявшего им мир.

Старый Фриц поднялся с места и обвел взглядом собравшихся... Он уже придумал, о чем будет говорить, и знал, что будет говорить интересно и красиво. Его глаза светились торжеством. Он властно, как дирижер, показал рукой, что начинает, — и многие из сидевших в холле, приготовляясь слушать, повернулись к нему, но были и такие, что продолжали неподвижно сидеть в своих креслах, низко уронив голову, погруженные в такие бездны собственного я, откуда извлечь их ни у кого, даже у *Старого Фрица* не доставало сил.

Откашлявшись, *Старый Фриц* совсем уже изговорился произнести обычное *Мои дамы и господа*, как вдруг из сумрака, со стороны клетки, где она обитала, послышался скрипучий голос Керри.

«Мор-р-р-ген», — сказала птица.

И тут же снова: «Мор-р-р-ген».

И еще раз, будто в ней сломалось что-то: «Мор-р-р-ген».

Те, кто нашел это смешным, засмеялись, а *Старый Фриц*, не растерявшись, напомнил слушателям старую шутку о том, как к петуху, который стал кукарекать не вовремя, позвали часовщика. И те, кто понял, что это смешная шутка, опять засмеялись.

Но Керри не унималась, твердила, как заведенная: «мор-р-р-ген», «мор-р-р-ген», *Старый Фриц*, уже несколько сердясь на пти-

цу и не желая уступить ей трибуну, ответил пословицей: «Хойте рот, морген тот», и те, кто понимал, что происходит, засмеялись вместе с ним.

«Морген, морген, нур ниht хойте, заген але фауле лёйте» — торопливо прошелестела сидевшая у самого камина старушка, завернутая в клетчатый плед, и так же торопливо тоненько засмеялась. Кажется, она полагала, что началась какая-то забавная игра. Крошечный старичок в черных очках, всегда занимавший место рядом с ней, которого в шутку именовали *Наши жених*, восторженно захолопал в ладоши.

Старый Фриц, не скрывая досады, замахал руками. Он требовал внимания.

И тут фрау Хильдебрандт, та самая, которая ставила цветок в воду вниз головой, отчаянно закричала. Крик ее был страшен — пронзительный, надрывный, исполненный ужаса и тоски. Широко открытые глаза фрау Хильдебрандт, казавшиеся слепыми и вместе видящими нечто, недоступное остальным, усталились в сумрак, туда, где находилась клетка птицы Керри. И все в холле, кто способен был выбраться из глубин собственного я, охваченные тоской и ужасом, повернули головы вслед ее взгляду, желая и страшась увидеть то, что она видела. Птица Керри, уже молча, желтыми лапками кверху, лежала на дне клетки. И все в холле, кто способен был понять, что произошло, заматались, замахали руками, застучали ногами, не вставая с места и обращая друг к другу лица, заговорили, зашумели, закричали, призывая помощь и требуя что-то предпринять.

Старшая сестра Ильзе, прямая, уверенная, решительно прошла по залу, сопровождаемая садовником Михелем. «Всё в порядке. Ничего не случилось», — громко и четко, точно командуя, сказала Ильзе, между тем как садовник снял с кронштейна клетку с мертвой птицей и вынес вон.

«Ничего не случилось».

В холле сделалось тихо. Яркое пламя билось на экране искусственного камина. Живые птицы в углу за сеткой, умолкнувшие было, снова защебетали, очевидно следуя то ли совету, то ли приказу, начертанному на плакате: пока жив, считай только счастливые часы.

2

Среди ночи *Старик* проснулся: приперло помочиться и обмыть взопревшую мошонку — точно патокой залило; едва пробудившись, он начал размышлять об этой странной особенности своего организма. Он слегка повернулся, вглядываясь в полумрак, заранее раздраженный оттого, что сейчас увидит неподвижно покоящуюся на подушке голову *Ребе* и его поблескивающий в темноте открытый глаз — никогда не поймешь, спит он всё же вот так, с открытым глазом, или вовсе не спит, ночи напролет лежит без сна и думает всякое, а о чем, ни с какого бока не подберешься.

Но *Ребе* на кровати не было. Черт его понес именно в эту минуту занять сортир. Помочиться требовалось немедленно, да и мошонка отчаянно чесалась. *Старик* сел на кровати, свесив ноги, по обык-

новению без подштанников, и, стал ждать, растравляя в себе раздражение. Сейчас *Ребе* спустит воду из бачка, потом примется мыть руки, — от звука текущей воды желание помочиться делалось нестерпимым. Но в сортире царил тишина. Заснул он там, что ли, этот замысловатый *Ребе*? В постели ночи напролет таращит глаза, а отсыпается на стульчаке. *Старик* сполз на пол и, кряхтя, зашлепал бо-сьми ногами по полу.

Дверь в уборную была открыта, и свет не горел. *Старик* нажал планку выключателя, не в силах поверить, что в помещении в самом деле никого нет, и, удостоверившись в этом, так растерялся, что во весь голос, без мысли о ночном часе, позвал: «*Ребе!*». Никто не отозвался. Сомнений не оставалось: с *Ребе*, конечно же, произошло что-то. Но что? Не дозвонился ночной дежурной (такого, правда, за годы пребывания в *Доме* ни разу не бывало) и пошел искать ее? Потерял сознание и скатился на пол? Или (радостная догадка!) тихонько выбрался в гостиную, чтобы в неурочный час заняться своими дурацкими расчетами? Тревога охватила *Старика*. Но прежде всего надо было помочиться, и мошонка, будь она неладна, зудела нестерпимо (удивительное дело: у *Ребе* и в помине такого нет, и у *Профессора* тоже, а у него чуть не всякую ночь). *Старик* запутался, шагнул к умывальнику, пустил воду и, уже невозможно было долее удерживаться, начал мочиться в умывальник. Некогда, сто лет назад, в училище, они вот так же, рискуя нарваться на выговор и внеочередные наряды, тайком мочились по ночам, особенно зимой, в умывальной комнате. Умывальная в казарме находилась в том же здании, где спальни, только на первом этаже, а сортир был уличный, холодный, с выгребной ямой, «наружное гигиеническое учреждение на двенадцать очков», как красиво именовал его начальник хозчасти. Тогда у них, у курсантов, была в ходу смешная поговорка, которая очень им нравилась: *Только покойник не ссыт в рукомойник*. И вот теперь *Старик* стоял без штанов, прижимаясь к холодной чаше умывальника, и мочился долго, сильно, как конь, торопился, даже переступал ногами от нетерпения, потому что с каждой минутой тревога его возрастала, и, как закаинание, повторял раз за разом старую шутку про покойника и рукомойник, которая почему-то не казалась ему смешной. Потом, ковыляя, он возвратился в комнату, зажег свет, встал, кряхтя, на колени, заглянул под кровать *Ребе*, с трудом снова поднялся на ноги, выбежал в гостиную, заранее зная, что там никого нет, наконец распахнул дверь в коридор и что было силы закричал в гулкую пустоту: «*Ребе!*»...

3

Крик разбудил *Профессора*, прервав захватившее его сновидение. Впрочем, скорее всего, крик и вызвал сновидение: за короткие секунды оно успело пристроиться к крику в непостижимом, как это случается в сновидениях, обратном движении времени. Ему снилось: он быстро шел по городу, преследуя женщину, которую никак не мог догнать, — маленькая женщина, черные коротко постриженные волосы, черная майка, джинсы в обтяжку. Он знал, что это Вика, хотя

точенные ягодицы, сводившие его с ума и побуждавшие спешить за женщиной, напоминали о Паоле из кабинета лечебной физкультуры. Женщина мчалась, не оборачиваясь, и он, как привязанный, стремился за ней, не понимая, откуда находит силы бежать: удары его сердца, казалось ему, слились в протяжный дробный гул, будто кто-то тряс жестяную коробку с пуговицами. Город, похоже, был Париж, не потому, что на глаза попадались какие-то особые приметы, но по смутному внутреннему ощущению. Улицы были пусты, и дома с темными окнами, огражденными перильцами, смотрелись одинаковыми и нежилыми. *Профессор* безуспешно прибавляя шагу, пока женщина вдруг не свернула в один из таких домов. *Профессор*, не раздумывая, последовал за ней, с трудом заставил податься высокую тяжелую дверь и очутился в длинном коридоре, наподобие школьного — по одну сторону ряд окон, по другую бесконечный ряд одинаковых дверей. Он отворял их одну за другой, за дверями и в самом деле размещались классы, пустые и заброшенные, точно подготовленные для ремонта: сдвинутые как попало столы и парты, грязные доски с остатками не стертых надписей мелом, кое-где косо висящие на стенах географические карты, портреты, схемы. *Профессор* уже отчаялся в поисках, когда в одном из классов, сразу слева от двери, обнаружил прижавшуюся к стене женщину. Это была не та женщина, за которой он долго и упрямо бежал по улице: это была крупная, полная женщина с рассыпавшимися по плечам локонами темно-рыжих волос. Амалия, тотчас узнал *Профессор*. Но она же умерла, во сне сдавил его сердце страх. И почему на ней стеганый китайский халат Анны Семеновны? Амалия смотрела на него и улыбалась большими, мягкими и, он знал, удивительно сладкими губами и, не выказывая этого ни рукой, ни движением головы, всей собой, неподвижно стоя у стены, звала, манила его к себе. И он, даже не замечая, как переступает, точно не по своей воле, подвигался к ней, ближе, ближе, пока всем телом не почувствовал прижавшееся к нему ее большое тело. Он почувствовал на губах сладкую мягкость ее губ, она нежно взяла его руку и подсунула под халат, он начал ласкать ее, и тут вдруг рука его поняла, что рядом с ним не Амалия вовсе, а Анна Семеновна. Под пальцами было белье Анны Семеновны, которое в последние годы их общей жизни раздражало его, ее тело, уже несколько позабытое, которое вспоминали теперь его прикосновения, он вдыхал ее запах, перед их расставанием для него уже трудно переносимый. Он хотел было выдернуть руку из-под халата, отстраниться от женщины, уйти, но в этот момент тайный согладатай, который неизменно контролировал происходившее во сне, точно встряхнул его: подлинное желание, способность совершить, которую он мучительно ждал и не надеялся уже дожидаться, снова и совершенно завладели им. Он даже, не просыпаясь вполне, ощущал себя рукой, торопясь снова безоглядно погрузиться в мир того же сна, чтобы пробудиться потом иным, давним, забытым в себе человеком. Уже Анна Семеновна... Но дверь в классное помещение распахнулась, ненавистный *Старик* с багровым лицом и обвисшими жабрами щек показался на пороге и, широко разевая рот, орал какое-то *бе-бе-бе...* Чудесный сон развалился. *Про-*

фессор старался ухватить памятью его остатки, но они быстро таяли, как пойманный ладонью легкий свежий снег. Сердце отчаянно брякало в груди. Трудно было дышать. Он решил, что умирает, и от страха окончательно проснулся. Из коридора доносились быстрые шаги, тихие тревожные голоса. *Профессор* включил свет, потянулся к звонку и надавил несколько раз, вызывая дежурную. Ему было необходимо, чтобы сейчас вошла фрау Бус с ее необъятной мягкой грудью. Он жаждал услышать, как, стянутые юбкой, трутся одно о другое ее могучие бедра. Но на его зов никто не появился.

4

Самое странное, что входная дверь *Дома* оставалась заперта изнутри. Обе ночные дежурные, совершенно заслуживающие доверия, фрау Бус и китайка Ки Ван, жилистая, с неподвижным лицом и немигающим взглядом, похожая на глиняного солдата из раскопок, обе в течение минувших ночных часов не заметили в *Доме* ни малейшего подозрительного движения. На запоре оказалась и дверь в сад. Да и невозможно было предположить, чтобы кто-нибудь из постоянных обитателей *Дома*, выйдя в сад, сумел перебраться через огораживающую его каменную стену. Ночные дежурные, срочно вызванная ими Ильзе и двое полицейских, вызванные уже ею, с озабоченными лицами переходили от двери к двери, от окна к окну и, светя фонариками, глубокомысленно и безуспешно изучали замки, задвижки, крючки, щекоды. *Старик*, по-прежнему без штанов, босиком, некоторое время следовал за ними, прислушиваясь к тому, что они говорят и даже вставляя свои замечания; наконец, Ильзе строго приказала китайке Ки Ван увести *Старика* прочь.

У себя в комнате он, свесив ноги, сидел на кровати, смотрел на пустую подушку *Ребе* и думал о том, что больше не увидит его. Он вспоминал никогда не спящий глаз *Ребе*, паутинку, фуражку с длинным козырьком, острые плечи, привычку залеживаться по утрам в постели, вспоминал аккермановское дело, Татьяну, всё, что было до нее и после нее, по плоским щекам текли слезы, сухие, побелевшие губы беззвучно шептали ругательства — тяжелые, поганые слова, которые набрались в память за долгие грязные годы жизни, пальцы крепко вцепились в край кровати, точно она могла вдруг качнуться и сбросить его.

5

Ребе нашли на вокзале. Он купил у кассира билет в Париж (с пересадкой в А. — прямого поезда отсюда, понятно, не было), прошел в зал ожидания, устроился в кресле и задремал, чтобы больше не проснуться. Из вещей при нем был только старый железнодорожный справочник, испещренный цифрами и непонятными пометками. В кармане покойного обнаружили письмо с парижским адресом на потертом конверте, слепоном из грубой оберточной бумаги. Письмо изъела полиция.

Жан МОРЕАС

/ 1856 – 1910 /



Несколько слов к переводам стихов Жана Мореаса

В 1884 году Поль Верлен опубликовал очерки о трёх, ранее неизвестных широкому читательскому кругу, поэтах — Артюре Рембо, Тристане Корбьере и Стефане Малларме, позднее дополнив их очерком о «Бедном Лелиане», т.е. о себе, — книгу «Проклятые поэты». Сразу же о поэтах заговорили, как о новой школе, в которой уделялось внимание «личной» теме, новой пафосной интонации, особому подходу к явлениям природы, реанимации «декаданса».

Мореас, к тому времени, уже автор поэтического сборника, выступил в защиту поэтов, отнеся их к символистам. Так, впервые, прозвучал и вошёл в оборот этот термин, к которому стали относить новых поэтов стран Европы. Идея символизма заключалась в том, что следует давать большую свободу в стихосложении, в реализации новых форм, скрытых за каждым поворотом сюжета, обнажённый, свободный подход к лиризму. Мореас начисто отрицал прежнюю доктрину парнасцев.

Поэт родился в Афинах в 1856 году. Подлинная его фамилия — Пападиамантопулос. С детства изучал французский язык и, наряду с греческим, вторым своим языком считал, французский. В 1882 г. поселился окончательно в Париже, где и прожил до конца жизни. Здесь, в газетах и журналах регулярно стали появляться его первые стихотворные опыты...

В 1884 году вышел первый сборник «Сирт» («Les Syrtes»), затем — в 1886 «Кантилены» («Les Cantilenes») и, наконец, — в 1891 «Страстный пилигрим» («Le Pelegrin passionne»). В тот же году в газете «Фигаро» было опубликовано его письмо, которое считали программным для группы поэтов круга Мореаса, в нём он объявлял, что символизм умер и призывал возвратиться к классицизму, в котором, дескать, и есть основа французской литературы, пришедшей в

упадок под воздействием и парнасцев, и романтиков, и символистов. Необходимо, не исключая их из литературы последних, возродить средиземноморскую культуру, — подлинное искусство, именуемое «романской школой».

Последних десять лет своей жизни Мореас работал над итоговой книгой, всякий раз дополняя и оттачивая её. Это книга стихов «Стансы» («Les Stances»). 1 и 2 части изданы в 1899 г. 3, 4 и 5 — в 1901 г., 6 — в 1906 г. 7 — в 1911 г. — уже после смерти автора. Книга состоит из небольших, в две-три строфы, стихотворений и является высоким полётом идей и замыслов Мореаса, пропагандируемых им после перехода к классицизму. В ней видна личность поэта, егодыхание, его стихотворное совершенство. Она звучит своеобразным «завещанием» последующим поколениям поэтов. Книга выдержала ряд изданий во Франции и в других странах Европы (кроме России, где опубликованы лишь несколько небольших подборок). Мореас умер 30 марта 1910 г. Хотелось бы верить, что публикуемые здесь переводы не только дань памяти (к столетию со дня смерти поэта), но и, в какой-то мере, дадут представление о Мастере. Может быть, придутся по душе читателям журнала.

Публикуемый портрет Жана Мореаса с натуры — гравюра работы швейцарского художника Феликса Валлоттона (1858–1925).

А. Бердичевский

Из книги «Стансы»

* * *

Когда возвращусь к тебе, море, —
тебя полюблю, оценю,
и шуму прибойному вторя,
я скуку и сплин прогоню.

Ты станешь солёною пеной
лечить меня, лаской пьяня,
нашёптывать мне вдохновенно
о прелестях нового дня.

* * *

Не утверждай: жизнь — пиршество страстей!
Лишь к неучу такая мысль приходит.
Питают нас не крики новостей,
но то, что есть в обычном обиходе.

Всё чужь! Пляшите, пойте по весне,
скорбите о потерях и невзгодах,
и заблудившись в этой суетне,
поймёте, что не зря проходят годы.

* * *

Мне надоели осень и Париж, —
 всё навевает скуку.
 Осенний ветер холоден, бесстыж,
 и воет с перепугу.

Меня признает, может быть, Париж,
 и приласкает взглядом,
 чтоб я в нору не прятался, как мышь,
 в период листопада.

* * *

Когда сквозь туч свинцовых стужу,
 чтоб подарить тепло и свет,
 ты прорываешься наружу,
 и осени наносишь вред.

Зачем? Скажи мне, солнце, правду,
 течения времени не жаль,
 ты ярко нарушаешь право,
 чтоб закалить свою печаль.

* * *

Когда тебя волнуют судьбы мира —
 в них всё наперекор,
 но о себе напоминает лира, —
 к ней обрати свой взор.

Учёный сноб промямлит монотонно:
 «Искусство ни причём».
 Всё бред. Поверь в стихию Аполлона, —
 в ней чувства бьют ключом.

Уходят старцы. В новых поколениях
 звучит простор веков.
 Они отметят в трепетных мгновеньях
 сюжеты для стихов.

* * *

Мы близнецы с тобой, Париж! Лишь солнца луч
 блеснёт, и теплотой повеет над землёю,
 он тут же спрячется на небе среди туч,
 и холод всё задёрнет пеленою.

Тоска меня возьмёт, — не стану горевать,
наперекор беде я буду ждать удачу,
она придёт ко мне, и я смогу опять
дождаться радостей, и всё переиначить.

* * *

Мои знакомцы спят давно в могилах.
От всех похвал себя я берегу.
Зерном вскормлю я птишек легкокрылых.
Пусть урожай мой догниёт в стогу.

Спокоен я. Интриги Аквилона
мне нипочём. Ведь им неведом стыд.
И лишь дыханье лиры Аполлона,
меня на ритмы снова вдохновит.

ВИЛЛА

Среди каштанов и густых кустов сирени
таится вилла в переливах светотени, —
её обвил вокруг ползучий плющ.
Глицинии висят, как голубые вазы,
и гладиолусы желты и остроглазы,
голландский тополь строен и могуч.

Вот узкая рука, при зареве заката,
в бокалы влагу льёт кровавого муската,
беседка здесь, — прохлады колыбель.
И скошенной травы дурманит душный запах,
вечерних скрипок задыхающихся храпы,
покой сулящий нудный ритуфель.

Под жалобный мотив, — под ропот водоёма,
едва коснувшись их, почти что невесомо,
цветы в косицы заплетает лень.
И в опьяняющем цветочном аромате,
при замирающей усталости, некстати,
в изнеможенье умирает день.

Переводы с французского Л. Бердичевского

Данило Киш

Перевод с серб. Владимира Бацунова



Сербский писатель Данило Киш (1935–1989), сын венгерского еврея и черногорки родился в Суботице, детство провёл в Венгрии, на родине отца, погибшего в Освенциме в 1944. Окончил Белградский университет, защитив диплом на кафедре истории мировой литературы и теории литературы.

В 1962 году под одной обложкой вышли два первых небольших романа «Мансарда» (сатирическая поэма) и «43-й псалом». Сборник связанных между собою рассказов «Гробница для Бориса Давидовича», вышедшая в 1976 году — книга о жестокости и вранье, на которых был замешан строй «первого в мире социалистического государства», о трагедии личности в условиях тоталитаризма. В 1983 году вышел сборник рассказов «Энциклопедия мёртвых», посвящённый вечной как мир теме любви и смерти. Из этой книги и взят публикуемый рассказ. В разное время Киш жил во Франции, преподавал сербскохорватский язык в Страсбурге, Бордо, Лиле.

Данило Киш — признанный мастер поэтического перевода. Среди прочих переводил на сербский Бодлера, Верлена, Ади, Петефи, Цветаеву, Бродского. Писал пьесы, телесценарии, эссе. Лауреат престижных премий, среди которых югославская имени Иво Андрича (1984), французская «Grand aigle d'or de la ville de Nice» (1980), американская имени Бруно Шульца (1989).

Красные марки с портретом Ленина¹

Книга песни песней Соломона (8:6)

Милостивый государь! Во время лекции в *rue Michelet* Вы подняли вопрос о судьбе переписки Менделя Осиповича и заявили, что «Собрание сочинений», выпущенное издательством имени Чехова, можно считать неполным. Существует-де вероятность, что в один прекрасный день будет найдена его корреспонденция, что она не

¹ Переведено по изданию: Danilo Kiš. Enciklopedija mrtvih — Beograd: Alfa. Narodna knjiga, 1999

может ограничиваться двумя десятками писем. Отдав должное трагически погибшему Иосифу Безыменскому за его труд («понадобилось тридцать лет поисков, чтобы напасть на след людей, которые если и не отправились на тот свет, то сменили имена, города, страны и континенты»), заключили, что ещё остаётся надежда, что эти письма будут найдены и «восполнят невосполнимое».

Собственно говоря, меня побудило писать Вам как раз Ваша невероятная, невероятная по смелости уверенность, что большая часть этой корреспонденции до сих пор существует и является собственностью особы (цитирую по памяти), «которая из сентиментальности или каких-либо иных соображений не желает расстаться с этими драгоценными документами». Мне и в голову не пришло тогда, во время лекции, задать вопрос: «Откуда у Вас вдруг — ведь такого подозрения у Вас ещё два года тому назад и в помине не было и Вы не упоминали об этом в своём предисловии — итак, откуда у Вас такая уверенность, что “речь идёт об особе, которая, если судьба к нам благосклонна, ещё могла бы жить где-нибудь в Берлине, Париже или Нью-Йорке”!»? Без сомнения, сударь, что к такому оптимистическому выводу Вы пришли благодаря в первую очередь изысканиям покойного Безыменского, к наследию которого Вы имеете доступ.

Особа, которую Вы разыскиваете, сударь, «особа, в чьих руках ключи тайны», как Вы выразились, на той лекции сидела в нескольких метрах от Вас. Разумеется, Вы её не помните, без сомнения, Вы её даже не заметили. А если Вы случайно и обратили на неё внимание, то, должно быть, подумали, что это одна из тех дам, которые посещают публичные лекции будто бы затем, чтобы узнать ещё что-то и в конце пути, до конца исполнив свои земные обязанности, с полным правом сказать, что не во мраке провели жизнь свою. На самом же деле — чтобы забыть на короткое время о своём одиночестве, наполненном мыслями о смерти. Или чтобы увидеть хоть какое-то живое человеческое лицо.

Сударь, вопреки одиночеству, в котором живу, я не докучаю людям своими воспоминаниями, населёнными в основном мертвецами, словно какое-нибудь огромное кладбище, не посещаю лекций и не пишу писем незнакомым людям, чтобы заполнить своё время ожиданием ответов. И видит Бог, а сейчас и Вы увидите, что я много их написала в своей жизни. И почти все они были адресованы одной-единственной персоне — Менделю Осиповичу.

Вам, как знатоку его сочинений (у меня нет намерения указывать на некоторые биографические неточности) не нужно приводить излишних доводов — во всём этом Вы без труда разберётесь.

В стихотворении под загадочным названием «Стелярный каннибализм» (Т. I, стр. 42) «встреча двух звёзд, двух существ» вовсе не «результат тесного взаимодействия предраасудочной и несознательной активности», как утверждает госпожа Нина Рот-Свенсон, но поэтическая транспозиция удара электрическим током, который потряс душу Менделя Осиповича в тот момент, когда наши взгляды встретились — тогда, в редакции «Русских записок» (куда он заглянул

«случайно и судьбоносно») в Париже, в хмурый ноябрьский день тысяча девятьсот двадцать второго года. Точно также в стихах эмигрантского периода М. О. не воспевал свои «фрустрации», как утверждает упомянутая госпожа, поскольку он всегда был, как сам утверждал не без иронии, «убеждённый певец жизни».

Мне было двадцать три... Однако, это не имеет значения, я здесь вообще не важна. Вернёмся к Менделю Осиповичу. В стихотворении из того же цикла «Откровение» «людоедские звёзды» также не какие-то «неосознанные страхи, связанные с происхождением и изгнанием», не «транспозиции ночного кошмара», и менее всего какие-нибудь «тотемы», а просто соединение двух образов: в тот день Мендель Осипович прочёл в каком-то научно-популярном журнале о существовании так называемых звёзд-каннибалов, звёздного каннибализма как астрономического явления у двойных и *весьма близко расположенных звёзд* (отсюда строка: «Звёзды, что соприкасаются лбами, челюстями»), которые заглатывают друг друга в далёких туманностях где-то по другую сторону Млечного пути. Это было первое впечатление; вторым была наша встреча. Эти два события слились в один образ. Поскольку поэты говорят как пророки, стихотворение о звёздах-каннибалах стало пророческим: наши жизни, сударь, каннибальски перемешались.

Конечно, о Менделе Осиповиче я слышала и раньше. Все, кто в то время в России говорили на идиш, да и не только они, знали о Менделе Осиповиче. Всякая сильная и оригинальная личность окружена слухами, и о нём болтали, что он обыкновенный вульгаризатор Анского, что у него есть внебрачный ребёнок, что он переписывается с одной известной немецкой актрисой, что с восемнадцати лет у него вставная челюсть (с тех пор, как ему выбил зубы некий ревнивый муж, известный русский поэт), что свои стихи он пишет сперва порусски, а потом их переводит, прибегая к помощи отца, что он собирается навсегда переселиться в Палестину и т. д. Я увидела однажды в газете его портрет работы Константина Ротова, вырезала и вклеила в свой дневник. «Господи,— подумала я,— так должен выглядеть мужчина моей жизни!» (Патетика нашей молодости.)

И вот — Господи! — в редакции «Русских записок» передо мною стоит Мендель Осипович и смотрит на меня. Я спрятала руки под стол, чтобы он не заметил, как они дрожат.

На следующий день он пригласил меня поужинать в русский ресторан на Монпарнасе. Поскольку о Менделе Осиповиче ходил анекдот, что подобно Байрону он относится с презрением к женщинам, которые едят на людях, я, хоть и была голодна, выпила только несладкого чаю. Потом я ему, конечно, рассказала, к чему привёл этот байроновский анекдот. В результате появилось «анатомическое стихотворение», как назвал его Безыменский, где «в торжестве плоти словно бы выворачивается кожаная перчатка, появляется идеализированная квинтэссенция внутренних органов, не только сердце, но и лёгкие в виде цветов сирени, и меандры кишок». Это, следовательно, любовное стихотворение *par excellence*, а вовсе не «фантазии, связанные с материнской маткой»!

Словом, наша любовь была «неминуема и неизбежна». Мы поняли, что вопреки препонам должны соединить наши жизни. Стоит ли говорить, что всё было против нас: семьи, друзья, родственники, писательская организация. И, конечно, та несчастная больная девочка, которую всегда притягивали в качестве последнего аргумента.

Он настоял, чтобы я вернулась в Россию и устроилась на работу в московскую редакцию журнала «Дер Штерн». Так мы могли видеться ежедневно. Я жила вблизи его, если не сказать «в тени его». (Стихотворение «Солнце под розовым абажуром» лишь ироничная реплика Менделя Осиповича на такое моё замечание. А не «навязчивая мысль о менструальной крови!» О Боже!)

Вам известно, сударь, что М. О. к тому времени уже был женат и имел дочь (или, как говорит госпожа Нина Рот-Свенсон: «М. О. уже реализовал свои юношеские фантазии в образе жены-матери!»). И как бы тяжело мне не было, я снова должна напомнить Вам о судьбе этого несчастного ребёнка, о котором госпожа Нина Рот-Свенсон умаляет, словно бы факт, что он был болен от рождения, мог бросить тень на Менделя Осиповича.

Не имею намерения, сударь, исправлять произвольные оценки критиков, а тем более выводы упомянутой Нины Рот-Свенсон — я имею на это *наименьшее* и *наибольшее* право, — хотя должна сделать здесь одно замечание: поскольку госпожа Н.Р.-С. прекрасно знает о существовании этой больной девочки, она с женской солидарностью и, без сомнения, материнским инстинктом (который не всегда помогает в критических оценках) все стихи, в которых появляется слово «кинд» истолковывает как «страхи, имеющие отношение к санкциям сверх-я и которые переживаются как ощущение вины!» Бедный Мендель Осипович перевернулся бы в гробу, если бы это прочёл. И не только из-за ужасной банальности, хотя... — из-за неё в первую очередь. Ни разу, сударь, он не сделал ни малейшей аллюзии на этого ребёнка в своих произведениях, считая это кощунством. Это я, сударь, «грешная дева», и я, хотя у нас была разница всего в семь лет, — «майн кинд» из его стихов. Таким образом, думаю, мы разобрались с «глубинным анализом» госпожи Нины Рот-Свенсон, которая пыталась на основе романов «Охотничьи псы» и «Соляной столп», а также сборника «Падающая звезда» вывести бессмысленный тезис о любви как инцесте, как о «попытке нарушить табу и, как во сне, пережить катарсис!» Извините, но я думаю, что со стороны госпожи Нины Рот-Свенсон было бы умнее, если бы она избавила Менделя Осиповича от своих «тотемов и табу».

Надо ли говорить, что М. О. не единожды пытался разорвать связи, державшие его «привязанным двойною цепью, словно якоря». Его несчастная дочка была, тем не менее, в состоянии интуитивно, как могут только дети и юродивые, почувствовать ещё с порога его решимость произнести роковые слова, которые он затвердил по дороге, как какой-нибудь школьник, идущий на экзамен. Сидя в кровати, опёршись на подушки, она устремляла на него свой измученный взгляд и пыталась ему сказать что-то, завершавшееся жутким

звериным бормотанием. М. О. тогда, раздираемый раскаянием, сидел под ней, брал её руку и вместо того, чтобы произнести готовые слова, опускал голову на колени законной супруги. «Это дитя Бог дал мне вместе с талантом, чтобы я не слишком возгордился», — повторял он, всхлипывая.

Разгромленный, он бежал в литературу — «Землю обетованную» (И не вспомнить, причиной скольких недоразумений и предательств стало это стихотворение! Тогда он решал, что нам нужно расстаться. Я, как могут только дети и юродивые, чувствовала его намерение по звуку звонка, по нажиму на дверной запор. «Не нужно никого ранить, — говорил он, — Я не имею права на любовь». Так мы не единожды расставались «навек», разрывая нашу связь, как разрывают шёлковую нить «и жемчуг катится по жёлтым вымытым доскам» (в моей квартире, на последнем этаже дома на улице Мерзлякова, в Москве), и сразу же после этого падали друг другу в объятия — «неотвратимо». (Стихотворение «Лимб» как раз и есть отзвук такого разрыва).

Наконец, — говорю «наконец», а необходимо было, чтобы прошли годы страданий, расставаний, разрывов, мы увидели, что жизни наши связаны навсегда и что своими ничтожными человеческими силами мы ничего не в состоянии поделать ни с нашей любовью, ни с препятствиями, которые встают на её пути. «Такая любовь рождается раз в триста лет, — говорил М. О., — Она — плод жизни, и только жизнь ей судья. Жизнь и смерть». Это и есть значение стихотворения «Лимб», которое, кстати сказать, госпожа Нина Рот-Свенсон своим комментарием совершенно обесмыслила. («Фигура потока, реки, используемая в поэтической речи, тем более, когда она опущена, *вытеснена*, проистекает из подсознательного механизма сна, а во сне, посредством системы ассоциаций, текущая река, пусть даже и невидимая, а только ощущаемая — «бездна гулкая» — есть одновременно и журчание слов и шум урины». Скажите Бога ради, что всё это значит?!)

Таким образом, Мендель Осипович не был моим мужем. Он был для меня смыслом жизни, как и я была для него «исцелением от тоски» (см. стихотворения-близнецы «Блудный сын» и «Гея и Афродита», Т. III, стр. 348–350). Этой любви была чужда «ненасытность приговорённого к смерти», ей не были нужны доказательства, она жила благодаря себе самой и в себе самой сгорала, а мы сгорали в её пламени.

Итак, прошло «время страшных разрывов», мы стали пленниками, заложниками друг друга, установилась постоянная температура нашей «прекрасной болезни». Я растеряла всякое «достоинство» — всё, что ещё оставалось от моего воспитания — и больше ничего от него не ждала, только постоянства, надёжного, как скала. Я научилась стенографировать по методу Терне с кое-какими дополнениями, которые могла прочесть только сама. М. О. в то время был уже писатель на вершине славы, другими словами — хваимый и ругаемый, а я ещё красивая молодая женщина, из-за которой ему завидовали посвящённые в нашу тайну. В нём притихло чувство вины, вечные уг-

рызения совести. В годы, которые мы провели вместе, в то «суровое и нежное время» М. О. написал лучшие свои вещи. (Что же касается его драматических произведений с библейскими мотивами, нельзя забывать, сударь, что в них содержатся опасные аллюзии, какие в то «вольче время» иметь в своём тексте, хотя бы и хранящемся «в столе», означало подвергаться смертельной опасности. Читая комментарии госпожи Нины Рот-Свенсон,— простите, но я всякий раз натываюсь на неё, как на какой-нибудь шкаф, стоящий посреди комнаты,— и её толкование образа Моисея, как «подавленную ненависть к отцу-раввину, отцу-тирану»,— всякий раз спрашиваю себя с изумлением: неужели госпожа Нина Р.-С. проспала всё то время, которое провела в России, время «под суровым небом старого доброго Моисея», время, когда она ещё не занималась «глубинным толкованием поэзии», а была скромным переводчиком и преподавателем?) Я отпечатала на машинки или переписала от руки все произведения Менделя Осиповича, я была, сударь, повивальной бабкой при всех его литературных родовых потугах (см., например, стихотворение «Она сказала: „Аминь“», Т. II, стр. 94). Годами я сидела на чемоданах, чтобы в любой момент по его зову отправиться в путь. Я провела «чудные ночи в звериной лихорадке» в кишках клопами провинциальных гостиниц или няхтых комнатах. Вспоминаю — если я имею право вспоминать — волнение, когда мы впервые смешали наши вещи в одной бакинской гостинице: наша одежда была развешана в шкафах на вешалках в какой-то бесстыдной интимности (на этот раз удержусь от комментария на толкование, которое госпожа Нина Рот-Свенсон даёт стихотворению «Перемешанные кожи» — это переходит границы хорошего вкуса и здравого смысла).

Вас, сударь, безусловно, интересует, как всё это связано с произведениями Менделя Осиповича. Это я, сударь, Полимния из одноимённого стихотворения (и его смысл становится ясным только в контексте нашей жизни). «В каждой моей строчке, в каждом моём слове, во всякой точке присутствуешь ты, как цветочная пыльца,— говорил М. О., — На всём, что я написал, и даже на всём, что перевёл — на всём твой отпечаток». «Песнь песней» он переводил в 1928 году, значит уже в то время, когда между нами не было больше разрывов (и бессмысленно утверждение Заниковского, что этот перевод «неадекватен»! Известные отступления оправданы личной теорией Менделя Осиповича, а значит незачем здесь искать его отца, «почтенного Йосефа бен Бергельсона», на которого Заниковский сваливает всю вину. М. О. в свои переводы вплёл часть личных ощущений. «Разве иначе, не принимая во внимание вопроса чистой экзистенции, переводил бы я с таким удовольствием?», — говорил он мне. Катула, *Canzoniere* Петрарки, сонеты Шекспира, которые М. О. переводил с помощью покойного Изиркова, также следует рассматривать в свете этого его замечания.

Не затрагиваю, сударь, исторического фона, на котором, как на каком-нибудь суровом пейзаже, протекала наша жизнь. Когда оглядываюсь, всё сжимается в картину, на которой метель сменяется

дождём, дождь — грязью, всё сливается «в единство непереносимого холода». Будьте, однако, уверены, что у Менделя Осиповича было не такое суровое лицо, как может показаться после знакомства с его аскетической прозой — его письма ко мне были барочные как у Флорера. А письма эти говорили о том же, о чём говорят его произведения, и о том же, о чём они умалчивают. О радости творчества и о творческом кризисе, о состоянии души, о городах, о геморрое, о пейзажах, об основаниях для самоубийства и основаниях для жизни, о разнице между прозой и поэзией. В его письмах были перемешаны любовные вздохи, эротические аллюзии, литературные теории, путевые заметки, поэтические фрагменты. Припоминаю ещё описание одной розы, одного рассвета, вариации о клопах, размышления о возможности загробной жизни. Ещё вспоминается описание одного дерева, и одно сравнение, в котором цикады под окном его гостиничного номера в Крыму издают такие звуки, будто кто-то заводит наручные часы; этимологию одного имени, названия какого-то города, толкование одного ночного кошмара. Остальное, остальное, из того, что помню, были слова любви: советы, как одеваться в холода, какую делать причёску, просьбы, «горячее любовное бормотание», сцены ревности — надо ли говорить, безосновательной.

Затем, в один из дней я получила письмо. Это было в страшном сорок девятом и мне не нужно Вам рассказывать, что тогда произошло. Вам без сомнения известно, сударь, что в тот год все члены организации еврейских писателей были уничтожены. Мой рассказ касается времени непосредственно перед теми трагическими событиями. Итак, я получила некое письмо, которое предназначалось не мне. Думаю, было бы слишком требовать от меня, чтобы я своё любопытство подчинила нормам хорошего воспитания и не прочла письма, тем более что на конверте стояло моё имя, написанное рукою Менделя Осиповича. Нет, это было не любовное письмо — речь в нём шла о значении и смысле некоторых стихов — советы молодой сотруднице, переводившей на русский стихотворения Менделя Осиповича. Тем не менее, от всего этого письма веяло какой-то двусмысленностью, «корибантским восторгом» и «неисправимой гордостью павлина, распускающего хвост» (воспользуемся его стихами): душа Менделя Осиповича не была для меня тайной. Я уверена, сударь, уверена до сих пор (если это только не самоутешение и не самооправдание), что обычный *Libesbrief* меня меньше бы ранил, меньше бы потряс — я была бы в состоянии простить ему «корибантский восторг». Во имя нашей любви, единственной и неповторимой, простила бы ему, думаю, и плотскую измену — поэтам и богам всё прощается. Но тот факт, что он в своём письме говорил с той молодой особой о своей поэзии, о своей душе, о таинственных источниках своего вдохновения; то, что в некоем двусмысленном контексте — повод для которого подавало ему само стихотворение — разделил с нею нечто, что — как думала я — принадлежит только мне и ему, как *jus primaе noctis*, это, сударь, выбило у меня почву из-под ног, потрясло всё моё существо, стало проверкой всей моей прежней

жизни. Вдруг «жёлтые доски» у меня под ногами разъехались, словно при землетрясении, я стала тонуть, как в кошмарном сне. Я поняла, что это головокружительное падение я смогу остановить только если сделаю что-то — разобью зеркало, лампу под розовым абажуром (его подарок), китайский чайник или дорогой термометр. В противном случае учиню чего пострашнее. И тут меня осенило: «Письма!».

Поскольку обыск в его квартире проводили уже несколько раз, Мендель Осипович принёс нашу переписку ко мне. «Ужасаюсь при мысли, что люди без лица могут заглянуть в твои письма», — сказал он. Письма я перевязала лентой, которую он купил мне на заре нашего знакомства. Эта чёрная бархатная лента появляется в одном его стихотворении, а *enjambement* переходит из стиха в стих как лента в светлых волосах — от виска к виску. Я перерезала ленту ножницами, которые оказались у меня в руке — видимо, я намеревалась обрезать себе волосы — и моё падение замедлилось. В миг, когда я разорвала первое письмо, я знала, что для меня уже нет пути назад, вопреки пониманию, которое меня пронзило как стрела: буду каяться, уже каюсь. Наш роман теперь был похож на драгоценную книгу, из которой вырваны страницы, на те экземпляры, которые возвращают в книжный магазин с жалобой на то, что они повреждены. Ослепленная яростью и раскаянием, я почти ничего не различала, кроме пятен марок, похожих на восковую печать. Вы, знаток творчества Менделя Осиповича, конечно, уже представили, как бы он это написал, эту сцену, этот фламандский портрет; этот свет, который пробивается сквозь задернутые шторы и падает на лицо и руки молодой женщины. Для освещения, ради образа — зажжёт бы огонь, раздул бы пламя, открыл бы дверцы печи? Поставил бы камин? (Камина у меня не было, а железная печка не горела, хотя стоял ледяной март). Вряд ли. «Прозрачного сумрака» ему было бы довольно, чтобы озарить лицо женщины у окна, а красные марки с портретом Ленина были бы достаточным акцентом, чтобы вызвать в памяти красное клеймо «царской крови». (Что касается «царской крови», приводимое Вами объяснение абсолютно верно.) Ах, уж он нашёл бы способ показать отсвет адского огня!

Я знала, что он уже должен был обнаружить фатальную ошибку. Едва увидав меня, он понял, чем я занимаюсь: возле меня лежала груда изодранной бумаги. Я поднялась с пола и ткнула ему в руки его книги со словами: «Посвящения я вырвала». Затем передала ему конверт с фотографиями: «Те, на которых мы были вместе, я уничтожила».

После этого я видела его всего однажды — на официальной трибуне, с которой он читал какое-то воззвание. Это был уже сломленный человек, предчувствовавший скорый конец. Что было дальше, Вы знаете. В одну из ночей «люди без лица» увели его, забрав с собой и оставшуюся переписку. Таким образом из собрания сочинений Менделя Осиповича выпал пятый том, и его корреспонденция свелась к тем двум десяткам писем, которые он написал в издательства и друзьям. То, что не смог уничтожить страшный «меч революции», уничтожило безумие любви.

Что было, то было. Прошлое живёт в нас и мы не можем его вычеркнуть. Поскольку сны суть отображение мира иного и доказательство его существования, мы встречаемся в снах. Он стоит на коленях у буржуйки и суёт в неё влажные дрова. Или окликает меня силным голосом. Тогда я просыпаюсь и включаю свет. Раскаianie и боль понемногу превращаются в сумрачную радость воспоминаний. Наш долгий, страстный и страшный роман наполнил мою жизнь, сделал её осмысленной. Судьба ко мне, сударь, была благосклонна, и я не ищу никаких компенсаций. Меня не будет в списке личных имён в книгах Менделя Осиповича, в его биографиях или сноске к какому-нибудь стихотворению. Я, сударь, сама *произведение* Менделя Осиповича, как и он — моё. О чём ещё можно мечтать?

Однако не подумайте, сударь, что я «примирилась с судьбой», что я от всего отрекаюсь. Поскольку я не знаю, где находится могила Менделя Осиповича, то и не имею намерения «лечь рядом с ним» (как пожелала несчастная З.). Коль скоро до мозга костей материалистичный Дидро мог увлекаться подобными фантазиями, почему бы и мне не надеяться, что мы встретимся на том свете? И не дай Бог мне найти рядом с ним тень другой женщины.

P. S.

Рассказ «Красные марки с портретом Ленина» несмотря на обилие цитат — фантазия, хотя... хотя «я же никогда не понимал, как это можно книги выдумывать, что проку в выдумке» (Набоков).

Что же касается «до мозга костей материалистичного Дидро», речь, без сомнения, идёт о его письме, о существовании которого я узнал благодаря госпоже Элизабет де Фонтене:

«Те, что любили друг друга и завещали, чтобы их похоронили рядом, были, возможно, не столь безумны. Быть может прах их соприкасается, смешивается, соединяется... Откуда я знаю? Быть может их прах не утратил всякое чувство, всякую память о своём первоначальном свойстве и в нём продолжает по-своему существовать частица тепла и жизни?.. О, моя София! Значит и мне остаётся ещё надежда на то, что я смогу к Вам прикоснуться, ощутить Вас, соединиться с Вами, когда нас не будет больше, если существует изначальный закон сродства и если нам суждено осуществить единство бытия. Я бы тогда, век за веком, мог бы быть вместе с Вами, и молекулы Вашего распавшегося возлюбленного могли бы взволноваться, могли бы пробудиться и устремиться за Вашими молекулами, расплывёнными в природе. Разрешите мне эту фантазию, она для меня как бальзам, она могла бы обеспечить мне вечность в Вас и с Вами...»



Борис Ванталов

/ Санкт-Петербург /

Соловей на Черной речке

* * *

Снег сошел. Земля опять беременна.
Медленно теплеет бытие.
Вылезет из недр зелень временно,
поглядит на небо. Вот и все.

* * *

Весною корюшка запахнет огурцом.
Сквозь сон начнет природа улыбаться.
К светилу повернется вновь лицом
сознанием околпаченная цаца.
Впитает тело ультрафиолет.
Нос, словно хищник, в ландыши вонзится.
Кузнечик зазвонит — велосипед,
и потеряет что-нибудь девица.

* * *

Хлороформом хлорофилла
одурманены мозги.
Жизнь весною просквозила
льдин последних пирогов.

В глубине вселенской ночи
солнце вертит теплый прах.
Сердца аленький комочек
держит ритм в пестрых снах.

* * *

Пробив блокаду наготы,
листвой взрывается растение.
Герои, первые цветы,
идут в разведку. Скоро наступленье.

Ликует весь пернатый мир,
справляя праздник размноженья,
и достает кармический факир
яйцо из чудного мгновенья,
как дирижер,
волшебной палочкой
взмахнув.

* * *

Соловей на Черной речке
заливается, поет.
В мозг заумные словечки
тонким клювиком кладет.
Пусть летейская водица,
как рассудок холодна,
свищет маленькая птица...

В этом ужасе — весна.

Прыжки и танцы

1. ТАНЦЫ

Темное танго

После себя остается немного:
кожурки понятий в углу,
имя немое Бога,
запрятанное в золу.

Пепел завертит ветер.
Там затанцует ты.
Гибче всего на свете
талия темноты.

Небольшой вальс

Что ты, эго поганое, ленишься,
почему ты не стерло лица?

От судьбы никуда не денешься.
Протанцуй свой маршрут до конца.

Вальс галактик в сознании кружится.
Дирижирует дедушка Рок.

Протоплазмы зеркальная лужица
испаряется сквозь потолок.

Дивертисмент

Быть человеком мозгу больше неохота.
В нас мысли-пули носятся, свистя.
Пожизненна дуэль-работа
по отрицанию себя.
Наркоз всеобщий буквы я.
Балет an sich реципиента.
Скользит сознания змея,
как кинолента.
Дешевый фильм смотрим мы
и заливаемся слезами
внутри придуманной тюрьмы.

...Нет чтобы пласть за облаками.

Хореографическая миниатюра

Калейдоскопом хромосом
в танцклассе темной сути
закручен был извилин ком
первопроходцев теплой жути.

На сушу лезли из воды,
потом летели в небо,
распознавая код беды,
пропорции Эреба.

Прожарив мозг до черных дыр,
комета чувств погасла.
Опять абстрактным станет мир,
куда поэт был заслан.

* * *

Мирок твой лопнет, словно шар.
Сидишь на венском стуле
и ощущаешь черный жар,
вселенная в июле.

Не пляшет кукольный язык.
Туман молчанья манит.
И все к чему ты так привык
родным быть скоро перестанет.

Пляска свободы

Я вышло из ослиной шкуры.
Теперь без кожи. Мозг в огне.
Молекулы литературы
еще мотаются во мне.
В закатном таинстве природы
все ярче неизбывный свет
костра танцующей свободы,
которой в яме мысли — нет.

2. ПРЫЖКИ

Запрыгивая в смерть,
как в воду на закате,

Перебираем простыню рукой.
Не холодно?

Волна небытия подхватит
кораблик твой

с названьем неизбежным
«Сам не свой».

* * *

Прыгай в небо из себя,
прыгай в небо, сбросив я.
Прыгай в небо не скорбя.
Чем ты хуже воробья?

* * *

Прыжки и танцы на духу,
непостижимые уму.

Прыжки и танцы на духу,
пока не стерся ты в труху.

Прыжки и танцы на духу.
Ку-ка-ре-ку!

* * *

Став обугленною спичкой,
искривленным стариком,
быть попопробуй вольной птичкой,
странствуй в небе с ветерком.

Прыгни храбро на закате
в красный ультрафиолет.
Ты взлетает. На кровати
отслуживший драндулет.

* * *

Прыгай в радугу дождя,
в одиночку, без вождя.
Разрешенья на спросив.
Станешь ветер, будешь жив.

* * *

Эй, видишь мистиков светящиеся рати,
герои тайного труда,
они везде, всегда некстати.
Их не любили никогда.
В ночи своей искали Бога.
Там разбиваясь тыщи раз,
вперед ползли. Горит дорога:
тьму процарапавший алмаз.

Salto mortale

Сальто-мортале
в самом начале.

Сальто-мортале
в самом конце.

Сальто-мортале
в любви и печали.

Сальто-мортале
в бездонном яйце.

* * *

Сам вышел из себя. Свобода.
Уже у жизни не внутри.
Над пепелищем генетического кода
летают молний шаровые снегири.

ФИЛИП РОТ

Перевод с англ. Льва Шорохова

Эпштейн¹

1

Майкл, субботний гость, должен был провести эту ночь в бывшей комнате Герби, где стояли две кровати и на стенах еще висели фотографии бейсболистов. Лу Эпштейн с женой занимали свою спальню с большой постелью посередине. Комната дочери пустовала — Шейла была на каком-то собрании вместе со своим женихом — гитаристом. В углу ее комнаты оставшийся со времен детства большой плюшевый мишка устроился на толстом заду — значок «Голосуй за социалистов!» был приколот к его левому уху, а на полках, где когда-то пылились детские книжки Луизы Мэй Элкотт, выстроились теперь романы Говарда Фаста². В доме было темно и тихо, лишь в гостиной на первом этаже субботние свечи горели в высоких золотых подсвечниках, и поминальная свечка Герби трепетала в стеклянном стаканчике³.

Эпштейн лежал, уставившись в темный потолок спальни, и его голова, тупо нывшая целый день, понемногу отходила. Рядом супруга, Голди, тяжело дышала, словно страдая вечной астмой. Четверть часа назад она готовилась ко сну, и Эпштейн смотрел, как Голди накидывает через голову белую ночную сорочку. Грудь ее отвисла чуть не до пояса, зад напоминал печку, а бедра и голени в голубых линиях вен — дорожную карту. То, что когда-то было небольшим, упругим и округлым, что едва лишь можно было ущипнуть, теперь выширало и висело. Вся она изменилась. Он не стал ее долго разглядывать, закрыл глаза и попытался воскресить в своей памяти Голди образца 1927 года, да и себя, Лу Эпштейна, в том же

¹ Epstein, из сборника Goodbye, Columbus. Изд. 1959 г.

² Известный в 50-е годы писатель — коммунист (*Прим. переводчика*).

³ Еврейский обычай зажигать свечу в годовщину смерти близкого человека.

самом году. Вспомнив все это, он прижался к спине уснувшей жены и коснулся рукой ее груди. Соски, длиной чуть не в мизинец, напоминали коровьи. Эпштейн отодвинулся на свою половину.

Звук ключа, открывшего наружную дверь, шепот, и дверь мягко закрылась. Эпштейн напрягся, прислушиваясь к звукам — эти социалисты зря времени терять не будут! Вжиканье застежек «молния» внизу не давало ему спать по ночам. — Чем они там занимаются? — крикнул он однажды жене. — Примеряют одежду? — Сейчас он ожидал чего-то подобного. Не то, чтобы Эпштейн был против этих игр. Он вовсе не ханжа — пусть молодежь радуется жизни. Разве сам он не был молодым? Но в 1927 году они с женой были такой красивой парой! Никогда он, Лу Эпштейн, не был похож на этого хлыща со срезанным подбородком, на этого лентяя, зарабатывающего на жизнь, бренча на гитаре в салоне. Этот тип однажды еще спросил Эпштейна: «Наверное, это было так клёво — жить в эпоху великого социального подъема — в тридцатые годы»?!

А его дочь — ну что бы ей стоило вырасти похожей хоть на ту девчонку из дома напротив, с которой сегодня встречался Майкл? Ту, у которой умер отец. Она превратилась в настоящую красотку. Она — но только не его Шейла! Что стало, — недоумевал Эпштейн, — что стало с тем милым розовым младенцем? В каком году и в каком месяце стройные ножки стали толстыми, как бревна, а на персиковых щечках расцвели прыщи? Когда этот милый ребеночек успел превратиться в двадцатитрехлетнюю женщину, озабоченную «социальными вопросами»?

Слава Богу — хоть чем-то озабоченную, — думал Эпштейн. — Целый день она занята поисками какой-нибудь демонстрации, чтобы примкнуть к ней. А вечерами, вернувшись домой, набрасывается на еду с волчьим аппетитом. Представить ее в постели с этим лабухом — брр... Эпштейн спокойно вертелся в постели — вжиканье и сопенье внизу громом отдавались в ушах.

Вжик! — Ну, занялись привычным делом, — подумал Эпштейн. Он пытался отвлечься, переключить свои мысли на что-то другое. Его бизнес... Оставался лишь год до намеченного ухода на покой, однако наследника фирмы «Бумажные Пакеты Эпштейна», увы, не было. Он создавал это дело с нуля, кровью и потом, мучился во времена Великой депрессии и Рузвельта, чтобы, наконец, оно расцвело во время войны и позже, при Эйзенхауэре. Мысль, что все это достанется чужому человеку, была невыносима. Но что теперь делать? Герби, которому сейчас исполнилось бы двадцать восемь, умер от полиомиелита, когда ему было одиннадцать лет. Шейла, его последняя надежда, связалась с лодырем. Что можно теперь изменить? В его пятьдесят девять — вновь родить наследника?

Вжик! — Ах-ах-а-ах! — Эпштейн зажимал уши, стараясь не слышать. Старался думать о чем-то другом, поглубже уйти в свои мысли. Ну, например, сегодняшний ужин...

Он удивился, вернувшись с фабрики, увидев за своим столом солдата. Поразился тому, что парень, которого он не видал

лет десять-двенадцать, вырос точной копией его — словно собственный сын! — Тот же нос с небольшой горбинкой, тот же крепкий подбородок, смуглая кожа, копна черных блестящих волос, которые когда-нибудь, в свой черед, станут белыми, как облака.

— Взгляни, кто у нас! — крикнула жена, лишь только Эпштейн открыл дверь руками, грязными от дневной работы — Это сынок Сола!

Солдат вскочил из-за стола и протянул ему руку. — Здравствуйте, дядя Луис!

— Лу! — громко восхищалась жена. — У твоего брата вырос настоящий Грегори Пек, Монти Клифт!¹ В нашем городе он каких-нибудь три часа, и уже имеет свидание вечером! И притом — настоящий джентльмен!

Эпштейн молча смотрел на племянника. Парень стоял перед ним прямо, с веселым и открытым выражением лица. Похоже, он усвоил хорошие манеры задолго до армии.

— Вы не против моего вторжения, дядя Лу? На прошлой неделе меня перевели в Монмут, и папа сказал, что мне стоит заглянуть к вам. У меня увольнение на уик-энд, и тетя Голди говорит, что я могу переночевать у вас... — он сделал паузу.

— Посмотри на него! — не могла успокоиться Голди — настоящий принц!

— Да, разумеется, — ответил, наконец, Эпштейн. — Оставайся. Как поживает отец? Эпштейн не общался со своим братом давно, с 1945 года — тогда он выкупил долю Сола в их общей фирме, они поссорились, и тот уехал в Детройт.

— Папа в порядке, — ответил Майкл. Передает вам привет.

— Ты ему тоже передавай. Ладно?

Майкл снова уселся. А Эпштейн думал о том, что парень, как и его отец, наверняка считает его, Лу Эпштейна, черствым человеком, чье сердце бьется чаще только при мысли о «Бумажных Пакетах».

Когда Шейла вернулась домой, они сели ужинать вчетвером, как когда-то, в старое доброе время. Голди суетилась и сновала без передышки, ставя перед ними все новые и новые тарелки.

— Майкл, раньше, — повествовала Голди, — мальчиком ты очень плохо ел. Вот твоя сестра Рути, благослови ее Бог, та ела хорошо. Не обжора, но кушала она с аппетитом.

Впервые за вечер Эпштейн вспомнил свою племянницу Рути — маленькую черноволосую красавицу, похожую на библейскую Руфь. Он посмотрел на дочь, а жена все продолжала: «Нет, ела она не так уж много, но не была привередой. А наш Герби, пусть покоится с миром, тот был очень разборчив в еде...» — Голди вопросительно взглянула на мужа, словно он-то уж точно помнил, из какой категории едоков был его любимый сын.

Эпштейн молча уткнулся глазами в тарелку.

¹ Кинозвезды тех лет.

— Но, — подвела итог Голди, — раз теперь ты так хорошо кушаешь, Майкл, — чтоб ты был здоров!

— Ах! Ах! Ах! — звуки снизу прервали мысли Эпштейна. — А-ах!
— Нет, всему есть предел! Он вылез из постели, opravил пижаму и стал спускаться вниз, в гостиную. — Ну, сейчас он им!.. Он им объяснит, что 1957-й год — не 1927-й! — Но увы, скорее они могли б ему это сказать...

Однако в гостиной развлекались вовсе не Шейла с ее гитаристом. — Эпштейн чувствовал, как холодок от пола струится к паху вдоль штанин, сморщивая гусиную кожу на бедрах. Парочка не замечала его. Он спрятался за арку, ведущую в столовую. Глаза Эпштейна не отрывались от ковра на полу гостиной, где лежали его племянник и девушка из дома напротив.

Свитер и шорты девушки были брошены на валик дивана. Света мерцавших свечей хватало, чтобы видеть ее наготу. Майкл прижимался к ней, крепко обнимая, готовый к новым подвигам. На нем были лишь носки цвета хаки. Груды девушки были похожи на спелые яблоки, Майкл снова и снова целовал их. У Эпштейна звенело в ушах. Он боялся пошевелиться, пока те двое, словно вагоны на сцепке, вновь мощно не сошлись друг с другом, соединились, задвигались в такт. И в поднявшемся шуме Эпштейн, дрожа от холода и волнения, отступил на цыпочках и быстро вернулся наверх, в супружескую постель.

Ему казалось — он часами лежал без сна, пока наружная дверь вновь не хлопнула, выпустив молодых. Когда через несколько минут ключ снова повернулся в замке, Эпштейн уже не мог сообщить — это Майкл вернулся, чтобы лечь спать, или же...

— Вжик! — Точно, теперь это были Шейла с женихом! Весь мир — думал Эпштейн — стройные и толстые, красивые и наоборот, весь этот молодой мир только и занят вжиканьем, расстегиваясь и застегиваясь! — Он сгреб рукой свою седую шевелюру — с силой, до боли. Жена заворочалась рядом, потянула одеяло на себя и что-то пробормотала во сне — «Хрр... Масс...» — Масло! — с горечью подумал Эпштейн, — ей снится ее кухня, пока молодежь вокруг вжикает молниями! — Он закрыл глаза, медленно погружаясь в стариковский сон.

2

Как далеко вспять нужно вернуться, чтобы открыть источник всех бед? — Позже, когда появится время, Эпштейн вновь и вновь будет задаваться этим вопросом. Так когда же все началось? В субботу вечером, когда он увидел эту парочку на полу? Или семнадцать лет назад, той летней ночью — будь она проклята! — когда он оттолкнул врача от постели Герби и прижался губами к лицу умиравшего сына? Или же, — думал Эпштейн, — это было тому лет пятнадцать назад, когда вместо привычного запаха женщины в своей постели он вдруг почувствовал запах лекарств? Или — когда

Шейла впервые назвала его капиталистом — словно это бранное слово, словно это позор — добиться успеха в жизни? А может, все было совсем иначе. Может, доискиваться начала этой истории — лишь оправдывать себя? — Говоря прямо, неприятности — и больше — начались именно в то утро, когда он увидел Иду Кауфман, стоявшую на автобусной остановке.

И, Бога ради — почему именно Ида Кауфман? Почему эта женщина из дома напротив, жившая там меньше года, женщина, которую он не любил и вряд ли мог полюбить — почему именно Ида изменила его жизнь? Вдобавок она, по словам соседки, миссис Кац, собиралась уехать из городка и поселиться в своем загородном домике в Барнегате. До того самого утра Эпштейн успел лишь мельком заметить эту женщину, красивую брюнетку с большим бюстом. Она мало общалась с соседями, ухаживая все дни, до недавнего времени, за своим мужем, умиравшем от рака. Встречаясь с ней пару раз, Эпштейн вежливо приподнимал шляпу, но и в те моменты больше думал о делах фирмы, нежели о собственной галантности. Неудивительно, что и в этот понедельник он вполне мог бы проехать мимо. Сияло теплое апрельское утро — не худший час для ожидания автобуса. Птички весело щебетали в кронах вязов, росших вдоль улицы, солнце сверкало, словно кубок в руках молодого атлета. Женщина стояла без пальто, в легком платье. Такой — ждущей, и увидел ее Эпштейн, и под платьем, под воображаемым бельем, чулками — тело молодой девушки на ковре своей гостиной, ибо Ида Кауфман была матерью Линды, с которой встречался Майка. С такими вот чувствами Эпштейн подрулил к тротуару, и притормозив, словно ради дочери, посадил в машину мать.

— Спасибо, мистер Эпштейн, — сказала Ида Кауфман, — как это мило с вашей стороны!

— Пустяки, — ответил Эпштейн, — я еду на Маркет-стрит. — Это мне подходит.

Ни с того, ни с сего он вдруг резко нажал на газ, и внушительный «Крайслер» рванулся вперед, словно «Фордик» какого-нибудь мальчишки. Ида опустила боковое стекло, ветерок заструился в машину, она закурила.

— Это был ваш племянник, не правда ли, что гулял с Линдой в субботу вечером?

— Майкл? — Да. — Эпштейн вдруг густо покраснел, вспомнив сцену в гостиной. Он чувствовал, как жар разливается по лицу и шее, и деланно покашлял, словно першение в горле вдруг заставило кровь устремиться от сердца к коже.

— Приятный мальчик — и такой любезный! — продолжала Ида.

— Сын брата Сола, из Детройта. — Стараясь избавиться от неловкости, Эпштейн стал думать о своем брате. Да, если бы не разговорка с Солом, Майка вполне мог бы стать наследником «Бумажных Пакетов». Но хотел ли он этого сам? И стал бы он лучше кого-нибудь постороннего?..

Эпштейн размышлял, Ида Кауфман курила — так они ехали молча, в тени вязов, под пение птичек, и яркое весеннее небо струилось над ними, как синий флаг.

— Он похож на вас, — сказала Ида.

— Что? Кто? — не понял Эпштейн.

— Майкл.

— Да ну! — возразил Эпштейн, — Он копия Сола.

— Нет-нет, пожалуйста, не спорьте! — Ида внезапно расхохоталась, резко откинувшись на сиденье, дым сигареты клубился у ней изо рта. — У мальчика точь-в-точь ваше лицо! — Эпштейн удивленно глядел на нее, не понимая, в чем дело — крупные яркие губы, рот до ушей. — Чему она так смеялась? Ах да! — Старая шутка: «ваш маленький мальчик так похож на нашего почтальона!» Именно это она имела в виду! Эпштейн ухмыльнулся, представив себя в постели с невесткой — у той все висело еще больше, чем у собственной жены.

Улыбка Эпштейна еще больше развеселила Иду. — Черт возьми, подумал Эпштейн, дай-ка попробую и я!

— Ну, а ваша Линда — она на кого похожа?

Лицо Иды Кауфман напряглось, глаза сузились, блеск их слегка потускнел.

— Наверное, я что-то ляпнул невпопад, — подумал Эпштейн, — нарушил какое-то табу, оскорбил память умершего мужа, все еще казавшегося мучеником... Но нет, это не обида — она вдруг вытянула руки перед собой и пожала плечами, словно говоря: «кто знает, Эпштейн, кто знает!»

Эпштейн заржал — он уже давно не встречал женщину с чувством юмора! Жена принимала с убийственной серьезностью каждое его слово. Ида — та хохотала от души. Смеялась так, что грудь ее чуть не выпрыгивала из оранжевого платья. Нет, это были не яблоки, это были настоящие арбузы! Потом Эпштейн отмолил еще одну шутку, потом еще одну... А потом рядом взвизгнули тормоза полицейской машины, и «коп» выписал ему штраф за проезд на красный свет, которого он, заливаясь смехом, попросту не заметил. Это был первый из трех штрафов, которые Эпштейн схлопотал в тот день. Второй он получил за превышение скорости по дороге к загородному домику Иды, третий — уже вечером, за то, что гнал к себе на Парквэй, торопясь не опоздать к ужину. Итого штрафы обошлись ему в тридцать два доллара. Но, как сам он сказал Иде: — Когда от смеха слезы на глазах — как отличить зеленый свет от красного, а быструю езду — от медленной?

В семь вечера он высадил Иду на той же остановке, и втиснул банкноту ей в ладонь. — Тихо! Купи себе что-нибудь. — Итоговая сумма за день составила пятьдесят два доллара.

Затем Эпштейн свернул на свою улицу, по дороге репетируя историю для жены: «некто, желавший приобрести «Бумажные Пакеты», отнял у него весь этот день — неплохая кандидатура»... Подъезжая к дому, он увидел сквозь жалюзи широкую тень супруги. Она проверяла рукой, нет ли между планками пыли, и смотрела, как возвращался домой ее муж.

— Неужели потница? — Спустив пижамные брюки до колен, Эпштейн разглядывал себя в зеркале спальни. Поглощенный этим занятием, он не услышал, как открылась входная дверь вниз. — Потница часто бывала у Герби — это болезнь малышей. Бывает ли она у взрослых? — Путаясь в спущенных брюках, Эпштейн зашел ближе к зеркалу. — А если это сыпь от песка? Ну конечно же! — Ведь в эти теплые, солнечные недели он и Ида Кауфман, кончив заниматься любовью, грелись на песочке перед ее загородным домом. Должно быть, песок натер ему под брюками, пока он ехал домой. — Эпштейн отодвинулся от зеркала и подмигнул своему отражению. В спальню вошла Голди. Она только что приняла горячую ванну — чтобы суставы меньше болели — и тело ее было малинового цвета. Эпштейн, с задумчивым видом изучавший сыпь у себя в паху, вздрогнул при появлении жены. Резко отодвинувшись от зеркала, он споткнулся, и брюки его свалились на пол. Супруги предстали друг перед другом в виде Адама и Евы, с той разницей, что Голди была красная вся, с головы до ног, а Эпштейн — лишь в некоторых местах. — Потница, песок, — или?.. Вдруг страшная мысль, словно молния, пронзила его. Ну конечно! — Руки дернулись книзу, прикрывая пах. И пока Эпштейн лихорадочно подыскивал слова, Голди удивленно смотрела на него.

Наконец, он нашелся: — С легким паром! — Паром, шмаром... — пробормотала жена, пристально разглядывая мужа.

— Ты простудишься, — осмелев, продолжал Эпштейн, — накинь на себя что-нибудь!

— Я? Сам-то ты не простудишься, — Голди продолжала изучать тело супруга.

— Там что-то болит?

— Холодно немного.

— Где? — Голди заботливо двинулась к нему. — Здесь?

— Нет, вообще. — Тогда прикройся — «вообще»!

Он наклонился, чтобы поднять пижаму. И в тот момент, когда фиговый листок ладоней вдруг опустился, Голди задохнулась от волнения. — Это что у тебя такое?

— Что-что? — Вот это!

Не отваживаясь посмотреть жене в глаза, Эпштейн уперся взглядом в соски ее отвисших грудей. — Раздражение от песка, я думаю... — Какого еще песка?!

— Ну, просто — раздражение.

Голди чуть придвинулась и осторожно протянула руку — не дотрагиваясь, лишь показывая пальцем. Она обвела им круг в воздухе — Раздражение, прямо здесь?

— Почему бы и не здесь? — возразил Эпштейн. — Сыпь — везде сыпь, на руке, на груди...

— Но с чего именно? — настаивала жена.

— Я что — доктор? Сегодня появилась, завтра пройдет. Почему я должен все знать? Может, это от стульчака в туалете на фабрике. Эти «шварцес»¹ — настоящие свиньи...

Голди с притворным сочувствием поцокала языком.

— Ты что, считаешь, что я вру?

— Кто сказал, что ты врешь... — Она вдруг стала осматривать собственное тело — ноги, живот, грудь — будто желая удостовериться, не подцепила ли и она такую же сыпь. Вновь оглядев Эпштейна, перевела взгляд на себя. Вдруг глаза ее расширились от ужасной догадки. — Ты! — взвизгнула Голди.

— Ша, — ответил Эпштейн, — разбудишь Майкла.

— Свинья! — визжала Голди. — С кем это ты?!

— Я же тебе объяснил — эти «шварцес»...

— Свинья! Негодай! — Внезапно повернувшись к кровати, Голди шлепнулась на нее с такой силой, что зазвенели пружины. И тут же, будто ужаленная, вскочила, таща за собой простыни. — Я их теперь должна сжечь, я все их сожгу!

Эпштейн выскочил, наконец, из упавших брюк, державших его, как кандалы, и бросился к постели. — Что ты делаешь — это же не заразно! Сыпь у меня от сиденья в туалете! Надо купить немного нашатыря... — Нашатыря?! — надрывалась Голди. — Этот нашатырь ты должен пить!

— Нет! — воскликнул Эпштейн. — Нет! — и с этими словами, вырвав простыни из рук жены, швырнул их на кровать и начал заправлять лихорадочно. — Оставь постель в покое!

Но пока он заправлял постель с одной стороны, жена выдергивала простыни с другой. Так они и бегали вокруг кровати — Голди сдергивала белье, Эпштейн пытался вновь его заправить.

— Не прикасайся ко мне! Не смей приближаться ко мне, грязная свинья! Иди трогай ту шлюху!

Мощным рывком Голди вновь смахнула простыни с кровати, скомкала их наподобие шара и плюнула в этот ком. Эпштейн снова выхватил их у нее, и перетягивание каната возобновилось. Взад-вперед, взад-вперед. Когда от белья остались лишь обрывки, жена, наконец, разрыдалась. С руками, обвитыми белыми лентами, Голди захлебывалась от слез: — Мои простыни! Мои чистые простыни! — она рухнула ничком на голый матрас.

Две физиономии появились в дверях спальни.

— Боже милостивый! — воскликнула Шейла. Гитарист испуганно выглянул из-за нее, выскочил наружу и сбежал по лестнице. Эпштейн стремительно обмотался остатками простыней, чтобы прикрыть хотя бы интимные части тела. При виде дочери он лишился дара речи.

— Мама, что тут происходит?!

¹ «Черные» (идиш).

— Твой отец...— умирающим голосом простонала Голди. — У него сыпь! — Рыдания ее возобновились с такой силой, что голые ягодицы заходили ходуном.

— Да! — вновь воскликнул Эпштейн. — Да, у меня сыпь — это что, преступление?! Уходи отсюда — дай родителям спать!

— А почему мама плачет? — Я требую ответа!

— Я откуда знаю? Я что — психиатр? Вся эта семейка чокнулась!

— Не смей называть маму чокнутой!

— А ты не смей на меня кричать! Имей уважение к отцу! — Он плотнее прикрывался тряпками. — И проваливай, наконец!

— Нет!

— Тогда я сам тебя выброшу! — Эпштейн двинулся к двери. Дочка стояла, как вкопанная, и он не мог себя заставить дотронуться до нее. Эпштейн в отчаянии задрал голову вверх, словно ища справедливости на потолке. — Нет, теперь она пикетирует мою спальню! Да уйдешь ли ты наконец, корова! — Он приблизился к ней и зашикал, будто отгоняя кошку или собаку. — Своей восьмидесятикилограммовой тушкой она пихнула отца обратно. От неожиданности Эпштейн выронил обрывки простынь. Шейла уставилась на то, что предстало перед ней, и ее лицо побелело под косметикой.

Эпштейн ответил дочери умоляющим взглядом. — Это от туалетного сидения...Черные...

Не успев он закончить фразу, как еще голова просунулась в дверь — шевелюра вздохмачена, губы красные и припухшие — это был Майкл, возвратившийся после свидания с Линдой. — Я услышал шум, тут что-то не... — и тут вдруг он увидел свою тетку, голую на кровати! В ужасе повернувшись в другую сторону — голого дядю Лу!

— Вы все, — собравшись с силами крикнул Эпштейн, — уберите отсюда вон!!!

Никто не двинулся с места. Шейла, девушка с убеждениями, упорно стояла у двери. Ноги Майкла словно приросли к полу — одна нога от стыда, другая — от любопытства.

— Вон отсюда!

Чи-то шаги бодро застучали по ступенькам. — Шейла — вызвать кого-нибудь? И музыкантишка вновь появился на пороге — казалось, его утиный нос растет на глазах от восторга. Стремительно оценив ситуацию, он уставился на Эпштейна, рот его приоткрылся в радостном кряканье: — Это что же он такое подцепил? «Сифон»?

Долгожданное слово повисло в воздухе, сковав на мгновение участников сцены. Мадам Эпштейн перестала рыдать и приподнялась с постели. Майкл потупился. Но тут Голди вновь стала выгибаться дугой, грудь ее выпятилась, губы зашевелились.

— Я хочу...— проговорила она. — Я желаю... — Что, мамочка? — заботливо спросила Шейла.

— Я требую развода! — Голди, казалось, сама не ожидала вырвавшихся слов. Эпштейна будто ужалили. Он стукнул себя по голове — Развод?! Ты с ума сошла! — Он обвел глазами комнату и, обращаясь к Майклу, как к свидетелю, повторил: — Она сошла с ума!

— Я требую... — продолжала Голди, но тут глаза ее закатились, и она свалилась без чувств.

Эпштейну тоже оказали необходимую помощь, после чего отравили спать в комнату Герби. Беспокойно ворочаясь на непривычно узкой кровати, он слышал дыхание Майкла неподалеку. — Понедельник! — думал с надеждой Эпштейн. — В понедельник он отправится к доктору. Нет, к адвокату. Нет, сначала все же к доктору. Тот в одно мгновение взглянет на него и подтвердит то, что Эпштейн знал и так — Ида Кауфман здоровая женщина. Эпштейн был в этом уверен — по запаху ее тела... Доктор скажет, что они лишь слегка натерли друг-друга. Временная неприятность, не передавшаяся от кого-то кому-то, но, так сказать, созданная совместно... Он невиновен! Или, по крайней мере, вина его не вызвана каким-то поганым микробом... В любом случае доктор ему что-то пропишет. А потом пропишет и адвокат... А там уже все обо всем узнают, включая — эта мысль явилась неожиданно — включая и брата Сола. Тот уж наверняка получит удовольствие... Эпштейн повернулся в постели и взглянул на спящего Майкла. Глаза парня блеснули — он вовсе не спал. — Нос, подбородок, лоб — все как у Эпштейна!

— Майкл...

— Да?

— Ты не спишь?

— Нет.

— Я тоже, — сказал Эпштейн, будто оправдываясь. — Все эти неприятности... — Он смотрел в потолок.

— Майкл...

— Да?

— Нет, ничего... — но любопытство вместе со страхом были сильнее. — Майкл, у тебя ведь никакой сыпи нет?

Майкл резко приподнялся в постели и уверенно ответил: — Нет!

— Я думал... — продолжал беспокойно Эпштейн. — Я думал, что эта сыпь... — Он отвернулся от племянника. — Да, этот парень вполне мог бы стать его наследником, если бы не дурак Сол. — Но что значил бизнес в такую минуту! Бизнес, в сущности, всегда был словно и не для него самого, а для них... Но «их»-то теперь больше не существовало!

Эпштейн закрыл лицо руками. — Все так изменилось, — медленно проговорил он. — Даже не знаю, когда это все началось. Я, Лу Эпштейн — и какая-то поганая сыпь! Я уже не чувствую себя Лу Эпштейном... В один момент — раз! — и все меняется! — Он снова взглянул на племянника и, тщательно подбирая слова, будто тот был посторонним, будто его слушало несколько человек, продолжал.

— Всю жизнь я лез из кожи вон — всю жизнь я бился, как мог, чтобы у моей семьи было все, чего не было у меня...

Эпштейн остановился. Нет, он не то хотел сказать. Щелчком включил свет у кровати, и начал снова, иначе.

— Мне тогда было семь лет, Майкл. Когда мы приехали в Америку. Тот день я запомнил навсегда — будто это вчера случилось. Твой дед с бабкой и я — твоего отца еще не было на свете, он этой истории не знает. Так вот, стоим мы на причале и ждем, когда Чарли Голдштейн заберет нас оттуда. Он был партнер твоего деда на старой родине — воруга еще тот. В общем, ждем мы его, и вот он появляется, чтобы отвезти нас на квартиру, где мы будем жить. Ты знаешь, что он принес? — Большой бидон с керосином! И вот мы стоим на этом причале, а Чарли льет керосин нам на головы. Да еще втирает его — чтобы избавить нас от вшей! Именно так он сказал. Воняло здорово! — Для семилетнего пацана все это было ужасно...

Майкл пожал плечами. — А! Где тебе понять такое — пробурчал Эпштейн, — что ты вообще знаешь в твои двадцать лет!

Майкл снова пожал плечами и мягко поправил: «двадцать два».

У Эпштейна было много похожих историй, но вряд ли они могли выразить все, накопившееся в душе. Он вылез из постели и подошел к двери спальни. Приоткрыл ее и постоял, прислушиваясь. Внизу, на диване, похрапывал гитарист. — Самое время для гостей! Эпштейн закрыл дверь и, почесываясь, вернулся в постель. — Поверь мне, Майкл, она-то уж бессонницей не страдает! Ей-богу, она меня не стоит. Подумаешь — готовит. Великое дело! Убирает... — Ей что, за это орден дать? Знаешь, я иногда представляю, как в один прекрасный день вернусь домой — и в доме будет полный балаган. Я смогу расписаться пальцем на пыли. Где-нибудь, хоть в подвале. Знаешь — после столько лет чистоты это было бы удовольствием! Эпштейн схватил себя за волосы. — Как вообще все это случилось?! — Чтобы моя Голди, чтобы такая женщина превратилась в ходячий пылесос! Невероятно... Он подошел к дальней стене и уставился на картинку, повешенные когда-то Герби. Выцветшие фото бейсболистов — мощные лица, волевые подбородки. Подписи внизу: Чарли Келлер, Лу Гериг, Ред Раффинг. Сколько времени утекло! Как Герби обожал своих «Янкиз»!

— Однажды... — вновь заговорил Эпштейн. — Это было еще до Великой депрессии... Ты знаешь, чем мы занимались, Голди и я? — Он уставился на Реда Раффинга, но глядел сквозь него. — Если б ты видел тогда мою Голди — какая это была красивая, красивая женщина! И вот однажды ночью мы с ней фотографировались в постели. Я настроил камеру — это было еще в старом доме, и мы с ней сфотографировались. В постели. — Он остановился, припоминая. — Я хотел, чтобы у меня было фото моей жены, голый, чтобы носить его всегда с собой. И вот наутро я просыпаюсь, и вижу — Голди рвет пленку. Она говорит: «не дай Бог, ты попадешь в аварию, полицейский полезет в твой бумажник за документами —

и вот тогда будет ой-ой-ой!» Эпштейн засмеялся. — Женщина, что ты хочешь... Но, по крайней мере, мы это сделали, мы с ней сфотографировались, хоть снимки у нас и не вышли. А многие пробовали это сделать? — Эпштейн вздохнул и повернулся от Реда Раффинга к Майклу, который улыбался слегка, уголками губ.

— Это ты насчет снимков? — Теперь Майкл смеялся уже открыто. — А? — Эпштейн засмеялся сам. — А ты никогда ни о чем таком не думал? Да, не всякому это в голову придет! Может, кому-то это покажется грехом, или чем-то вроде. Но кто вправе судить?

— Майкл посерьезнел — теперь уже настоящий сын своего настоящего отца. — Кто-то все-таки должен судить... Потому что есть вещи неправильные.

Эпштейн готов был признать грехи молодости. — Возможно... Возможно, она была права, что порвала пленку.

Майкл решительно тряхнул головой. — Да я не об этом. Но некоторые вещи просто неправильные. Их не надо делать!

И тут до Эпштейна дошло, что осуждающий перст был направлен не на дядю Лу-фотографа, а на дядю Лу-прелюбодя! Он вдруг серьезно разозлился.

— Правильно, неправильно! От твоего папаши и от тебя я только это и слышу! Да кто вы такие, кто сам ты такой — царь Соломон? — Он схватился за спинку кровати, понемногу успокаиваясь.

— Я тебе еще недорассказал, что случилось той ночью. Мы тогда сделали нашего Герби. Да, я в этом уверен. Целый год мы с Голди старались, и у нас ничего не выходило. Я уже потерял надежду. А вот той ночью... После снимков. Может, как раз из-за снимков... Кто знает?

— Но...

— Что-но? Ты имеешь в виду вот это? — он ткнул себя пальцем в пах. — Ты еще мальчик, ты не понимаешь... Ты представь — у тебя отнимают все на свете, одно за другим, одно за другим... А ты крепче хватаешься за все это, ты пытаешься все удержать. Жадно, может, даже по-свински, но ты пытаешься! А «прав-неправ» — кто это знает? — Когда в глазах слезы — разницы не видно. — Голос Эпштейна дрогнул, и горечь его слов от этого лишь усилилась.

— И нечего меня упрекать! Я что, не видел тебя с дочкой Иды? — Это, по-твоему, как называется? Тут ты прав?

Майкл рывком сел в постели. — Вы видели?

— Видел!

— Но это же совсем другое дело...

— Почему — другое? — Эпштейн почти кричал.

— Когда вы женаты — совсем другое!

— Что ты во всем этом понимаешь! Вот есть у тебя семья, жена, ты отец — дважды отец, а потом вдруг все начинает пропадать, и то, и это... — И тут внезапно, словно лишившись опоры, он упал на кровать Майкла. Парень отодвинулся, изумленно уставившись на дядю и не зная, как реагировать, потому что никогда в жизни не видел плачущего мужчину старше пятнадцати лет.

Воскресное утро в доме Эпштейнов начиналось обычно так: в половине десятого Голди принималась варить кофе, а сам Эпштейн отправлялся в лавку на углу за копченой семгой и воскресным номером «Ньюс». И когда уже бублики грелись в духовке, рыбка была на столе, а рекламная страница «Ньюс» — перед носом у Голди, тогда наступала очередь Шейлы. В халате до пят, зевая, спускалась она по лестнице. Семейство садилось завтракать. Шейла привычно пила отца за то, что он покупает «Ньюс» и отдает свои деньги «этим фашистам». По улице соседи-христиане дружно двигались в церковь. Словом, каждое воскресенье — одно и то же, с той лишь разницей, что год за годом страница «Ньюс» все удалялась от глаз Голди и от внимания Шейлы. Та давно выписывала себе «Пост».

И в это воскресенье, проснувшись, Эпштейн потянул носом аромат кофе, закипавшего внизу. Быстро спустившись по лестнице и проскользнув мимо кухни — ему было велено пользоваться ванной на первом этаже, пока он не сходит к врачу, — Эпштейн почувствовал запах копченой рыбы. Наконец, появившись на кухне, выбритый и одетый, он услышал шелест газеты. Словно какой-то другой Эпштейн, призрак настоящего, встал пораньше с постели и исполнял его воскресные функции. Вокруг кухонного стола сидели Голди, Шейла и ее приятель. Бублики разогревались, жених, сидя на стуле задом наперед, пощипывал струны гитары и напевал: «Я так долго был внизу — теперь все кажется мне верхом...»

Эпштейн энергично потер руки в предвкушении завтрака. — Шейла, это ты принесла? — он кивнул на рыбу и на газету. — Спасибо! — Гитарист глянул на Эпштейна снизу вверх и в той же тональности промурлыкал: «Я за рыбкою ходил...», ухмыляясь довольно-таки нахально, чертов клоун!

— Заткнись! — бросила ему Шейла. Он отозвался двумя аккордами: «трень-брень».

— Значит, это вам спасибо, молодой человек! — сказал Эпштейн.

— К твоему сведению, — сказала Шейла, — его зовут Марвин.

— Спасибо, Мартин.

— Марвин, — поправил молодой человек.

— Извините, я не расслышал.

Тут Голди оторвалась, наконец, от газеты: — Сифилис влияет на слух.

— Что?!!

— И разжижает мозг.

Эпштейн в ярости выскочил из-за стола. — Это ты ей наговорила? — крикнул он, повернувшись к дочери. — Чьи слова она повторяет?

Гитарист перестал брэнчать. Все молчали. Заговор. Эпштейн схватил дочь за плечо. — Я заставляю тебя уважать отца — слышишь?!

Она отбросила его руку. — Какой ты отец! Можно подумать!

Эти оскорбительные слова вдруг вернули его к той шутке Иды Кауфман в машине, к ее оранжевому платью под весенним небом... Эпштейн перегнулся через стол к жене.

— Голди! Посмотри на меня! Посмотри мне в глаза — мне, Лу! Но та устала в газету, хотя на таком расстоянии — Эпштейн это знал — она не могла разобрать там ни строчки. Как объяснил ему оптометрист, вдобавок ко всему остальному, мышцы ее глаз тоже ослабли...

— Голди! — крикнул Эпштейн, — я что, хуже всех? Взгляни мне в глаза! Скажи — с каких это пор евреи стали разводиться? С каких пор?

Жена с ненавистью посмотрела на него и перевела взгляд на Шейлу. — Сифилис размягчает мозги! Я не могу жить со свиньей!

— Ну давай все уладим. Давай сходим к раввину...

— Он не станет с тобой разговаривать!

— А дети, как насчет детей?

— Какие дети? — И в самом деле! Герби умер давно, а Шейла, считай, — чужой человек. Голди была права.

— Она уже взрослая и может позаботиться о себе, — продолжала жена. — Если захочет, может поехать со мной во Флориду. Я переберусь в Майами-Бич.

— Голди!

— Да перестаньте орать! — Шейла снова вошла в разговор, ей хотелось поучаствовать в сваре. — Вы разбудите Майкла.

С трудом сдерживая себя, Голди повернулась к дочери. — Майкл уехал сегодня утром. Со своей Линдой они поехали на море, в ее домик в Белмаре.

— В Барнегате, — пробормотал Эпштейн, отходя от стола.

— Что ты сказал? — грозно спросила Шейла.

— Место зовется Барнегат — и Эпштейн ретировался, по-прежнему от ненужных вопросов.

В кафе неподалеку он купил свою любимую газету, и сидел в полном одиночестве, потягивая кофе и глядя на улицу, по которой народ шел в церковь. Хорошенькая молодая «шикса»¹ прошла мимо, держа в руке круглую белую шляпку. Вдруг она наклонилась, сняла туфлю и вытряхнула из нее камешек. Залюбовавшись, Эпштейн даже пролил немного кофе на рубашку. Небольшой круглый задик девушки под туго натянувшейся юбкой снова напомнил ему какой-то фрукт. Внезапно очнувшись от этих греховных мыслей, Эпштейн, словно в молитвенном экстазе, кулаком ударил себя в грудь. Вновь и вновь, с неожиданной силой. — Боже, что же я наделал!

Посидев немного и успокоившись, допив кофе и свернув газету, он вышел на улицу. Идти домой? — Но какой теперь дом! Вдруг на той стороне улицы он заметил Иду Кауфман во дворе ее

¹ Нееврейка — идиш, жаргонное.

особнячка, в лифчике и шортах. Она развешивала на веревке дочкино белье. Эпштейн огляделся — вокруг лишь незнакомые люди. Ида тоже увидела его и улыбнулась. Злая на самого себя, Эпштейн шагнул с тротуара и стремительно пересек улицу, прямо на красный свет.

Около полудня обитатели дома Эпштейнов услышали вой сирены. Шейла оторвалась от «Пост», прислушалась и взглянула на часы. — Сейчас что, двенадцать? Отстают на четверть часа — паршивые часишки, папашин подарок!

Голди с головой ушла в рекламы туристических компаний в «Нью-Йорк Таймс», которую ей принес тот же Марвин. — И мои отстают на четырнадцать минут — странно, их мне он тоже подарил.

Вой сирены усилился. — Боже! — воскликнула Шейла, — это похоже на конец света!

Марвин, протиравший гитару красным носовым платком, затянул унылый спиричуэл о последних днях.

— Тихо! — Шейла наострила уши. — Но ведь сегодня воскресенье, а сирену включают по субботам...¹

Голди вскочила с дивана:

— А вдруг это воздушная тревога? Ой, нам только этого не хватало!

— Да это «копы»! — Шейла с горящими глазами бросилась к входной двери, поскольку люто ненавидела полицию. — Мама, там «скорая помощь»!

Шейла выбежала на улицу, Марвин — за ней, гитара болталась сзади. Голди потащилась им вслед, шаркая домашними тапками. Выйдя наружу, она инстинктивно оглянулась — дверь дома всегда должна быть закрыта — от воров, от пыли и от микробов. Идти было недалеко — «скорая» затормозила у дома Иды Кауфман напротив.

Собиралась толпа — соседи в халатах и пижамах, с газетами в руках. Подтягивались молящиеся из церкви, те же «шиксы» в своих белых шляпках. Голди не могла протиснуться поближе к входной двери, где стояла Шейла с Марвином, но и из задних рядов она видела, как молодой врач выскочил из машины и взбежал на крыльцо, перепрыгивая ступеньки, стетоскоп торчал у него из заднего кармана.

Прибыла миссис Кац, низенькая краснолицая женщина, живот которой, казалось, опускался до самых колен. Она тронула Голди за локоть — Ну, что тут еще стряслось?

— Не знаю, Перла. Такой гвалт — словно атомная бомба взорвалась!

— Ну, если б она взорвалась — мы бы сразу узнали, — ответила миссис Кац. Она оглядела толпу и дом перед нею. — Бедная

¹ В еврейских религиозных общинах есть традиция отмечать сиреной начало и окончание Шабата.

женщина, — сказала миссис Кац, вспомнив, как три месяца назад, холодным мартовским утром «скорая» приезжала сюда, чтобы забрать мистера Кауфмана в хоспис, откуда он уже не вернулся.

— Беды, несчастья... — миссис Кац все кивала головой — целый мешок сострадания. — У каждого горя хватает — вы уж поверьте мне! Бедняжка — я думаю, у нее нервный срыв. Нервы — это самое страшное. Камень в желчном пузыре удалят, и дело с концом. Но нервное расстройство... А может, что с дочкой случилось?

— Дочери нет дома, — сказала Голди, — она уехала с моим племянником Майклом.

Поскольку никто еще не появлялся, у миссис Кац было время для сбора информации. — Это кто, Голди? Сын твоего свяка, с которым Лу поссорился — он его отец? — Да, сын Сола из Детройта. — Но миссис Кац уже двинулась вперед — дверь дома отворилась, хотя никого и не было видно. Чей-то голос в передних рядах решительно распоряжался: — Пожалуйста, дайте место! Посторонитесь же, черт возьми!

Разумеется, это была Шейла. — Больше места! Марвин, помоги мне! — Мне некуда положить гитару!

— Отодвинь их в сторону! — командовала Шейла.

— Но мой инструмент...

Доктор и его помощник протискивались с носилками через входную дверь. За ними показалась Ида Кауфман в белой мужской рубашке, кое-как заправленной в шорты. Глаза Иды были красные, заплаканные и, как тут же заметила миссис Кац — никакой косметики. — Да это наверняка с ее девчонкой, — продолжала наблюдательная женщина, вытягиваясь на носках. — Голди, ты не видишь — это дочка ее?

— Но дочки нет дома...

— Дайте дорогу! — кричала Шейла. — Марвин, да помоги же!

Молодой врач и его помощник осторожно спускали носилки с крыльца. Миссис Кац подпрыгивала на месте, как заведенная. — Так кто же это?!

— Я сама не вижу! Я не... — Голди вытянулась на цыпочках в своих шлепанцах.

— О Боже! Боже мой! — В следующее мгновение Голди ринулась вперед босиком, расталкивая толпу. — Это Лу! Лу!

— Мама, не подходи! — Шейла боролась с матерью, между тем носилки уже грузились в машину «скорой».

— Пустите меня, Шейла, это же твой отец! — Голди тянула руки к машине, на крыше которой вертелся красный «маячок». На какое-то мгновение взгляд Голди упал на крыльцо. Ида Кауфман все еще стояла там, дрожащими пальцами пытаясь застегнуть рубашку. Голди вновь зрелась к «скорой», теперь уже Шейла помогала ей расталкивать зевак.

— Кто вы такие? — спросил врач, шагнув навстречу, чтобы остановить их стремительный натиск. Ему вдруг показалось, что эти двое вот-вот нырнут в машину, прямо на его пациента.

— Это его жена! — крикнула Шейла.

Доктор кивнул на крыльцо — Взгляните туда, леди.

— Я его жена! — вопила Годди. — Я!

Доктор внимательно посмотрел на нее — Тогда садитесь в машину. — Она тяжело пыхтела, влезая, врач и Шейла помогали ей. Увидев внутри мертвенно-бледное лицо, торчащее из серого одеяла, Годди застонала. Глаза Эпштейна были закрыты, кожа — еще бледей, чем волосы. Врач отодвинул Шейлу в сторону, вскочил в машину, «скорая» рванулась вперед, вновь завывла сирена. Шейла пыталась бежать вдогонку, барабана в дверцу, но мгновенно позже сменила направление и, протиснувшись мимо зевак, двинулась вверх по ступенькам к двери Иды Кауфман...

— Он умер? — Годди повернулась к врачу.

— Нет, но у него сердечный приступ.

В полном отчаянии Годди шлепнула себя по щеке.

— С ним будет все в порядке — сказал врач. — Да, но сердце!

Он никогда ни на что не жаловался!

— С мужчинами в шестьдесят, шестьдесят пять такое случается — доктор говорил неохотно, щупая пульс Эпштейна.

— Но ему всего пятьдесят девять!

— Всего-навсего...

«Скорая» проскочила на красный свет и резко свернула направо, отчего Годди свалилась на пол машины. Усевшись там, она продолжала: — Но как же это — здоровый мужчина...

— Леди, хватит задавать вопросы, — резко ответил врач. — Пожилой человек не должен вести себя, как мальчишка.

Годди уткнула лицо в ладони. Эпштейн вдруг открыл глаза.

— Он очнулся, — сказал доктор. — Может, он хочет взять вас за руку, или еще что...

Годди придвинулась к мужу и заглянула ему в лицо. — Лу, ну как ты? Что у тебя болит?

Эпштейн не отвечал. — Он узнает меня?

Врач пожал плечами. — Разговаривайте с ним.

— Это я, Лу!

— Лу, это ваша жена! — Эпштейн мигнул. — Он все понимает, — сказал врач. — С ним все будет в порядке. Все, что ему надо — вести нормальную жизнь. Нормальную для его возраста.

— Лу, ты слышала, что сказал доктор? Тебе нужно вести нормальную жизнь!

Эпштейн с усилием открыл рот. Язык его повис, как мертвая змея.

— Не говори ничего, — продолжала жена. — Ни о чем не беспокойся. Выкинь из головы бизнес. Все уладится. Шейла выйдет замуж за Марвина, и они все устроят. Не надо будет ничего продавать — все останется в семье. Ты сможешь отдохнуть, отойдешь от дел — Марвин займется ими. Он славный мальчик, Марвин...

Глаза Эпштейна закрылись вновь.

— Пожадуйста, не отвечай. Я все улажу. Ты скоро поправишься и мы куда-нибудь уедем. Если хочешь, поедem в Саратогy, там

горячие источники. Мы будем гулять вдвоем, ты и я... — Голди вдруг крепко схватила мужа за руку. — Лу, ты ведь будешь вести нормальный образ жизни — правда? — Голди заплакала. — Потому что иначе ты убьешь себя! Если ты будешь так продолжать, все быстро кончится!

— Хватит, леди, успокойтесь, — вмешался врач. — Нам не надо двоих пациентов в одной машине. «Скорая» уже была у подъезда больницы, и доктор взялся за ручку задней дверцы.

— Сама не знаю, чего я плачу! — Голди вытерла глаза. — Вы сказали, что с ним будет все в порядке, и я вам верю — вы же доктор! — И в тот момент, когда молодой врач уже распахивал дверцу с красным крестом на ней, Голди спросила, стесняясь: — Доктор, у вас есть лекарство от этой сыпи? — Она показала пальцем.

Врач с недоумением посмотрел на нее, потом приподнял одеяло, закрывавшее голого Эпштейна.

— Доктор, это очень серьезно?! — у нее снова текло из глаз и из носа.

— Обычное раздражение. — Врач пожал плечами. Она схватила его за руку: — Но это можно вылечить?

— Леди, ничего подобного больше не повторится, — сказал доктор, выпрыгивая из машины.

Нико ГОМЕЛАУРИ

/ Тбилиси /



* * *

С кем в аду окажусь? — Будет враг ли мне, друг ли?
 Вместе с кем подметать буду адские угли?
 Музыканты, актеры, их музы и феи
 Живой занавес жизни сорвут, не жалея!

Вот когда здесь начнутся игра и веселье!
 Без цензуры писать — выпив адское зелье
 И сгорая, смеяться над тленом и скверной...
 Как в раю в эту ночь заскучают, наверно...

* * *

Десять секунд, как с тобой повстречался,
 Девять секунд, как лицом посветлел я,
 Восемь секунд, как почувствовал тело,
 Семь, как проник в тебя, влился, остался.
 Шесть — долгих вечных секунд на мученье,
 Пять — и рождается стихотворенье.
 Вот за четыре секунды простился.
 За три — заплакал и перекрестился.
 За две — удар раздается сердечный.
 Хватит одной, чтобы сердце разбил.
 Десять секунд пронеслось после встречи,
 Вечность уже — как тебя полюбил.

* * *

«Я» мое второе
 гонится за мною —
 я ругаюсь, плачу,
 но нельзя иначе.

Вот над головою,
 как стервятник вьется —

не дает покоя,
в руки не дается.

Ведь беду накличет!
Как унять его мне?
О своем двуличье
постоянно помню.

Строчки сочиняет,
не спросив совета.
Мне назло меняет
все мои ответы.

Злюсь, бешусь, немею —
Как мы не похожи!
Кто из нас главнее?
Искреннее кто же?

* * *

Не осталось сердца, почек,
Легких — все равно борюсь,
Выдыхая правду строчек,
Горьковатую на вкус.
Но в глаза взглянувши Нине,
Словно вижу свет в окне —
Ведь играл же Паганини
На единственной струне.

* * *

Если дали мяч, то нету поля.
Если в лес иду — капкан стоит.
Захотел удить — нет рыбы в море.
И чужой из зеркала глядит.

Пули есть, но нет ружья, ребята.
Есть перо — ни строчки не пишу.
Кошелек есть — денег не богато.
Есть машина — только не вожу.

От кошмара пробужусь во мраке —
Сломанные ходики тихи.
Здесь меня не узнают собаки,
Женщины не чувствуют стихи.

Навсегда потерял ключ от дома,
У меня внутри погашен свет:
Страшная пожизненная кома —
Библия со мной, но веры нет.

Переводы с грузинского Елены Исаевой

Сергей ИЛЬИН

/ Мюнхен /



Мнимая неизбежность (Размышления о феномене самоубийства в связи с кончиной Роберта Энке)

Десятого ноября две тысячи девятого года вратарь сборной Германии и «Ганновера 96» Роберт Энке неподалеку от пригородного дома, где он жил с женой Терезой, приемной дочкой Лейлой и восьмью собаками, встал на рельсы и не сходил с них до тех пор пока, региональный экспресс за номером 4427 в 18.17 пронесся... над ним? сквозь него? Обычное человеческое воображение, немея от ужаса, отказывается дорисовывать подробности. Из всех видов смертной казни вряд ли какой приговоренный к ней, если бы у него был выбор, предпочел бы быть раздавленным поездом. Более того, подобная кончина в наших глазах являет собой печать настоящего хоррора. А тут — добровольно...

Итак, в который раз произошло одно из самых непостижимых, страшных и как будто противоестественных событий на земле, и то обстоятельство, что события эти неизменно повторяются и даже подчиняются унылой статистике, — оно не только не умаляет глубочайшего душевного потрясения по поводу свершившегося, но, напротив, лишь его усугубляет. Нам упорно кажется — так уж мы устроены — что самоубийство должно происходить раз в век, от силы раз в год, в силу совершенно загадочных обстоятельств, являя собой полное исключение из правил и смысла которого только в том, «чтобы уж все в жизни было». А между тем в одной Германии в 2008 году покончили с собой 9331 человека...

Самоубийство Роберта Энке всколыхнуло Германию, на поминальном празднестве в честь его на ганноверском стадионе собралось 40 000 человек, в национальном сознании гигантской красной лампочкой вспыхнул вопрос: «Почему?», пресса откликнулась тысячей превосходных и умных статей, была, конечно, и минута молчания перед началом футбольных матчей... но время, как говорится, лучший лекарь, и красная лампочка постепенно потухла, пресса

умолкла, ажиотаж вокруг национального вратаря утих, и только в тех, кто лично знал Энке, еще вибрирует потрясение, да может еще тех оно волнует, кому предстои т сделать в ближайшем будущем этот страшный шаг...

.....

Вот так всегда в жизни. Пока что-то не произошло, мы сомневаемся в том, произойдет оно или нет. Но едва оно вошло в мир, мы тотчас готовы воскликнуть: «Ну конечно, иначе не могло и быть!» Событие свершилось — и как бы задним числом утвердило м н и м у ю н е и з б е ж н о с т ь своего свершения.

Одни всю жизнь грозятся наложить на себя руки — и умирают в доме для престарелых. Другие молчат — и однажды их находят в постели или на полу, а рядом стакан с растворенными таблетками или разряженный револьвер. Третьи, наконец, неоднократно намекают на преждевременный уход из жизни — и действительно уходят. Где закономерность? о ком, например, из знаменитых самоубийц прошлого века можно было з а р а н е е утверждать, что он покончит с собой? Клаус Манн? Жан Амери? Положим, но и тут полной уверенности нет. Никола де Сталь? о да, несомненно, этот рвался из жизни поистине, как узник из темницы, и бегство удалось ему лишь после третьей попытки. (Статистика утверждает, что лишь о д и н процент неудачно совершивших суицидный акт повторяют его. Но та же статистика заверяет нас, что гениев в человечестве гораздо меньше одного процента, и однако, мы склонны признавать их глашатаями истины.)

А Хемингуэй? Марина Цветаева? Право, очень характерно, что мы серьезно усомнились в добровольной петле Сергея Есенина и добровольной пуле Владимира Маяковского... А может, их и в самом деле не было, а было вместо них самое обыкновенное политическое убийство? Может быть, так, а может быть, иначе. И уж конечно патологическими самоубийцами Хемингуэя и Цветаеву никак не назовешь. Нам навязчиво представляется, что у них имелась жизненная альтернатива.

Вообще, самоубийц в какой-то мере допустимо сравнить с элементарными частицами: поведение последних, в частности, местоположение их и одновременно энергичный заряд никогда нельзя определить с математической точностью, но всегда с той или иной степенью в е р о я т н о с т и.

Вероятность означает неопределенность. Коэффициент неопределенности у каждого суицидента разный. У одних — малый, это те, чье самоубийство нас мало удивляет, и мы их финал воспринимаем почти как неизбежный. У других — большой, это те, чей уход из жизни нас потрясает, и мы в него до конца не можем поверить. Но коэффициент этот существует, а значит — ни о ком из самоубийц заранее и на сто процентов нельзя утверждать, что он покончит с собой, лишь постфактум нам навязывается неизбежность и даже предопределенность свершившегося.

Правда, и здесь, как повсюду, есть исключения. Это те люди, которые не однажды пытались уйти из жизни — типа Никола де

Сталь — их содержат обычно в закрытых психиатрических клиниках под неусыпным наблюдением, стоит на минуту оставить их без внимания, как они мгновенно, если есть техническая возможность, накладывают на себя руки. Но они, повторяем, исключения из правил.

.....

А каковы же сами правила? Когда, почему, при каких обстоятельствах и на какой благоприятной психической почве созревает загадочно-ужасный росток суицидного акта? Что в первую очередь отличает самоубийцу от человека, принципиально не способного добровольно уйти из жизни?

Прежде всего, думается, внутренняя и нутряная непрочность жизни в самых незначительных и незаметных ее проявлениях. Именно мелочи быта здесь играют решающую роль, а совсем не великие проблемы бытия. Благодаря малым шероховатостям зацепляется человек за жизнь — и катится вместе с нею, иногда ползет, иногда идет во весь рост, иногда даже летит, но приземление неизбежно, и тогда да спасет его шероховатая поверхность жизни, за которую он уцепился сотней крошечных, незаметных ни ему, ни посторонним, привязанностей. Страшно, когда зацепок вдруг больше нет, когда крутом одна пустота, вакуум, а в вакууме жить нельзя, в нем можно лишь падать...

Да, мелочи сегодняшнего дня, обрывки воспоминаний о дне минувшем да заботы о дне грядущем — вот чем живет человек. А самое главное — священный будничный ритуал: утреннее пробуждение, долгое разглядывание туманной мути в окне, подъем с кровати и болями, завтрак, если позволяет здоровье, прогулка с собакой (это те, кому очень повезло), если нет, многочасовое тупое сиденье в кресле, потом обед, послеобеденная дрема, снова сидение в кресле, расхаживание по комнате или разглядывание вечеряющей мути в окне, затем ужин, конечно же, телевизор (о нем мы как-то забыли), наконец, бессонница и сон.

Вот что обнаруживает свой неисследимый и непреходящий смысл, когда приближается смертный час. Не о последних тайнах бытия думает человек перед смертью и не о том, насколько ему удалось пролить на них свет, а думает он о самых пустяковых и личных вещах. И живет ими до последней сознательной минуты. Пока не наступит внезапное освобождение от болей при одновременной потере сил (первая фаза умирания), и не начнется развоплощение чувства пространства и времени (вторая фаза), и не потеряется способность адекватно различать окружающие предметы при одновременном восхождении изнутри загадочного белого света (третья фаза), и не останется ничего кроме ощущения погружения куда-то (четвертая фаза), и не погасится окончательно сознание, напоследок намекнув на переход в иной мир (пятая фаза).

Вот этого последнего и заключительного ощущения растворения в Бесконечном — реально оно или иллюзионно, каждый пусть решает для себя — лишается, очевидно, самоубийца, предпочитая ему скорую и радикальную смерть. Смерть без умирания. Нам кажется, что налагающий на себя руки лишается благодатной — поскольку

начисто отсутствующей смерти (умирание, необходимо повторить, исключает переживание смерти), и последняя является ему в аспекте своего полного и грозного присутствия.

Точь-в-точь как при смертной казни, а поскольку суицидент идет на нее добровольно, нам это вдвойне непонятно.

Но таков — финал. А завязка — в нутряной непричастности мелочам жизни. Ибо в этом, как, пожалуй, ни в чем другом сказывается наша трогательная, сходная с миром животных, сторона. (Не забудем и то, что животные обычно не кончают с собой. Разве что иные собаки, которые после смерти хозяина отказываются принимать пищу и умирают от истощения. Так что даже здесь природа демонстрирует невозможность однозначно решить проблему).

Но идем дальше. Ведь чтобы уйти добровольно, нужно раз и навсегда порвать с опутывающими жизнь родными, привычками к сердцу мелочами. Легко сказать — порвать... Кто знает, быть может как раз порвать с мелочами жизни — этой интимной изнанкой человеческого бытия — и нельзя вовсе! Быть может тот, кто порвал с ними, ими никогда по-настоящему опутан не был!..

Что говорить? если уж Фридрих Ницше не покончил с собой — а ему такая развязка подошла бы как никому другому, потому что только она вполне оправдала бы вопиющую разницу между блестяще-глубокомысленными его писаниями и бесславным угасанием его жизни! — то вопрос о философских корнях самоубийства должен отпасть сам собой.

.....

Хотя, как утверждает Альбер Камю в своем «Мифе о Сизифе», — «есть лишь один поистине серьезный философский вопрос — вопрос о самоубийстве. Решить, стоит ли жизнь труда быть прожитой или она того не стоит, — это значит ответить на основополагающий вопрос философии». Но если это так на самом деле, то получается, что какая-то малая, однако неизменная в процентном отношении часть человечества, кончая с собой, говорит категорическое «Нет!» жизни, а другая, многочисленная ее часть, умирая естественной смертью, отвечает столь же категорично: «Да!». А поскольку статистика в вопросах истины не имеет права голоса, то и ответить на «главный вопрос философии» однозначно невозможно. Для одних жизнь стоит труда быть прожитой, для других — нет.

И можно только попытаться определить, какие же психические и ментальные факторы (о третьем психосоматическом факторе — т.н. депрессии и речь пойдет в самом конце) лежат в основе обеих альтернатив.

.....

Прежде всего, очевиден широкий диапазон суицидных мотивов, а в нем обращает на себя внимание следующая важная особенность: суицид в литературе и в античности выглядит иначе, нежели в современном мире, хотя причиной может быть в одном случае сама природа искусства, а в другом отсутствие досконального знания о временах дальних и минувших. Но как бы то ни было...

Вспомним прекрасный финал Петрония из «Камо грядеши» Г. Сенкевича, бессмертных Ромео и Джульетту, возвышенный конец гетевского Вертера, страшный поступок Анны Карениной, жуткую агонию Кириллова из «Бесов», повторное погружение в пучину Мартина Идена, когда он выпустил из легких воздух — суицид там художественно подготовлен, стало быть каузально мотивирован, — он нас поэтому более-менее убеждает. Об античности и говорить нечего. Там самоубийство всегда выглядело мужественно и достойно. Тогда как в н а ш е время, за исключением, пожалуй, Японии, почти никогда. Из феномена суицида незаметно исчез в ы п у к л ы й элемент. Он сделался в о г н у т ы м — вплоть до провала в пропасть. И, кроме того, перестал звучать. Точнее, от него стала исходить такая диссонансная музыка, что она безумит ухо и надрывает сердце.

Трудно описать впечатление от почти ежедневных заметок бульварной прессы, посвященных нынешним самоубийцам. А все потому, что нам упорно кажется, будто они имели а л ь т е р н а т и в у, и их финальный поступок нас до конца не убеждает. (Так не убеждают подчас иные романтические персонажи, и если замысел романа был все-таки велик, а стиль не лишен таланта, то это вызывает довольно странное, мучительное ощущение. Точь-в-точь как после иных самоубийств: таинство жизни и смерти, да плюс к тому же еще добровольной смертной казни вроде бы свершилось, а по каким пустяшным причинам!)

Иначе художественные герои-самоубийцы. Иначе Сократ, Сенека, Петроний, на худой конец даже Нерон и иже с ними. Все они как будто имели в е с к у ю причину для добровольного ухода из жизни. И все они в нашем представлении поэтому остались ближе к жизни, чем к смерти. Их суицид мало чем отличается для нас от естественного конца, который бы рано или поздно их настиг.

И совсем иное дело — те безымянные (имя им легион) суициды, которые подобны ставшему программным самоубийству некоей домохозяйки из книги Жана Амери «Наложившие на себя руки». Домохозяйка эта отравила себя газом, осознав окончательно, что платоническая любовь ее к известному тенору, которого она регулярно слушала по радио, неосуществима ни при каких обстоятельствах. Здесь в самом деле какой-то жуткий, упадочный, вялый и режущий одновременно диссонанс, наподобие ударам пробки о стекло с одновременным царапаньем стекла ножом.

Да, странная и трудно улавливаемая в словах атмосфера окутывает суицидный акт последних двух столетий. Быть может, начало ей — в художественном плане — положил Достоевский образами Свидригайлова, Кириллова, Смердякова. Но и они — именно по причине романической своей природы — стоят посредине между античными самоубийцами и суицидентами наподобие домохозяйки из книги Амери.

Действительно, одно дело, когда римский консул, потерпев поражение, бросается на меч. Или самурай, чтобы не попасть в плен, делает харакири. Или тот же Сократ, имея возможность бежать из Афин, выпивает чашу цикуты, добровольной смертью запечатывая

жизнь в судьбу гомеровского масштаба. Или на худой конец армейские офицеры начала века пускают себе пулю в лоб из вопросов чести. И даже самоубийство Анны Карениной по-своему хорошо — лучше вертеровского! — потому что больше соответствует судьбе и личности толстовской героини, тщательней подготовлено, хотя происходит спонтанно, что тоже типично для механизма суицида.

Напротив, финальный поступок домохозяйки, приводимый Жаном Амери, не «разработан» композиционно (или мы просто не присмотрелись к его подспудной, невидимой для невооруженного глаза разработке?) Он и воспринимается нами поэтому как случайный, малозначащий эпизод. Однако это именно соединение невероятной, гротескной пустяковости и преизбыточной экзистенциальности поступка как раз и оказывает на нас необъяснимое, но колоссальное впечатление.

.....

Самоубийство, по мнению Амери, абсурдно. Но оно все же менее абсурдно, дополняет автор, чем жизнь. Что же, — задает вопрос философ по поводу все той же злополучной домохозяйки, — если бы эта несчастная женщина удержалась, допустим, в решающий момент, а потом, со временем образумилась, забыла о своем фантастическом увлечении, вышла бы замуж, народила кучу детей, и в конце концов умерла бы: старая, забытая, никому не нужная, — лучше это было бы, чем пронзительное, разрывающее завесы жизни наложение рук на себя?

Амери по-своему прав. Как до него великий Шопенгауэр. Посетите старческие дома или раковые палаты — и вы если не вполне с ними согласитесь, то, по крайней мере, вполне их поймете. На фоне этого общего и неизбежного финала человеческой жизни самоубийство, хотя шокирует, вызывает вместе некую досаду и даже зависть. Как? мы принимаем жизнь как величайший дар, а они этот дар пренебрежительно отбрасывают. Скандал! плевков в лицо! Мы ведь тоже в глубине души догадывались, что жизнь подобна Троянскому коню, по доброй воле мы бы его, конечно, никогда не приняли, но если уж он у нас есть, то избавиться от него можно только путем естественной смерти. Другого выхода нет. А они вот нашли выход! И тем самым поставили нас как бы в дурацкое положение.

Т а к о г о мы и м простить не можем — и мстим им: хотя бы утверждением, что они совершили свой поступок в состоянии депрессии или потому, что не сумели справиться с проблемами жизни, то есть по слабости. И какая же это великая удача для нас, что обычно и депрессии, и страх, и слабость на с а м о м деле совершают разрушительную работу в суицидентах — иначе, право, хоть вешайся... А другая большая удача для нас в том, что тот же Шопенгауэр считает, что самоубийство — не выход. «Содержание всемирно знаменитого монолога в «Гамлете», — пишет философ, — в сущности, сводится к следующему: наше положение так горестно, что решительно надо было бы ему предпочесть совершенное небытие; и если бы самоубийство действительно сулило нам его, так что перед нами в полном смысле слова предстала бы альтернатива «быть или не

быть», то его следовало бы избрать безусловно, как в высшей степени желательное завершение; но какой-то голос говорит нам, что это не так, что в этом не конец, что смерть не абсолютное уничтожение» («Мир как воля и представление», § 59).

.....

На этом месте хотелось бы произвести следующий мысленный эксперимент: стоит представить себе, до каких пределов не узнана в а в а е м о с т и могут довести человека — и доводят на каждом шагу в жизни — болезнь и смерть.

Есть такое, к примеру, заболевание: дети к четырнадцати годам завершают цикл жизни и становятся маленькими старичками и старушками. Ну, прямо как в «Сказке о потерянном времени» Евгения Шварца... У них сморщивается кожа, повсюду появляются морщины, необманчивое стариковское выражение проступает на детских по существу личиках. Жить таким детям остается один-два года. Медицина им помочь не в силах. Болезнь их называется прогерия. Редчайшая, к счастью, болезнь. Приходится на одного из нескольких миллионов жителей планеты. Но регулярно приходится!

Природная аномалия. Чего, казалось бы, и рассуждать. Но многим ли, если как следует присмотреться, отличаются от нее оба вышеназванных мавзоля человека Странствия — старческие дома и раковые палаты? Разумеется, последние даны нам природой и мы их поэтому склонны оправдывать: нет такого страдания, которое не было бы вытерпето человеком и оправдано инстинктом жизни или допущением в нем какого-либо «высшего смысла».

Но допустим, что ни болезнь, ни старость не кончались бы тем, чем они кончаются. То есть смертью. Предположим, что за ними следовала бы м е т а м о р ф о з а. Да, самое обыкновенное превращение человека в обезьяну или жабу, змею или насекомого, птицу или рыбу, словом, в кого угодно (сообразно, скажем, наклонностям его характера). И допустим, далее, что процесс этот был бы, во-первых, естественным, а во-вторых, неизбежным. Что же, встает вопрос, согласились бы мы на подобные чудовищные с человеческой точки зрения превращения, если бы их от нас потребовала мать-природа? Да или нет? Но не согласиться значит попросту убить себя, потому что другого выхода просто нет..

И почему-то думается с цинической долей достоверности, что мы позволили бы природе проделать над собой л ю б у ю метаморфозу, при условии, что она мастерски это делает. Мастерски означает в данном случае — абсолютно естественно и неотвратимо, то есть точно так, как «навязаны» нам болезнь, старость и смерть.

Да, мы по натуре своей великие приспособленцы. Мы покорно идем по пути, предначертанному нам природной необходимостью. И если бы путь этот не оканчивался смертью, а вел к дальнейшим метаморфозам: от высших животных к низшим и далее к насекомым, а потом к растениям и в конце концов к неорганическому миру — всего лишь крайний и самый неблагоприятный случай р е а л ь н о допускаяемой буддистами реинкарнации! — что же!.. мы, очевид-

но, проделали бы и такой путь. Мы попросту привыкли бы к нему, как привыкаем совершать обычный наш «маршрут» — от рождения к смерти.

Это не так уж и трудно — ведь в тот момент, когда мы были бы обречены принять чуждый нам облик низшей твари, мы были бы уже *наполовину* тем, чей облик принимаем. Таков универсальный механизм любой перемены: ведь и больной, и умирающий прежде *внутренне* становятся таковыми, оттого их страдания, как ни кощунственно это утверждать, всегда оказываются естественней и выносимей, чем это представляется сострадающим им со стороны.

И все-таки, надо полагать, найдутся люди, которые воспротивятся вышеописанной метаморфозе. Их будет немного, но они будут. Что это за люди? Это *те самые* люди, которые уже воспротивились незначительному унижению, отказались переносить вполне переносимое страдание, не согласились с пустяковым умалением собственного достоинства. То обстоятельство, что симптомы депрессии у них были — хотя у всех ли? — ни о чем не говорит. С сильнейшей депрессией люди живут сколько угодно, да и любые страдания и унижения выносит, как правило, человек, предпочитая их добровольной смерти. Вообще, самоубийцей невозможно *стать* в силу каких бы то ни было обстоятельств, самоубийцами *рождаются*, а депрессия и прочие сопутствующие мотивы как бы рождаются и живут вместе с ними, обрамляя их судьбу.

Ниже мы увидим, что Роберт Энке просто поставил перед собой достойную цель: оставаться вратарем национальной сборной до тех пор, пока он это сочтет нужным, но где-то в глубине души признавал, что у него не хватит сил на эту роль, что он рано или поздно сорвется, и, не дожидаясь, по-видимому, неизбежного срыва, он вышел на рельсы...

Вот такие только люди и были бы в состоянии воспротивиться страшной метаморфозе.

.....

Между прочим, лишним доказательством того, что самоубийцами рождаются, а не становятся вследствие неблагоприятных обстоятельств, является трагическая участь Давида Саргаряна. 16 июля 2008 года, находясь в следственном изоляторе Нюрнбергской тюрьмы по подозрению в ограблении, он перерезал себе жилы. Но спохватился и стал просить о помощи. Хотел ли он заявить протест или, что вероятней всего, заподозрил родителей в отречении от него (они не отвечали на его письма, которые задерживались следователям в целях прояснения его дела), — как бы то ни было, предстоящая смерть ужаснула его. Истекая кровью и испытывая чудовищные боли в ногах (вследствие потери крови), Саргарян несколько раз звал на помощь, но надзиратели не вызвали *тотчас* «Скорую помощь», что обязаны были сделать. «Скорая» приехала только через семьдесят минут, когда было уже поздно — Давид Саргарян истек кровью. Четыре надреза были достаточно глубокими — на такое не каждый способен, и, тем не менее, уйти добровольно из жизни он был все-таки не го-

тов, самоубийство не вызрело в нем нравственно и до конца, это был акт минутного отчаяния, отчаяние же перед смертью всегда трагично... Напротив, когда самоубийство созрело до единственно возможного способа поведения, трагизму уже нет места, тогда загадочная суицидная стихия вытесняет трагизм, как вода выбрасывает на поверхность резиновый мяч.

.....

Очевидно, что самоубийства как метафизической проблемы античность не знала. Добровольный уход из жизни был в те времена первичной жизненной необходимостью — он спасал честь, доброе имя и собственное достоинство. Суицид как нравственная проблема вошел в мир вместе с христианством. Последнее сорвало с феномена самоубийства «погоны доблести», заклеив его «смертным грехом». А параллельно услужливая общественность довершила «доброе дело», переведя суицид из сферы свободного нравственного решения в область психической депрессии и медицинской аномалии.

С другой стороны, справедливости ради нужно сказать и то, что, если в античности требовалась очень серьезная причина для наложения на себя рук, то в наше время, наоборот, нет такого повода, который не мог бы повести к преждевременному уходу. Поистине любой пустяк способен ныне стать толчком к суицидному акту. Не хочется даже перечислять — читайте бульварную прессу! Что говорить! недавно я натолкнулся на заметку, где сообщалось об одном жителе Лейпцига, который имел и дом, и семью, и работу, и здоровье, но покончил с собой из-за того, что не сдал на водительские права! Смешно? Ничуть! Тут возможны два варианта. Этот человек мог скрывать депрессию, так что плакала о нем психиатрическая клиника, но он мог быть, если существует инкарнация, в прежней жизни и римским полководцем, который предпочел смерть бесславному существованию...

Каков же вывод? Поразмыслив о сказанном, невольно так и подумаешь, что не самое ли важное и показательное в жизни — те ни, которые бросает конец человека, его смерть и образ смерти, на весь его предшествующий жизненный путь? Может быть то, как человек умер, и раскрывает единственно и по-настоящему то, как он жил. Из того, чем человек казался в жизни, смерть его делает тем, чем он на самом деле был. И в особенности это касается самоубийц. Накладывая на себя руки, они как бы окончательно и бесповоротно свидетельствуют о собственной и значимой непричастности глобальной и широким ключам жизни. Так что, собственно, нельзя сказать, что умершие добровольно лишились, например, своей старости. Нет, они попросту никогда ее не имели.

Скажут: среди самоубийц было столько замечательных людей. Совершенно верно! Но это были люди именно талантливые. И никогда — гениальные. Как будто ни один гений не ушел из жизни добровольно. Есть над чем задуматься.

Если бы Моцарт или Бах, Пушкин или Лев Толстой, Леонардо или Рембрандт покончили с собой, то это было бы, вероятно, самым сильным метафизическим оправданием суицида. Само-

убийство истинного гения означало бы, что высшие творческие силы питаются не от ключей Жизни, а от какого-то другого и темного Источника, и тогда-то уж наверняка мы вынуждены были бы взглянуть на феномен самоубийства с совершенно иной точки зрения.

Кстати, по поводу конфронтации творческого гения с феноменом самоубийства вот какое отступление хотелось бы сделать.

У Мих. Булгакова в «Мастере и Маргарите» дьявол-Воланд говорит буфетчику Андрею Фокичу Сокову (после того как выяснилось, что жить тому осталось девять месяцев): «Да я и не советовал бы вам ложиться в клинику, — продолжал артист. — Какой смысл умирать в палате под стоны и хрипы безнадежных больных? Не лучше ли устроить пир на эти двадцать семь тысяч (подпольные сбережения Андрея Фокича) и принять яд, переселиться в другой мир под звуки струн, окруженным хмельными красавицами и лихими друзьями?»

Совет, что называется, вылившийся из души, из сердца самого автора. Нет никаких сомнений, что таково было и убеждение живого Булгакова. Вот запись некоего Семена Ляндреса из кн. «Неизданный Булгаков», изд. Ардис/Анн, 1977, стр. 72.

«В августе 1939 года Булгаков заболел нефросклерозом. Болея трудно, со всеми возможными осложнениями, зная, что ждет его. Болезнь тянулась семь месяцев, он ослеп. Лучшие врачи — Страхов, Бурмин, Кончаловский, Вовси — не скрывали от него, что он безнадежен. До последнего часа Булгакова не покидало мужество. В его квартире всегда было полно народу — писатели, артисты, друзья. Булгаков участвовал в их разговорах, иногда, не желая быть в тягость, рассказывал собравшимся веселые анекдоты. Именно так: умирающий Булгаков рассказывал веселые анекдоты... Мало этого: он продолжал работать. В последние дни, незадолго до кончины, Михаил Афанасьевич диктовал своей жене, Елене Сергеевне, правку глав своего последнего романа «Мастер и Маргарита». Булгаков не мог писать сам, комната была затемнена, но каждое его слово озарялось ярким светом — так он пластически, так действительно ощущал он каждую реплику в своем произведении...

6 марта 1940 года, за несколько дней до смерти Булгакова, к нему пришел А.Фадеев. И когда Михаил Афанасьевич, указывая на Елену Сергеевну, сказал ему: «Я умираю, она все знает, что я хочу», — Фадеев, стараясь держаться спокойно и сдержанно, ответил: «Вы жили мужественно; вы умираете мужественно». После чего выбежал на лестницу, уже не сдерживая слез, забыв на вешалке свою меховую шапку.

Михаил Афанасьевич Булгаков скончался 10 марта 1940 года сорока восьми лет от роду».

Не напоминает ли это мужественное умирание Мастера вышеприведенный совет его любимого Воланда? Во всяком случае Булгаков сделал все возможное, чтобы внести в свой уход элемент пира...

А как быть с «принятием яда»? Вот отрывок из письма Мих. Булгакова А.П.Гдешинскому от 28 декабря 1939 года, после возвращения из санатория:

«...Если откровенно и по секрету тебе сказать, сосет меня мысль, что вернуся я умирать. Это меня не устраивает по одной причине: мучительно, канительно и пошло. Как известно, есть один приличный вид смерти — от огнестрельного оружия, но такого у меня, к сожалению, не имеется... От всего сердца желаю тебе здоровья — видеть солнце, слышать море, слушать музыку». (Из того же сборника.)

Прекрасно и по-булгаковски сказано, однако позволительно усомниться, застрелился бы Булгаков, окажись у него под рукой револьвер, — слишком уж он был х у д о ж н и к для такого шага.

Смерть от огнестрельного оружия как единственно п р и л и ч н ы й вид смерти — если это и не правда, то хорошо придумано. Что-то действительно очень благородное и насквозь м у ж с к о е, древнеримское есть в подобном финале. Выстрел в сердце, висок или открытый рот — и все кончено. Такая смерть, действительно, радикальней всего упраздняет процесс умирания, который остается даже при суициде посредством яда, петли, а тем более вскрытия вен. Там все же есть п е р е х о д, как бы краток он ни был. Здесь никакого перехода нет. Смерть б е з умирания — вот в чем соблазнительное достоинство гибели от огнестрельного оружия. Мих. Булгаков это прекрасно понимал.

И встать на пути несущемуся со скоростью 160 км в час поезду, как это сделала Роберт Энке, почти то же самое, что застрелиться — самая мгновенная смерть!

И пусть, как недавно выяснили ученые, труп самоубийцы в течение недели испускает беспокойные энергичные импульсы (тогда как труп человека, умершего естественной смертью, испускает более спокойные импульсы и не долее трех дней).

Что это, собственно, доказывает? Что н е ч т о в человеке проходит сквозь игольное ушко смерти? Так это само собой разумеется! Что самоубийцы н а п р а с н о убили себя в надежде обрести вечный покой, которого нет и быть не может? Стоп! не совсем так. Никакой самоубийца — за действительно р е д ч а й ш и м и исключениями — не хочет покончить с жизнью в о о б щ е, но только со своей с о б с т в е н н о й жизнью. А усиленные энергии, исходящие от трупа самоубийцы, если вообще что-то и доказывают, то только то, что суицидент достиг как раз своей цели — его ждет по-видимому новая и интенсивная жизнь... с теми же нерешенными проблемами, в которых так любят упрекать самоубийц заклятые противники суицида? Даже если и так, проблемы его в иной жизни могут быть легко разрешены — достаточно крошечного изменения в сознании. А может, они у ж е разрешены деянием суицида? Но и кроме того, положить руку на сердце, — кто из нас стал бы н а к а з ы в а т ь самоубийц, вместо того чтобы утешить их, успокоить, да еще незаметно — нельзя подавать дурной пример! — восхититься столь сверхчеловеческим проявлением мужества? Так почему же астральным иерархиям склонны мы приписывать подобную жестокость? Если же их нет, и человек все определяет сам, тем более не следует соваться и решать за него — как можем мы знать о его проблемах больше, чем он знает сам?

Повторяем, обыкновенный самоубийца вовсе желает покончить с жизнью вообще. Это только Будда Гаутама пожелал покончить с жизнью вообще. Но поэтому он и избрал совершенно иной путь.

Тем самым мы имеем полное право согласиться с классическим портретом интеллектуального самоубийцы, который набросал нам наш Пушкин в своей критической заметке от 1836 года — «Александр Радищев». И в особенности сравнивая личность и судьбу Радищева с личностью и судьбой самого Пушкина, становится понятна тонкая разница между тем, кто рождается, чтобы наложить на себя руки, и тем, кто рождается, чтобы жить, творить и мужественно умереть. Хотя, повторяем, только задним числом и только после случившегося, так сказать, а posteriori, возможны и допустимы подобные рассуждения. Вот эта заметка.

Радищев родился в 1750 году. Он обучался сначала в Пажеском корпусе, потом отправлен был в Лейпциг для продолжения образования. «Беспокойное любопытство, — пронизательно отмечает Пушкин, — более нежели жажда познания, была отличительная черта ума его. Он был кроток и задумчив».

На развитие Радищева имел огромное влияние Ф.В.Ушаков, его университетский товарищ.

«Он умер, — пишет Пушкин, — на 21-м году своего возраста от следствий неводержанной жизни; но на смертном одре он еще успел преподать Радищеву ужасный урок. Осужденный врачами на смерть, он равнодушно услышал свой приговор; вскоре муки его сделались нестерпимы, и он потребовал яду от одного из своих товарищей. Радищев тому воспротивился, но с тех пор самоубийство сделалось одним из любимых предметов его размышлений».

Возвратясь в Петербург, Радищев занялся гражданской службой. Кое-что писал. Ему покровительствовал граф Воронцов; императрица Екатерина знала его лично. «Радищев должен был достигнуть одной из первых степеней государственных. Но судьба готовила ему иное».

Это «иное» — вступление в тайное общество мартинистов и написание знаменитого «Путешествия из Петербурга в Москву», где Радищев — в 1797-м году! — отрицает общий порядок, отрицает самодержавие, отрицает крепостное право.

«Он мартинист, — говорила Екатерина, несколько дней подряд читая книгу, — он хуже Пугачева; он хвалит Франклина».

«Радищев, — резюмирует Пушкин, — предан был суду. Сенат осудил его на смерть. Государыня смягчила приговор. Преступника лишили чинов и дворянства и в оковах сослали в Сибирь».

В Илимске Радищев занимался литературными трудами. Император Павел I между тем вззошел на престол, возвратил Радищева из ссылки, вернул ему чины и дворянство. Взамен взял с него слово «не писать ничего противного духу правительства».

Во время царствования императора Павла I Радищев не написал ни одной строчки. Он жил в Петербурге, удалившись от дел и занимаясь воспитанием своих детей.

«Император Александр, — заканчивает Пушкин описание жизни Радищева, — вступив на престол, вспомнил о Радищеве, и, извиняя в нем то, что можно было приписать пылкости молодых лет и заблуждениям века, увидел в сочинителе “Путешествия” отвращение от многих злоупотреблений и некоторые благонамеренные виды. Он определил Радищева в комиссию составления законов и приказал ему изложить свои мысли касательно некоторых гражданских постановлений. Бедный Радищев, увлеченный предметом, некогда близким к его умозрительным занятиям, вспомнил старину и в проекте, представленном начальству, предался прежним мечтаниям. Граф Заводовский удивился молодости его седин и сказал ему с дружеским упреком: “Эх, Александр Николаевич, охота тебе пустословить по-прежнему! или мало тебе было Сибири?”. В этих словах Радищев увидел угрозу. Огорченный и испуганный, он возвратился домой, вспомнил о друге своей молодости, об лейпцигском студенте, подавшем ему некогда первую мысль о самоубийстве, и... отравился. Ко-нец, им давно предвиденный и который он сам себе напроорочил!»

.....

Также у Варлама Шаламова есть великолепный этюд на эту тему из «Кольымских рассказов». Называется он «Серафим». Речь там идет об одном вольнонаемном при лагере, который, скопив деньжат, вздумал съездить в соседний поселок: развлечься, кое-что прикупить, побриться. Да забыл он паспорт, а машину остановили охранники. И вот по подозрению в бегстве из лагеря Серафима заперли в изолятор. Спустя пять суток, однако, недоразумение разъяснилось, и Серафима забрал его сослуживец.

«После этого случая, — пишет Шаламов, — Серафим стал думать о самоубийстве. Он даже спросил заключенного-инженера, почему тот, арестант, не кончает самоубийством?

Инженер был поражен — Серафим за год не сказал с ним двух слов. Он помолчал, стараясь понять Серафима.

“Как же вы? Как же вы живете?” — горячо шептал Серафим. — “Да, жизнь арестанта — сплошная цепь у н и ж е н и й (Курсив мой — С.И.) — с той минуты, когда он откроет глаза и уши, и до начала благотельного сна. Да, все это верно, но ко всему п р и в ы - к а е ш ь. И тут бывают дни лучшие и дни хуже, дни безнадежности сменяются днями надежды. Человек живет не потому, что он во что-то в е р и т, на что-то н а д е е т с я. Инстинкт жизни хранит его, как он хранит любое животное. (Стало быть, вера и надежда — духовные проекции жизненного инстинкта?) Да и любое дерево, и любой камень могли бы повторить то же самое. Берегитесь, когда приходится бороться за жизнь в самом с е б е, когда нервы подтянуты, воспалены, берегитесь обнажить свое сердце, свой ум — с какой-нибудь неожиданной стороны. Сосредоточив остатки силы против

чего-либо, берегитесь удара сзади. На новую, непривычную борьбу сил может не хватить. Всякое самоубийство — обязательный результат д в о й н о г о воздействия, двух, по крайней мере, причин. Вы поняли меня? Серафим понимал”.

Он начал как раз испытывать это самое “двойное воздействие”. Не спеша, обдуманно и твердо приготовил он раствор серной кислоты (к которой имел доступ) и выпил. Полчаса прошли — ничего, кроме жжения в горле и легкого позыва на рвоту. Тогда он перочинным ножом вскрыл себе жилу на левой руке. Кровь было рванулась, но скоро замедлилась, остановилась... Серафим бросился к реке, “спрыгнул прямо в ледяную дымящуюся воду, обломив опущенную снегом кромку синего льда”.

Его спасли, притащили в больницу, дали чаю, ввели шприц с глюкозой, сделали операцию.

«Но слишком поздно, — заключает автор, — стенки желудка и пищевод были съедены кислотой — первоначальный расчет Серафима был совершенно верен».

Верен и анализ Шаламова: такое могло случиться преимущественно с вольнонаемным, но не с заключенным.

Кстати, Серафим, судя по всему, реально существовавший человек, Шаламов лишь художественно обрабатывал документальные лагерные судьбы. И если сравнить Серафима с Давидом Саргаряном по части мужественности и твердости характера, то вряд ли можно одного предпочесть другому, зато очевидно, насколько их жизненные силы, устремившись в одном направлении, привели к различным результатам: у одного к логическому финалу, у другого к трагическому недоразумению.

.....

Однако если бы меня спросили, кто же все-таки в нашу эпоху является самоубийцей *par excellence*, так сказать, в «чистом виде», и есть ли вообще такой, я бы ответил — да, есть, и привел бы заключительное свидетельство этого человека в русском переводе.

«Нужно себя уничтожить, чтобы похоронить надежду. Нет никакой надежды. Однако живой человек есть человек надеющийся. Противоречие в определении. Вопрос: на что надеяться? Нет ничего в мире, что стоило бы достигать — кроме смерти. Стало быть, как это принято, цель пытаются достичь как можно скорей, если она известна. Я пытался — против моей природы и против моего инстинкта (!) встать на оптимистическую точку зрения. Я утверждал вопреки моему лучшему знанию: жизнь заслуживает того, чтобы жить, ради самой жизни. Как глупо — лишь повод для неисполнения этой не совсем приятной процедуры. Нет ни вины, ни греха, нет добра, и нет зла, нет бога, только иллюзия и ничего кроме иллюзии. Как могло случиться, что человек, эта дефектная этическая конструкция, наделен этическими воззрениями? шутка. Противно, что надежда как злокачественная опухоль растет до последней секунды. Вещи остаются такими, какие они есть. Идеализм неуместен. (...) В этом плане хочу подать пример добрым начинанием».

Автор, Конрад Байер (Konrad Bayer), урожденный венец (р. 1932), принадлежал артистическому кружку «Гений и безумие». Хотел стать живописцем. По настоянию родителей получил, однако, коммерческое образование. Служил в банке. Одновременно музицировал в клубах и барах. Снимался в фильмах. Принадлежал «Венской группе». Публиковаться начал с 1955. А с 1957 мог уже жить от своей публицистической деятельности. 10 октября 1965 года отравил себя газом.

Выписанное «Приложение» взято из книги «Шестое чувство», Ровольт, 1986.

Комментарии, как говорится, излишни.

.....

Учитывая все вышесказанное, возникает резонный вопрос: почему для осуществления самоубийства — как это ни парадоксально! — необходим некоторый избыток здоровья, свободы и своеобразного, пусть несколько извращенного — но не нам судить! — чувства собственного достоинства?

Ответ прост: потому что страдания, прежде всего физические, в образе тяжелой и неизлечимой болезни, или в виде лагерного заключения, где к физическим мукам присоединяется еще нравственное унижение, — они более всего способствуют образованию привычек и, а привычка, как недаром говорится, есть вторая натура, она-то крепче всего привязывает людей к жизни. Напротив, мгновенное и пронзающее до последней глубины существа осознание унижения от страдания и насилия чужой воли, осознание внезапное и часто непредсказуемое, наподобие вспышки молнии, не то осознание, которое говорит: «Да, страдания были, есть и будут, они принадлежат жизни и от нее неотделимы, а поскольку я не хочу и не могу отвергнуть жизнь, я должен принять страдания», а то осознание, которое тихо шепчет себе самому: «Нет, дело здесь не в страдании, а в унижении от страдания, такого унижения я не потерплю ни от кого, и если смыть унижение и остаться в жизни я не могу, то я лучше откажусь от жизни, зато избавлюсь от унижения», — вот такое только осознание разбивает вдребезги привычку жить, распускает, как гнилую нить, вековечный инстинкт жизни, — и тогда с поразительной, непостижимой легкостью одни совершают то, что другие не в силах совершить даже при сверхчеловеческом напряжении сил...

Да, думается, если и есть некий общий коэффициент феномена самоубийства на духовно-нравственном уровне (на уровне психосоциальном такой коэффициент давно найден и обозначен пошловатым словом «депрессия»), то им может быть только мистерия осознания унижений жизни. Именно мистерия, сопоставимая с мистерией жизни и возникновения жизни, мистерией веры в бога, мистерией любви к женщине, мистерией творчества, мистерией иных миров и т.д. Вообще, все великое и загадочное, но касающееся нас, как вода и огонь касаются кожи, все вечное, но не через бессмертие, а через повторяемость, все стремящееся к истине, как реки к морю, но никогда истину не обретающее, главное же, все до конца не объ-

яснимое, — все это и есть мистерия. И дальше того, чтобы найти, обозначить и в общих словах описать мистерию, творческий разум человека пойти не в состоянии.

Самоубийство, несомненно, одна из таких мистерий.

.....

Для меня лично нет никаких сомнений, что тем же самым путем — но до определенной судьбоносной развилки! — шел и Будда Гаутама. Избалованный рождением и счастливым стечением обстоятельств, он действительно до зрелого возраста — пока не испытал аскезу, питаясь месяцами только кореньями и ягодами, ночуя под деревьями, в результате чего, как он сам признался, спина его буквально приросла к животу — не знал абсолютно никакого страдания, а потому не успел к нему и привыкнуть. Когда же он вполне осознал неизбежность вступления в жизнь Страдания — в виде трех классических и ставших для нас давно уже театральными болезни, старости и смерти — то предпочел отказаться от жизни (в привычном ее варианте), чтобы раз и навсегда быть избавленным от унижений страданиями жизни.

Только он увидел в сердцевине жизни — страдание, а в сердцевине страдания — унижение. Кажется, никто кроме Будды не умудрился бы так вот просто и пронизательно взглянуть на жизнь, и потому Будду по праву можно признать с а м ы м гениальным человеком. Но он пошел еще дальше и усмотрел в сердцевине самого унижения некую тончайшую, но всеобъемлющую б е с с м ы с л е н н о с т ь бытия, основанную на том, что всё в мире переходяще. Закон необратимого изменения Будда распространил на все явления бытия, в том числе и на так называемую потустороннюю действительность, иными словами, на мир богов и духов, и в этом заключалась подлинная революционность его открытия, не потерявшая актуальности и в наши дни. Есть множество способов не умом, а всем существом своим постичь изменчивость мира и отсутствие в нем устойчивой субстанции — они же и методы буддийской медитации.

Здесь же, в качестве наглядного примера, достаточно задуматься о том, что самое ценное в нашей жизни — это уникальные, неповторимые отношения к единственному матери и отцу, единственному брату и сестрам, единственной настоящей жене (если таковая найдена) и т.д. и т.п., однако принцип реинкарнации, этот невидимый часовой механизм стихии тотальной изменчивости делает так, что у нас по сути б е с к о н е ч н о е множество матерей и отцов, братьев и сестер, жен и возлюбленных, а тем самым человеческое существование в самых высших его принципах превращается в чистейший а б с у р д.

Однако абсурдом буддизм не оканчивается, он с него только начинается. Абсурд был нужен Будде, чтобы заострить основную проблему бытия. Абсурд есть всего лишь лакмусовая бумажка, обнаруживающая, что у нас что-то не так, компас, показывающий, что мы сбились с пути. Когда же мы в себе разобрались и отыскали верный путь, то все то, что казалось прежде абсурдом, обретает вдруг самый несомненный высший смысл. Закономерно поэтому, что, от-

талкиваясь от полного и безоговорочного отрицания жизни — в нашем и привычном ее понимании — буддизм приходит к столь же полному и безоговорочному ее принятию, вплоть до уважения к каждому мгновению бытия, как если бы оно определяло судьбу человека.

Совершенно неуместно при нашей тематике углубляться в детали буддийского учения — которое, кстати, настолько разрослось и разветвилось, что потребует целую библиотеку — но кто знает, быть может, несмотря на то, что мы привыкли жить в мире абсурда как в теплой, уютной квартире, все-таки иной раз и даже регулярно, подобно вулканическим извержениям, происходят в коллективном человеческом сознании катастрофические реакции на жизнь в абсурде, — в виде всегда и н д и в и д у а л ь н о г о, а потому кажущегося аномальным и непредсказуемым феномена самоубийства.

.....

Итак, страдание крепко-накрепко зацементировано инстинктом жизни, а поверху, для пущего правдоподобия и даже архитектурной красоты и разнообразия — как ведь неотвратимо притягательен наш мир! — подкреплено множеством монументальных целей и смыслов жизни, ради которых можно и должно выносить страдание, как то: родина, семья, родные и близкие, искусство, честь, любовь, не в последнюю очередь господь-бог...

До тех пор пока в страдании не обнаруживается субстанциальное унижение, а в унижении еще более субстанциальная бессмысленность бытия, — до тех пор страдание выполняет а м б и в а л е н т н у ю функцию. Оно полезно и жизнеохранительно, более того, жизнь без страдания точно суп без соли — пресна и безвкусна. Но в любой момент может обнаружиться Ахиллесова пята страдания (его незацементированность несомненным для каждого «объективным» смыслом), прорваться злокачественная опухоль ложной надежды, как писал Конрад Байер, и тогда...

Теперь мы знаем, что человек живет из тех же самых мотивов и побуждений, из которых накладывает на себя руки. Несчастливая любовь, неуспехи по службе, болезнь, одиночество, — эти и многие другие, им подобные жизненные ситуации для одних становятся пробным камнем, от соприкосновения с которым жизнь их получает неожиданный импульс, в то время как для других те же самые обстоятельства служат поводом к суицидному акту.

Как часто приходится наблюдать, что именно неизлечимо больные, обреченные на близкую смерть ни за что не соглашаются уйти из жизни раньше того срока, который отпустила им их болезнь. Есть люди, живущие в инвалидном кресле десятилетиями, при этом они не в состоянии пошевелить ни рукой, ни ногой, но знаками, морганием глаз дают они понять, что жизнь им по-прежнему дорога...

В который раз стоит повторить: нет таких страданий, которые бы не выдержал человек. Бесчеловечные условия гитлеровских и сталинских лагерей. Особенно болезненные и безнадежные формы раковых заболеваний. Потеря родных и близких. В таких обстоятельствах, как показывает статистика, случаи самоубийства сравнитель-

но редки. Раз-два — и обчелся. Напротив, на мирное время и страны западной демократии (Венгрия исключение) приходится максимальная суицидная квота.

Отчего? Не оттого ли, что тяготы бытия д о л ж н ы просто быть? Они подобны барометровому столбу, давящему на нас. Без действия нет противодействия. Нам всегда нужно что-то преодолеть. Лишь тогда мы живем полноценной жизнью. Когда же преодолеть нам вдруг н е ч е г о, мы оказываемся в пустоте. И все наши бесчисленные психосоматические рычажки, передаточные ремни, колеса и шестеренки начинают вращаться, не встречая сопротивления, в искусственно образовавшемся безвоздушном пространстве. Хуже того — в в а к у у м е. От этого они распадаются, как падает вниз остановившийся в воздухе самолет. Не от излишнего напряжения распадаются. А от недостатка напряжения. И от прекращения целенаправленного движения.

Тадеуш Боровский и Примо Леви ушли из жизни много лет с п у с т я после фашистских лагерей, потому что их раскрепощенное самосознание не выдержало шока памяти, произошла т а самая мистерия осознания унижения. То же случилось с варламовским Се-рафимом. У Радищева к пережитому унижению присоединилось предчувствие возможного унижения в будущем. Конрад Байер ощущал повседневную жизнь к а к сплошное унижение.

Роберт Энке, судя по всему, допускал свой серьезный срыв на чемпионате мира по футболу в Южной Африке, — и как же он его предотвратил...

.....

Остается вековечный вопрос: почему именно о н и? почему не д р у г и е, пережившие сходные обстоятельства? Задаваться этим вопросом столь же бессмысленно, как спрашивать: почему Рим возник там, где он возник, а не в другом месте? Но любопытно, что, рассмотрев возникновение Рима во всех подробностях, приходишь к выводу, что он мог только т а м и возникнуть, причем с такой немолимой неизбежностью, точно возникновение его существовало от века. Точно так же, чем пристальней приглядываешься к тому или иному самоубийце, тем несомненной убеждаешься, что иначе с ним не могло случиться, что конец его рождался вместе с ним, что такова его судьба. Аномалия познания как такового? Вероятно. Но поскольку устранить ее так же мало возможно, как вытащить себя за волосы из болота, приходится пользоваться и дальше ее услугами.

И вот что мы от этого получаем. Перед нами снова и снова, с какой бы перспективы мы ни смотрели, открывается мистериальное существо феномена самоубийства. В этой странной и загадочной мистерии есть действующие лица, чья судьба — нет, не судьба, а поистине злой рок! — заложена еще в колыбели. В ней есть множество обычных с виду бытовых подробностей, диалогов и монологов, поступков и свершений, но не они приводят к развязке, а какой-то тихое и подспудное течение, как бы смертоносный водоворот, невидимый до поры до времени прочими персонажами, а тем более зрителями. В суицидной мистерии есть поэтому всегда два плана: один

внешний и несущественный, как будто призванный отвлекать внимание от второго, глубинного и рокового, но по какой-то иронии судьбы именно второй и решающий план облекается, как правило, в самую незначительную бытовую окаймовку, тогда как первый и по-верхностный обманывает громкими, но пустыми словами, вводит в заблуждение большими, но наигранными стремлениями, уводит от цели масштабными, но картонными поступками.

.....

Об этом хорошо писал Альбер Камю: «Подобно великим произведениям, оно (самоубийство) вызревает в безмолвных недрах сердца. Сам человек об этом не знает. Однажды вечером он вдруг стрелается или бросается в воду. Как-то мне рассказывали об одном окончившем с собой зрителе жилых домов, что за пять лет до того он потерял дочь, с тех пор сильно изменился и что эта история его «подточила». Точнее слова нечего и желать. Начать думать — это начать себя подтачивать. К началу такого рода общества не имеет касательства. Червь гнездится в сердце человека. Там-то его и надо искать. Надо проследить и понять смертельную игру, ведущую от ясности относительно бытия к бегству за грань света.

Самоубийство может иметь много разных причин, и самые явные из них чаще всего не самые решающие. Редко кончают с собой в результате размышлений (хотя исключать эту гипотезу нельзя). То, что развязывает кризис, почти никогда контролю не поддается. Газеты обычно упоминают о «душевных огорчениях» или «неизлечимой болезни». Объяснения такого рода правомерны. И все-таки надо бы знать, не разговаривал ли с отчаявшимся равнодушно в тот самый день его друг. Друг этот и виновен в случившемся.

Равнодушного тона может быть достаточно, чтобы вызвать обвал накопившихся обид и усталости, которые до поры до времени пребывали как бы в подвешенном состоянии» («Миф о Сизифе»).

.....

Далее, у главных действующих лиц мистерии суицида присутствуют обычно два основных мотива: тайное и глубочайшее осознание обиды или униженности, а также полное отсутствие веры и надежды.

Следующая особенность мистерии: если взглянуть на нее *sub specie aeternitatis*, она быть может и в самом деле означает попытку последнего с у д а над собой. То самое, каренинское: «Мне отпущение и аз воздам». Неважно, за что судит себя человек: за слабость ли, за пережитые унижения, за несостоявшуюся любовь, за оскорбленную честь, за неумение справиться с проблемами или просто за жизнь, в которой не удалось найти свое место. Так или иначе его страшный финал свидетельствует о том, что чего-то он сам себе не простил. Мы бы ему его вину, мнимую или сущую, наверняка простили. И астральные иерархии, если поверить до конца эзотерическим источникам и опыту умерших клинической смертью, тоже простили бы: мягкий белый Свет, выступающий в роли Судии, призывает человека только к о ц е н к е прожитой жизни, но никак не к суду над нею.

Оценка вместо суда. Здесь бездна тонкого смысла. Действительно, всякий суд претендует на абсолютную правоту и справедливость своего решения. Но в состоянии ли человек произнести справедливый приговор, а тем более провозгласить истину?

Что было бы, если бы Гитлер по каким-то причинам не успел или не сумел покончить с собой? Разумеется, его судили бы и приговорили к смертной казни, как его ближайших сообщников на Нюрнбергском процессе. Но ведь для всякого непредвзятого наблюдателя очевидно, что те же астральные силы до определенного момента прямо покровительствовали немецкому фюреру, охраняя его от многочисленных покушений (их, кажется, было семь). Случаем и удачей тут не отделаешься. Да и зачем насиловать интуицию? У астральных сил — назовем так простоты ради все, что выше нашего разума — были, очевидно, на Гитлера определенные планы, они явно не хотели преждевременного окончания войны, им почему-то важно было, чтобы послевоенная Германия начала с нуля... Что же, план сам по себе весьма глубокомысленный, разве что в жертву ему были принесены миллионы людей. Но ведь не нам судить! То-то и оно, судить не следует, а нужно оценить в а т ь. Вот и получается, что нам приходится оценивать все в жизни, даже историю — точно те или иные страницы из романа: насколько они удались с художественной точки зрения. А от суда здесь проку никакого нет.

Да и то сказать: обычно только за убийство или за другое очень тяжкое преступление человеку выносят смертный приговор. И то обстоятельство, что самоубийцы в подавляющем большинстве случаев убивают себя не за убийство другого человека, а за мелочь, на которую посторонние и внимания-то не обратили бы, — это и возводит суицид в ранг мистического суда над собой.

.....

Остается только обратить внимание на особую а у р у, атмосферу, окружающую мистирию самоубийства в новое время. Она всегда в той или иной мере несет в себе черты, роднящие ее со с н о в и д - ч е с к и м кошмаром. Может ли быть иначе?

Исчезает надежда. Жизнь теряет смысл. Незачем справлять будничный ритуал. Ничего нового уже быть не может. Все вокруг — точно заведенный часовой механизм. Действует на нервы. Вместо лиц одни маски. Кто-то кому-то улыбается, и тот, кому улыбаются, думает, что улыбка идет от сердца. Но с т о я щ и й н а г р а н и увидит в этой улыбке бессмысленное раздвижение губ. (И точно, за улыбкой последовало молчание, затем взгляд в сторону... скоро и за кофе улачено, и недавно мило улыбавшийся субъект идет по темной, освещенной одиноким фонарем, улице, один-одинешенек, и лицо его мрачно и пусто, как ночь.) Нет ни воздуха, ни дыхания, ни игрового пространства для мысли и чувства. Предметы потеряли свою исконную объемность, у них пропал фон, исчез задний план, они сделались сплюснутыми и карикатурными, а весь мир приобрел уродливо-вогнутую конфигурацию. Это потому, что умерла надежда, выпуклая по геометрической своей оформленности. Смерть надежды — нешуточная вещь. Когда надежды нет, держаться совсем не за

что, и почва, как при землетрясении, уходит из-под ног. Постепенное и полное вытравливание из души надежды — тоже своего рода негативное таинство. Не обязательно верить в бога и надеяться на будущую жизнь, достаточно просто хоть чуть-чуть радоваться завтрашнему дню. Когда этой крошечной радости больше нет, до суицида один шаг. Это все равно что прожить сегодняшний день — такой серый и обычный, и снова встречать этот как бы уже п р о ж и т ы й день: завтра, послезавтра, всю жизнь. Такое нельзя выдержать.

И ладно бы этот мертвый мир был таковым на с а м о м деле — тогда бы его еще можно было вынести, став умным циником. Но с т о я щ и й н а г р а н и знает, что мир таков лишь в его болезненном восприятии, и что самые близкие ему люди воспринимают мир вокруг совершенно иначе. Они, его родные и близкие, такие теплые и живые, постоянно к чему-то стремящиеся и постоянно на что-то надеющиеся, — они пытаются ему помочь, они стараются его спасти, они дают ему любовь и участие, — только вот он не может ни давать им того же, ни брать от них их дары, — и это, пожалуй, и есть самое страшное. Тут, как в кроваво-гноynom сгустке слились и боль унижения, и комплекс неполноценности, и желание наказать себя, и благородное стремление не мучить собой дорогих людей...

.....

Самая же существенная черта кошмара в сновидении — его подобие туннелю. Все мы еженощно видим сны, и хотя пространство и время в них меняются до неузнаваемости, все же каждый из нас согласится, что единственное, чего в них н е т, — а в них почти все есть! — это ощущения живого и бесконечного пространства, безразлично, дневного или ночного. В сновидениях нет попросту неба над головой, а никакое блаженство (в счастливых снах оно бывает беспредельным) его заменить не может. (И если потусторонняя жизнь действительно схожа со сновидениями, вот вам и объяснение того, почему люди так тянутся к земной жизни, несмотря на все ее неисчислимые страдания).

Туннель, каким бы необъятным он ни был, — это всегда закрытое пространство, а жизнь — пространство открытое. Психическая трансформация открытого пространства в закрытое начинается тогда, когда нам кажется, что ничего нового в жизни нет, что все повторяется. В снах, как знает доподлинно любой из нас, не исчезают даже люди, которые давно умерли. С умершими родственниками мы общаемся, не осознавая факта их кончины. И мы сами тем более не можем в снах умереть. В самый последний момент либо сновидение обрывается, либо мы пробуждаемся. Это чрезвычайно показательно.

И поскольку в сновидениях невозможно умереть, а самоубийца живет по крайней мере в последние дни и часы в туннельноподобном пространстве, сходном со сновидческим, — постольку у самоубийц нет ни уверенности, ни убеждения, что они, окончив с собой, умрут на самом деле. Иные даже н е желают смерти и не верят в свое полное небытие после суицида, как это

замечательно подметил авторитетный исследователь феномена самоубийства Карл Меннингер. (Karl Menninger. Selbstzerstörung. Psychoanalyse des Selbstmordes. Suhrkamp, 1974.)

.....

И в заключение, возвращаясь «на круги своя», хотелось бы вспомнить о Роберте Энке. Не нужно больше ничего анализировать, отыскивать глубокие закономерности. Все, что было выше сказано, имеет то или иное отношение к судьбе Энке, в той или иной степени, с теми или иными отклонениями. Мы выпишем просто основные моменты из его биографии, составив из них пунктирный профиль. Думается, и от каждого человека, при жизни повернутого нам в анфас, после смерти остается один только профиль...

Роберт Энке ушел из жизни в апогее своей карьеры. Йоахим Лёв назвал его фаворитом германской сборной на предстоящем чемпионате мира. И однако тут же последовало какое-то инфекционное заболевание: Энке не смог принять участия в важнейшем отборочном матче со сборной России. Это породило в нем страх: ему могут предпочесть Мануэля Нойера или Рене Адлера, его ближайших конкурентов. Он и прежде был убежден: «Если я не первый, то вообще никто». Роль вратаря в сборной — самая трудная, голкипер, в отличие от нападающего, полузащитника или защитника, не может позволить себе ошибку, потому что никто уже ее не исправит. Профессия вратаря требует особенно крепкой психики. Роберт Энке ею не обладал. Футболист выдающихся способностей, он имел досадные срывы. В 18 лет Энке стал самым молодым вратарем немецкой бундеслиги, выступая за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. А в 24 года Энке блистал в воротах «Бенфики» Лиссабон. Но в 2002-м году, играя уже за барселонский клуб, он в кубковом матче с командой третьей лиги пропустил три мяча. Его жестко раскритиковали. Он перешел в истамбульский «Фенербах». И там в первом же сезонном матче опять пропустил три мяча. В ту же ночь он решил покинуть клуб. Вернулся в Ганновер, где играл с прежним мастерством и уверенностью. Его взяли в немецкую сборную.

Но тогда уже начали преследовать его депрессии, о которых знали и отец его, Дирк, психотерапевт (!) по профессии, и жена Тереза (с которой Энке прожил 15 лет и которая говорит, что годы эти были очень нелегкие), и лечащий врач — кельнский психиатр Валентин Марксер.

Что такое депрессии? Органическая болезнь, — считают врачи и ученые. Причина ее в том, что кортизол, гормон стресса, продолжает циркулировать в организме в недопустимых количествах, вызывая состояния страха и отвращения, в то время как гормоны допамин и серотонин, ответственные за положительные эмоции, радость от еды и секса и т.п., не поступают в мозг. Дирк Энке однажды многозначительно выразился о сыне: «Он ни от чего не получает удовольствия». Но с каких пор? Ведь уже о шестилетнем Роберте отец рассказывает, как тому должны были поставить профилактический зубной мост (Zahnspange), и как мальчик страдал от этого, но не

произнес ни слова, и только одинокая слеза скатилась с его глаза. «А ведь он мог хотя бы что-то сказать», — вздыхает Дирк Энке. Так неужели все-таки с депрессиями рождаются?

Как бы то ни было, добрых четыре миллиона немецких граждан страдают депрессиями, а из всех жителей нашей планеты целых пять процентов. Каждый седьмой, страдающий тяжелыми депрессиями, рано или поздно кончает с собой. В Европе от депрессий погибает ежегодно больше людей, чем от СПИДа, наркотиков и автокатастроф, вместе взятых.

Роберт Энке получал и медикаменты и терапию. Но, как утверждают врачи, у иных людей существует генетическая предрасположенность к отталкиванию на молекулярном уровне чужеродных веществ, и никакие медикаменты на них не действуют. Это трагично — потому что лишь треть депрессивных пациентов, получающих медицинскую помощь, кончают с собой, как показывают многолетние наблюдения, проведенные в Цюрихе. Роберт Энке, видимо, и относился к этой трети: ведь получать помощь, которая не действует, вдвойне трагично.

Депрессии, которые невозможно остановить, подобны раковым заболеваниям на душевном уровне: это уже далеко не обычные сомнения в себя, не элементарное чувство вины, не нормальная склонность к одиночеству. Когда человек неделями не поднимается с кровати, не подходит к телефону, и не выходит из дома, когда он боится встречаться со знакомыми, а сойдясь с ними, странно и тупо молчит, отвечает невпопад или неуместно улыбается или плачет, когда человек перестает любить и принимать любовь, когда секс его мало интересует, когда социальное одиночество достигает критической точки, а в себе опоры найти нельзя (имеющие такую опору многие годы выдерживают одиночное заключение), — тогда можно говорить о настоящих депрессиях. Тех самых, которые прямой дорогой приводят человека к самоубийству.

Но даже посреди стихии депрессии, в которой утонул Роберт Энке, проглядывают мерцающие знаки той самой мистерии с а м о н а к а з а н и я, о которой было сказано выше. Ибо наряду со страхом потерять место в национальной сборной и предварительным судом над собой за это п о к а е щ е не потерянное место, сыграла свою роковую роль и одна ночь в клинике возле только что прооперированной двухлетней дочери Лары. Она родилась с врожденной сердечной недостаточностью, были сделаны три операции на сердце, за ними последовала четвертая, самая безобидная — на ухо. После очередной игры Роберт Энке приехал в клинику к дочери и остался там на ночь. Он заснул, а когда проснулся, дочь была уже мертва. Этого простить себе Энке не мог — он проспал жизнь дочери, которую безумно любил! Также и за это о с у д л себя национальный голкипер, но приговор привел в исполнение гораздо позже, а пока, всего лишь шесть дней после смерти Лары, он опять успешно стоял в воротах.

«Однако в критические фазы, — говорит Дирк Энке, — у Роберта был страх, что пробьют по его воротам, это были настоящие приступы страха, он не хотел идти на тренировку, не мог себе предста-

вить снова стать на ворота, его отчаяние доходило до того, что он подумывал завязать с футболом». Какое странное и причудливое чередование силы и слабости! но слабость здесь — совсем иначе, нежели в мире природы — как львица, а сила как антилопа, одна безжалостно преследует другую, и лишь вопрос времени, когда она ее достигнет.

Момент смертельной хватки непредсказуем. Никто его заранее не знает, в том числе и сам суицидент. Но узнает он его, конечно, прежде всех остальных. И когда входит в него это последнее и необратимое «Теперь!», в нем и вокруг него воцаряется странное и обманчивое спокойствие, наподобие той страшной ночной тишины, которая предшествовала гибели «Титаника». Именно в такие минуты психиатры, убежденные в радикальном улучшении состояния своих пациентов, посылают их домой, а те еще по пути кончают с собой.

Роберт Энке оказался в том самом роковом туннеле. У него не было иного выхода, потому что профессиональный футбол не допускает настоящей слабости. Страдающий депрессиями должен покинуть большой спорт, как это сделал бывший игрок «Баварии» Себастьян Дайслер, и тем самым, быть может, сохранил себе жизнь. Роберт Энке, как говорит отец, был избалован, мелкие хлопоты быта взяли на себя его родные, кроме футбола он ничего в жизни делать не умел...

И все-таки что значит: не было другого выхода? Он мог бы бросить спорт и — о п у с т и т ь с я. У меня был коллега, так он однажды просто не явился на работу и не позвонил, сидел несколько раз на больничном, обнаружилось, что у него депрессия, его скоро уволили, потом он вперемежку лечился, устраивался на работу, увольнялся и снова лечился.

Роберт Энке выбрал другой путь. Он тщательно спланировал свой уход. Утром десятого ноября он сообщил жене, что идет на тренировку, хотя тренировки в тот день не было. За неделю до того отец настойчиво искал с ним объяснения, но Роберт отнекивался: мол, все в порядке и говорить не о чем. В прощальном письме он извинился за то, что скрывал свое истинное настроение, чтобы подготовить самоубийство...

Опросы выживших суицидентов показывают, что большинство из них еще три часа назад не знали, что они предпримут. А броситься под поезд, считают иные психологи, и вовсе нетипично для скрупулезно запланированного самоубийства: нужно подумать о машине, о санитарах, о жене... Лев Толстой тоже придерживался такой точки зрения: его Анна Каренина, как мы помним, в т о т день решительно не знала, чем он для нее кончится.

Опять некоторое несоответствие, опять противоречие в определении, опять квадратура круга. Но это-то и есть, пожаауй, самое существенное в феномене самоубийства. Поистине, если знаменитый вопрос о том, может ли бог сотворить камень, который сам не в состоянии поднять, не софизм, а соответствует реальному положению вещей, то ответ на него и есть жизнь и судьба самоубийц.

О тех, кто покончил с собой, любят говорить: «Они были сильны, чтобы выдержать смерть. Но они были не настолько сильны, чтобы

выдержать жизнь, потому что самое трудное — это признаться в собственной слабости. Они приняли это одно страшное решение, чтобы не принимать множество других».

Может, это и так. А может — иначе, достаточно с е б я поставить на и х место. Неужели мы и в самом деле настолько сильны, что выбираем жизнь там, где другие, не будучи в силах сделать сходный выбор, обречены на смерть?

Если это так, то справедливая гордость наполняет все мое существо, и я стараюсь не думать о том, что те, кто ушли раньше и по доброй воле, сделали очень трудное, но по сути необходимое дело, которое мне, пусть иначе, еще предстоит сделать.

.....

Остается только добавить, что 7 марта 1952 года Парамаханса Йогананда, без сомнения, один из величайших духовных учителей человечества, сразу после приветственной речи на банкете, состоявшемся в Лос-Анджелесе и посвященном индийскому послу в Соединенных Штатах Бинай Сене, отправился в соседнюю комнату, сел там в позу Лотоса и навсегда покинул свое тело, то есть ушел из жизни путем, пролегающим как раз посередине между самоубийством и естественной смертью.

При этом на лице его осталось подобие улыбки и любовной доброты, которые не исчезли и после трех недель, когда тело его, разумеется, не проявившее ни малейших признаков разложения, 27 марта положили в бронзовый гроб и похоронили.

Комментировать этот поступок неуместно, известно лишь, что *так* именно покидают наш грешный мир п о ч т и все восточные Мастера, достигшие просветления и освобождения.

Думается, читатель согласится со мной: это и есть та самая и д е а л ь н а я смерть, о которой втайне мечтает любой из нас, а самоубийство или смерть в больнице, на дороге или в лучшем случае в родной постели суть те крайности, которые следует избегать, если их можно избежать.



Николай ГУДАНЕЦ

/ Писа /

«Пропась комплиментов» или Партизан в тылу самодержавия

«Как бы то ни было, я желал бы вполне и искренно помириться с правительством, и конечно это ни откого, кроме Его, независит».

А.С. Пушкин (XIII, 259)¹.

Пожалуй, ни один писатель в мире не удостоился таких многочисленных, широких и всесторонних исследований, как А.С. Пушкин. Однако достижения пушкинистики за полтора века научных штудий, увы, никак нельзя считать утешительными.

«Пушкин, вероятно, самый загадочный русский художник»², — глубокомысленно изрекал Н.Я. Эйдельман. В том же духе недавно высказалась И.З. Сурат: «Но и среди гениев Пушкин отличается какой-то особой непостижимостью и как творец, и как личность»³. Если ученые с удовольствием оперируют такими дефинициями, как «загадка», «тайна» и «непостижимость», это слегка настораживает.

Ну что ж, попробуем разобраться в одном из самых таинственных эпизодов в жизни великого поэта.

8 сентября 1826 года в судьбе Пушкина произошла решительная перемена. Император Николай I лично побеседовал с привезенным в Москву опальным поэтом и милостиво объявил ему полное прощение.

Как подробности, так и суть этого события до сих пор кажутся пушкинистам туманными. «Загадочной была, — пишет Т.Г. Цявловская, — длительная беседа Николая I с Пушкиным во время первой аудиенции поэта у нового императора 8 сентября 1826 года, от которой до нас дошло лишь несколько реплик»⁴.

Важнейший эпизод биографии великого поэта известен лишь благодаря обрывочным сведениям из вторых рук. С другой же стороны, грех жаловаться на скудость материала. В общей сложности

двадцать девять мемуарных источников насчитал Н.Я.Эйдельман, предпринявший самое детальное исследование достопамятной аудиенции⁵.

Наиболее подробные сведения о разговоре с царем, поведенные самим поэтом, содержатся в дневнике А.Г. Хомутовой:

«Рассказано Пушкиным.

Фельдъегерь внезапно извлек меня из моего непроизвольного уединения, привезя по почте в Москву, прямо в Кремль, и всего в пыли ввел меня в кабинет императора, который сказал мне:

«А, здравствуй, Пушкин, доволен ли ты, что возвращен?»

Я отвечал, как следовало в подобном случае. Император долго беседовал со мною и спросил меня:

«Пушкин, если бы ты был в Петербурге, принял ли бы ты участие в 14 декабря?»

— «Неизбежно, государь, все мои друзья были в заговоре, и я была бы в невозможности отстать от них. Одно отсутствие спасло меня, и я благодарю за то Небо».

— «Ты довольно шалил, — возразил император, — надеюсь, что теперь ты образумишься и что размовки у нас вперед не будет. Присылай все, что напишешь, ко мне; отныне я буду твоим цензором»⁶.

Вот и все. Другие мемуаристы сообщают со слов Пушкина или царя примерно то же самое, с незначительными вариациями и подробностями. Как отмечал В.Ф. Ходасевич, «если мы сложим эти реплики, то получим словесного материала не больше, как на две три минуты разговора»⁷.

Между тем беседа была действительно *долгой*. Спустя неделю после аудиенции А.А. Дельвиг известил П.А. Осипову: «Александр был представлен, говорил более часу и осыпан милостивым вниманием: вот что мне пишут видевшие его в Москве»⁸. Тайный полицейский агент И. Локателли доносит начальству: «Говорят, что его величество велел ему прибыть в Москву и дал ему отдельную аудиенцию, длившуюся более двух часов и имевшую целью дать ему советы и отеческие указания»⁹.

О чем же так обстоятельно беседовали Николай I и Пушкин? Вот загадка, породившая уйму зыбких домыслов.

Развернутое изложение беседы царя с поэтом привел в своих мемуарах польский граф Ю.Ф.Струтынский¹⁰, с которым Пушкин якобы разоткровенничался в 1830 г., причём рассказал молодому шапочному знакомому об аудиенции в Чудовом дворце гораздо больше, чем брату и близким друзьям. Крайне сомнительный текст Струтынского, где собеседники изъясняются ходульным опереточным слогом, не заслуживает ни малейшего доверия. А если попробовать прочитать этот диалог вслух, он займет немногим более десяти минут.

Следовательно, все известные нам подробности разговора, включая не слишком достоверные, даятся в совокупности меньше четверти часа.

Совсем уж ни в какие ворота не лезет предположение В.С. Непомнящего о том, что аудиенция в Кремле была «секретной» и состоялась при «условии молчания», наложенном «гласно или негласно». Ученый пишет: «Если бы он [Пушкин] не соблюдал это условие безукоризненно, нам не пришлось бы гадать о содержании долгой беседы в кабинете царя»¹¹.

Но ведь оба участника разговора впоследствии свободно рассказывали о нем, не помяная ни о каких ограничениях и конфиденциальности.

Всякого рода произвольные и абсурдные гипотезы насчет аудиенции в Чудовом дворце вызваны своего рода ретроспективной аберрацией зрения. Для пушкинистов, разумеется, российский самодержец является второстепенной фигурой, значит, ему надлежало заискивать перед великим поэтом и умасливать его рассказами о своих заветных планах реформ.

По мнению Д.Д. Благого, в ходе разговора Николай I стремился «всячески (sic!) расположить к себе поэта, привлечь его на свою сторону». Поэтому, «хорошо зная его вольнолюбивые политические взгляды», царь постарался «убедить Пушкина в своих освободительных намерениях»¹².

Для подтверждения своих выкладок Д.Д. Благой цитирует статью «Письмо из провинции» за подписью «Русский человек», опубликованной в «Колоколе» А.И. Герцена за 1 марта 1860 г., где написано: «Так обольстил, по рассказу Мицкевича, Николай I Пушкина. Помните ли этот рассказ, когда Николай призвал к себе Пушкина и сказал ему: „Ты меня ненавидишь за то, что я раздавил ту партию, к которой ты принадлежал, но верь мне, я также люблю Россию, я не враг русскому народу, я ему желаю свободы, но ему нужно сперва укрепиться“»¹³.

Приведя цитату, Д.Д. Благой комментирует: «Заявление подобного рода не могло не быть воспринято Пушкиным самым сочувственным образом»¹⁴.

Но откуда почерпнут этот рассказ, на который корреспондент «Колокола» ссылается, как на общеизвестное достояние? После смерти Пушкина польский поэт опубликовал о нем статью, весьма подробную и сочувственную, в неподцензурном сен-симонистском французском журнале. Там прямо упомянут «продолжительный разговор» Николая I и Пушкина как «беспримерное событие»¹⁵ для России, и вкратце изложено основное содержание беседы. Однако ничего даже близко подобного тому, что пересказывает аноним на страницах «Колокола», в статье Мицкевича нет!

Характерно, что после слов, приписанных Николаю I, автор статьи в «Колоколе» сразу добавил: «Может быть, этот анекдот и выдумка, но он в царском духе...». Эта застенчивая оговорка не помешала Д.Д. Благому утверждать, что «подобный рассказ Мицкевича получил широкую известность»¹⁶ и вдохновенно громоздит домыслы о подломе царя, который оплел доверчивого Пушкина паутиной лжи.

Между тем ныне установлено, что «Письмо из провинции» принадлежит перу Н.А. Добролюбова¹⁷, который родился через шесть

с половиной лет после того, как А. Мицкевич в мае 1829 года навсегда покинул Россию. Таким образом, гипотеза Д.Д.Благого целиком основывается на анонимной байке, почерпнутой Добролюбовым не иначе, как в среде революционных разночинцев.

Впрочем, фальшивка Д.Д.Благого выгадывает до того привлекательной, что позже аналогичные догадки строил Ю.М.Лотман: «Разговор Пушкина с Николаем был продолжительным. Видимо, беседа коснулась широкого круга политических проблем. Николай I сумел убедить Пушкина в том, что перед ним — царь-реформатор, новый Петр I. Можно предполагать, что какие-то туманные заверения о прощении «братьев, друзей, товарищей» Пушкин получил»¹⁸.

Смешно даже подумать, что Его Императорское Величество, Государь всея Руси пытался снискать благоволение неблагоданного ссыльного стихотворца и потому вздумал отчитываться перед ним о своих намерениях. Гораздо вероятнее, что беседа проходила совсем в другой тональности: «Государь принял Пушкина с великодушной благосклонностью, легко напомнил о прежних поступках и давал ему наставления, как любящий отец»¹⁹.

Иллюзорные построения Благого и Лотмана опрокидываются при сопоставлении всего-навсего двух простых фактов. Спустя годы, в письме от 16 марта 1830 г. Пушкин сообщит кн. П.А. Вяземскому слухи о реформаторских планах Николая I как животрепещущую новость: «Государь уезжая оставил в Москве проект новой организации, контр-революции Революции Петра» (XIV, 69). Между тем, как выяснил П.И. Бартнев, Пушкин сразу после царской аудиенции поспешил именно к Вяземскому, чтобы поделиться радостными впечатлениями²⁰.

А основное содержание беседы все же стало известным со слов самого Николая I, который в апреле 1848 г. рассказал графу М.А. Корфу: «Я, — говорил государь, — впервые увидел Пушкина после моей коронации, когда его привезли из заключения ко мне в Москву совсем больного и покрытого ранами — от известной болезни. Что сделали бы вы, если бы 14 декабря были в Петербурге? — спросил я его, между прочим. — Стал бы в ряды мятежников, — отвечал он. На вопрос мой, переменялся ли его образ мыслей и дает ли он мне слово думать и действовать иначе, если я пушу его на волю, он *наговорил мне пропасть комплиментов насчет 14 декабря*, но очень долго колебался прямым ответом и только после длинного молчания протянул руку, с обещанием — сделаться другим» (курсив добавлен)²¹.

«Записки» М.А. Корфа, впервые опубликованные в журнале «Русская Старина» в 1900 г., достаточно широко цитируются и комментируются в пушкинистике. Однако слова «он *наговорил мне пропасть комплиментов насчет 14 декабря*» практически всюду нещадно вычеркнуты — вопреки элементарным нормам научной добросовестности, даже без обозначения купюры²². И неудивительно. Там как раз и заключается суть долгой беседы — то, что больше всего удивило царя и запало ему в память.

Злополучная фраза императора, будучи приведенной полностью, исчерпывающе разъясняет один из узловых эпизодов жизни Пушкина — окутанный дразнящим ореолом таинственности, обросший ворохом елейных нелепостей. Оказывается, никакого секретa нет, и гадать не о чем. Беседа длилась долго, причем говорил преимущественно Пушкин. Он почтительно льстила самодержцу, разгромившему мятеж декабристов.

Довольно точное представление о том, в каком духе Пушкин изощрялся в комплиментах, можно извлечь из его собственноручных письменных отзывов о декабрьском восстании.

«Меры правительства доказали его решимость и могущество» (XIII, 262), — читаем в письме А.А. Дельвигу от 20 февраля 1826 г.

Вскоре после аудиенции, в ноябре 1826 г. поэт написал по царскому повелению статью «О народном воспитании», где черным по белому значится: «должно надеяться, что люди, разделявшие образ мыслей заговорщиков, образумились; что, с одной стороны, они увидели ничтожность своих замыслов и средств, с другой — необъятную силу правительства, основанную на силе вещей» (XI, 43). К теме сочинения этот пассаж прямого касательства не имел, значит, автор по собственному почину удостоил *«падиших»* декабристов снисходительного пинка.

Вне всякого сомнения, 8 сентября Пушкин распинался перед монархом именно в подобном ключе.

В июле 1828 г., давая правительственной комиссии письменные показания по делу об отрывке из элегии «Андрей Шенье», Пушкин пренебрежительно называет восстание 1825 года «несчастливым бунтом 14 декабря, уничтоженным тремя выстрелами картечи и взятием под стражу всех заговорщиков»²³. Вряд ли можно усомниться в искренности этих слов.

Таким образом, надо полагать, ободренный *«милостивым вниманием»* Пушкин пустился в долгие рассуждения о *«ничтожном несчастном бунте»* и *«необъятной силе правительства»*. Причем он поступил так не страха ради, а по зову сердца, ведь царь, судя по дневнику А.Г. Хомутовой, объявил ему прощение сразу.

Николаю I чрезвычайно понравились излияния знаменитого поэта-бунтаря, и вечером того же дня государь сказал графу Д.Н. Блудову, что «долго говорил с умнейшим человеком в России»²⁴. Цветистые *комплименты* получили надлежащую оценку, ставшую легендарной.

Комментируя высказывание царя, Д.Д. Благой проникательно отмечает: «В этом сенсационном заявлении, несомненно, была и доля самохвальства»²⁵. Не менее интересна и другая догадка Благого, о том, что Николай I выбрал для похвалы поэту отнюдь не случайного собеседника. Перу министра Блудова принадлежали как первое официальное сообщение о мятеже на Сенатской площади, так и доклад следственной комиссии по делу декабристов²⁶. Похоже, царь, высоко оценивший рассуждения поэта о мятежниках, заодно подпустил графу изящную шпильку.

Можно ли считать лестные слова самодержца насчет выдающегося ума Пушкина искренней данью восхищения?

«Очень важно, что в более поздних рассказах, уже пережив всю длительную и драматическую историю отношений с поэтом, Николай никогда не повторял этой восторженной оценки, видимо вырвавшейся у него под непосредственным впечатлением разговора с поэтом»²⁷, — подметил Ю.М. Лотман.

Исследователь всерьез считал, что царь на аудиенции оказался глубоко потрясен и тщетно гадал о причине такого глубокого, но мимолетного изумления: «Очевидно, Пушкин чем-то поразил царя»²⁸.

Апелляция к очевидности бывает рискованной при фатальном отсутствии чувства юмора. Ю.М. Лотман не мог взять в толк, что царь попросту подшутил над Блаудовым.

Вскоре после аудиенции император через А.Х.Бенкендорфа повелев Пушкину «представить мысли и соображения» касательно «воспитания юношества» (XIII, 298). Результатом явилась злополучная записка «О народном воспитании» (1826). Карандаш недоумевающего монарха щедро разукрасил ее текст в двадцати восьми местах, проставив сорок вопросительных знаков и один восклицательный. «Любопытно, что вопросительные знаки поставлены царем и возле чересчур лояльных утверждений», — отметил Ю.И. Дружников²⁹. А затем, на протяжении десяти лет, Николай I ни разу не посоветовался с «умнейшим человеком в России» о государственных делах. Так что возвращенный Пушкину через Блаудова комплимент вряд ли можно воспринимать всерьез.

Естественно, пересказывая свои подобострастные излияния Пушкин поостерегся, опасаясь замарать свою репутацию в глазах либеральной публики. Н.Я. Эйдельман совершенно правильно рассудил: «мы имеем право предположить, что вообще самые щекотливые элементы беседы, в особенности то, что касалось декабристов, так и осталось самой сокрытой от современников частью всего эпизода»³⁰. Достаточно лишь уточнить, что необходимость в стыдливых умолчаниях выпала именно на долю Пушкина.

Д.Д.Благой считает, что Пушкин в записках гр. М.А.Корфа изображен «в тенденциозном свете»³¹. Спору нет, комплиментарными эти мемуары назвать нельзя. Однако они написаны по просьбе П.В. Анненкова в 1852 г., еще при жизни Николая I. Поэтому следует полагать, что слова царя переданы им с надлежащей точностью, без малейшей отсебятины.

Больше всего Д.Д.Благому не по вкусу упоминание о «*пропастях комплиментов*», которое, по мнению пушкиниста, «не вяжется со всеми остальными свидетельствами о беседе между царем и поэтом, которыми мы располагаем»³². Наоборот, В.Э.Вацуро по поводу достопамятной аудиенции справедливо отмечал: «все сведения о ней идут из вторых рук и все варьируются, однако не противоречат друг другу»³³.

Повторяю, на самом деле тут никакой тайны, никакой загадки нет. Уже при сопоставлении всего двух свидетельств, А.Г.Хомуто-

вой и М.А.Корфа, заметна простая и ясная закономерность. Рассказывая об аудиенции, Пушкин упомянул только те детали, которые представляли его в выгодном свете.

А именно, введение режима личной царской цензуры означало, что император благоволил к поэту и считает его дарование исключительно важным. В письме от 9 ноября 1826 г. Пушкин радостно сообщил Н.М.Языкову: «Царь освободил меня от Цензуры. Он сам мой Цензор. Выгода конечно необъятная» (XIII, 305).

Слова Пушкина о том, что 14 декабря он «стал бы в ряды мятежников», принято считать изумительно смелыми и благородными. Между тем это признание состоялось после объявленного царем прощения, да и в любом случае оно ничем поэту не грозило. Как-никак, в Лицее Пушкин ознакомился с основами юриспруденции. Он понимал, что нельзя привлечь к ответственности за намерения, да и суд над декабристами уже состоялся. За один проступок не наказывают дважды, а ведь Пушкин официально полатился за поэтическую крамолу еще в 1820 г., когда его по решению Госсювета выслали из столицы. Зато якобы смелый ответ, разумеется, озарял обоих собеседников блеском рыцарственного благородства.

Итого, по подсчету В.Ф. Ходасевича, набралось две-три минуты разговора. Все остальное наносило ущерб репутации Пушкина и огласке с его стороны не подлежало.

Особенно важным представляется клятвенное обещание «*сделаться другим*», которое несомненно было дано. Оно стало крупным успехом для Николая I, спустя семь лет сказавшего княгине Вяземской: «До сих пор он сдержал данное мне слово, и я им доволен» (XII, 319, 486 — *франц.*). Пушкин сам приводит эту фразу в дневнике от 1 января 1834 г.

В августе 1828 г. Пушкин делает черновой набросок письма А.Х.Бенкендорфу: «Госуд. Имп. изволил в минуту для меня незаб. освободить меня от Цензуры я дал честн. слово Государю которому [надеюсь не изменил и не изменю по гроб] [не только] [из явного благоразумия] [но] которому изменить я не могу, не говоря уже о чести дворянина, но и по [сердечной] глубокой, искренней моей привязанности к [Е. Вел. как] Царю и человеку»³⁴.

Пылкая безоговорочная капитуляция бывшего «певца свободы» упомянута лишь в письме к шефу жандармов, ведь даже близким друзьям такой поступок мог показаться, мягко говоря, неоднозначным.

Всего глупее было бы по такому поводу читать мораль давно усопшему поэту. Но ведь сами пушкинисты столь же упорно, сколь беспомощно бросаются защищать Пушкина. К примеру, необходимость и правомерность моральной оценки в данном случае чувствует В.С.Непомнящий, который пишет: «Удивляются и возмущаются: как можно всерьез думать, что он мог договариваться с этим ужасным Николаем, иметь дело с этим вешателем? Дамская логика. Забывают, что цари всегда карали мятежи казнями, что Пушкин был дворянин и по-дворянски относился к царю»³⁵. Здесь ученый прямо подразумевает, что по «логике» дворянина следует от-

вергнуть честь, стойкость и сострадание. С презрением истинного мачо поминая логику «дамскую», ученый муж, надо полагать, отстаивает преимущества логики блатной, «умри ты сегодня, а я завтра», либо, на худой конец, обывательской, «моя хата с краю».

К тому же маститый пушкинист вдруг обнаруживает словно бы неумение оперировать фактами. Общеизвестна фраза Пушкина из письма П.А.Вяземскому 14 августа 1826 г.: «Повешенные повешены; но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна» (XIII, 291). А уж концовка послания и вовсе преисполнена «дамской логики», идущей вразрез со здоровым «*дворянским*» прагматизмом: «Ты находишь письмо мое холодным и сухим. [Ему] Иначе и быть невозможно. Благо написано. Теперь у меня перо не повернулось бы». Здесь речь идет о прощении Николаю I о помиловании³⁶, написанном Пушкиным 11 мая 1826 г.

Вряд ли В.С.Непомнящий не сподобился прочесть это письмо Пушкина, значит, явное заблуждение исследователя нельзя считать добросовестным.

Речь не о том, чтобы ехидничать, обнаружив грязное пятно на репутации «певца свободы» или попытаться дать поступку Пушкина благовидное истолкование. Тяжкая и скользкая необходимость вынести нравственный вердикт в данном случае отсутствует. Достаточно того, что сам Пушкин постеснялся рассказывать о кульминационном эпизоде аудиенции, о клятве, скрепленной рукопожатием.

Стыдливость большинства пушкинистов, упорно кромсающих цитату из записки М.А. Корфа, также невозможно переоценить.

Увы, не приходится допустить и мысли, будто Пушкин искренне и глубоко разочаровался в прогрессивных идеалах, став убежденным сторонником николаевского режима. Унизительное и явно вынужденное обещание определило все дальнейшее творчество поэта и его судьбу.

Не менее жалкими выглядят потуги пушкинистов изобразить Пушкина несгибаемым революционером-подпольщиком в тылу самодержавия. С их подачи поэт неизбежно выглядит не просто лицемером, но клятвопреступником.

Но когда пушкинист спотыкается о неувязку, тем хуже для здравого смысла. Например, В.С.Непомнящий категорически опровергает узколобых простаков, считающих «оборотнем и двурушником»³⁷ поэта, написавшего практически одновременно и «Послание в Сибирь», и верноподданнические «Стансы». Согласно аргументации ученого, Пушкин «был порядочный человек», за которым не числятся «низкие и неприглядные поступки», и он не давал «основания отказывать ему в обыкновенной порядочности»³⁸.

То есть прямое доказательство пушкинского двуличия отброшено за отсутствием доказательств.

Вращающийся спасательный круг доводов не ахти как привлекателен. Гораздо солиднее подпустить в рассуждения диалектической мути, как это делает Н.Я.Эйдельман: «И в дальнейшем, в течение нескольких лет, сочинения, сочувственные к узникам, безусловно, нелегальные, вольные, перемежаются текстами внешне ло-

яльными, комплиментарными в адрес высшей власти. Автору книги уже приходилось высказываться о том, что сам поэт с его широчайшим взглядом на сцепление вещей и обстоятельств не видел тут никакого противоречия; что оба полюса — «сила вещей» правительств и «дум высокое стремление» осужденных — составляли сложнейшее диалектическое единство в системе его поэтического и нравственного мышления, «дум высоких вдохновенья»³⁹.

А ведь замечательная вещь диалектический материализм, пригодный на все случаи жизни. Главное, чтоб личность была гигантская, тогда и оправдания ей найдутся. Оказывается, рептильность и двоедушие все же могут совмещаться с искренностью и благородством, поэтому Пушкин в густом гриме декабриста уже не выглядит мятущимся подлеем.

«Разумеется, сохранение этого единства нелегко давалось самому поэту, — тонко соболезнает Н.Я.Эйдельман, — понимание его позиции было труднейшей задачей для старых друзей-декабристов — и совершенно невозможной для подозрительной власти»⁴⁰.

Вся загвоздка, оказывается, в том, что ни царь, ни декабристы не владели передовым марксистско-ленинским диалектическим методом. Они слишком плоско и однозначно расценили двойную игру Пушкина, который отчаянно лавировал, стремясь быть одновременно и любимцем царя, и кумиром мыслящей публики.

Умственно прямолинейным сынам XIX века было невдомек, до чего комфортно в нравственной сфере извилистое мышление советского интеллигента. Вот почему В.С.Непомнящий с болью и жаром пишет о современниках Пушкина, которые «его называли лизоблюдом и льстецом», льстящим царю и «тишком подмигивающим узникам»⁴¹. Экие тупые замшелые моралисты...

Конечно, жалкая мелюзга вроде каторжников-декабристов не в состоянии оценить «широчайший» размах пушкинской души. Их мнение в расчет принимать нельзя, и права на высказывание они лишены по сей день, как при николаевском режиме.

Хорошо известно слова И.И. Пущина из письма от 14 июня 1840 г. И.В.Малиновскому: «Кажется, если бы при мне должна была случиться несчастная его история и если б я был на месте К. Данзаса, то роковая пуля встретила бы мою грудь: я бы нашел средство сохранить поэта-товарища, достояние России...». На этом цитату принято обрывать, потому что дальше говорится: «...хотя не всем его стихам поклоняюсь; ты догадываешься, про что я хочу сказать; он минуту забывал свое назначение и все это после нашей разлуки»⁴².

В наиболее полном сборнике мемуаров и писем Пущина (опубликованном почти полтора века спустя после смерти автора) фраза снабжена сноской: «Об отношении декабристов и, в частности, Пущина к Пушкину после появления стихотворений «Стансы» и «Клеветникам России» см. вступ. статью»⁴³. Дальше начинается небольшой литературоведческий детектив. Во вступительной статье нет ни слова, ни даже полсловечка об упомянутых стихотворениях. Яснее ясного, что над предисловием поработали ножницы цензуры,

но безвестный работник издательства «Правда» впопыхах забыла внести правку и в примечание. Паспорт книги содержит код разрешения Главлита — ИБ 1860. Подписано в печать 22.05.89.

Пожалуйста, поразмыслите над этой датой. Уже вовсю бушуют «гласность» и «перестройка». Уже опубликованы «Колымские рассказы» В.Т.Шаламова и «Крутой маршрут» Е.С.Гинзбург. Спустя два месяца в «Новом мире» начнут публиковать «Архипелаг ГУЛАГ» А.И.Солженицына.

А вот мнение ссыльных декабристов о Пушкине опубликовать нельзя! Выходит, эта тайна гораздо постыднее и опаснее, чем страдания миллионов советских лагерников.

Нелепица здесь только мерещится. Многоопытная цензура и тайная полиция совершенно правы, «своих» отдавать на заклятие нельзя. Можно пожертвовать грязной пешкой вроде Булгарина, но покорный и продажный ферзь останется сиятельной фигурой и не подвергнется ни малейшим нареканиям. Ренегатов и прихвостней следует оберегать, они должны быть сыты при жизни и окружены посмертным почетом. Им нужна гарантия от упреков в предательстве и своекорыстии.

Духовные наследники Бенкендорфа и Красовского свято блюдут ведомственные интересы, и даже спустя полтора века цензура будет отовсюду вычищать ропот нерчинских узников в адрес Пушкина.

Несколько больше, в сравнении с декабристами, повезло Ф.В.Булгарину. Описывая печатную склоку между ним и Пушкиным, исследователи волей-неволей поминают опубликованный в «Северной Пчеле» от 11 марта 1830 г. памфлет, где был изображен такой персонаж: «природный Француз, служащий усерднее Бахусу и Плутусу, нежели Музам, который в своих сочинениях не обнаружил ни одной высокой мысли, ни одного возвышенного чувства, ни одной полезной истины, у которого сердце холодное и немое существо, как устрица, а голова — род побрякушки, набитой гремучими рифмами, где не зародилась ни одна идея; который, подобно испуганному в басне Пильпая, бросающим камнями в небеса, бросает рифмами во всё священное, чванится перед чернью вольнодумством, а тишком ползает у ног сильных, чтоб позволили ему нарядиться в шитый кафтан; который марает белые листы на продажу, чтобы спустить деньги на крапленых листах, и у которого одно господствующее чувство — суетность»⁴⁴.

Публике не потребовалось разъяснений, кто именно в тогдашней литературной братии прославился свободолюбием, но пресмыкался перед властями. Корыстного и суетного поэта, изображенного в предельно злой, но точной карикатуре, сразу опознали все — и читатели, и сам прототип.

Немногим позже (в конце 1831 года) Н.А.Мельгунов писал С.П.Шевыреву: «Теперешний Пушкин есть человек, остановившийся на половине своего поприща, и который, вместо того, чтобы смотреть прямо в лицо Аполлону, оглядывается по сторонам и ищет других божеств, для принесения им в жертву своего дара. Упал, упал Пушкин и — признаюсь, мне весьма жаль этого. О, честолюбие и златолюбие»⁴⁵.

Может статься, ничтожные Булгарин и Мельгунов превратным образом истолковали порывы чистой и широкой поэтической души? Однако вот что мы читаем в письме Пушкина к жене от 8 июня 1834 г.: «Не сердись, жена, и не толкуй моих жалоб в худую сторону. Никогда не думал я упрекать тебя в своей зависимости. Я должен был на тебе жениться, потому что всю жизнь был бы без тебя несчастлив; но я не должен был вступать в службу и, что еще хуже, опутать себя денежными обязательствами. Зависимость жизни семейственной делает человека более нравственным. Зависимость, которую налагаем на себя *из честолюбия или из нужды*, унижает нас. Теперь они смотрят на меня как на холопа, с которым можно им поступать как им угодно» (XV, 156, курсив добавлен).

Выходит, пресловутые соображения *«честолюбия и златолюбия»* отнюдь не были ему чужды. Сложно допустить, что лишь последующая женитьба решительно переменяла натуру Пушкина, и на аудиенции в Чудовом дворце перед ним не маячили соблазны карьерные и денежные.

Когда кн П.А.Вяземский, обсуждая судьбу Пушкина с П.А.Плетневым, говорил, что тот действовал «по несчастному стечению обстоятельств, соблазвивших его»⁴⁶, тут несомненно подразумевались отношения поэта с царем.

Но даже безотносительно к мотивации поступка невозможно отрицать, что 8 сентября 1826 года поэт поневоле заключил с властями унизительную сделку. И тогда, и впоследствии, заискивая перед царем и шефом тайной полиции, Пушкин оказался слишком слабым духом, чтобы в полной мере осознать всю глубину своего падения.

Зато у проницательных современников, как видим, иллюзий на его счет не водилось.

* * *

Далеко не сразу Пушкин стал коварным и благородным партизаном в царском тылу, а только после 1937 года, когда пушкиноведение окрепло и расцвело под мудрым руководством ленинско-сталинской коммунистической партии. В результате, как объявил Б.В.Томашевский, была «разоблачена легенда о политическом ренегатстве Пушкина в последние годы его жизни»⁴⁷.

До того, на протяжении первого двадцатилетия советской власти, в бесконвойной пушкинистике наблюдался жуткий идейный раздрызг.

Позже, в шестидесятые годы, когда советская идеология обретет старческую утонченность, Я.А.Левкович с презрительной скорбью поведает о тех временах, когда «в пушкиноведческих работах появляется версия об измене Пушкина делу декабристов»⁴⁸. Более того, тогда «вульгаризаторские положения, дискредитирующие Пушкина политически и морально, из авторитетных научных изданий перешли в популярные статьи и школьные учебники»⁴⁹.

Одним из крупнейших *«вульгаризаторов»* в тридцатые годы явился профессор Д.Д.Благой, веско доказывавший, что зрелый

Пушкин, начиная с поэмы «Полтава» до «Медного всадника», последовательно развенчивал мятежных декабристов в угоду царю⁵⁰. Впоследствии сметливый исследователь повернулся на оси диаметрально, в точности следуя сталинистскому идеологическому ветру.

Беда не приходит одна. По ходу послереволюционной неразберихи, как отмечает Я.Л.Левкович, многострадальную «марксистскую методологию» подрывала «еще одна разновидность вульгарного социологизма», а именно, «стремление излишне революционизировать Пушкина, модернизировать его мировоззрение»⁵¹.

Например, Л.Н.Войтоловский утверждал, что после 14 декабря Пушкин «весь мир воспринимал под знаком декабрьского восстания, а именно это и превратило его образы в живые документы эпохи»⁵². По мнению догадливого автора, например, «Египетские ночи» содержат аллегорическое изображение декабристов, и ложе Клеопатры символизирует Сенатскую площадь⁵³.

Застрельщиком радикальной гримировки Пушкина под декабриста выступил В.Я.Брюсов, писавший: «представлять Пушкина «коммунистом», конечно, нелепо, но что Пушкин был революционер, что его общественно-политические взгляды были *революционные* как в юности, так и в зрелую пору жизни и в самые ее последние годы, это — мое решительное убеждение»⁵⁴.

Поскольку Брюсова не приходится считать безмозглым чурбаном, наверно, для него пример Пушкина стал отдушиной и способом ужитья со властью, которая главными рычагами общественной жизни сделала насилие и ложь.

Встать над схваткой сумел А.Г.Цейтлин. Он возражал и тем исследователям Пушкина, которые, «вкривь и вкось толкуя факты его творчества», утверждали, будто поэт, «являющийся детищем дворянской культуры, умер вместе с нею», и тем литературоведам, кто полагал, что «автор «Кинжала» и «Деревни» преодолел давление на себя дворянской культуры, что он деклассировался, сделался виднейшим идеологом декабризма»⁵⁵.

Разумеется, ученый не делал секрета из единственно верного идеологического подхода. «Противостоя этим ложным трактовкам, — назидал он, — марксистско-ленинское литературоведение изучает Пушкина как явление дворянской культуры, сохраняющее исключительное значение для нашей современности»⁵⁶.

При таком шокирующем разброде мнений исследователи не останавливались перед тем, чтобы попросту назвать вещи своими именами.

«Пушкин капитулировал перед самодержавием», — писал Д.П.Святополк-Мирский в статье «Проблема Пушкина» (1934), поясняя: «для буржуазного идеолога и поэта известная подлость, известное лакейство перед существующими господами было явлением нередким»⁵⁷. Бестактному автору дали надлежащий отпор и ученые мужи⁵⁸, и бдительные органы НКВД. Арестованный и осужденный по подозрению (sic!) в шпионаже, в 1939 году он умер в лагере под Магаданом. Неудобная *проблема Пушкина*, таким обра-

зом, разрешилась. Впоследствии всяческие эйдельманы и благие могли, не опасаясь оппонентов и разоблачений, лепить официозную легенду о поэте.

Хотя, впрочем, идеологическая безупречность не могла дать гарантию от депрессий. Объявивший Пушкина пожизненным декабристом⁵⁹ Г.А.Гуковский окончил свои дни в тюрьме Лефортово, в 1950 году.

В результате постсоветских пертурбаций из революционера и атеиста Пушкина как-то потихоньку отпочковался православный монархист. Ничего не попишешь, гениальной личности подобает сложность. Главное, оба Пушкина безукоризненно искренни, благородны и оттого пользуются всеобщим обожанием.

Подобно византийскому орду на российском государственном гербе, два курчавых профиля мирно уживаются на одном туловище, глядя в противоположные стороны.

Автор современного школьного учебника Ю.В.Лебедев утверждает, что возвращенный из ссылки Пушкин «не утратил веры в субъективное благородство стремлений и помыслов декабристов». После чего пируэты в советском духе заканчиваются, и переход Пушкина на сторону деспотизма истолкован уже как сугубо благотворный и мудрый поступок: «Его друзья, пылкие романтики свободы, не учли реальную силу самодержавия, опирающуюся на веру народную, на тысячелетнюю историческую традицию. Пушкин все решительнее склоняется к мысли, что общественные перемены в России возможны только при опоре на эту могущественную государственность, способную вести страну по пути решительных преобразований»⁶⁰.

О том, что «могущественное» полицейское государство Николая I за тридцать лет умудрилось потерять статус общепризнанного европейского лидера и довести Россию до политической катастрофы, Ю.В.Лебедев благоразумно умалчивает. Действительно, школьникам ни к чему навязывать параллели с современностью.

А вот в современном вузовском учебнике видный пушкинист Н.Н.Скатов объясняет студентам-филологам совсем иное: «Когда Пушкину в стихотворении «Друзьям» (1828) пришлось отводить обвинения в лести царю, он четко определил свое место и свою программу — противостояние»⁶¹.

Оба учебника одобрены Министерством образования и науки Российской Федерации. Для школьников рекомендуется Пушкин-державник, а студентам преподносится Пушкин-оппозиционер.

Пожалуйста, представьте себя на месте юноши, который на школьных экзаменах рассказывал о том, как Пушкин стал приспособленцем ради величия Отечества, а в университете ему приходится переучиваться и бойко доказывать, что несгибаемый поэт противостоял николаевскому режиму. После чего, уже как дипломированный филолог, он с учебником Лебедева наперевес втолковывает школьникам, зачем поумневший «певец свободы» склонил гордую забубенную голову перед «реальной силой самодержавия».

Наверно, подрастающему поколению негоже иметь устойчивую систему ценностей, и министерским чиновникам все равно, какого именно из Пушкиных вдалбливают в юные головы, лишь бы привить им навык трепетного преклонения.

Есть, как видим, веские основания полагать, что внушительные завоевания зорких чекистов и эластичных марксистско-ленинских литературоведов не пошли прахом.

И вряд ли можно удивляться, что Пушкин остается для исследователей священной тайной за семью печатями.

Рига, 2010

Примечания

Цитаты из произведений А.С. Пушкина даются по академическому Академическому полному собранию сочинений в 16 томах (М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1959) в круглых скобках, с указанием римскими цифрами тома и арабскими — страницы.

Письма Пушкина приводятся по тому же изданию, но цитаты сверены с трехтомным изданием писем под редакцией Б.Л.Модзаевского (М.; Л., 1926–1935). Тем самым сохранено своеобразие авторской орфографии и пунктуации.

Ссылки на доступные в Интернете источники, где отсутствует пагинация, отмечены как «www».

Условные сокращения:

Благой — Д.Д.Благой. Творческий путь Пушкина (1826–1830). — М.: Советский писатель, 1967. — 724 с.

Лотман — Ю.М.Лотман. Пушкин: Биография писателя; Статьи и заметки, 1960–1990; «Евгений Онегин»: Комментарий. — СПб.: Искусство-СПБ, 1995. — 846 с.

ПВЖ — В.В.Вересаев. Пушкин в жизни // В.В. Вересаев. Сочинения в 4 тт. М.: Правда, 1990.

ПВС — Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 тт. — 3-е изд., доп. СПб.: Академический проект, 1998.

1. Цитата из письма приведена в авторской орфографии и пунктуации, подчеркивания также сделаны Пушкиным.

2. Н.Я.Эйдельман. Пушкин и декабристы: Из истории взаимоотношений. М., 1979. С. 4.

3. И.З.Сурат. Биография Пушкина как культурный вопрос. «Новый Мир» 1998, № 2.

4. Т.Г.Цявловская. Неясные места биографии Пушкина // Пушкин: Исследования и материалы. М.; Л., 1962. Т. 4. С. 32.

5. См. Н.Я.Эйдельман. Пушкин. Из биографии и творчества. 1826–1837. М., 1987 г., www.

6. Русский Архив, 1867, стлб. 1065–1068. Цит. по: ПВЖ. Т. 2. С. 288.

7. Владислав Ходасевич. Пушкин и Николай I // В.Ф. Ходасевич. Книги и люди, М., 2002. С. 137.

8. Бар. А.А.Дельбиг — П.А.Осиповой, 15 сент. 1826 г. Р.А., 1864, III, С. 141. Цит. по: ПВЖ. Т. 2. С. 290.)

9. Б.Л.Модзаевский. Пушкин под тайным надзором // Б.Л.Модзаевский. Пушкин и его современники. СПб., 1999. С. 100.

10. Отрывок о Пушкине из опубликованных в 1873 г. под псевдонимом Ю. Саса мемуаров перевел на русский язык и прокомментировал В.Ф.Ходасевич в упомянутой выше статье «Пушкин и Николай I» (в газете «Возрождение», 1938, №№ 4118–4119).

11. В.С.Непомнящий. Поэзия и судьба. М., 1987. С. 123.

12. Благой. С. 45.

13. А.И.Герцен. Собр. соч. в 30-ти тт. М., 1956. Т. 7. С. 541.

14. Благой. С. 46.

15. П.А.Вяземский. Мицкевич о Пушкине // ПВС. Т. 1. С. 124.

16. Благой. С. 676.

17. См. А.Ф.Смирнов. Примечания // Н.А. Добролюбов. Избранные статьи. М., 1980., www.

18. Ю.М.Лотман. Александр Сергеевич Пушкин: Биография писателя // Лотман. С. 113.

19. Свидетельство М.М.Попова, чиновника III Отделения. «Русская Старина», 1874, № 8, 691. Цит. по: ПВЖ, Т. 2. С. 239.

20. «К последним праздникам коронации возвратился в Москву князь Вяземский. Узнав о том, Пушкин бросился к нему, но не застал дома, и, когда ему сказали, что князь уехал в баню, Пушкин явился туда, так что первое их свидание после многолетнего житья в разных местах было в номерной бане». П.И. Бартнев со слов кн. В.Ф. Вяземской. Рус. Арх., 1888, II, 307. Цит. по: ПВЖ, Т. 2. С. 294.

21. Граф М.А.Корф. Записки. Русская Старина. 1900. Т. 101. С. 574. Цит. по: ПВЖ, Т. 2. С. 288.

22. См., напр., урезанную цитату в: М.А. Корф. Записка о Пушкине // ПВС. Т. 1. С. 106.

23. А.С.Пушкин. Полное собрание сочинений: В 10 т. — Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1977–1979. Т. 10. С. 495.

24. П.И. Бартнев. «Русский Архив». 1865. С. 96 и 389. Цит. по: ПВЖ, Т. 2. С. 293.

25. Благой. С. 44.

26. См. там же.

27. Ю.М.Лотман. Несколько добавочных замечаний к вопросу о разговоре Пушкина с Николаем I 8 сентября 1826 года // Лотман. С. 367.

28. Там же.

29. Ю.И.Дружников. Фига в кармане как условие выживания // Ю.И. Дружников. Дуэль с пушкинистами. М., 2001., www.

30. Н.Я.Эйдеман. Пушкин. Из биографии и творчества. 1826–1837. М., 1987 г., www.

31. Благой. С. 47.

32. Там же.

33. В.Э.Вацуро. Пушкин в сознании современников // ПВС. Т. 1. С. 11.

34. Пушкин А.С. Письма. Под ред. и с примеч. Б.Л.Модзалевского. В 3-х тт. М.; Л., 1926–1935. Т. 2. С. 54.

35. В.С.Непомнящий. Поэзия и судьба. М., 1987. С. 123.

36. П.А.Вяземский писал 31 июля 1826 г. из Ревеля: «Я видел твое письмо в Петербурге: оно показалось мне сухо, холодно и не довольно убедительно. На твоём месте написал бы я другое и отправил в Москву» (XIII, 289). См. Модзалевский. Т. 2. С. 172–174.

37. В.С.Непомнящий. Поэзия и судьба. М., 1987. С. 126.

38. Там же.
39. Эйдельман. Ук. соч., www.
40. Там же.
41. В.С.Непомнящий. Поэзия и судьба. М., 1987. С. 121.
42. И.И.Пуштин. Записки о Пушкине. Письма. М., 1989. С. 145.
43. Там же. С. 469.
44. «Северная Пчела», № 30 за 1830 г., от 11 марта. Цит. по: П.Н.Столянский. Пушкин и «Северная пчела» (1825–1837) // Пушкин и его современники: Материалы и исследования. Пг., 1916. Вып. 23/24. С. 164.
45. Н.А.Мельгунов — С.П.Шевыреву, 21 декабря 1831 г. Цит. по: А.И. Кирпичников. Очерки по истории новой русской литературы. Т. II, изд. 2, М., 1903. С. 167–168.
46. См. письмо П.А.Плетнева Я.К.Гроту, 8 ноября 1841 г. // Переписка Я.К.Грота с П.А.Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 114.
47. Б.В. Томашевский. Основные этапы изучения Пушкина // Б.В.Томашевский. Пушкин. Работы разных лет. М., 1990. С. 643.
48. Я.А.Левкович. Биография // Пушкин: Итоги и проблемы изучения. М.; Л., 1966. С. 287.
49. Там же.
50. См. Д.Д.Благой. Социология творчества Пушкина. 2-е изд. М. 1931.
51. Левкович. Ук. соч. С. 287.
52. Л.Н.Войтоловский. Пушкин и его современность. «Красная новь», 1925, № 6. С. 256.
53. См. В.И.Бойчевский. Войтоловский // Литературная энциклопедия: В 11 т. — [М.], 1929–1939. Т. 2. Стб. 278–280.
54. В.Я.Брюсов. Мой Пушкин. М–Л., 1929. С. 301.
55. А.Шейтлин. Наследство Пушкина // [А.С. Пушкин: Исследования и материалы] / (Лит. наследство; Т. 16–18). М., 1934. С. 6.
56. Там же.
57. Д.Мирский. Проблема Пушкина // [А. С. Пушкин: Исследования и материалы] / Лит. наследство. М., 1934. Т. 16–18. С. 101.
58. См. В.В.Гиппиус. Проблема Пушкина: По поводу статьи Д. Мирского «Проблема Пушкина» (Лит. наследство. 1934. № 16/18) // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1936. [Вып.] 1. С. 253–261.
59. «Он остался человеком и поэтом декабристского характера до конца дней своих. До самой смерти он сохранял верность свободолюбивым идеям своей молодости». Г.А. Гуковский. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957. С. 6.
60. Ю.В.Лебедев. Литература. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х чч. М., 2007. Ч. 1. С. 106, 107.
61. История русской литературы XIX века. 1800–1830-е годы. Учебник для вузов. 2-е изд., доп. М., 2008. С. 258.



Юрий АРХИПОВ

/ Москва /

Двойное бытие Готфрида Бенна

Готфрид Бенн. Двойная жизнь. Проза. Эссе. Избранные стихи. Издательство: Waldemar Weber Verlag, Аугсбург и Lagus-Press, М., 2010.

Когда в Германии говорят Олимпиец, подразумевают Гёте. Если же поминается Двойная жизнь, то на ум сразу же приходит Готфрид Бенн (1886–1956), последний по времени немецкий поэт, к которому приложим титул великий. Так — «Двойная жизнь» — он сам назвал свои мемуары. Так названы десятки, если не сотни книг и статей, ему посвящённых. Так поименовали издатели и переводчики Вальдемар Вебер и Игорь Большчев свой представительный сборник переводов из Бенна, красиво изданный в Аугсбурге. Пятьсот страниц тома отведено прозе поэта, впервые выпущенной по-русски. Сто страниц (в приложении) отдано поэтическим переводам, над которыми потрудились несколько поколений мастеров «высокого искусства». Издание в сегодняшней издательской практике в высшей степени уникальное.

Поэзия — та область культуры XX века, где русские, подобно шахматистам, могли бы состязаться со сборной мира. Если десять на десять (плюс двое запасных с каждой стороны), как это принято у паладинов Каиссы. Нет сомнений, что на место в этой золотой (или серебряной?) зарубежной дюжине претендовали бы четверо немцев — Райнер Мария Рильке, Стефан Георге, Георг Тракль и Готфрид Бенн.

До сих пор у целого мира нет сомнений и в том, что «первая доска» в этом раскладе должна принадлежать Рильке. (Вот и Бродский в одном из эссе утверждал, что лучшее стихотворение XX века было написано уже в 1904 году, и называлось оно «Гермес», и написал его Рильке.) Да только в самой Германии почти все ценители и знатоки ныне убеждены: первенство среди немецких поэтов минувшего века принадлежит Готфриду Бенну. («Тёмный» Тракль и «напыщенный» Георге заметно поотстали в этой гонке за признанием потомков.)

Споры, конечно, немного детские, праздные, но характерные. У нас ведь тоже знатоки иной раз схватываются по вопросу: кто выше, «главнее» — Блок или Есенин. А может быть, Хлебников или Мандельштам?

Поздний Мандельштам, кстати, наиболее близкое русское соответствие Бенну. Хотя начинал он с естественной оглядкой на Рильке, но в стане тех, кто пытался дерзко противостоять красавице «германского Орфея». Рядом с ровесниками Траклем и Геймом, в среде экспрессионистов, провозгласивших в эпоху апокалиптических предчувствий накануне Первой мировой войны «эстетику безобразия». Студент-медик Бенн отыскал это шокирующее безобразие в анатомичке, о чём и поведал изнеженным поклонникам духовного гламура в первом своём сборнике стихотворений «Морг» (1912).

И он, и его сподвижники-экспрессионисты пытались своими изломами привычного синтаксиса добыть сверхэнергию архаики, очистив её от «заштемплёванных» (Андрей Белый) напластований культуры. «Вернуться вспять, за первый день творенья» — вот к чему призывал Готфрид Бенн (в переводе А. Карельского). («Останься пень, Афродита, И, слово, в музыку вернись», — вторил ему Мандельштам). Хотя и в стане экспрессионистов у Бенна была обособленная позиция. Не пафосная, а скептическая. Верфелевскому «Человек добр!» (так переключавшемуся с горьковско-сатинским «Человек — это звучит гордо!») он противопоставлял своё шокирующее: «Венец творенья, свинья, человек!» (Передавая — через века и пространства — привет Державину, и не только.)

От Рильке к Бенну — это и был главный тектонический сдвиг немецкой поэзии XX века. От волнообразных прельщений отягчённой мистическими прозрениями звукописи к окрылённому идеей вещной «объективности» конструктивизму и даже, под конец, плавно-не постмодерна. Оба, и Рильке и Бенн, сходились в том, что набор слов делает стихом интонация, то есть синтаксис. Эмблематично, однако, какими понятиями это обозначено, как это звучит у того и другого. Wortfolge («последовательность слов») у Рильке и Satzbau («строение фразы») у Бенна. (И, напомню, — «кровеносная система стиха» у Мандельштама.) Волнообразное «о» югендстиля в одном случае и крепко-бетонное «а» в другом. При этом вызывающе жёсткие конструкции стиха манили Бенна только в период эффектной пробы пера, зрелый Бенн обрёл свою музыку, далёкую от какофонии. (Кое-кто из русских эмигрантов даже сблизил его с Георгием Ивановым — самым, пожалуй, музыкальным певцом эпохи «Распада атома».) Собственно, в этом и был эффект, принёсший признание: прозрачный и по-своему, по-новому мелодичный стих таил в себе преодоленную горечь экзистенциального отчаяния, которого не могло быть прежде — ни у одного поэта до обрушившихся на мир катастроф. И как-то неожиданно, но щемяще в эти его угловатые конструкции вплетались и отзвуки романтического и даже сентиментального сердечного трепета. Розы, анемоны, резеда, асфоделии выглядят в жёстко аналитических, интеллектуальных стихах позднего, зрелого Бенна как одуванчики, пробившиеся сквозь бетон. Думается,

без них не иметь бы ему такого нарастающего успеха. Мир всё жёстче, но тем ценнее сдавливаемые им, загоняемые в «перспективу угла», как говорил любимый Бенном Ницше, чувства. Тоже — двойная жизнь... Видимо, признаваемая, разглядываемая большинством терпеливых читателей Бенна, раз у него ныне среди пишущих и читающих немцев такая слава.

До славы, однако, ещё надо было дожить, в этих самых катастрофах века уцелеть. В Первую мировую Бенн — военный врач в армии, действующей на Западном фронте. (Где, по Ремарку, «без перемены» — в том смысле, что погибают каждый день, а Бенну доводилось вытаскивать раненых с передовой.) Во Вторую мировую — тоже, с тем же случайным везением. В промежутке — зигзаг судьбы. В начале 30-х, после прихода Гитлера к власти, Бенн не эмигрировал, «остался со своим народом» (это его выражение практически дословно совпало с известным ахматовским!) и поначалу, хоть и ненадолго, даже поверил в обещанное фюрером национальное возрождение. Он был не одинок — такие корифеи ума, как Хайдеггер или Юнгер, одинаково с ним обманулись. Как и они, Бенн заплатил сначала за свою иллюзию — презрением коллег-эмигрантов (сын Томаса Манна Клаус, автор знаменитого романа «Мефистофель», даже написал Бенну обличительное открытое письмо, бурно обсуждавшееся в эмигрантской печати), потом заплатил и за своё разочарование — запретом на публикации в нацистском рейхе. От более тяжких преследований Бенна спасла всё та же «двойная жизнь»: бегство в армию, где врачи всегда востребованы, особенно в предвоенное и военное время. Запрет на публикации длился девять лет при нацистах и потом ещё три года при освободителях, оккупировавших Германию и расчленивших, в частности, на сектора Западный Берлин, который Бенн избрал своим местом жительства.

Двенадцать лет без читателей, треть творческой жизни! Однако Бенна это не смущало и не угнетало. Все эти годы он работал напряжённо и постоянно. Хотя и в стол. Ведь он не искал успеха у публики, ему было важно дать отчёт Музе. «Двойная жизнь», которая казалась ему совершенно нормальной в век сложных, двойных стандартов. Искусство — вот, по Бенну, единственный остов в этом колеблемом мире. И на служение искусству никто не может наложить запрет. А для забот брэнности нужно отвести минимум времени и сил. Бенну, признанному дерматологу и венерологу, предлагали расширить частную практику — после войны в раже «экономического чуда» западногерманские врачи делали головокружительные состояния. Но он предпочёл в отмеренно минимальное время обслуживать тех, кто лечился по государственной страховке, так что ему пришлось вести самый скромный бюргерский образ жизни. (Вот только по женской части, как и положено лирику, был «ходок», явно выбивался из мешанского строя.) И в этом не было никакой «фиги в кармане», так свойственной, например, большинству советских писателей поздней «застойной» поры. Бенн был искренне убеждён, что кесарево — кесарю, ибо так устроен (не нами) мир. Он никогда бы не

согласился на роль приживальщика у каких-нибудь богатеньких и знатненьких графинь: по адресу Рильке в этой связи он нередко отпускал язвительные намёки.

Век-волкодав бросался на шею и Бенну. Приходилось ускользать то в офицерский мундир, то в врачебный халат. После улюлюкающей травли, развернувшейся в нацистской печати в связи с его юбилейным (пятьдесят лет!) сборником стихотворений, ему даже пришлось заняться генеалогией, чтобы доказать своё вполне арийское происхождение. Каких-то предков он отыскал и в Шотландии — в роде Бен Лермондов. Уж не родня ли он тому нашему поэту, тоже фаталисту и стоику, который подслушивал то, о чём звезда с звездой говорит?

Русская литература, русская культура и даже русская жизнь, кстати, всегда были предметом особой, внимательной к деталям любви Бенна. Признание в этой любви он вместил в пространный верлибр, написанный в 1943 году — в разгар битвы с Россией! Называется эта поэтическая ретроспекция «Санкт-Петербург — середина столетия». Здесь, как в путеводителе, немало перечислено достопримечательных признаков «России Достоевского». Собор Святого Исаакия, Александро-Невская лава, церковь святых апостолов Петра и Павла, усыпальница императоров, крещенское водосвятие на Неве, Янтарная комната в Царском Селе, опера Глинки «Жизнь за царя», которую ещё, опершись о колонну, слушает Александр Сергеевич Пушкин (назван по имени-отчеству!), а также трактирная услада на островах, куда, «утнетённый своей неподвижной идеей», любит захаживать Раскольников, к которому обращается «с разговором приличным» случайно подвернувшийся, слегка безумный, но, конечно же, прозорливый собеседник... А кончается стихотворение выделенной отбивом сентенцией-квинтэссенцией:

У каждого, кто утешает другого, —
Христовы уста.
(Перевод Вальдемара Вебера)

«Двойная жизнь», по Бенну, заключалась не только в расхождении быта и бытия, мира поэтических грёз и мира пивных кружек и сосисок с капустой. И в самом поэтическом сознании, считал он, некая двойственность неизбежна. Есть ведь в поэзии слой человеческий (как говорят философы, феноменальный) и слой надчеловеческий, если угодно, божественный (ноуменальный). Прямых указаний на то, что поэзия — это двойная, предметная и мистическая жизнь языка, у Бенна, пожалуй, не найдёшь, но косвенных — сколько угодно. Хотя Бог, перед которым предстоял Рильке — «в каждой строчке», как уверяла его подруга Клэр Голь, — отодвинулся у него в суровую даль. Символистское амикошонство с Богом Бенну претило. После испытаний тридцать третьего года в его поэзии и мировоззрении вообще наступила предельная, почти аскетическая трезвость (и — «неслыханная простота», прямо как у параллельными путями шедшего Пастернака). Уйдя — вынужденно — в себя, Бенн освободился и от самомалейших ваяний. Отныне ни красивых символических кулис, как у Рильке, ни

жреческих поз, как у Георге, ни напевной ворожбы, как у Тракля. Заговорили совсем простые, но наполненные собственной метафизикой вещи. «С мыслями к вещам теперь не приблизиться», — сказал Бенн под конец жизни. А с чем? Только непосредственно, почти осязая словом, подслушивая молчание вещей. Разгадывая их элементарную простоту. Или ту космическую пустоту, которая их окружает?

Как и в случае Юнгера и Хайдеггера, обозреватели заговорили о нигилизме Бенна. Однако о том, умер ли Бог, поэт предоставил судить философу — Ницше. Nihil Бенна — скорее то бесконечное странство, в котором есть место и Богу-творцу, но и творцу-поэту. У которого свой домен, где он сам — демиург. А что мы можем знать о том, чего не создали? О том, чего мы не знаем, мы можем только молчать — Бенн вполне соглашался тут с Витгенштейном. И, сын ортодоксального протестантского пастора, оказывался, таким образом, в преобладающем потоке западного времени, всё больше отодвигавшегося от конфессиональных обязательств.

В послевоенные годы, когда вернулись в страну писатели антифашистского толка, многие из них пытались помочь Бенну вернуться в литературу, преодолеть публикационный запрет. Истинным профессионалом было слишком понятно, какой в его лице «пропадает» грандиозный поэт. Хлопотал о нём тот же Клаус Манн (вернувшийся на родную землю офицером американских войск), сочувственный голос подавала и за граница — в лице Андре Жида. Однако Бенна коробили эти попытки. На той высоте (или глубине), где он себя ощущал, помочь могли только собственные усилия. И наградой там не публикации, рецензии и премии, а: «собой доволен ли выискаательный художник?» В высшей степени показательно то, как об этом писал в 1946 году своей дочери сам Бенн:

«Теперь о важном. Трогательно, что ты ходила к Клаусу Манну, но если по мне, то делать этого не стоило. Ты, по-моему, не понимаешь главного: мне не нужна помощь ни Клауса Манна, ни Андре Жида, я полностью в ладу со своим положением и не делаю никаких шагов, чтобы изменить ситуацию. Я спола использую свою внутреннюю и внешнюю позицию и вижу, что в продуктивном отношении это даёт мне куда больше, чем любой внешний успех. Я точно знаю, что делаю и чего хочу. И чего я не хочу. А чего я не хочу, так это приумножать всеобщую болтовню насчёт политического положения или духовного кризиса или экзистенциализма и прочих бюргерских развлекалок, ибо только в собственном труде или трудах можно что-то прояснить или решить, а как раз над этим я и тружусь — больше, чем когда-либо. Так что пусть они себе думают и говорят, что хотят, запрещают или прощают, всё это меня совершенно не трогает. Всё это лишь озлобление или месть и неспособность самим что-то производить, прикрытая, конечно же, идеологическими теориями и мнимо гуманными идолами, разукрашенная банальностями, ослепляющими толпу. А позади всего этого есть настоящая и объективно развивающаяся жизнь идей. Никто не в состоянии убить искусство, там, где оно обретает свою форму, оно становится вечным и переживает и политику, и историческую ситуацию».

Так, работая в отшельнической тиши, Бенн выработал свои представления о том, что стало его «брендом» в поздние годы. А именно: о статических стихах и абсолютной прозе. Аугсбургский сборник даёт наглядное представление о том, что это такое.

Современные стихи, по Бенну, должны быть «статичны», то есть строго очерчены, фундаментальны, чтобы противостоять разливному хаосу современной жизни с её по-релятивистски размытыми критериями. Противостоять шарахающейся из стороны в сторону истории с её распадами и исчезновениями, когда «твердь рушится и исчезают виды». Удел человека в обступающей энтропийной пустоте — «очерчивать», отграничивать своё Я, добывая, вырывая у Ничто самодостаточность и свободу. Катить в гору свой камень. (Пучок ассоциаций — от «Камня» Мандельштама до «Мифа о Сизифе» Камю.) Об этом наглядно — в одном из программных стихотворений «Только две вещи» (перевод Вячеслава Маринина):

Жизнь — разных форм круженье,
в них — я и мы, и ты;
но вечной раны жженьё:
в чём смысл всей суеты?
Вопрос по-детски сказан,
отыщешь не сразу ответ,
одно лишь ясно: ты обязан —
рассудком, страстью, мифом связан —
нести свой крест, иного нет.
Снега, моря, любая вещьность —
всё сменит форму бытия,
две вещи вечны: бесконечность
и предначертанное «Я».

Если в послевоенной поэзии фигура Бенна высилась довольно одиноко, без явных последователей и учеников (лишь Пауль Целан обещал им стать), то в своей прозе этого времени он встал в ряд весьма мощных творцов — от Додерера и Дёблина до Янна и Арно Шмидта. Но и тут он вырисовался наособицу: его «абсолютная проза» («Роман фенотипа», «Птолемеец», автобиографическая исповедь «Двойная жизнь») не знала аналогов — и не знает их до сих пор. «Абсолютная проза» Бенна в каком-то смысле тоже статична: он добивался, чтобы каждая фраза заключала в себе смысловое начало и конец. Так что следующая фраза не «цепляется» за предыдущую, а тоже — отдельный смысловой блок. «Блоковое» строительство своего рода, которое Бенн находил адекватным времени, сожалея только о том, что фразы нельзя располагать рядом друг с другом, как кирпичи или строительные блоки. (Хотя как раз в это время его младший — на тридцать лет — современник, великий экспериментатор Арно Шмидт, пытался иной раз именно так оформлять свою прозу — но напечатанную на машинке.)

В целом путь Бенна отмечен единством и сосредоточенностью самораскрытия. Если в самом начале он не возражал против причисления себя к экспрессионистам, то сорок лет спустя, на закате, он лишь стремился уточнить, что значит его «экспрессион». Этому —

французскому — термину он теперь стал предпочитать описательное немецкое *Ausdruckswelt* («мир выражения»). Вкладывая в него два смысла: «трансценденцию творческой страсти» и «регрессию в предначальное, в рань Творения». Мыслительный круг замкнулся, оставив по пути одни из самых совершенных созданий, которые когда-либо знала немецкая поэзия. И один из самых своеобразных образцов, которые когда-либо знала немецкая проза.

В «скальдическом», по Микушевичу, упорстве познания, свойственном Бенну, было и впрямь что-то героическое. «Познай положение!» — призывает он в «Птоломейце», обыгрывая всегда любезную его сердцу древность. На сей раз — надпись на храме Аполлона в Дельфах: «Познай самого себя». Но не только себя, но и окружающий мир, но и вселенское мироздание.

Замечательный писатель Дитер Веллерсхоф, один из наиболее приметных в поколении Грасса и Вальзера, вернувшись с фронта, поступил в Боннский университет и защитил там диссертацию о Готфриде Бенне. А после смерти поэта выпустил первую о нём книгу. В предисловии к ней он признаётся, что не знает другого немецкого писателя «в поколении отцов», который сумел бы столько объяснить ему о «времени и бытии», о колющей злободневности в просветах ценностей непреходящих: «Всё яснее становится, что Бенн — центральная фигура в новейшей истории немецкого духа, а сделанное им — концентрированное выражение проблематики целой эпохи».

У мира, по Ницше, есть только одно — эстетическое — оправдание.

Того же мнения держался и Готфрид Бенн. Хотя и был далёк от несколько барабанного пафоса своего философского вдохновителя. Очень верно заметил в своём предисловии к подготовленной им книге В.Б. Микушевич: «Героическая позиция Готфрида Бенна не приемлет пафоса, презрительно отвергает позу, даже если эта поза претендует... на позицию Готфрида Бенна, «воинствующую» и «нигилистическую». При этом «искусство для искусства» тоже неприемлемо, так как оно противопоставляет себя жизни, а для Готфрида Бенна искусство и есть жизнь, вернее, то, что от неё остаётся».

У русских читателей наконец-то появилась возможность убедиться в том, что от творческой стороны «двойной жизни» Готфрида Бенна и в самом деле осталось немало.

Готфрид Бенн. ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ. Проза. Эссе. Избранные стихи. Издательства: Waldemar Weber Verlag, Аугсбург и Lagus-Press, Москва, 600 страниц, твердый цветной переплет, фотоналлюстрации.

Книгу можно заказать по адресу:
D-86154 Augsburg • Nordendorfer Weg 20 • Waldemar Weber Verlag
Fax, Tel.: 0821-4190431, Tel.: 0821-4190433,
E-mail: waldemar.tatjana@t-online.de

КРЕЩАТИК
(Перекресток)

Международный
литературный
журнал

Оригинал-макет *Б. Марковский*
Дизайн обложки *С. Пионтковский*

Издательство
«Вест-Консалтинг»,
Москва, 109193,
ул. 5-я Кожуховская, д.13

Подписано в печать 14.03.2010. Формат 66x88^{1/16}.
Усл.-печ. л. 20,9. Печать офсетная. Заказ 134.
Тираж 500 экз.